90 коп.

Индекс 70331

## В КОНЦЕ 1990 — В 1991 гг.
## В «ЗНАМЕНИ»:

**А. Д. САХАРОВ.** Книга первая. Воспоминания. Книга вторая. Горький — Москва, далее везде
**Чабуа АМИРЭДЖИБИ.** Куда падают звезды. Роман
**Георгий ВЛАДИМОВ.** Генерал и его армия. Роман
**Фридрих ГОРЕНШТЕЙН.** Место. Роман
**Даниил ГРАНИН.** Повесть
**Владимир ДУДИНЦЕВ.** Дитя. Роман
**Олег ЕРМАКОВ.** Заклинание против вепря. Повесть
**Наталья ИЛЬИНА.** Второе возвращение
**Франц КАФКА.** Письма к Милене
**Виктор КОЗЬКО.** Спаси и помилуй нас, черный аист. Повесть
**Михаил КУРАЕВ.** Петя по дороге в царствие небесное. Повесть
**Владимир МАКАНИН.** Долог наш путь. Повесть
**Владимир МАКСИМОВ.** Заглянуть в бездну
**Юрий МАЛЕЦКИЙ.** Огоньки на той стороне. Роман
**Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ.** Лик — лицо — личина
**Анатолий ПРИСТАВКИН.** Рязанка. Повесть
**Николай ШМЕЛЕВ.** Сильвестр. Роман
**Артур ХЕЙЛИ.** Вечерние новости. Роман

---

**Георгий АРБАТОВ.** Недавнее прошлое
**Ярослав ГОЛОВАНОВ.** Королев (Хроника). Книга вторая
**Наталья ДУМОВА.** Из цикла «Московские меценаты»
**Галина СТАРОВОЙТОВА.** Парламент изнутри
**Станислав ШАТАЛИН.** День нынешний
**Дмитрий ШЕПИЛОВ.** Воспоминания
**Юрий ЧЕРНИЧЕНКО.** Земля и воля
**Йозеф ГЕББЕЛЬС.** Из дневников

ISSN 0130-1616. Знамя. 1990. № 8. 1—240.

ЗНАМЯ 8 1990

ISSN 0130-1616

# ЗНАМЯ

1990

Август





Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

**8**

**АВГУСТ 1990**


## Содержание




Москва
Издательство «Правда»

Арсений Тарковский

# ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

## СТИХИ

●

Мосты разводят, лодочки скользят,
И лошади над пропастью летят;
Мне ничего не надо,
Ни лада, ни разлада, все равно
Без памяти твой воздух, все равно, —
О, уведи меня домой из ада.
И горше первых звезд твоя любовь,
Я все перезабыл, моя любовь,
Возьми, возьми гвоздики!
Да, за тебя мой первый тост,
Ты горше всех, любовь, ты горше звезд,
Как воздух дикий...

15.VI.1931

●

Все ты ходишь в платье черном,
Ночь пройдет, рассвета ждешь,
Все не спишь в дому просторном,
Точно в песенке живешь.

Веет ветер колокольный
В куполах ночных церквей,
Пролетает сон безвольный
Мимо горницы твоей.

Хорошо в дому просторном,
Ни зеркал, ни темноты,
Вот и ходишь в платье черном
И меня забыла ты.

Сколько ты мне снов развяжешь,
Только имя назови;
Вспомнишь обо мне — покажешь
Наяву глаза свои —.

Если ангелы летают
В куполах ночных церквей,
Если розы расцветают
В тесной горнице твоей.

3.IX.1932
Завражье

## Молодости

Прости меня. Я виноват в разлуке.
Настанет время — ревность отгорит —
Я протяну еще живые руки,
А что найду? Уже родной гранит.

Я жизнь построил, сердце успокоил,
И для тебя расставил зеркала,
И там живу. Зачем я жизнь построил?
Родной гранит моя рука нашла.

Пока еще в твоих глазах кипела
Вся жизнь моя, пока я строил дом
Во имя долга и во имя дела,
Ты в эти дни жила со мной вдвоем.

Ты спорщицей была нетерпеливой,
И было мне с тобою тяжело.
Не приходи: теперь со мною диво,
Теперь со мной зеркальное стекло.

И мнится мне, что жизнь моя двоится,
Что я с тобою в зеркале моем,
Пока тебя моя рука стыдится
И в темный час ощупывает дом,

Дом, как лицо с бездушными глазами,
Родной гранит, — и я вхожу туда,
Где нет тебя, где в зеркале, как в яме,
Бессонный лик напрасного труда.

23.IX.1938

## А случилось не так

Немецкий автоматчик подстрелит на дороге,
Осколком ли фугаски перешибут мне ноги,
В живот ли пулю влепит эсэсовец-мальчишка,
Но все равно мне будет на этом фронте крышка,
И буду я разутый, без имени и славы,
Замерзшими глазами смотреть на снег кровавый.

1941

●

Не стой тут,
Убьют!
Воздух! Ложись!
Проклятая жизнь!
Милая жизнь,
Странная, смутная жизнь,
Дикая жизнь!
Травы мои коленчатые,
Мои луговые бабочки,
Небо все в облаках, городах, лагунах и парусных лодках.



Дай мне еще подышать,
Дай мне побыть в этой жизни, безумной и жадной,
Хмельному от водки,
С пистолетом в руках
Ждать танков немецких,
Дай мне побыть хоть в этом окопе...

29.VII.1943
Колхоз «13-й Октябрь»,
под Орлом

## Отрывок

А все-таки жалко, что юность моя
Меня заманила в чужие края,
Что мать на перроне глаза вытирала,
Что этого я не увижу вокзала,
Что ветер зеленым флажком поиграл,
Что города нет и разрушен вокзал.
Отстроится город, но сердцу не надо
Ни нового дома, ни нового сада,
Ни рыцарей новых на дверцах печных,
Что новые дети расскажут о них?

И если мне комнаты матери жалко
С горящей спиртовкой и пармской фиалкой,
И если я помню тринадцатый год
С предчувствием бедствий, нашествий, невзгод,
Еще расплетенной косы беспорядок...
Что горше неистовых детских догадок,
Какие пророчества?
Разве теперь,
Давно уже сбившись со счета потерь,
Кого-нибудь я заклинаю с такою
Охрипшей, безудержной, детской тоскою,
И кто-нибудь разве приходит во сне
С таким беспредельным прощеньем ко мне?

Все глуше становится мгла сновидений,
Все реже грозят мне печальные тени,
И совесть холодная день ото дня
Все меньше и меньше терзает меня.
Но те материнские нежные руки —
Они бы простили мне крестные муки —
Все чаще на плечи мои в забытьи
Те руки ложатся, на плечи мои...

1947

## К тетради стихов

Прощай, тетрадь моя, подруга стольких лет:
Ты для кого хранишь предчувствий жгучий след
И этот странный свет, уже едва заметный,
Горевший заревом над рифмою заветной?
Пускай хоть век пройдет, и музыка страстей
Под бомбы подведет играющих детей, —

Быть может, выживет наследник нашей муки...
А ты, печальница, дана мне на поруки.
Твой собственник придет: он спит в моей крови,
Из пепла города его благослови,
Из груды кирпичей — свидетелей распада.
И, право, нам других свидетелей не надо.

1.2.1947

●

Я надену кольцо из железа,
Подтяну поясок и пойду на восток.
Бей, таежник, меня из обреза,
Жахни в сердце, браток, положи под кусток.

Схорони меня, друг, под осиной
И лицо мне прикрой придорожной парчой,
Чтобы пахло мне душной овчиной,
Восковою свечой или волчьей мочой.

Сам себя потерял я в России,
Вживе, как по суду, мимо дома бреду.
В муравьиное царство Кощея
Принесу, как приду, костяную дуду.

То ли в песне достоинство наше,
То ли в братстве с землей, то ли в смерти самой.
Кривды-матушки голос монаший
Зазвучит за спиной и пройдет стороной.

25.IX.1957

Публикация Т. А. Озерской-Тарковской

---

Чингиз Айтматов

# БЕЛОЕ ОБЛАКО ЧИНГИСХАНА

## ПОВЕСТЬ К РОМАНУ

*Читателю предлагается повесть к роману. Что это — новый жанр? Разумеется, жанра такого не бывает. Но если допустить, что в жизни всякое случается, то имеется в виду повесть к роману «И дольше века длится день», опубликованному в «Новом мире» девять лет тому назад. Не стану рассказывать, почему этого текста не было в первоначальном варианте в пору идеологического диктата, когда всевидящие цензоры и разного рода «мнения сверху» решали участь произведения в административном порядке. Нередко приходилось ради прохождения книги «в целом» соглашаться на наименьшее из зол, чтобы, образно говоря, не перегрузить корабль, идущий к читательским берегам в жестокий шторм.*

*Далеко не всегда удавалось «допеть недопетую песню». Но вот такая возможность представилась. И я предлагаю журналу эту часть моего старого «нового» романа. Должен сказать, что в повести использовано одно из устных преданий кочевья о Чингисхане, миф, мало соотносимый с исторической действительностью, но много говорящий о народной памяти...*

Чингиз АЙТМАТОВ

Поезда в этих краях шли с запада на восток и с востока на запад...

Пробиваясь сквозь белую летучую мглу, беспрестанно вздымаемую ветрами с холодных сарозекских равнин, машинистам проходящих поездов в те метельные февральские ночи стоило немало усилий разглядеть среди снежных заносов в степи полустанок Боранлы-Буранный. Объятые клубящимися вихрями, ночные поезда приходили и уходили во мгле, как в беспокойном, тревожном сновидении...

В такие ночи, казалось, мир зарождался заново из первозданного хаоса — сокрытые стужей собственного дыхания, сарозекские степи походили на дымный океан, возникающий в кромешном борении тьмы и света...

И в том великом пустынном пространстве каждую ночь, не угасая до утра, светилось одно окошко на полустанке, точно там, за этим окном, горько маялась некая душа, точно там кто-то тяжко болел, не находя себе места, или страдал от жестокой бессонницы. То было окошко пристанционнсто барака, в котором жила семья Абуталипа Куттыбаева. Это они, его жена и дети, ждали его каждый день, не гася света на ночь, и среди ночи Зарипа несколько раз подрезала нагоравший фитиль в лампе. И всякий раз при заново разгоравшемся огне она невольно останавливала взгляд на спящих детях — двое чер-

ноголовых мальчишек спали, как пара щенят. И ее знобило под нательной рубашкой от холода, и, сомкнув руки на груди, сжимаясь в комок, страшилась она, глядя на них, боялась, что снится сыночкам отец и что они бегут во сне к отцу изо всех сил, раскинув руки, плача и смеясь, бегут наперегонки, но так и не добегают... И наяву они ждали отца с любым проходящим поездом, который, пусть на полминуты, притормаживал на их разъезде. Только остановится поезд, скрипя тормозами, а мальчишки уже тянут шеи у окна, готовые броситься навстречу. Но отец не объявлялся, дни шли, и никаких вестей о нем не поступало, точно остался он под внезапно рухнувшим обвалом в горах, и никто не знал, где и когда с ним это случилось.

И еще одно окно, но зарешеченное черным кованым железом, в другом конце земли, в полуподвале алма-атинского следственного изолятора, тоже не гасло в те ночи до утра. Вот уже целый месяц изводился Абуталип Куттыбаев от слепящей с потолка круглыми сутками многосильной электрической лампы. То было его проклятием. Он не знал, куда деваться, как защитить от сверлящего, режущего, как нож, электрического света свои изболевшиеся глаза, свою горемычную голову, чтобы хотя бы на секунду забыться, перестать думать, почему он здесь и что от него хотят. Как только он отворачивался ночью к стене, закрыв голову рубахой, немедленно в камеру врывался надзиратель, наблюдавший в глазок, сбрасывал его с нар, пинал ногами: «Не отворачивайся к стене, сволочь! Не закрывай голову, гад! Власовец!». И сколько он ни кричал, что он не власовец, никакого до этого дела им не было.

И снова лежал он, обратившись лицом к беспощадному электрическому свету, зажмурившись, прикрывая изболевшиеся воспаленные глаза, и мучительно жаждал очутиться во тьме, в беспросветной черноте, пусть в могиле, где глаза и мозг могли бы прекратить свое существование, и уж тогда никакой надзиратель и никакой следователь не властны были бы пытать его невыносимой мукой — светом, лишением сна, избиениями.

Надзиратели менялись по сменам, но все, как один, были непреклонны — никто из них не помилосердствовал, никто не позволил себе не заметить, как отвернулся узник к стене, напротив, они только и ждали того, и каждый наносил удары с яростью и бранью. Хотя и понимал Абуталип Куттыбаев назначение и обязанности тюремного надзирателя, тем не менее в отчаянии спрашивал себя порой: «Отчего же они такие? Ведь с виду люди. Как можно носить в себе столько злобы? Ведь никому из них я не сделал никакого зла. Они не знали меня, я не знал их, но избивают, издеваются, словно из кровной мести. Почему? Откуда берутся такие люди? Как они становятся такими? За что они меня истязают? Как выдержать, как не свихнуться, как не расшибить себе голову о стену?! Потому что другого выхода нет».

Однажды он-таки не выдержал. Будто полыхнула в нем белая молния. Сам не понял, как схватился с надзирателем, пинавшим его. И они покатились по полу в яростной драке. «Я бы тебя на фронте давно пристрелил, как бешеную собаку!» — хрипел Абуталип, раздирая с треском ворот гимнастерки надзирателя, стискивая его горло цепенеющими пальцами. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не подоспели из коридора еще двое стражей.

Пришел в себя Абуталип лишь на следующий день. Первое, что он увидел сквозь муть и боль,— ту же негаснущую лампу на потолке. Потом хлопотавшего над ним фельдшера.

— Лежи, теперь ты уже не отправишься на тот свет,— негромко сказал ему фельдшер, прикладывая примочки к пораненному лбу.— И не будь больше последним дураком. Тебя и сейчас могли бы прикончить за нападение на охрану, прибили бы, как собаку, и никакого за тебя ответа. Благодари Тансыкбаева — ему нужен не твой труп, а ты сам, живьем. Понял?



Абуталип тупо молчал. Ему было все равно, что с ним случится, как обернется его судьба. Способность души к страданию вернулась не сразу.

В те дни у него случались моменты затмения разума — утрата реальности, полуявь становились спасительной защитой. В такие мгновения Абуталип желал не прятаться, не избегать направленного света, а наоборот — он стремился навстречу тому неумолимому мучительному излучению, которое сводило его с ума, и ему казалось, что он витает в воздухе, приближаясь к источнику боли и раздражения, превозмогая себя, чтобы одолеть силу непрерывно ослепляющего света, чтобы раствориться и исчезнуть в небытии.

Но и тогда в истерзанном сознании сохранялась связующая нить с тем, что осталось в былом, то была гнетущая, неотступная тоска, неотступный страх за семью, за детей.

Страдая невыносимо за них оставшихся в сарозеках, пытался Абуталип вершить суд над собой, разобраться в своей вине, пытался ответить себе — за что действительно следовало бы его наказать. И не находил ответа. Разве что за плен, за то, что оказался в немецком плену, как и тысячи других обреченных окруженцев. Но сколько можно за это карать? Война далеко позади. Давно все оплачено сполна — и кровью, и лагерями, уже не за горами время расходиться по могилам всем тем, кто был на войне, а обладающий безграничной властью все мстит, все не унимается. А иначе как понять происходящее? Не находя ответа, лелеял Абуталип мечту, что со дня на день станет ясно, что с ним произошло досадное недоразумение, и тогда, он, Абуталип Куттыбаев, будет готов забыть все обиды — пусть только побыстрее освободят и отправят побыстрее домой, и помчится он, нет, полетит, как на крыльях, туда, к детям, к семье, в сарозеки, на разъезд Боранлы-Буранный, где его ждут не дождутся детишки Эрмек и Даул, жена Зарипа, что в той снежной степи сберегает детишек, как птица под крылом, у колотящегося сердца, и слезами, нескончаемыми мольбами пытается пронять, убедить, смягчить судьбу, вымолить милосердие, чтобы мужу вышло спасение...

Чтобы не заорать навзрыд с горя, чтобы не впасть в безумие, начинал Абуталип грезить, ища в том обманчивое успокоение — зримо представлял себе как он, оправданный за отсутствием вины, явится вдруг домой. Представлял себе, как соскочит с подножки попутного товарняка, на котором доберется домой, и как побежит к дому, а они — жена и дети — навстречу... Но проходили минуты иллюзий и, как с похмелья, возвращался он в реальность, впадал в уныние, и думалось ему подчас, что в «Сарозекской казни», в той легенде, которую он записал, страдания казнимых матери и отца, их прощание с младенцем — нечто вечное, касающееся теперь и его. Он тоже казним разлукой... А ведь только смерть имеет право разлучать родителей с детьми, и больше ничто и никто...

Тихо плакал Абуталип в такие горестные минуты, стыдясь себя, не зная, как унять слезы, увлажнявшие, точно накрапывающий дождь камни, его крепкие скулы. Ведь даже на войне он так не страдал, тогда он, бедовая голова, был сам по себе, а теперь он убеждался, что в, казалось бы, обыденнейшем явлении — в детях — заключен величайший смысл жизни, и в каждом конкретном случае, у каждого человека — свое счастье, счастье, что они есть, и трагедия, если остаться без них... Теперь он убеждался и в том, сколь много значила сама жизнь пред ее утратой, когда в последний час, в озарении

последнего, жуткого света перед неизбежным уходом во тьму, настанет подведение итогов. И главный итог жизни — дети. Возможно, потому так и устроено в природе — жизнь родителей расходуется на то, чтобы вырастить свое продолжение. И отнять родителя от детей — значит лишить его возможности исполнить родовое предназначение, значит обречь его жизнь на пустой исход. И трудно было в такие минуты прозрения не впадать в отчаяние; растрогавшись, почти воочию представив себе сцену свидания, Абуталип осознавал несбыточность надежды и становился жертвой безысходности. С каждым днем тоска все глубже завладевала его душой, сгибая и ослабляя волю. Отчаяние накапливалось в нем, как мокрый снег на крутом склоне горы, где вот-вот последует внезапный обвал...

Это-то и надо было следователю МГБ Тансыкбаеву, этого-то он и добивался методично и целеустремленно, раскручивая сатанински задуманное им, с одобрения вышестоящего начальства, дело бывшего военнопленного Абуталипа Куттыбаева о связях его с англо-югославскими спецслужбами и проведении им подрывной идеологической работы среди местного населения в отдаленных районах Казахстана. Такова была общая формулировка. Еще предстояла работа следствия по уточнению и квалификации некоторых деталей, еще предстояло полное признание Абуталипом Куттыбаевым состава преступления, но главное содержалось уже в самой формулировке обвинения чрезвычайной политической актуальности, свидетельствующего об исключительной бдительности и служебном рвении Тансыкбаева. И если для Тансыкбаева это дело было большой удачей в жизни, то для Абуталипа Куттыбаева то был капкан, круг обреченности, ибо при такой устрашающей формулировке исход мог быть только один — полное признание инкриминируемых ему преступлений со всеми вытекающими отсюда последствиями. Никакого иного исхода быть не могло. То был случай абсолютно предрешенный, само обвинение уже служило безусловным доказательством преступления.

И поэтому о конечном успехе своего предприятия Тансыкбаев мог не беспокоиться. Той зимой настал наконец звездный час его карьеры. Из-за незначительного служебного упущения он на несколько лет задержался в звании майора. Но теперь открывалась новая перспектива. Совсем не так часто удавалось добыть в глубинке нечто подобное делу Абуталипа Куттыбаева. Вот уж повезло так повезло.

Да, можно сказать, что в те февральские дни 1953 года история благоволила к Тансыкбаеву; казалось, история страны только для того и существовала, чтобы с готовностью служить его интересам. Не столько осознанно, сколько интуитивно, он ощущал эту добрую услугу истории, все усиливавшей первостепенную значимость его службы, а тем самым все более возвышавшей и его самого в его собственных глазах, и потому испытывал возбуждение и подъем духа. Глядя в зеркало, он удивлялся подчас — давно так молодо не сияли его немигающие соколиные глаза. И он расправлял плечи, удовлетворенно напевал под нос на чистейшем русском языке: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...» Жена, разделявшая его ожидания, тоже была в хорошем настроении и приговаривала при случае: «Ничего, скоро и мы получим свое». И сын, старшеклассник, комсомольский активист, и тот, хотя, бывало, проявлял непослушание, когда касалось заветного, проникновенно спрашивал: «Папа, скоро с подполковником поздравлять?» На то были свои конкретные причины, пусть не касавшиеся Тансыкбаева впрямую и однако же...

Дело в том, что сравнительно недавно, около полугода тому назад, в Алма-Ате состоялся закрытый процесс: военный трибунал судил группу казахских буржуазных националистов. Эти враги трудового народа искоренялись беспощадно и навсегда. Двое получили высшую меру наказания — расстрел — за свои написанные на казахском языке научные труды, в которых идеализировалось проклятое патриархально-феодальное прошлое в ущерб новой действительности, двое научных сотрудников Института языка и литературы Академии наук — по двадцать пять лет каторги... Остальные — по десять... Но главное заключалось не в этом, а в том, что в связи с процессом из центра последовали крупные государственные поощрения спецсотрудникам, принимавшим непосредственное участие в изобличении и беспощадном искоренении буржуазных националистов. Правда, госпоощрения тоже носили закрытый характер, но это нисколько не умаляло их весомости. Досрочное присуждение очередных званий, награждение орденами и медалями, крупные денежные вознаграждения за образцовое выполнение заданий, благодарности в приказах и прочие знаки внимания очень даже украшали жизнь. И вселение особо отличившихся в новые квартиры было очень кстати. От всего этого нога крепла, голос мужал, каблук стучал уверенней.



Тансыкбаев не входил в ту группу повышенных в званиях и награжденных, но в торжествах коллег принимал активное участие. Почти каждый вечер они с женой Айкумис отправлялись в очередной «обмыв» новых званий, орденов, новоселий. Целая череда праздничных застолий началась еще в канун Нового года, и они были прекрасны, незабываемы. Слегка продрогшие после холодных, плохо освещенных алма-атинских улиц, гости с порога окунались в радушие и тепло ожидавших в новых квартирах хозяев. И столько неподдельного сияния, оживления и гордости изливали встречавшие на пороге лица, глаза! Поистине, то были праздники избранных, заново познающих вкус счастья. В ту пору, когда еще не забылись недавние нищета и голод военных лет, на окраинах государства особенно восторженно, до головокружения от удовольствия, воспринимался новый, рафинированный комфорт. Здесь, в провинции, только входили в моду дорогие марочные коньяки, хрустальные люстры и хрустальная посуда. С потолков нисходило граненое сияние трофейных люстр, на столах, покрытых белоснежными скатертями, мерцали трофейные немецкие сервизы, и все это захватывало, предрасполагало к благоговейному настроению, точно в этом заключался высший смысл бытия, точно ничего иного достойного внимания в мире не могло и быть.

Уже в прихожей витали запахи кухни, где готовилось, помимо прочего, непременное коронное блюдо — нежная, молодая конина, дедовская пища, унаследованная от кочевой жизни, причудливо источавшая и в новых стенах давнишние степные ароматы. И все собравшиеся чинно рассаживались, предвкушая общую трапезу. Но смысл застолья заключался не только и не столько в еде, ибо, насытившись, человек начинает внутренне страдать от обилия кушаний перед ним, сколько в застольных высказываниях — в поздравлениях и благопожеланиях. В этом ритуале таилось нечто нескончаемо сладостное, и это сладостное самочувствие вмещало в себя и поглощало все, что таилось в душе. Даже зависть на время становилась как бы не завистью, а любезностью, ревность — содружеством, а лицемерие ненадолго оборачивалось искренностью. И каждый из присутствующих, преображаясь удивительным образом в похвальную сторону, высказывался как можно умнее, а главное — красноречивей, невольно вступая в негласное состязание с другими. О, это было по-своему захватывающее действо! Какие великолепные тосты взмывали, подобно птицам с ярким оперением, под потолки с трофейными люстрами, какие речи изливались, как писаные, заражая присутствующих все более высоким пафосом.

Особенно взволновал Тансыкбаева и его жену тост одного новоиспеченного казахского подполковника, когда тот, торжественно встав из-за стола, заговорил так проникновенно и важно, как если бы он был артистом драматического театра, исполнявшим роль короля, восходящего на трон.

— Асыл достар![1] — начал подполковник, многозначительно оглядывая сидящих томным, величавым взглядом, как бы подчеркивая тем самым необходимость полного, совершенно серьезного внимания.— Вы сами понимаете, сегодня душа моя полна — море счастья. Понимаете. И я хочу сказать слово. Это мой час, и я хочу сказать. Понимаете. Я всегда был безбожником. Я вырос в комсомоле. Я твердый большевик. Понимаете. И очень горжусь этим. Бог для меня пустое место. То, что бога нет, всем известно, каждому советскому школьнику. Но я хочу сказать совсем о другом, понимаете, о том, что есть на свете бог! Минуточку, постойте, не улыбайтесь, дорогие мои. Ишь вы! Думаете, поймали меня на слове. Нет, нисколько! Понимаете. Я не имею в виду бога, выдуманного угнетателями трудовых масс до революции. Наш бог — это держатель власти, волей которого, как пишут в газетах, вершится эпоха на планете и мы идем от победы к победе, к мировому торжеству коммунизма; это наш гениальный вождь, держащий повод эпохи в руке, как, понимаете, держит вожак каравана повод головного верблюда, это наш Иосиф Виссарионович! И мы следуем за ним, он ведет караван, и мы за ним — одной тропой. И никто, думающий иначе, чем мы, или имеющий в мыслях не наши идеи, не уйдет от карающего чекистского меча, завещанного нам железным Дзержинским. Понимаете. Врагам мы объявили борьбу до конца. Их род, их семьи и всякие сочувствующие элементы уничтожаются во имя пролетарского дела, понимаете, как листья по осени сжигаются огнем в одной куче. Потому что идеология может быть только одна, понимаете, и никакая другая. Вот мы с вами очищаем землю от идеологических противников — буржуазных националистов, понимаете, и прочих, и где бы ни затаился враг, кем бы он ни прикидывался, нет ему никакой пощады. Везде и всюду разоблачать классового врага, выявлять вражескую агентуру, понимаете, как учит нас товарищ Сталин, бить врага, укреплять дух народных масс — вот наш девиз. Сегодня, когда меня отличили, когда зачитан приказ о досрочном присвоении звания, я клянусь и впредь неуклонно следовать сталинской линии, понимаете, искать врага, находить и обнажать его преступные замыслы, за которые он понесет неотвратимое, суровое наказание. Понимаете ли, главных националистов мы обезвредили, но притаились в институтах и редакциях сочувствующие. Но и они никуда от нас не уйдут, и не будет никакой им пощады. Как-то на допросе мне один националист, понимаете, говорит, все равно, говорит, ваша история зайдет в тупик, и вы будете прокляты, как дьяволы. Понимаете?!

— Такого надо было на месте пристрелить! — не удержался Тансыкбаев и даже привстал сердито.

— Верно, майор, я бы так и поступил,— поддержал его подполковник,— но он еще нужен был для следствия, и я ему сказал, понимаете, я ему сказал: пока мы зайдем в тупик, тебя, сволочь, давно уже не будет на свете! Собака лает, а сталинский караван идет...

Все разом захохотали, зааплодировали, одобряя достойную отповедь тому ничтожному националисту, все разом встали с вытянутыми наготове бокалами в руках. «За Сталина»,— выдохнули все разом, и все выпили, демонстрируя друг другу опустевшие бокалы, как бы подтверждая тем самым истинность сказанных слов и свою верность им.

[1] Асыл достар — дорогие друзья *(казах.)*



Затем было сказано еще многое в продолжение этой мысли. И слова эти, самовоспроизводясь и умножаясь, долго еще кружились над головами собравшихся, накопляя в себе скрытый гнев и ярость, как рой распаленных диких ос, все более озлобляющихся оттого, что они ядоносны и их много.

В душе же Тансыкбаева вскипала своя крутая волна, будоражила в нем свои мысли, укрепляя его решимость, и не потому, что подобные высказывания были внове для него, вовсе нет, напротив, вся его жизнь и жизнь всех его многочисленных сослуживцев так же, как и всего обозримого общественного окружения, протекала изо дня в день именно в этой атмосфере беспрерывного подстегивания, неукротимой борьбы, названной классовой и потому во всем абсолютно оправдываемой. Но была тут одна негласная проблема. Для постоянного накала борьбы нужны были все новые и новые объекты, новые направления разоблачений; поскольку многое в этом смысле было уже отработано, едва ли не исчерпано до дна, вплоть до депортации целых народов в погибельные ссылки в Сибирь и Среднюю Азию, то стало все труднее собирать «поголовный» урожай с полей, прибегая на старый лад к обвинениям в наиболее ходовом на национальных окраинах варианте — в буржуазно-феодальном национализме. Наученные горьким опытом, когда по малейшему доносу в идеологической сомнительности того или иного лица незамедлительно следовала расправа с ним и близкими ему, люди уже не допускали роковых ошибок, не говорили и не писали ничего такого, что можно было бы истолковать как проявление национализма. Напротив, многие стали чересчур осторожны и осмотрительны, настолько, что громогласно отрицали любые национальные ценности, вплоть до отказа от родного языка. Попробуй схвати такого, если на каждом шагу он заявляет, что говорит и думает непременно на языке Ленина...

И именно в этот оскудевший событиями период, трудный для наращивания борьбы по выявлению новых скрытых врагов, майору Тансыкбаеву, пусть и случайно, но все же повезло. Донос на Абуталипа Куттыбаева с разъезда Боранлы-Буранный попал ему в руки как довольно второстепенный по значимости материал, скорее для ознакомления, нежели для серьезного расследования. Однако Тансыкбаев не упустил своего. Чутье не подвело его. Тансыкбаев не поленился, съездил на место разобраться и теперь все больше убеждался, что это скромное, на первый взгляд, дело при соответствующей обработке может обрести достаточную весомость. И, стало быть, если все образуется как надо, то поощрения свыше наверняка не обойдут и его. Разве не свидетель он подобного торжества в данный момент за данным столом, разве не знает он, как устраиваются подобные вещи? Разве худо ему среди этих хорошо знакомых людей, верой и правдой преданных Богу-Власти и поэтому блаженствующих сегодня с хрусталем на столе и на потолке? Но путь к Богу-Власти только один — через черное, неустанное служение ему в выявлении и разоблачении замаскировавшихся врагов.

А среди врагов следует особенно бдительно следить за теми, кто побывал в плену. Они преступники уже потому, что не пустили себе пулю в лоб, ибо обязаны были не сдаваться, а умереть и этим доказать свою абсолютную преданность Богу-Власти, который требовал неукоснительного — умереть, но не сдаваться в плен. А кто сдался, тот — преступник. И неизбежная кара за это должна служить предупреждением всем, на все времена — на все поколения. Такова установка са-

мого Вождя — Бога-Власти. Куттыбаев же, взятый им на расследование, как раз из числа бывших военнопленных, причем, что чрезвычайно важно, в его деле есть очень нужная зацепка, очень актуальная деталь,— если удастся выбить у Куттыбаева признание на этот счет, пусть даже небольшой факт, то и это может пригодиться в большом деле, как гвоздок на своем месте,— послужить для разоблачения изначально предательских замыслов ревизионистской клики Тито — Ранковича, претендующей на особый путь развития Югославии без одобрения Сталина. Ишь, чего захотели! Давно ли кончилась война, а они уже отделяться решили. Не выйдет! Сталин развеет в прах эту идею и пустит ее по ветру. И совсем нелишне будет при этом доказать в очередной раз, пусть на малом факте, что предательские ревизионистские идеи зарождались в Югославии уже давно, еще в годы войны среди партизанских командиров, и что происходило это под прямым влиянием английских спецслужб. А в записках Абуталипа Куттыбаева есть воспоминания, как югославские партизаны встречались с англичанами, стало быть, есть все основания заставить его сказать то, что требуется сейчас. А раз так, необходимо добиться этого во что бы то ни стало. Расшибиться в лепешку, но заставить этого сарозекского писаку выложить все, что надо. Ведь в политике пригодно все, что летит в подветренную сторону. Каждая мелочь может пригодиться, может послужить камнем, брошенным во врага, чтобы добить его в идейной схватке. Отсюда возникает задача добыть тот камень, даже камушек, и, пусть символически, но как бы самолично, от сердца, вложить его, тот лишний камушек, в руку самого Бога-Власти, чтобы, если не сам Он, то поручил бы, кому следует, пульнуть тем камнем в прихвостней, как пишут в газетах, ненавистного ревизиониста Тито и его приспешника Ранковича. А не пригодится, скажут мелковат, все равно усердие зачтется... Глядишь, все, кто сидят сейчас за столом, окажутся и у него, будут сидеть вот так в его доме по отменному случаю. Ведь смысл жизни — в счастье, а успех — начало счастья.

Об этом думалось в тот званый вечер кречетоглазому Тансыкбаеву, и, сидя за столом и вроде бы по ходу разговоров перебрасываясь репликами с другими, он, как пловец в бурном потоке реки, плыл в тот час в нарастающей стремнине своих страстей и вожделений. И лишь жена его Айкумис, хорошо знавшая мужа, заметила, что с ним что-то происходит, что он готовится к чему-то, как ярый зверь, вышедший ночью на охоту и уже учуявший добычу. Она видела это по его глазам, немигающий, соколиный взор которых временами то леденел, то покрывался дымкой взволнованности. И поэтому она шепнула ему: «Отсюда уйдем вместе со всеми и только домой». Тансыкбаев нехотя кивнул в ответ. Не стал при людях возражать, хотя стоило бы. В его голове вызревал новый, более широкий план действий. Ведь вместе с Куттыбаевым в югославских партизанах побывало много других пленных, сегодня отсиживающихся по углам,— стало быть, они тоже могут что-то знать, что-то вспомнить, не так трудно заставить Куттыбаева назвать наиболее активных из них. Необходимо поднять материалы, завтра же надо сделать соответствующий запрос. Или же самому как можно скорее побывать в центре. И разобраться, раскопать и заставить Куттыбаева подтвердить нужное. А затем, на основе его показаний, предъявить обвинения бывшим военнопленным, воевавшим в Югославии, привлечь этих лиц заново к ответственности за недоносительство, за сокрытие при прохождении комиссии по депортации в Советский Союз предательских замыслов югославских ревизионистов. И людей такого сорта может обнаружиться не одна сотня и не одна тысяча, которых следовало бы — и надо подать эту идею, скорей всего в форме секретной записки — пропустить через



мельницу допросов, чтобы затем загнать эту публику в лагеря и на том положить конец...

При этой мысли, осенившей его за столом, уставленным всяческой снедью и коньячными рюмками, Тансыкбаев почувствовал подъем настроения, захотелось еще выпить, захотелось еще закусить, петь, тормошить соседей и смеяться от удовольствия и предощущения какого-то нового поворота в жизни. Он окинул сидящих благодарным взором таинственно засиявших глаз, ведь все присутствующие были свои, родные люди, одним миром мазанные и оттого столь приятные в ту минуту, и они не подозревали, эти родные люди, что присутствуют при моменте, когда у него рождаются великие идеи. Все это вызвало горячий прилив крови к голове и радостные, учащенные удары ликующего, звенящего сердца.

Возникший замысел заключал в себе вполне реальную перспективу повышения по службе. Получалось разумно и логично: чем больше вытравишь притаившихся врагов, тем больше выиграешь и сам. Такая перспектива окрыляла душу. И он подумал не без гордости: «Вот так устраивают умные люди свои дела! И я не остановлюсь на полпути, чего бы это ни стоило!» И захотелось немедленно действовать — тотчас вызвать машину из гаража и помчаться туда, в полуподвал с зарешеченными окнами, называемый следственным изолятором, где сидел Абуталип Куттыбаев, и сразу приняться за дело — допрашивать, не теряя времени, прямо там, в камере, да так допрашивать, чтобы душа у того от страха в кишках замирала. И никаких двусмысленностей насчет исхода дела; признает Куттыбаев вину, подтвердит англо-югославские задания, назовет всех, кто вместе с ним был в партизанах,— получит 58 статью с пунктом 1-«б» — 25 лет лагерей, а нет — расстрел за измену, за агентурное сотрудничество с иностранными спецслужбами и идеологически подрывную работу среди местного населения. Пусть крепко подумает.

Представляя себе, как все это будет происходить, Тансыкбаев многое предвидел наперед: и то, как сложится разговор на допросе, как будет упираться Куттыбаев и какие меры придется предпринять, чтобы сломить его, но он знал также, что все равно тот никуда не денется, выбора у него нет, если хочет жить. Конечно, будет упорно оправдываться, дескать, ни в чем не виновен, плен искупил с оружием в руках, воюя вместе с югославскими партизанами, был ранен, пролил кровь, по окончании войны прошел депортационную комиссию, после войны честно трудился и т. д. и т. п. Все это пустой разговор. Откуда Куттыбаеву знать, что он нужен не в этом, а совсем в ином качестве. И что в том качестве, в котором он требуется, он послужит началом целой акции по искоренению затаившихся врагов государства. Он нужен как первое звено, за которым потянется вся цепь. Что может быть выше государственных интересов? Иные думают — жизнь людская. Чудаки! Государство — это печь, которая горит только на одних дровах — на людских. А иначе эта печь заглохнет, потухнет. И надобности в ней не будет. Но те же люди не могут существовать без государства. Сами себе устраивают сожжение. А кочегары обязаны подавать дрова. И на том все стоит.

Философствуя обо всем этом, поскольку в партшколе когда-то кое-что слышал о классических учениях, сидя за столом рядом с женой, от которой, казалось бы, трудно укрыть мысли, успевая кивать и поддакивать соседям в общем разговоре, Тансыкбаев восхищался втайне тем, как чудесно устроен человек. Вот, к примеру, он сидит в компании, в званых гостях, делает вид, будто целиком и полностью поглощен значимостью этого момента, а сам думает совершенно о другом. Кто может представить, на что он нацелился, какие вызревают у

него планы?! Сознание того, что в нем, мирно сидящем за столом, таится нечто сокрушительное, неотвратимое, зависящее только от его воли, что пока никому не доступны его замыслы, скрытая сила которых, реализуясь, заставит людей ползать на коленях перед ним, а через него — и перед самим Богом-Властью, и что в этой связи он является одной из ступеней среди множества, и все-таки считанных, ступеней к устрашающему пьедесталу Бога-Власти, вызывало в нем физическое блаженство и нетерпение, как при виде вкусной еды или в иступленном предощущении совокупления. И от каждой следующей рюмки это возбуждение в нем все больше нарастало и завладевало им, растекаясь по телу истомой ускоряющихся кровотоков, и ему стоило немалых усилий сдерживаться, твердя себе, что он начнет осуществлять свой план не далее как завтра, что он все еще успеет.

Перебирая в уме детали предстоящего дела, Тансыкбаев испытывал чувство глубокого удовлетворения основательностью своих намерений, логичностью замысла. И все же было ощущение, что чего-то еще вроде не хватает, требовалось еще что-то додумать, и какие-то улики вроде остались еще не задействованы, не осмыслены в достаточной мере.

К примеру, что-то ведь таилось в записях Куттыбаева о манкурте. Манкурт! Оболваненный манкурт, убивший свою мать! Да, конечно, это старинная легенда, но что-то записывавший легенду Куттыбаев ведь имел в виду?! Не зря, не случайно он так старательно и подробно записал это сказание. Да, манкурт, манкурт .. Что же тут сокрыто, если иносказательное, то что именно? И главное, как собирался Куттыбаев использовать историю манкурта в своих подстрекательских целях, в какой форме, каким образом? Очень смутно угадывая в легенде о манкурте нечто идеологически подозрительное, Тансыкбаев, однако, еще не мог это категорически утверждать, не было полной уверенности, чтобы уличить наверняка. Вот если бы назвать эту легенду, как полагается в таких случаях, антинародной и за это привлечь к ответственности, но как? Здесь Тансыкбаеву не хватало компетентности, это он понимал. Надо бы обратиться к какому-нибудь ученому. Ведь вот с разоблачением буржуазных националистов, которое они сегодня обмывали, так все и было — обнаружили группировку, затем одни знатоки-ученые были выпущены на других с обвинениями в национализме, в воспевании прошлого в ущерб сталинской социалистической эпохе, и этого оказалось достаточно, чтобы мельница заработала круглыми сутками. И все-таки что-то да таилось в том, как тщательно Куттыбаев записывал историю манкурта. Требовалось еще раз внимательно вчитаться в каждое слово, и если обнаружится хотя бы малейшая зацепка, то и запись легенды использовать, приобщить к делу, вменить в вину.

Кроме того, среди бумаг Куттыбаева обнаружен текст еще одной легенды, под названием «Сарозекская казнь»,— из времен Чингисхана. Тансыкбаев не сразу обратил внимание на эту стародавнюю историю и только теперь призадумался. Ведь в ней, если поразмыслить, вроде бы можно усмотреть некий политический намек...

* * *

Идя походом на завоевание Запада, ведя за собой через великие азиатские пространства народ-армию, Чингисхан в сарозекских степях учинил казнь — предал повешению воина-сотника и молодую женщину-золотошвейку, вышивальщицу триумфальных шелковых знамен с огнедышащими драконами на полотнищах...

К тому времени большая часть Азии была уже под пятой Чингисхана, поделена на улусы между его сыновьями, внуками и полководцами. Теперь на очереди стояла участь краев за Итилем (Волгой), участь Европы.



В сарозекских степях была уже осень. После дружных дождей пополнились водой пересохшие за лето озерца и реки — значит будет чем поить коней в пути. Степная армада поспешала. Переход через сарозекские степи считался наиболее трудной частью похода.

Три армии — три тумена по десять тысяч воинов — двигались впереди, широко развернув фланги. О мощи туменов можно было судить по их поступи — по зависшей на многие версты по горизонту, как дым после степного пожара, пыли из-под копыт. Еще два тумена с запасными табунами, обозами и яловыми стадами на каждодневный убой следовали позади — в этом можно было убедиться, оглянувшись, —там тоже вилась пыль в полнеба. Были еще и другие боевые силы, которые нельзя было увидеть из-за их удаленности от этих мест. К ним надо было скакать несколько дней — то были правые и левые крылья, по три тумена в каждом крыле. Те войска двигались самостоятельно в сторону Итиля. К началу холодов предполагалась на берегу Итиля встреча в ханской ставке командующих всех одиннадцати туменов с тем, чтобы согласовать дальнейшие действия и двинуться по льду через Итиль в богатые и славные страны, о покорении которых грезил Чингисхан, грезили его полководцы и каждый всадник...

Так двигались войска в походе, не отвлекаясь, не задерживаясь, не теряя времени. И с ними в обозах были женщины, и в этом заключалась беда.

Сам Чингисхан с полутысячью стражников—кезегулов и свитой—жасаулами, сопровождавшими его в пути, находился в середине того движения, как плывущий остров. Но ехал он особняком — впереди них. Не любил Повелитель Четырех Сторон Света многолюдья возле себя, тем более в походе, когда следует больше молчать, смотреть вперед и думать о делах.

Под ним был любимый иноходец Хуба, прошедший у хана под седлом, быть может, полсвета, сбитый и гладкий, как галечный камень, могучий в груди и холке, белогривый и чернохвостый, с ровным, шелковым ходом. Два запасных коня, не менее выносливых и ходких, шли налегке в сияющей отделкой ханской сбруе, ведомые верховыми коноводами. Хан менял коней на ходу, как только лошадь начинала припотевать.

Но самым примечательным было не окружение Чингисхана — бесстрашные кезегулы и жасаулы, жизнь которых принадлежала Чингисхану больше, чем им самим,— на то они и отбирались, как лезвия клинков, один из ста,— и не их отменные верховые кони, редкостные, как самородки золота в природе. Нет, примечательным в том походе было совсем другое. Над головой Чингисхана всю дорогу, заслоняя его от солнца, плыло облако. Куда он — туда и облако. Белая тучка, величиной с большую юрту, следовала за ним, точно живое существо. И никому невдомек было — мало ли тучек в вышине,— что то есть знамение — так являло Небо свое благословение Повелителю миров. Однако сам он, Чингисхан, зная об этом, исподволь наблюдал за тем облаком и все больше убеждался, что это действительно знак воли Неба-Тенгри.

Появление облака было предсказано неким странствующим прорицателем, которому Чингисхан однажды дозволил приблизиться к себе. Тот чужеземец не пал ниц, не льстил, не пророчествовал в угоду. Он стоял перед грозным ликом степного завоевателя, восседавшего на троне в золотой юрте, с достойно поднятой головой, тощий, оборванный, с диковинно длинными волосами до плеч, точно женщи-

на с распущенными кудрями. Чужеземец был строг взглядом, внушительно бородат, смугл и сух чертами лица.

— Я пришел к тебе, великий хаган, сказать,— передал он через толмача-уйгура,— что волею Верховного Неба будет тебе особый знак с высоты.

Чингисхан на мгновение замер от неожиданности. Пришелец то ли не в своем уме, то ли не понимает, чем это для него может кончиться.

— Какой знак, и откуда тебе это известно? — едва сдерживая раздражение, хмуря лоб, поинтересовался всесильнейший.

— Откуда известно — не подлежит оглашению. А что касается знака, то скажу — над головой твоей будет являться облако и следовать за тобой.

— Облако?! — не скрывая изумления, воскликнул Чингисхан, резко вскидывая брови. И все вокруг невольно напряглись в ожидании взрыва ханского гнева. Губы толмача побелели от страха. Кара могла коснуться и его.

— Да, облако,— ответил прорицатель.— Оно будет перстом Верховного Неба, благословляющего твое высочайшее положение на земле. Но тебе надлежит беречь это облако, ибо, утратив его, ты утратишь свою могучую силу...

В золотой юрте наступила глухая пауза. Всего можно было ожидать от Чингисхана в тот миг, но вдруг ярость его взгляда приугасла, как догорающий в костре огонь. Преодолевая дикий порыв к расправе, он понял, что не следует воспринимать слова бродячего вещуна как вызывающую дерзость и тем более карать его, что тем самым он уронит свою ханскую честь. И Чингисхан сказал, пряча в жидких рыжеватых усах коварную улыбку:

— Допустим, Верховное Небо внушило тебе высказать эти слова. Допустим, я поверил. Но скажи мне, мудрейший чужеземец, как же я буду оберегать вольное облако в небе? Уж не погонщиков ли на крылатых конях послать туда, чтобы они стерегли то облако? Уж не взнуздать ли им его на всякий случай, как необъезженного коня?! Как мне уберечь небесное облако, гонимое ветром?

— А это уж твоя забота,— коротко ответил пришелец.

И опять все замерли, опять воцарилась мертвая тишина, и опять побелели губы толмача, и никто из находившихся в золотой юрте не посмел поднять глаза на несчастного прорицателя, обрекшего себя, то ли по глупости, то ли непонятно зачем, на верную гибель.

— Одарите его, и пусть идет,— глухо проронил Чингисхан, и слова его упали на души, как капли дождя на иссохшую землю.

Странный, нелепый случай этот вскоре забылся. И то правда, каких только чудаков не бывает на свете. Возомнил себя вещуном! Но сказать, что тот чужеземец просто из легкомыслия рисковал головой, было бы несправедливо. Ведь не мог он не понимать, на что идет. Что стоило ханским кезегулам тут же скрутить его и привязать к хвосту дикой лошади — предать за непочтительность и наглость позорной смерти. И однако же что-то сподвигнуло, что-то вдохновило того отчаянного пришельца, не дрогнув, предстать, как перед львом в пустыне, перед самым грозным и беспощадным властелином. Был ли то поступок безумца или это был действительно промысел Неба?

И когда уже все забылось в беге дней проходящих, незадачливый предсказатель вдруг припомнился Чингисхану — ровно через два года.

Целых два года ушло в империи на подготовку к Западному походу. Позднее Чингисхан убедился в том, что на его власть обретающем пути неудержимого расширения пределов империи эти два года были



самым деятельным периодом сбора сил и средств к мировому прорыву, к вожделенной цели его, к захвату тех земель и краев, овладев которыми, он мог по праву считать себя Властелином всех Четырех Сторон Света, всех дальних пределов мира, куда только способна была докатиться волна его несокрушимой конницы. К этой параноической идее, к неотвратимой жажде всевладычества и всемогущества сводилась в итоге жесточайшая суть степного властелина, его историческое предназначение. И потому вся жизнь его империи — всех подвластных улусов на огромных азиатских просторах, всего разноплеменного населения, усмирившегося под единой твердой рукой, всех имущих и обездоленных во всех городах и кочевьях и в конечном счете каждого человека, кем бы он ни был и чем бы он ни занимался, была целиком подчинена этой ненасытной вовеки, дьявольской страсти — все новых и новых завоеваний, все новых и новых покорений земель и народов. И потому поголовно все были заняты единым служением, все подчинялись единому замыслу — наращивания, накопления, совершенствования военной силы Чингисхана. И все, что можно было добыть из недр и изготовить для вооружения, вся живая, созидающая деятельность обращались на потребу нашествия, могучего рывка Чингисхана в Европу, к ее сказочно богатейшим городам, где каждого воина ждала обильная добыча, к ее густо-зеленым лесам и лугам с травостоем по брюхо лошади, где кумыс потечет рекой; отрада власти над миром коснется каждого, кто пойдет в поход под изрыгающими пламя драконовыми знаменами Чингисхана, и каждый усладится победой, как женщиной, заключающей в лоне своем высшую сладость. Идти, побеждать и покорять земли повелевал великий хаган, и тому предстояло быть....

Чингисхан был в высшей степени человеком дела, расчетливым и прозорливым. Готовясь к вторжению в Европу, он прикинул, предусмотрел все до мелочей. Через верных лазутчиков и перебежчиков, через купцов и пилигримов, через странствующих дервишей, через деловых китайцев, уйгуров, арабов и персов выведал все, что следовало знать для продвижения огромных воинских масс,— все наиболее удобные пути и переправы. Им были учтены нравы и обычаи, религии и занятия жителей тех мест, куда двигались его войска. Писать он не умел, и все это приходилось держать в уме, соотнося пользу и вред всего, что ждало его в походе. Только так могла быть достигнута слаженность в деле и, самое главное, неукоснительная, железная дисциплина, только так можно было рассчитывать на успех. Чингисхан не допускал никаких послаблений — никто и ничто не должны были быть помехой главной его цели — завоеванию Европы.

Именно тогда, продумывая свою стратегию, Чингисхан пришел к беспрецедентному в веках повелению — запрету деторождения в народе-армии. Дело в том, что жены и малые дети боевых конников обычно следовали за войском в семейных обозах, кочуя с армией с места на место. Традиция эта существовала издавна, диктовалась она жизненной необходимостью, ибо в нескончаемых междоусобицах враги нередко мстили друг другу, истребляя жен и детей, оставшихся на местах без защиты. Причем беременных женщин убивали в первую очередь, чтобы подсечь корень рода. Но жизнь со временем менялась. Прежде постоянно враждовавшие племена при Чингисхане все больше примирялись и объединялись под единым куполом великого государства.

В молодости, когда Чингисхан еще именовался Темучином, он немало повоевал с соседними племенами, и сам лютовал, и настрадался, и любимая жена его Бортэ была похищена при набеге меркитов и побывала в наложницах. Возымев власть, Чингисхан стал пресекать

междоусобицы со всей беспощадностью. Распри мешали ему править, подрывали силы государства.

Шли годы, и постепенно надобность в старой форме обозно-семейной жизни отпадала. Но самое главное — семья в обозе становилась бременем для армии, помехой мобильности в военных операциях широкого масштаба, особенно в наступлении и на переправах через водные препятствия. Отсюда и высочайшее указание степного властелина — категорически запретить женщинам, следующим в обозах за войском, рожать детей до победоносного завершения Западного похода. Это повеление сделано им было за полтора года до выступления. Он сказал тогда:

— Покорим западные страны, остановим коней, сойдем со стремян — и пусть тогда обозные женщины рожают, сколько хотят. А до этого мои уши не должны слышать вестей о родах в туменах...

Даже законы естества отвергал Чингисхан ради военных побед, кощунствуя над самой жизнью и над Богом. Он хотел и Бога поставить себе на службу, ибо зачатие есть весть от Бога.

И никто ни в народе, ни в армии не воспротивился и даже не помыслил воспротивиться насилию; к тому времени власть Чингисхана достигла такой невиданной силы и средоточия, что все беспрекословно подчинились неслыханному повелению на запрет деторождения, поскольку ослушание неизбежно каралось смертью...

Вот уже семнадцатый день, как Чингисхан, находясь в пути, в походе на Запад, испытывал особое, небывалое состояние духа. Внешне великий хаган держался, как и всегда, как подобало его особе,— строго, отчужденно, подобно соколу в часы покоя. Но в душе он ликовал, пел песни и сочинял стихи:

...Облачной ночью,
Юрту мою прикрытым дымником
Окружив, лежала стража моя
И усыпляла меня в дворцовой юрте моей.
Сегодня в пути хочу сказать благодарность:
Старейшая ночная стража моя
На ханский престол меня возвела!
В снежную бурю и мелкий дождь,
Пронизывающий до дрожи,
В проливной дождь и просто дождь
Вокруг походной юрты моей
Стояла, меня не тревожа,
И сердце мое успокаивала стража моя!
Сегодня в пути хочу сказать благодарность:
Крепкая ночная стража моя —
На престол меня возвела!..
Среди врагов, учинивших смуту,
Колчана из березовой коры
Еле слышный шорох услышав,
Без промедления бросалась бороться.
Бдительной ночной страже моей
Сегодня в пути хочу сказать благодарность.
Загривки люто вздыбив при луне,
Верная стая волков
Вожака обступает, выходя на охоту.
Так в набеге на Запад со мной
Неразлучна сивогривая стая моя.
Белые клыки моего трона всюду со мной...
Благодарность пою им в дороге...



Стихи эти, прозвучи они вслух, были бы неуместны в устах Чингисхана — ему ли было заниматься душеизлияниями! Но в пути, находясь с утра и до вечера в седле, он мог позволить себе и такую роскошь.

Главной причиной его душевного торжества было то, что вот уже семнадцатый день, с утра и до вечера, над головой Чингисхана плыло в небе белое облако — куда он, туда и оно. Сбылось-таки вещее предсказание прорицателя. Кто бы мог подумать! А ведь что стоило умертвить того чудака в тот же час за вызывающую непочтительность и дерзость, недопустимую даже в мыслях. Но странник не был убит. Значит, такова воля судьбы.

В первый же день выхода в поход, когда все тумены, обозы и стада двинулись на Запад, заполнив все пространство, подобно черным рекам в половодье, меняя в полдень на ходу притомившегося коня, Чингисхан случайно глянул ввысь, но не придал никакого значения небольшой белой тучке, медленно плывущей, а возможно, и замершей на месте как раз над его головой,— мало ли тучек слоняется по миру.

Он продолжал путь, сопровождаемый державшимися чуть поодаль кезегулами и жасаулами, занятый своими мыслями, озабоченно обозревая с седла округу, вглядываясь в движение многотысячного войска, послушно и рьяно идущего на покорение мира, настолько послушного его личной воле и настолько рьяного в исполнении его помыслов, как если бы то были не люди, среди которых каждый в душе желал быть таким же властным, как он, а пальцы его собственной руки, перебирающие поводья коня.

Вновь взглянув на небо и обнаружив то же самое облако над собой, Чингисхан опять не подумал ничего особенного. Нет, не подумал он, одержимый идеей мировых завоеваний, почему облако следует поверху в том же направлении, что и всадник внизу. Да и какая связь могла существовать между ними?

И никому из идущих в походе облако не бросилось в глаза, никому не было до него дела, никто и не предполагал, что средь бела дня свершилось чудо. Зачем было шарить взором в необозримой выси, когда требовалось глядеть под ноги. Войско шло себе, тянулось в походе, продвигаясь темной массой по дорогам, низинам и взгорьям, вздымая пыль из-под копыт и колес, оставляя позади пройденные расстояния, быть может, навсегда и необратимо. И все это с готовностью совершалось в угоду ханской мании и воле, и десятки тысяч людей с готовностью шли, гонимые и вдохновляемые им, жаждущим приращения славы, власти, земель.

Так они шли, и уже близился вечер. Предстояло разместиться на ночь там, где застигнет тьма, и с утра снова двинуться в путь.

Для ночлега хана и его свиты обслуживающие их чербии заблаговременно соорудили дворцовые юрты. Они уже виднелись далеко впереди белыми куполами. Ханское знамя — черное полотнище с ярко-красной каймой и огненным, шитым шелком и золотыми нитями драконом, изрыгающим пламя из пасти,— уже развевалось на ветру возле главной дворцовой юрты. Не спуская глаз с дороги, кезегулы — отборные и мрачные силачи — стояли наготове в ожидании повелителя. Здесь предстояла общая вечерняя трапеза, здесь же после еды Чингисхан собирался провести первую встречу с войсковыми нойонами, чтобы обсудить результаты первого дня похода и планы на следующий. Успех начала великого движения настраивал Чингисхана на общительный лад — он не прочь был устроить в тот вечер пир для

нойонов, послушать их речи и самому высказать повеления и то, что он соизволит изречь, когда все и каждый станут сгустком внимания, будто сгустившееся цельное молоко, будет сказано для всех Четырех Сторон Света, скоро все Стороны Света будут покорно внимать его слову, для этого он и ведет войска — для утверждения слова своего. А слово — это вечная сила.

Но пиршество Чингисхан затем отменил. Смятение души потребовало полного уединения. И вот почему...

Приближаясь к месту привала, Чингисхан снова обратил внимание на знакомое облако над головой — уже в третий раз. И тут только сердце его екнуло. Пораженный невероятной догадкой, он похолодел, и земля поплыла у него перед глазами — он едва успел схватиться за гриву коня. Такого с ним никогда не случалось, ибо ничто из сущего на темногрудой Земле Этутен, незыблемой основе мира, дарованной Небом для житья и владычества, не могло ошеломить его настолько, чтобы он ахнул от неожиданности; казалось, все было изведано, ничто на свете не могло уже поразить его жестокий ум, восхитить или опечалить его заматеревшую в кровавых делах душу, никогда не случалось, чтобы он, уронив свое ханское достоинство, испуганно вцепляся в гриву коня, как какая-то баба. Такого не могло и не должно было быть, поскольку давно уже, можно сказать, с ранних лет, с тех пор, как он пристрелил из лука своего единокровного братца отрока Бектера, повздорив с ним из-за выловленной рыбешки, а на самом деле уловив рано проснувшимся волчьим чутьем, что им в одном седле судьбы не усидеть,— с тех пор убедился он, постигнув устроение жизни самым верным, безошибочным способом — попранием силой, что нет и не может быть ничего такого, что не покорилось бы силе, что не пало бы на колени, не померкло бы, не сокрушилось бы в прах под напором грубой мощи, будь то камень, огонь, вода, дерево, зверь или птица, не говоря уж о грешном человеке. Когда сила силу ломит, удивительное становится ничтожным, а прекрасное — жалким. Отсюда устоялся вывод: все, что попирается, то ничтожно, а все, что простирается ниц,— заслуживает снисхождения в меру прихоти снисходящего. И на том мир стоит...

Но совсем иное дело, когда речь о Небе, олицетворяющем Вечность и Бесконечность, о которых толкуют подчас гималайские странники, бродячие книжники. Да, лишь Оно, непостижимое Небо, было ему неподвластно, неуловимо и недоступно. Перед Небом-Тенгри он и сам был никем—ни восстать, ни устрашить, ни двинуться походом. И оставалось только молиться и поклоняться Небу-Тенгри, ведающему земными судьбами и, как утверждали гималайские книжники, движением миров. А потому, как и всякий смертный, в искренних заверениях и жертвоприношениях умолял он Небо благоволить к нему и покровительствовать ему, помочь твердо владеть людским миром, и, если таких подлунных миров, как утверждают бродячие мудрецы, великие множества во Вселенной, то что стоит Небу отдать земной мир ему, Чингисхану, в полное и безраздельное господство, во владение его роду из колена в колено, ибо есть ли на свете более могущественный и достойный среди людей, нежели он; нет такого, кто превосходил бы его в силе, чтобы править всеми Четырьмя Сторонами Света. В тайных помыслах своих он все больше верил, что имеет особое право просить у Верховного Неба того, чего никто не осмеливался просить,— безграничного владычества над народами,— ведь должен кто-то один быть правителем, так пусть будет тот, кто сумеет покорить силой других. В своей безграничной милости Небо не чинило ему помех в его завоеваниях, в приращении господства, и, чем дальше, тем больше укреплялся он в уверенности, что у Неба он на особом счету, что верховные силы Неба, неведомые людям, на его стороне. Все ему сходило с рук, а ведь какие только яростные проклятия не призывались на его голову из уст вопиющих во всех краях, где прошелся он огнем и мечом, но ни одно из этих жалких проклятий никак не сказалось на его все возрастающем величии и всеустрашающей славе. Наоборот, чем больше его проклинали, тем больше пренебрегал он стонами и жалобами, обращенными к Небесам. И однако же бывали случаи, когда нет-нет, да и закрадывались в душу тяжкие сомнения и опасения, как бы не прогневить Небо, как бы не навлечь на себя небесные кары. И тогда великий хан замирал на некоторое время, подавлял себя в себе, давал подданным слегка передохнуть и готов был принять справедливый укор Неба и даже покаяться. Но Небо не гневалось, ничем не проявляло своего недовольства и не лишало его своей безграничной милости. И он, как в азартной игре, все больше шел на риск, на вызов тому, что считалось небесной справедливостью, испытывал терпение Неба. И Небо терпело! И из этого он делал вывод, что ему все дозволено. И с годами укреплялся в уверенности, что он и есть избранник Неба, что он и есть Сын Неба.



И не потому уверовал он в то, во что уверовать можно лишь в сказках, что на великих празднествах певцы верховые, разъезжая перед толпами, слагали песни, именуя его Небом Рожденным, и тысячи рук, ликуя, воздевались к Небу при этом — то была низкая людская лесть. А заключал он из собственного опыта — Божественное Небо покровительствует ему во всех делах потому, что он отвечает помыслам самого Неба-Тенгри, иначе говоря, он — проводник воли Верховного Неба на земле. А Небо, как и он, признает только силу, только проявления силы, только носителя силы, коим он себя и почитал...

Иначе чем было бы объяснить то, что порой дивило и его самого,— стремительное восхождение, подобное взмывающему соколу, к высотам грозной и головокружительной славы, к повелительству миром мальчишки-сироты из обедневшего рода мелких аратов-киятов, что жили испокон века охотой да скотоводством. Как могло случиться такое небывалое в истории овладение гигантской властью—ведь, в лучшем случае, жизнь могла бы уготовить отчаянному сироте судьбу лихого налетчика-конокрада, кем он и был поначалу. Гадать не приходилось — без промысла Неба-Тенгри однолошадного Темучина никогда не осенило бы знамя с золотыми, огнеизрыгающими драконами, и никогда бы не именоваться ему Чингисханом и не восседать под куполом Золотой юрты!..

И вот подтверждение тому, что все именно так, вот явилось неопровержимое свидетельство, наглядное доказательство Небесного благорасположения к хагану Азии! Вот оно перед взором, чудесное облако, заведомо предсказанное бродячим прорицателем, который чуть было не поплатился головой за свое юродство. Но слова его сбылись! Белое облако — послание Неба Небесному Сыну, знак одобрения и благословения, провозвестник великих грядущих побед.

Никому из многих тысяч людей в походе не приходило в голову, что может быть такое чудо, и никто не замечал попутного белого облака, никому не приходило в голову, откуда оно и зачем оно. Разве кто следит за вольными облаками?.. И лишь он, великий хаган, возглавляющий степную армаду и ведущий ее на новое покорение мира, понял великий смысл появления белого облачка и был поражен невероятной догадкой, и то верил, то не верил в возможность такого неслыханного явления. Им овладевали тягостные сомнения — стоит делиться своими наблюдениями и мыслями или не стоит. А что если он раскроется, поделится тайной, а облако возьмет да исчезнет в мгно-

вение ока? Не подумают ли люди, что он выжил из ума? Потом он снова укреплялся духом и верил, что это облако не праздное, что оно не исчезнет вдруг, что оно ниспослано Небом как знак, и тогда его охватывала радость, ощущение могучей окрыленности, веры в свою прозорливость, в безошибочность предпринятого им похода на завоевание Запада, и он еще больше утверждался в намерении мечом и огнем создать вожделенную мировую империю. С чем и шел. То и было извечной страстью ненасытного владычества. Чем больше имел, тем больше хотелось...

И потекли дни похода.

А белое облако в вышине, никуда не отклоняясь, плавно плыло перед взором Чингисхана, восседавшего на своем знаменитом иноходце Хубе. Грива белая, а хвост черный, таким уродился. Знатоки утверждали, что такой конь появляется под особой звездой один раз в тысячу лет. То был поистине непревзойденный ходок, не скакун, а неутомимый ходок. Хуба шел иноходью, в постоянно напряженном темпе, как зарядивший ливень, проливаясь на землю горячим дыханием. Не будь удил, такой конь готов иссякнуть в горячем усердии, иссякнуть до капли, как пролившийся дождь. В старину один певец сказал: на таком коне человеку верится, что он бессмертен...

Доволен, счастлив был Чингисхан. Ощущая в себе небывалый прилив сил, он жаждал действовать, мчаться к цели, точно сам был неутомимым иноходцем, точно сам стелился в размеренном неиссякаемом беге, точно слился, как сливаются реки, телом и духом с бушующим круговоротом крови бегущего коня.

Да, седок и конь были под стать друг другу,— сила с силой перекликались. И оттого посадка седока походила на соколиную позу. Ступени плотно сидящего в седле коренастого, бронзолицего всадника упирались в стремена вызывающе горделиво и уверенно. Он сидел на коне, как на троне, прямо, с высоко поднятой головой, с печатью каменного спокойствия на скуластом узкоглазом лице. От него исходила сила и воля великого владыки, ведущего несметное войско к славе и победам...

И особой причиной вдохновенного состояния Чингисхана было белое облако над его головой как символ, как венец великой предназначенности. И все в этом смысле соотносилось одно с другим. Облако... Небо... Впереди же по ходу движения развевалось в руках знаменосца походное знамя, которое было всегда там, где находился Чингисхан. Их было трое при знамени, трое знаменосцев, внушительных и гордых доверенным им исключительно почетным делом. Все трое как на подбор — на одинаковых вороных конях. В середине — держащий древко, а по сторонам с пиками наперевес — его сопровождающие. Осеняя путь хагана, шитое шелком и золотом черное полотнище трепетало на ветру, и вышитый на нем дракон, исторгавший яркое пламя из пасти, казался живым. Дракон был в летучем прыжке, и глаза его, всевидящие во гневе, выпученные, как у верблюда, метались вместе с полотнищем по сторонам, точно и в самом деле живые...

С раннего утра неутомимый хаган с седла руководил походом. К нему с разных сторон скакали нойоны с донесениями и, получив указания на ходу, возвращались от него галопом на свои места в движущемся войске. Надо было поспешать, чтобы до предзимних дождей и распутицы достигнуть главного препятствия в походе — берегов великой реки Итиль — с тем, чтобы, дождавшись холодов, переправиться по ледяной тверди и двинуться дальше к заветной цели, к покорению Запада.



До позднего вечера длился поход. Предсумеречная степь простиралась в пологих лучах заходящего солнца так далеко, как только можно было представить себе обширность зримого мира. И в том озаренном пространстве, окрашенном рдеющим солнцем, уже наполовину ушедшим за горизонт, двигались на закате колонны, тысячи конников, каждое войско в своих пределах, и все уходили в сторону заходящего солнца, напоминая издали течение черных рек, затуманенных мглой.

Натруженные спины коней отдыхали от седел и всадников лишь по ночам, когда войско останавливалось на ночлег.

Но рано утром на привалах снова гремели добулбасы — огромные барабаны из воловьих кож, понуждая армию к возобновлению похода. Всколыхнуть ото сна десятки тысяч людей не так просто. И побудчики усердствовали — несмолкаемый грохот добулбасов разносился окрест тяжким рокотом по всем лагерям и стоянкам.

К тому часу хаган уже бодрствовал. Он просыпался едва ли не первым и, прохаживаясь возле дворцовой юрты светлыми еще осенними утрами, сосредоточивался в себе, обдумывал мысли, набежавшие за ночь, отдавал указания и между делом внимательно вслушивался в гул барабанов, поднимающих войско в седла и на колеса. Начинался очередной день, умножались голоса, движения, звуки, заново начинался прерванный на ночь поход.

И гремели барабаны. Их утренний гул был не только сигналом к подъему, но заключал в себе и нечто большее. Так понукал Чингисхан каждого, кто шел вместе с ним в великом походе,— то было напоминанием взыскующего и непреклонного повелителя, врывающегося грохотом барабанов, точно в закрытые двери, в сознание просыпающихся, опережая тем самым какие бы то ни было иные мысли, нежели те, что исходили от него, навязывались им, его волей, ибо во сне люди не подвластны ни чужой, ни собственной воле, ибо сон — дурная, зряшная, опасная свобода, прерывать которую необходимо с первых мгновений возврата ото сна, вторгаться решительно и грубо, чтобы вернуть их, очнувшихся, снова в явь — к служению, к беспрекословному подчинению, к действиям.

Похожий на бычий рык тяжкий гул барабанов всякий раз вызывал в Чингисхане холодок, связанный с давним воспоминанием: в отрочестве, когда поблизости от него ярились два сцепившихся быка, дико мыча, вскидывая копытами щебень и пыль, он, завороженный их ревом, сам не помнит, как схватил боевой лук и пронзил стрелой задремавшего единокровного братца Бектера, поссорившегося с ним из-за рыбки, выловленной в реке. Бектер дико вскричал, вскочил и снова повалился наземь, обливаясь кровью, а он, Темучин, да, тогда он был всего лишь Темучином, сиротой рано умершего Есугай-баатура, в испуге побежал на гору, взвалив на плечи добулбас, лежавший возле юрты. Там, на горе, он стал бить в барабан, долго и монотонно, а мать его, Аголен, кричала и выла внизу, рвала на себе волосы, проклиная братоубийцу. Потом сбежались другие люди, и все что-то кричали ему, размахивая руками, но он ничего не слышал, упорно колотя в барабан. И никто к нему не подступился почему-то. Он просидел на горе до рассвета, колотя в добулбас...

Мощный гул сотен добулбасов теперь был его боевым кличем, его яростным рыком, его неустрашимостью и свирепостью, его сигналом ко всем, идущим с ним в походе,— внимать, подниматься, действовать, двигаться к цели, к покорению мира. И они пойдут за ним до предела — есть же где-то предел горизонту, и все, что существует на земле,— все люди и твари, обладающие слухом, будут внимать его боевым барабанам, внутренне содрогаясь. И даже тучка белая, с недавних пор

неразлучная свидетельница его скрытых дум, не уклоняясь, плавно кружит над головой под утренний бой барабанов. Порывистый ветерок шелестит имперским знаменем с расшитым, похожим на живого, огнедышащим драконом. Вот дракон бежит на ветру по полотнищу, изрыгая яркое пламя из пасти...

Хорошие утра выдавались в эти дни.

И по ночам, на сон грядущий, выходил Чингисхан глянуть на округу. Всюду в пустынных просторах горели костры, полыхая вблизи и мерцая вдали. По боевым лагерям и обозным таборам, на стоянках погонщиков табунов и стад стелились белесые дымы, люди в тот час, употевая, глотали похлебку и наедались вдосталь мяса. Запах мясной варенины, извлекаемой огромными кусками из котлов, привлекал голодное степное зверье. То там, то тут поблескивали во тьме лихорадочные глаза и доносилось до слуха заунывное подвывание несчастных тварей.

Армия между тем быстро впадала в мертвецкий сон. Лишь оклики ночных дозоров, объезжавших войско на привале, свидетельствовали, что и ночью жизнь шла по строго заведенному порядку. Так и полагалось быть тому—всему свое предназначение, обращенное в конечном счете к единой и высшей цели — неукоснительному и безраздельному служению мирозахватнической идее Чингисхана. В такие минуты, пьянея душой, он постигал собственную суть — суть сверхчеловека — неистребимую, одержимую жажду власти, тем большую, чем большей властью он владел, и отсюда вытекал с неизбежностью абсолютный вывод — потребно лишь то, что соответствовало его власть прибавляющей цели, а то, что не отвечало ей,— не имело права на бытие.

Поэтому и свершилась сарозекская казнь, предание о которой спустя многие времена записал Абуталип Куттыбаев на беду свою...

В одну из ночей на привале конный дозор объезжал расположение войск правого тумена. За пределами боевых лагерей находились стоянки обозов, погонщиков стад и разного рода подсобных служб. Дозор заглянул и в эти места. Все было в порядке. Истомленные переходом, люди спали всюду вповалку — в юртах, в шатрах, а многие под открытым небом у догорающих костров. Тихо было вокруг, и все юрты темны. Конный дозор уже завершал свой досмотр. Их было трое — дозорных. Придерживая коней, они о чем-то говорили между собой. Тот, кто был за старшего,— рослый всадник в шапке сотника — негромко распорядился:

— Ну, все. Вы езжайте, подремлите. А я погляжу еще тут.

Двое верховых удалились. А тот, что остался, тот сотник, сначала внимательно огляделся вокруг, прислушался, потом слез с коня и, ведя его в поводу, пошел мимо скопления обозов и походных мастерских, мимо распряженных повозок шорников, швей и оружейников в сторону одинокой юрты на самой обочине табора. И пока он шел, задумчиво склонив голову и прислушиваясь к звукам, лунный свет, льющийся с выси, смутно высветлял очертания его крупного лица и туманно поблескивающие большие глаза коня, послушно следовавшего за ним.

Сотник Эрдене приближался к юрте, где, должно быть, его ждали. Из юрты вышла женщина в накинутом платке и остановилась, ожидая, возле входа.

— Самбайну [1],— приглушая голос, поприветствовал он женщину.— Ну, как дела? — спросил он с беспокойством.

[1] Самбайну — здравствуй (*монг.*).



— Все в порядке, все хорошо обошлось, хвала Небу. Теперь уж не тревожься,— зашептала женщина.— Она тебя очень ждет. Слышишь, очень ждет.

— Да я и сам рвался душой! — ответил сотник Эрдене.— Но, как назло, нойон наш решил пересчетом коней заняться. Все три дня никак не мог вырваться, в табунах пропадал.

— Ой, да ты не мучься, Эрдене. Что бы ты тут делал, когда такое случилось? Зачем бы тут на глаза попадался? — Женщина успокоительно покачала головой и добавила: — Самое главное — что благополучно, так легко разродилась. Ни разу даже не вскрикнула, вытерпела. А утром я ее в крытую повозку устроила. И как ни в чем не бывало. Такая она у тебя славная. Ой, что ж это я! — спохватилась встречавшая. — Сокол, прилетевший к тебе на руку, да будет всегда с тобой! — поздравила она.— Имя придумай сыночку!

— Пусть Небо услышит твои слова, Алтун! Мы с Догуланг век будем тебе благодарны,— поблагодарил сотник.— А имя придумаем, за этим дело не станет.

Он передал женщине поводья коня.

— Не беспокойся, сколько надо, столько постерегу, как всегда,— заверила Алтун.— Иди, иди, Догуланг тебя очень ждет.

Сотник выждал немного, как бы собираясь с духом, потом подошел к юрте, приоткрыл тяжелый плотный войлочный полог и, пригнувшись, вступил вовнутрь. В середине юрты горел небольшой очажок, и в его слабом, блеклом отсвете он увидел ее, свою Догуланг, сидящую в глубине жилища, накинув на плечи куную шубу. Правой рукой она слегка покачивала колыбель, покрытую стеганым одеялом.

— Эрдене! Я здесь,— негромко отозвалась она на появление сотника.— Мы здесь,— улыбаясь и смущаясь, поправилась она.

Сотник быстро отстегнул колчан, лук, клинок в ножнах, оставил оружие у входа и подошел к женщине, протягивая руки. Он опустился на колени, и лица их соприкоснулись. Они обнялись, положив головы на плечи друг другу. И замерли в объятиях. И на том мир как бы замкнулся для них под куполом юрты. Все, что оставалось за пределами этого походного жилища, утратило свою реальность. Реальны были только они вдвоем, только то, что их объединяло в порыве, и крохотное существо в колыбели, которое явилось на свет три дня тому назад.

Эрдене первым разомкнул уста:

— Ну, как ты? Как чувствуешь себя? — спросил он, едва сдерживая учащенное дыхание.— Я так беспокоился.

— Теперь уже все позади,— отвечала женщина, улыбаясь в полутьме.— Не об этом думай. О нем спроси, о нашем сыночке. Он такой крепенький оказался. Так сильно сосет мою грудь. Он очень похож на тебя. И Алтун говорит, что очень похож.

— Покажи мне его, Догуланг. Дай взглянуть!

Догуланг отстранилась и прежде, чем приоткрыть одеяло над колыбелью, прислушалась, невольно настораживаясь, к звукам снаружи. Все было тихо вокруг.

Сотник долго смотрел, силясь угадать свои черты в ничего не выражающем пока личике спящего младенца. Вглядываясь в новорожденного, затаив дыхание, он, может быть, впервые постигал божественную суть появления на свет потомства как замысел вечности. Потому, наверное, и сказал, взвешивая каждое слово:

— Вот теперь я всегда буду с тобой, Догуланг, всегда с тобой, даже если что со мной и случится. Потому что у тебя мой сын.

— Ты — со мной? Если бы! — горестно усмехнулась женщина.— Ты хочешь сказать, что малыш — твое второе воплощение, как у Буд-

ды. Я об этом подумала, кормя его грудью. Я держала его на руках, ребенка, которого не было еще три дня назад, и говорила себе, что это ты в новом своем воплощении. И ты об этом подумал сейчас?

— Подумал. Только не совсем так. С Буддой не могу себя сравнивать.

— Можешь не сравнивать. Ты не Будда, ты мой дракон. Я тебя с драконом сравниваю,— ласково прошептала Догуланг.— Я вышиваю на знаменах драконов. Никто не знает — это все ты. На всех знаменах моих — это ты. Бывает, и во сне его вижу, во сне вышиваю дракона, он оживает, и, ты только не смейся, я обнимаю его во сне, и мы соединяемся, и мы летим, дракон меня уносит, и я с ним улетаю, и в самое сладкое мгновение оказывается — это ты. Ты со мной во сне — то дракон, то человек. И, просыпаясь, я не знаю, чему верить. Я ведь тебе, Эрдене, и прежде говорила — ты мой огненный дракон. И я не шутила. Так оно и было. Это я тебя, твое воплощение в драконе, вышиваю на знаменах. И теперь, выходит, я родила от дракона.

— Пусть будет так, как тебе любо. Но, ты послушай, Догуланг, что я тебе хочу сказать.— Сотник помолчал и молвил затем: — Вот теперь, когда у нас родился ребенок, надо думать, как нам быть. И об этом мы сейчас поговорим. Но раньше я хочу сказать, чтобы ты знала, да ты и так знаешь, но все равно скажу: я всегда тосковал и всегда тоскую по тебе. И самое страшное, чего я боюсь,— не голову потерять в бою, а тоску свою потерять, лишиться ее. Я все время думал, уходя с войсками то в одну, то в другую сторону, как отделить от себя свою тоску, чтобы она не погибла вместе со мной, а осталась бы при тебе. И я ничего не мог придумать, но мне мечталось, чтобы тоска моя превратилась или в птицу, или, может быть, в зверя, во что-то такое живое, чтобы я мог передать тебе это в руки и сказать — вот возьми, это моя тоска, и пусть она будет всегда с тобой. И тогда мне не страшно погибнуть. И теперь я понимаю — мой сын родился от моей тоски по тебе. И теперь он всегда будет с тобой.

— Но мы еще не дали ему имени. Ты придумал ему имя? — спросила женщина.

— Да,— ответил сотник.— Если ты согласишься, назовем его хорошим именем — Кунан!

— Кунан!

— Да.

— А что, очень хорошо. Кунан! Молодой скакун.

— Да. Конь-трехлетка. В самом восходе сил. И грива, как буря, и копыта, как свинец.

Догуланг склонилась над младенцем:

— Послушай, отец твой скажет имя твое!

И сотник Эрдене сказал:

— Имя твое — Кунан. Слышишь, сынок? Имя твое Кунан. Воистину так.

Они помолчали, невольно поддаваясь значимости момента. Ночь была тиха, лишь в таборе по соседству беззлобно взлаяла собака, да донеслось издали протяжное ржание — быть может, вспомнилась средь ночи коню родина в горах, быстрые реки, густые травы, солнечный свет на спинах коней... Младенец же, обретший имя, безмятежно спал, и судьба его младенческая пока еще спала рядом с ним. Но скоро ей предстояло спохватиться.

— Я подумал не только об имени нашего ребенка,— нарушил молчание сотник Эрдене и, оглаживая усы крепкой ладонью, сказал со вздохом,— я подумал и о другом, Догуланг. Сама понимаешь, тебе с младенцем оставаться здесь нельзя. Надо побыстрей уходить.

— Уходить?



— Да, Догуланг, уходить, и чем быстрее, тем лучше.

— Я тоже думала, но куда уходить и как уходить? А как же ты?

— Сейчас я тебе скажу. Мы уйдем вместе.

— Вместе? Это же невозможно, Эрдене!

— Только вместе. А разве может быть по-другому?

— Но ты подумай, что ты говоришь, ты, сотник правого тумена!

— Я уже думал, крепко думал.

— Но куда ты уйдешь от руки хагана, такого места нет на свете! Эрдене, опомнись!

— Я уже все продумал. Выслушай меня спокойнее. Мы не скрылись поначалу, когда еще можно было, когда еще стояли мы в городах многолюдных, с базарами и бродягами. Не зря я тебе говорил в те дни, Догуланг: обрядимся в тряпье чужеземцев, прибьемся к странникам и уйдем скитаться по свету.

— По какому свету, Эрдене? — с горечью воскликнула вышивальщица.— Где для нас такой край, чтобы жить самим по себе? От Бога легче уйти, чем от хагана. Потому мы и не решились, сам понимаешь. Да и кто из войска мог бы решиться на такое. Вот и остались мы с тайной своей между страхом и любовью — ты не мог уйти из войска, тебе это стоило бы головы, я не могла уйти от тебя, мне это стоило бы счастья. И вот мы не одни. С сыночком.

Они тягостно умолкли в нахлынувшей тревоге. И тогда сотник сказал:

— Бывает, люди бегут от позора, от бесчестья, от расплаты за измену: бегут, только бы спастись. Нам придется бежать оттого, что судьба послала нам дитя, но платить придется той же ценой. Ждать пощады не приходится. Хаган от своего повеления никогда не отступится. Надо уходить, Догуланг, пока не поздно, другого выхода нет. Не качай головой. Другого выхода нет. Счастье и несчастье растут из одного корня. Было счастье, не побоимся теперь беды. Надо уходить.

— Я тебя понимаю, Эрдене,— тихо проговорила женщина.— Ты прав, конечно. Только я вот думаю, что лучше — умереть или остаться жить. Я не о себе. Я с тобой так счастлива, я говорила себе: если надо, умру, только не посмею убить то, что пришло ко мне от тебя. Глупая я или умная, но не поднялась моя рука...

— Не терзайся, не надо, ты не должна так терзаться — жить или не жить! Мы не хотели жертвовать тем, кто еще не народился. Теперь он родился. Теперь надо жить ради него. Убежать и жить. Мы оба хотели сына.

— Я не о себе. Я о другом. Можешь ли ты мне сказать, если меня казнят,— оставят ли в живых тебя и твоего сыночка?

— Не надо так. Не унижай меня, Догуланг. Разве об этом речь. Ты лучше скажи, как ты чувствуешь себя. Сможешь ли ты отправиться в путь? Ты поедешь в повозке с Алтун, она с тобой, она готова. Я буду рядом верхом, чтобы в случае чего отбиваться...

— Как скажешь,— коротко ответила вышивальщица.— Лишь бы с тобой! Быть рядом...

Опустив головы у колыбели, они снова затихли.

— А скажи,— промолвила Догуланг,— говорят, что скоро войско выйдет к берегам Жаика [1]. Алтун слышала от людей.

— Пожалуй, через два дня, осталось не так много. А к пойменным местам уже завтра подойдем. Предлесья начнутся, кусты да чащи, а там и Жаик.

— Что, большая, глубокая река?

— Самая великая на пути к Итилю.

— И глубокая?

[1] Жаик, Яик — река Урал.

— Не всякий конь сможет переплыть, особенно где стремнина. А по рукавам — там мельче.

— Значит, глубокая, и течение плавное?

— Спокойная, как зеркало, а есть где и побыстрей. Ты же знаешь, детство мое прошло в жаикских степях — отсюда мы родом. И наши песни все от Жаика. Лунными ночами поются наши песни.

— Я помню,— задумчиво отозвалась вышивальщица.— Ты как-то спел мне песню, до сих пор не могу забыть, песню девушки, разлученной с любимым, она утопилась в Жаике.

— Это старинная песня.

— У меня мечта, Эрдене, хочу сделать такую вышивку на белом шелковом полотне: вода уже сомкнулась, только легкие волны, а вокруг растения, птицы, бабочки, но девушки уже нет, не вынесла она горя. Чтобы, кто увидал эту вышивку, тому печальная песня слышалась над печальной рекой.

— Через день ты увидишь эту реку. Слушай меня внимательно, Догуланг. Ты должна быть готова к завтрашней ночи. Как только я появлюсь с запасным конем, так тут же ты должна выйти с колыбелью, в любой час. Медлить нельзя. Теперь медлить нельзя. Я бы сегодня, сейчас увез бы вас куда глаза глядят. Но кругом степь открытая, нигде не схоронишься, не утаишься, кругом как на ладони, и ночи пошли лунные. А с повозкой по степи от конной погони далеко не ускачешь. Но дальше, к Жаику, начнутся места зарослевые, там все по-иному пойдет...

Они еще долго переговаривались, то умолкая вдруг, то снова принимаясь обсуждать, что им предстоит в преддверии неведомой судьбы грядущей, теперь уже судьбы на троих, с народившимся младенцем. И малыш не заставил себя ждать, чуть погодя зашевелился, кряхтя, в колыбели и заплакал, попискивая скулящим щенком. Догуланг быстро взяла его на руки и, смущаясь с непривычки, полуотвернувшись, приложила его к груди, столь знакомой сотнику, неисчислимо раз целованной им в горячем порыве, гладкой и белеющей груди, которую он сравнивал про себя с округлой спинкой притаившейся уточки. Теперь все предстало в новом свете материнства. И сотник просиял взором от удивления и восхищения и, подумав о чем-то, покрутил молча головой,— сколько пришлось пережить в последние дни, и вот свершилось то, что и должно было свершиться в отмеренный природой срок: он — отец, Догуланг — мать, у них — сынок, мать кормит дитя молоком... Тому и положено быть изначально. Трава родится от травы, и тому воля природы, твари рождаются от тварей, и тому воля природы, и только прихоть человека может встать поперек естества...

Младенец, чмокая, сосал грудь, младенец насыщался, ублажаемый грудью-уточкой.

— Ой, щекотно,— радостно засмеялась Догуланг.— Вот ведь какой шустрый оказался. Прилип и не оторвешь,— приговаривала она, как бы оправдываясь за свой счастливый смех.— А правда, он очень похож на тебя, наш Кунан. Наш маленький дракон, сын большого дракона! Вот он открыл глазки! Посмотри, посмотри, Эрдене, и глаза твои, и нос такой же, и губы точь в точь...

— Похож, конечно, очень похож,— охотно соглашался сотник.— Узнаю кого-то, очень даже узнаю.

— То есть, как кого-то? — удивлялась Догуланг.

— Ну себя, конечно, себя!

— А вот возьми, подержи его на руках. Такой живой комочек. Легкий такой. Как будто зайчика держишь.

Сотник робко принял дитя — сила и весомость его собственных рук оказались в ту минуту излишними, неуместными, и, не зная, как ему быть, как приспособить свои ладони к беззащитному тельцу младенца, он осторожно прижал, вернее, приблизил его к сердцу и, подыскивая сравнение неизведанному доселе ощущению нежности, счастливо улыбаясь тому, что открылось ему в то мгновение, растроганно сказал:



— Ты знаешь, Догуланг, это не зайчонок, это мое сердце в моих руках.

Малыш вскоре заснул. Сотнику же пора было возвращаться на свое место в войске.

Глубокой ночью, выйдя из юрты возлюбленной, сотник Эрдене взглянул на луну, набравшую над сонными сарозеками сияющую силу свечения, и ощутил полное одиночество. Не хотелось уходить, хотелось снова вернуться к Догуланг, к сыну. Таинственные звенящие звуки бездонной степной ночи заворожили сотника. Нечто непостижимое, зловещее открывалось ему в том, что, будучи вовлеченными судьбой в деяния великого хагана, идя вместе с ним в поход на Запад, служа ему, они же подвергались опасности — в любой момент неотвратимая его кара за рождение ребенка могла сокрушить их. Стало быть, в том, что их связывало с Повелителем Четырех Сторон Света, было нечто противоестественное, отныне несовместимое с их собственной жизнью, взаимоисключающее, и вывод напрашивался один — уходить, обретать свободу, спасать жизнь ребенка...

Вскоре он разыскал неподалеку прислужницу Алтун, которая все это время стерегла его коня, скармливая ему зерно из походной сумы.

— Ну, что, повидал своего сыночка? — живо заговорила Алтун.

— Да, спасибо, Алтун.

— Имя дал ему?

— Имя его — Кунан!

— Хорошее имя. Кунан.

— Да. Пусть Небо услышит. А теперь, Алтун, скажу тебе то, что надо сказать сейчас, не откладывая. Ты мне как родная сестра, Алтун. А для Догуланг с ее ребенком — ты верная мать, посланная судьбой. Не будь тебя, не смогли бы мы быть с ней вместе в походе, страдать бы нам в разлуке. И кто знает, быть может, мы с Догуланг никогда больше и не увиделись бы. Потому что, кто идет с войной, тот встречает войну вдвойне... И я благодарен тебе...

— Я-то понимаю,— проговорила Алтун.— Понимаю, что к чему. Ведь и ты, Эрдене, пошел на такое дело неслыханное! — Алтун покрутила головой. И добавила: — Дай Бог, чтобы все обошлось.— Я-то понимаю,— продолжала она,— в этом великом войске сегодня ты сотник, а завтра оказался бы тысячником-нойоном, в чести на всю жизнь. И тогда бы мы с тобой не говорили о том, о чем сейчас говорим. Ты — сотник, я раба. И тем все сказано. Но ты выбрал другое — как душа твоя повелела. Моя-то помощь тебе — коня подержать. Приставлена я служить твоей Догуланг, сам знаешь, помогать ей в работе. И я привязана к ней всей душой, потому что она, так мне думается,— дочь бога красоты. Да, да! Она и собой хороша, как же! Но я не об этом. Я о другом. В руках у Догуланг волшебная сила — клубки нитей и кусок полотна найдутся у кого угодно, но то, что вышивает Догуланг, никому не повторить. По себе знаю. Драконы у нее бегут по знаменам, как живые. Звезды у нее горят на полотне, как в небе. Говорю же, она мастерица от Бога. И я буду с ней. А если надумали уходить, то и я — с вами. Одной ей не управиться в бегах, ведь только родила.

— Об этом и речь, Алтун. Завтра, ближе к полуночи, надо быть наготове. Будем уходить. Ты с Догуланг и ребенком в повозке, а я сбоку верхом, с запасным конем в поводу. Уйдем в пойму Жаика.

Самое главное, к рассвету подальше скрыться, чтобы с утра погоня не напала на след. А там уйдем...

Они помолчали. И перед тем, как сесть в седло, сотник Эрдене, склонив голову, поцеловал сухонькую ладошку прислужницы Алтун, понимая, что она послана им с Догуланг самим провидением, эта маленькая женщина, плененная многие годы тому назад в китайских краях, да так и оставшаяся до старости прислугой в обозах Чингисхана. Кто она была ему, если подумать: случайной спутницей в коловороте чингисхановского похода на Запад. Но, по сути,— единственной и верной опорой влюбленных в роковую для них пору. Сотник понимал: только на нее он мог положиться, на прислужницу Алтун, и больше ни на кого на свете, ни на кого! Среди десятков тысяч вооруженных людей, шедших в великом походе, кидавшихся с грозными кликами в бои, только она одна, старенькая обозная прислужница, могла встать на его сторону. Только она одна, и больше никто. Так оно потом и случилось.

Уезжая в тот поздний час на своем звездолобом Акжулдузе, минуя войска, спящие привалом в лагерях и обозных таборах, думал сотник о том, что предстоит впереди, и молил Бога о помощи ради новорожденного, безвиннейшего существа, ибо каждый новорожденный — это весть от замысла Бога; по тому замыслу кто-то когда-то предстанет пред людьми, как сам Бог, в людском обличии, и все увидят, каким должен быть человек. А Бог — это Небо, непостижимое и необъятное. И Небу знать, кому какую судьбу определить — кому народиться, кому жить.

Сотник Эрдене пытался оглядеть с седла звездное пространство, пытался мысленно заклинать Небо, пытался услышать в душе ответ судьбы. Но Небо молчало. Луна одиноко царствовала в зените, незримо проливаясь сиреневым потоком света над сарозекской степью, объятою сном и таинством ночи...

А наутро снова загремели, зарокотали утробно добулбасы, повелевая людям вставать, вооружаться, садиться в седла, кидать поклажу в повозки, и снова, воодушевляемая и гонимая неукротимой властью хагана, двинулась степная армада Чингисхана на Запад.

То был семнадцатый день похода. Позади оставалась обширнейшая часть сарозекской степи — наиболее труднопроходимая, впереди предстояли через день-другой припойменные земли Жаика, и дальше путь лежал к великому Итилю, воды которого делили земной мир на две половины — Восток и Запад.

И все было, как и прежде. Впереди на гарцующих вороных двигались знаменосцы. За ними в сопровождении кезегулов и свиты — Чингисхан. Под седлом у него шел размеренным тропом любимый иноходец Хуба с белой гривой и черным хвостом, и, тайно радуя взор, подымая в сердце хагана и без того с трудом сдерживаемую гордыню, над головой его, как всегда, плыла неразлучная спутница — белая тучка. Куда он — туда и она. А по земле, заполняя пространство от края и до края, двигалась человеческая тьма на Запад — колонны, обозы, армии Чингисхана. Гул стоял, подобно гулу бушующего вдали моря. И все это множество, вся эта движущаяся лавина людей, коней, обозов, вооружения, имущества, скота были воплощением его, Чингисхана, мощи и силы, все это шло от него, источником всего этого были его замыслы. И думал он в седле в тот час все о том же, о чем редко кто из смертных смеет думать,— о вожделенном мировом владычестве, о единой подлунной державе на вечные времена, коей дано будет ему править и после смерти. Как? Через его повеления, заблаговременно высеченные на скрижалях. И покуда будут стоять скалы с надписями-



повелениями, указывающими, как править миром, пребудет на свете и его воля. Вот о чем думал хаган в тот час в пути, и захватывающая мысль о надписях на камнях как способе достижения бессмертия уже не давала ему покоя. Он решил, что займется этим зимой, на берегу Итиля. В ожидании переправы он соберет совет ученых, мудрецов и предсказателей и выскажет свои золотые мысли о вечной державе, выскажет свои повеления, и они будут высечены на скалах. Эти слова перевернут мир, и весь мир припадет к его стопам. С тем он и шел в поход, и все сущее на земле должно было служить этой цели, а все, что противоречило ей, все, что не способствовало успеху похода, подлежало устранению с пути и искоренению.

И снова стали слагаться стихи:

Алмазным навершием державы моей
Водружу сверкающий месяц в небе... Да!..
И муравей на тропе не уклонится
От железных копыт моей армии... Да!..
Переметную суму истории
С потного крупа коня моего
Благодарные потомки снимут,
Постигая цену могущества... Да!..

Случилось так, что именно в этот день, пополудни, доложили Чингисхану о том, что одна из женщин в обозе родила — вопреки строжайшему на то его ханскому запрету. Родила ребенка — неизвестно от кого. Сообщил об этом хептегул Арасан. Краснощекий хептегул, с бегающими глазками, всегда все знающий и неутомимый, и на этот раз первым принес известие. «Мой долг доложить тебе, величайший, все, как есть, поскольку на этот счет сделано тобой предупреждение»,— похрипывая — жирок душил его, — заключил свое донесение хептегул Арасан, скача с хаганом стремя в стремя, чтобы лучше были слышны его слова на ветру.

Чингисхан не сразу внял, не сразу ответил хептегулу. Сосредоточенный в тот миг на мыслях о заветных скрижалях, он не сразу поддался нахлынувшей досаде и долго не хотел признаться себе в том, что не ожидал, что подобное известие так подействует на него. Чингисхан молчал оскорбленно, с досады прибавил ходу коню, и полы его легкой собольей шубы разлетались по сторонам, как крылья испуганной птицы. А хептегул Арасан, поспешая рядом, оказался в затруднительном положении, не зная, как ему быть, он то придерживал поводья, чтобы не гневить излишне хагана своим присутствием рядом, то снова шел стремя в стремя, чтобы быть готовым расслышать слова, коли они будут произнесены, и не понимал, не мог взять в толк причины столь долгого молчания владыки — что стоило тому изречь всего два слова: казнить ее,— и в тот же час там, в обозах, задавили бы и эту женщину, и ее выродка, коли она осмелилась родить наперекор высочайшему запрету. Задушили бы дерзкую, закатав в кошму,— другим в назидание,— и делу конец.

Вдруг хаган резко бросил через плечо, да так, что хептегул даже привстал в седле:

— Так почему, пока не разродилась это обозная сука, никто не заметил, что она брюхата? Или видели, да помалкивали?

Хептегул Арасан подался было объяснить, как это могло произойти, слова его оказались сбивчивы, и хаган властно осек его:

— Помолчи!

Спустя немного времени он желчно спросил:

— Коли она ничейная жена, так кто же она, эта разродившаяся в обозах,— повариха, истопница, скотница?

И был крайне удивлен, что роженицей оказалась вышивальщица знамен, поскольку никогда прежде не приходило ему в голову, что кто-то этим занимается, кто-то кроит и вышивает его золотые стяги, так же, как не думал он о том, что кто-то тачает ему сапоги или сооружает очередные юрты, под куполом которых протекала его жизнь. Не думалось прежде о таких мелочах. Да и с чего бы, разве знамена не существовали сами по себе, рядом с ним и в его войске повсюду, возникая, как загодя разводимые костры, раньше, чем появлялся он сам, на лагерных стоянках, в движущейся коннице, в сражениях и на пирах. Вот и сейчас — впереди гарцевали знаменосцы, осеняя его путь. Он шел походом на Запад с тем, чтобы установить там свои стяги, отшвырнув на истоптание чужие знамена. Так оно и будет... Ничто и никто не посмеет встать на его пути. И любое, даже малейшее неповиновение кого-либо из идущих с ним на покорение мира будет пресекаться не иначе как смертной карой. Кара ради повиновения — таково неизменное орудие власти одного над многими.

Но в случае с этой вышивальщицей повинна не только она, но и еще кто-то, безусловно, находящийся в обозах или в войске... Но кто он?..

С этого часа Чингисхан омрачился, что было заметно по его окаменевшему лицу, тяжелому взгляду немигающих рысьих глаз и напряженной, как против ветра, посадке в седле. Но никто из осмеливавшихся приблизиться к нему по неотложным делам не знал, что омрачился хаган не столько потому, что обнаружился вызывающий факт непослушания какой-то вышивальщицы и ее неизвестного возлюбленного, сколько потому, что случай этот напомнил ему совсем другую историю, оставившую горький, неизгладимый, постыдный след в его душе.

И снова, кровоточа, обжигая душу, припомнилось ему пережитое в молодости, когда он еще носил свое исконное имя Темучин, когда никто еще не мог предположить, что в нем, сироте, безотцовщине Темучине, грядет Повелитель Четырех Сторон Света, когда и сам он еще не помышлял ни о чем подобном. Тогда, в далекой молодости, пережил он трагедию и позор. Молодая, посватанная родителями еще с детства, жена его Бортэ в дни медового месяца была похищена при набеге соседнего племени меркитов, и, пока он сумел отбить ее в ответном набеге, прошло немало дней, много дней и ночей, подсчитывать которые с точностью у него не хватало сил и теперь, когда он шел с многотысячным войском на завоевание Запада, дабы утвердить и сделать навеки недосягаемым на троне мирового господства свое имя, дабы все затмить и... все забыть.

В ту далекую ночь, когда подлые меркиты беспорядочно бежали после трехдневной кровопролитной схватки, когда они бежали, бросив табуны и стойбища, бежали под страшным, беспощадным натиском, только бы спасти свои жалкие жизни, от возмездия, когда исполнилась клятва мести, в которой было сказано:

...Древнее, издалека видное свое знамя
Я окропил перед походом кровью жертвы,
В свой низко рокочущий, обтянутый
Воловьей кожей барабан я ударил.
На своего черногривого бегунца я сел верхом.
Свой стеганый панцирь я надел.
Свой грозный меч я в руки взял.
С удит-меркитами я буду биться до смерти...
Весь народ меркитский я истреблю до мальца,
Пока их земли не станут пустыми...



когда эта страшная клятва исполнилась сполна в ночи, оглашенной криками и воплями, среди бегущих в панике, среди преследуемых удалялась крытая повозка. «Бортэ! Бортэ! Где ты? Бортэ!» — кричал и звал Темучин в отчаянии, кидаясь по сторонам и нигде ее не находя, и когда наконец он настиг крытую повозку и его люди перебили с ходу возниц, то Бортэ откликнулась на зов: «Я здесь! Я Бортэ!» — и спрыгнула с повозки, а он скатился с коня, и они бросились друг другу навстречу и обнялись во тьме. И в то мгновение, когда молодая жена оказалась в его объятиях, целая и невредимая, он ощутил, как неожиданный удар в сердце, незнакомый чуждый запах, должно быть, крепко прокуренных усов, оставшийся от чьего-то прикосновения на ее теплой, гладкой шее, и замер, прикусив губы до крови. А вокруг шла схватка, битва, расправа одних над другими....

С той минуты он уже не ввязывался в бой. Посадив вызволенную из плена жену в повозку, повернул назад, пытаясь совладать с собой, чтобы не высказать сразу то, что прожгло его. И мучился потом всю жизнь. Понимал — не по своей воле оказалась жена в руках врагов. И, тем не менее, какой ценой удалось ей не пострадать? Ведь ни один волос с ее головы не упал. Судя по всему, Бортэ в плену не была мученицей, нельзя было сказать, что вид у нее был настрадавшийся. Нет, и потом откровенного разговора об этом у них не возникало.

Когда те немногочисленные меркиты, которым не удалось после разгрома откочевать в другие страны или в труднодоступные места, уже не представляли ни малейшей опасности, когда они пошли в пастухи и прислугу, превратились в рабов, никому не понятна была неумолимая жестокость мести Темучина, к тому времени ставшего уже Чингисханом. В результате все те меркиты, которые не сумели бежать, были перебиты. И никто из них не мог уже сказать, что имел какое-либо отношение к его Бортэ в бытность ее в меркитском плену.

Позже у Чингисхана было еще три жены, однако ничто не могло залечить боль от того первого, жестокого удара судьбы. Так и жил хаган с этой болью. С этой кровоточащей, хоть и никому не ведомой, душевной раной. После того как Бортэ родила первенца — сына Джучи,— Чингисхан скрупулезно вычислял, получалось — могло быть и так, и эдак, ребенок мог быть и его, и не его сыном. Кто-то, так и оставшийся неизвестным, нагло посягнувший на его честь, лишил его на всю жизнь покоя.

И хотя тот, другой неизвестный, от которого родила в походе вышивальщица знамен, не имел к хагану никакого отношения, кровь властелина вскипела.

Человеку порой так мало надо, чтобы в мгновение ока мир для него нарушился, перекосился и стал бы не таким, как был только что — целесообразным и цельно воспринимаемым... Именно такой переворот произошел в душе великого хагана. Все вокруг оставалось таким же, каким было до известия. Да, впереди гарцевали на вороных конях знаменосцы с развевающимися драконовыми знаменами; под его седлом шел, как всегда, иноходец Хуба; рядом и позади на отличных скакунах почтительно поспешала свита; вокруг держалась верная стража — отряды «полутысячников»-кезегулов; на всем пространстве, насколько мог охватить взгляд, двигались по степи войсковые тумены — разящая мощь, и тысячные обозы — их опора. А над головой, над всем этим людским потоком плыло по небу верное белое облако, то самое, что с первых дней похода свидетельствовало о покровительстве Верховного Неба.

Все было, казалось, прежним, и однако, нечто в мире сдвинулось, изменилось, вызывая в хагане постепенно нарастающую грозу. Стало быть, кто-то не внял его воле, стало быть, кто-то посмел свои необуз-

данные плотские страсти поставить выше его великой цели, стало быть, кто-то умышленно пошел против его повеления! Кто-то из его конников больше алкал женщину в постели, нежели жаждал безупречно служить, неукоснительно повиноваться хагану! И какая-то ничтожная женщина, вышивальщица — разве после нее некому будет вышивать? — пренебрегая его запретом, решилась родить, когда все другие обозные женщины закрыли свои чрева от зачатий до особого его разрешения!..

Эти мысли глухо прорастали в нем, как дикая трава, как дикий лес, затемняя злобой свет в глазах, и хотя он понимал, что случай в общем-то ничтожный, что следовало бы не придавать ему особого значения, другой голос, властный, сильный, все более ожесточенно настаивал, требовал сурового наказания, казни ослушников перед всем войском и все больше заглушал и оттеснял иные мысли.

Даже неутомимый иноходец Хуба, с которого хаган в тот день не слезал, почувствовал точно бы дополнительную тяжесть, все более увеличивающуюся, и неутомимый иноходец, всегда мчащийся ровно, как стрела, покрылся мыльной пеной, чего с ним прежде не случалось.

Молча и грозно продолжал путь Чингисхан. И хотя, казалось бы, ничто не нарушало похода, ничто не мешало движению степной армады на Запад, осуществлению его великих замыслов покорения мира, нечто, однако, произошло: какой-то незримый, крохотный камешек покатился с незыблемой горы его повелений. И это не давало ему покоя. Он думал об этом в пути, это его беспокоило, как заноза под ногтем, и, думая все время об одном, он все больше раздражался на своих приближенных. Как они посмели доложить ему только теперь, когда женщина уже родила, а где они были прежде, куда они смотрели, разве так трудно было заметить беременную? И тогда разговор был бы другой — погнали бы ее в три шеи, как собаку блудливую. А теперь как быть? Когда ему доложили о случившемся, он резко спросил вызванного для объяснений нойона, отвечающего за обозы,— как так могло случиться, что все это оставалось незамеченным, пока вышивальщица не родила, пока не был услышан верными людьми плач новорожденного? Как могло случиться такое? На что нойон невразумительно отвечал, что-де вышивальщица знамен, по имени Догуланг, жила в отдельной юрте, всегда на отшибе, ни с кем не общалась, ссылаясь на занятость, имела свою повозку, при ней состояла прислужница, а когда к ней приходили по делам, то вышивальщица сидела, обернутая ворохом тканей, обычно шелками вышиваемых знамен. И люди думали, что делает она это просто для красоты, поскольку любит наряжаться. И потому трудно было разглядеть, что она беременна. Кто отец новорожденного — неизвестно. Вышивальщицу еще пока не допрашивали. Прислужница же твердит, что ничего не знает. Пойди ищи ветра в поле...

Чингисхан с досадой думал о том, что эта история недостойна его высокого внимания, но поскольку запрет на деторождение установлен им самим и поскольку каждый из войсковых старшин, боясь за свою голову, спешил донести о случившемся вышестоящему, то он, хаган, оказался заложником собственного высочайшего повеления. Отступить от своего повеления он не мог. И кара была неминуема...

Около полуночи сотник Эрдене, сославшись на спешные поручения, сказал, что направляется к тысячному, но то был лишь повод выйти из лагеря, чтобы той же ночью бежать вместе со своей возлюбленной. Он не знал еще, что хагану уже все известно, не знал, что бежать ему с Догуланг и ребенком не удастся.

Ведя запасного коня в поводу, точно охотничью собаку на привязи, сотник Эрдене благополучно обошел лагеря и, приближаясь к обозу, вблизи которого обычно располагалась юрта Догуланг, молил Бога лишь об одном — чтобы не напороться вдруг на нойонский объездной дозор. Нойонский дозор — самый придирчивый и жестокий, если вдруг заметит кого-нибудь из конников нетрезвым, выпившим случаем молочной водки, никогда не пощадит, заставит впрячься в повозку вместо коня, а возница будет погонять кнутом...



Покинув свою сотню, уходя в бега, Эрдене знал, что, если его поймают, ему грозит высшая кара — удушение кошмой или предание смерти через повешение. Другой исход мог быть лишь в случае, если удастся бежать, уйти в далекие края, в иные страны.

Ночь в степи и в этот раз стояла лунная. Повсюду располагались лагеря, табуны, повсюду вповалку у тлеющих костров спали воины. Среди такого количества людей и обозов мало кому было дела до того, кто куда передвигается. На это и рассчитывал сотник Эрдене, и ему с Догуланг и сыном удалось бы бежать, если бы не судьба...

Что случилась беда, он понял тотчас же, как приблизился к табору мастеровых. Соскочив с седла, сотник замер в тени коней, крепко держа их под уздцы. Да, случилась беда! Возле крайней юрты горел большой костер, освещая округу тревожно полыхающим светом. С десяток верховых жасаулов, громогласно переговариваясь, топтались возле костра на конях. Те, что спешились, их было человека три, запрягали повозку, ту самую, на которой они с Догуланг собирались бежать этой ночью. Потом Эрдене увидел, как жасаулы вывели из юрты Догуланг с ребенком на руках. Она стояла в свете костра в своей куньей шубе, прижимая дитя к себе, бледная, беспомощная, напуганная. Жасаулы о чем-то ее спрашивали. Доносились возгласы: «Отвечай! Отвечай, тебе говорят! Потаскуха, блудница!» Потом донесся вопль прислужницы Алтун. Да, это был ее голос, безусловно, ее. Алтун кричала: «Откуда мне знать?! За что вы меня бьете? Откуда мне знать, от кого она родила! Не в степи, не сейчас же это случилось! Да, родила она ребенка недавно, сами видите. Так что же, разве вы не можете понять, что девять месяцев назад, выходит, случилось все это?! Так откуда мне знать, когда и с кем у нее было. Зачем вы меня бьете?! А ее зачем стращаете, до смерти напугали,— она же с новорожденным! Разве она не служила вам, не расшивала ваши боевые знамена, с которыми вы идете в поход? За что теперь убиваете, за что?»

Бедная Алтун, как травинка под копытом, что она могла поделать, когда сам сотник Эрдене не посмел сунуться, да и что бы он мог против десятка вооруженных жасаулов?! Разве что погибнуть, унеся с собой одного или двоих? Но что бы это дало? Тем и берут всегда жасаулы — сворой своей. Только и ждут, чтобы кинуться всей сворой, чтобы терзать, чтобы кровь лилась!

Сотник Эрдене видел, как жасаулы усадили Догуланг с ребенком на повозку, туда же бросили прислужницу Алтун и повезли их куда-то в ночь.

И на том все улеглось, все стихло вокруг, стоянка опустела. И только тогда стали слышны в стороне собачий лай, ржание лошадей, какие-то невнятные голоса на привалах.

У юрты вышивальщицы Догуланг догорал костер. Поглотив суету, муки борения людские, бесстрастно глядели безмятежно сияющие, беззвучные звезды на опустевшее пространство, точно тому, что случилось, и следовало быть...

Двигаясь, как во сне, сотник Эрдене нащупал онемевшими вмиг, похолодевшими руками узду на голове запасного коня, стащил ее, не ощущая собственных усилий, и бросил коню под ноги. Глухо бряк-

нули удила. Эрдене услышал свое стесненное дыхание, дышать становилось все тяжелее. Но он еще нашел в себе силы, чтобы прихлопнуть лошадь по холке. Эта лошадь теперь была ни к чему, теперь она была свободна, никакой нужды в ней не было, и она побежала себе рысцой в ближайший ночной табун. А сотник Эрдене бесцельно побрел по степи, не ведая сам, куда идет, зачем идет. За ним тихо ступал в поводу его звездолобый Акжулдуз — верный и неразлучный боевой конь, на котором сотник Эрдене ходил в сражения, но на котором так и не удалось ускакать, угоняя от злой судьбины повозку с любимой женщиной и народившимся ребенком.

Эрдене шел наугад, как слепой; глаза его были полны слез, стекавших по мокрой бороде, и ровно струящийся лунный свет судорожно колыхался на его согбенных, вздрагивающих плечах... Он брел, как изгнанный из стаи одинокий дикий зверь, предоставленный в целом мире самому себе: сможешь жить — живи, не сможешь — умри. И больше никакого выбора... Что было делать теперь ему, куда было деваться? Не оставалось ничего, кроме как умереть, убить себя ударом ножа, ударом в грудь, в нестерпимо ноющее сердце, и тем самым унять, прекратить эту сжигающую его боль или же исчезнуть, сгинуть, сбежать, затеряться где-нибудь навсегда...

Сотник упал на землю и, глухо рыдая, пополз на животе, обдирая о камни ладони и ногти, но земля не расступилась, потом он поднялся на колени и нащупал на поясе нож...

В степи было безмолвно, пустынно и звездно. Лишь верный конь Акжулдуз терпеливо стоял рядом в лунном озарении, всхрапывая, в ожидании приказа хозяина...

В то утро, прежде чем двинуться в поход, барабанщики, заранее собранные на холме, ударили сигнал сбора войска. И, ударив, добулбасы уже не стихали, сотрясая округу нарастающим, надсадным гулом тревоги. Барабаны из воловьих кож рокотали, ярились, как дикие звери в западне, созывая на казнь блудницы, вышивальщицы знамен,— мало кто знал, что имя ее Догуланг,— родившей в походе ребенка.

И выстраивались под шаманский гул барабанов конные когорты при всем оружии, как на параде, полукружьем вокруг холма, сотня за сотней, а по флангам располагались обозы с поклажей и на них весь подсобный люд, всякого рода походные мастеровые — юртовщики, оружейники, шорники, швеи, мужчины и женщины, все молодые, все плодоносящей поры. Это всем им в устрашение и назидание устраивалась показательная казнь. Всякий, посмевший нарушить повеление хагана, будет лишен жизни!

Добулбасы продолжали греметь на холме, холодя кровь в жилах, вызывая в душах оцепенение страха, а потому и согласие с тем, чему предстояло быть по воле Чингисхана, и даже одобрение тому.

И вот под гул несмолкающих добулбасов на холм пронесли в золотом паланкине самого хагана, учинявшего казнь опасной ослушницы, так и не назвавшей имени того, от кого она родила. Паланкин опустили на рыжем холме посреди знамен, купающихся в первых лучах солнца, развевающихся на ветру, с расшитыми шелком огнедышащими драконами. Это его, хагана, символом был дракон в могучем прыжке, но он и не подозревал, что вышивальщица, одухотворившая шитье, имела в виду не его, а другого. Того, кто был драконом, стремительным и бесстрашным в ее объятиях. И никому вокруг было невдомек, что за это она теперь и расплачивалась головой.

И та минута приближалась. Барабаны постепенно сбавляли громкость с тем, чтобы смолкнуть перед казнью, накаляя этим напряженную тишину, когда в страшном ожидании время расплывается, распадается



и замирает, и затем снова оглушительно и яростно загрохотать, сопровождая процесс пресечения жизни диким рокотом, завораживая им, вызывая в опьяненном сознании каждого очевидца экстаз слепой мести, злорадство и тайную радость, что казни через повешение подвергается не он, а кто-то другой.

Барабаны смирялись. И все собравшиеся были напряжены, даже кони под всадниками замерли. Каменно-напряженным было и лицо самого Чингисхана. Жестко сжатые губы и немигающий холодный взор узких глаз выражали нечто змеиное.

Барабаны смолкли, когда из ближайшей к месту казни юрты вывели вышивальщицу знамен Догуланг. Дюжие жасаулы подхватили ее под руки и втащили в повозку, запряженную парой коней. Догуланг стояла в повозке, поддерживаемая сзади стоящим рядом сумрачным молодым жасаулом.

Люди в рядах загудели, особенно женщины: вот она, та самая вышивальщица! Блудница! Ничейная жена! Хотя ведь могла при своей молодости и красе быть второй или третьей женой какого-нибудь нойона! А был бы он к тому еще и старец какой — и того лучше. Горя не знала бы. Так нет, завела себе любовника и родила, бесстыжая! Все равно что плюнула в лицо самого хагана! А теперь пусть расплачивается. Пусть ее вздернут на горбу верблюжьем! Доигралась, красотка! Этот безжалостный суд молвы был продолжением злобного гула добулбасов, для того и гремели барабаны из воловьих кож так настойчиво и оглушительно, чтобы ошеломить, возбудить ненависть к тому, кого возненавидел сам хаган.

— А вот и прислужница с ребенком! Глядите! — вскричали, злорадствуя, обозные женщины. То действительно была прислужница Алтун. Она несла новорожденного, завернутого в тряпье. В сопровождении громилы-жасаула, боязливо оглядываясь, вся съежившись, Алтун шла у повозки, как бы подтверждая своей ношей преступность вышивальщицы, приговоренной к смерти.

Так их вели для устрашающего обозрения перед казнью. Догуланг понимала, что теперь иного исхода быть не могло: никакого прощения, никакого помилования.

В юрте, откуда их выволокли на позор, она успела покормить ребенка грудью в последний раз. Ничего не ведая, несчастное дитя усердно чмокало, пребывая в дремотном легком сне под вкрадчиво стихающие звуки барабанов. Прислужница Алтун была рядом. Сдавленно плача, удерживаясь от громких рыданий, она то и дело зажимала себе рот ладонью. И в те минуты им удалось переброситься несколькими словами.

— Где он? — тихо шепнула Догуланг, торопливо перекладывая ребенка от одной груди к другой, хотя понимала, что Алтун не могла знать того, чего не знала она сама.

— Не знаю,— ответила та в слезах.— Думаю, далеко.

— Только бы! Только бы! — взмолилась Догуланг.

Прислужница горько покивала в ответ. Обе они думали об одном — только бы удалось сотнику Эрдене скрыться, ускакать подальше, исчезнуть с глаз долой.

За юртой послышались шаги, голоса:

— Ну, тащи их! Волоки!

Вышивальщица в последний раз прижала ребенка, горестно вдохнула его сладковатый запах и дрожащими руками передала его прислужнице:

— Пока проживет, присмотри...

— Не думай об этом! — Алтун захлебнулась от комка слез и больше уже не могла сдерживаться. Зарыдала громко и отчаянно.

И тут жасаулы поволокли их наружу.

Солнце уже поднялось над степью, зависнув над горизонтом. Со всех сторон за скоплением войск и обозов, готовых двинуться в поход после казни вышивальщицы, простирались сарозеки — великие степные равнины. На одном из холмов сиял золотистый паланкин хагана. Выходя из юрты, Догуланг успела увидеть краем глаза этот паланкин, в котором сидел сам хаган — недоступный, как Бог, а вокруг паланкина развевались на степном ветерке расшитые ее же руками знамена с огнедышащими драконами.

Чингисхану, восседавшему под балдахином, все было хорошо видно с того холма — и степь, и войско, и обозный люд, а в вышине, как всегда, плыла над его головой верная белая тучка. Казнь вышивальщицы задерживала в то утро поход. Но следовало сделать одно, чтобы продолжить другое. Предстоящая казнь была не первой и не последней казнью в его присутствии — самые различные случаи ослушания карались именно таким способом, и всякий раз хаган убеждался, что прилюдная казнь необходима для повиновения народа единому, верховным лицом установленному порядку, поскольку и страх, и низменная радость, что насильственная смерть постигла не тебя, заставляет людей воспринимать страшную кару как должную меру наказания и потому не только оправдывать, но и одобрять действия власти.

И в этот раз, когда вышивальщицу вывели из юрты и заставили ее взойти на повозку для позорного объезда, люди, как рой, загудели, задвигались. На лице же Чингисхана не дрогнул ни один мускул. Он сидел под балдахином в окружении развевающихся знамен и застывших у древков, словно каменные истуканы, кезегулов. Объявленная казнь на то и была рассчитана — всякий да будет знать — даже малейшая помеха на пути великого похода на Запад недопустима. В душе хаган понимал, что мог бы не прибегать к столь жестокой расправе над молодой женщиной, матерью, мог бы помиловать ее, но не видел в том резона — всякое великодушие всегда оборачивается худо — власть слабеет, люди наглеют. Нет, он ни в чем не раскаивался, единственное, чем он был недоволен,— что так и не удалось выявить, кто же был возлюбленным этой вышивальщицы.

А она, приговоренная к смерти через повешение, уже следовала на повозке перед строем войска и обозов, в разодранном на груди платье, с растрепанными волосами — черные густые космы, сияющие угольным блеском на утреннем солнце, скрывали ее бескровное, бледное лицо. Догуланг, однако, не склонила головы, смотрела вокруг опустошенным, скорбным взглядом,— теперь ей нечего было утаивать от других. Да, вот она, возлюбившая мужчину больше жизни своей, вот ее запретное дитя, рожденное от этой любви!

Но людям хотелось знать, и они кричали:

— Кобыла, а где же твой жеребец? Кто он?

И самовозбуждаясь и ожесточаясь от неосознанного чувства вины, толпа возопила, чтобы побыстрее освободить себя от низменного греха:

— Повесить суку! Повесить сейчас же! Чего тут ждать?

Устроители казни, должно быть, на то и рассчитывали, что неистовствующая толпа сможет сломить дух вышивальщицы. От ханского окружения отделился верховой, один из нойонов, зычноголосый, бравый вояка, готовый ради хагана и на это дело. Он подскакал к скорбной процессии — повозке с обреченной вышивальщицей и идущей рядом прислужнице с ребенком на руках.

— А ну, стойте,— остановил он их и, обращаясь к конным рядам, громко выкрикнул: — Слушайте все! Эта бесстыжая тварь должна указать, от кого она родила! С кем она путалась! А теперь скажи, есть ли среди этих мужчин отец твоего ребенка?



Догуланг отвечала, что нет. Настороженный гул прокатился по рядам.

Повозка двигалась от сотни к сотне, а сотники перекликались:

— У меня не оказалось! Может, ловкач тот в твоей сотне?

Тем временем зычноголосый снова и снова требовал от вышивальщицы, чтобы она указала на того, кто был отцом новорожденного.

Вот снова повозку остановили перед отрядом конников, и снова вопрос:

— Укажи, блудница, от кого ты родила?

Именно в этом строю, в голове отряда находился сотник Эрдене на своем звездолобом коне Акжулдузе. Взгляды Догуланг и Эрдене встретились. В общем гаме и суете никто не обратил внимания, как трудно отводили они глаза друг от друга, как вздрогнула Догуланг, откидывая со лба разметавшиеся волосы, как на мгновение вспыхнуло ее лицо и тут же угасло. И только сам Эрдене мог представить себе, чего стоила Догуланг эта молниеносная встреча глазами — какой радостью и какой болью обернулось для нее это мгновение. На вопрос зычноголосого нойона опомнившаяся Догуланг, взяв себя в руки, снова твердо ответила:

— Нет, нет здесь отца моего ребенка!

И опять никто не обратил внимание на то, что сотник Эрдене уронил голову, но тут же усилием воли заставил себя принять невозмутимый вид.

А палачи были уже наготове. Трое в черных балахонах с закатанными рукавами вывели на середину двугорбого верблюда, настолько громадного, что всадник в седле головой доставал лишь до середины верблюжьего брюха. За отсутствием леса в открытых степных пространствах кочевники издавна прибегали к такому способу казни — осужденных вешали на верблюжьем межгорбии — попарно на одной веревке или с противовесом, которым служил мешок с песком. Такой противовес был уже приготовлен для вышивальщицы Догуланг.

Окриками и ударами палкой палачи заставили зло орущего верблюда опуститься и лечь на землю, подобрав под себя длинные мосластые ноги. Виселица была готова.

Барабаны ожили, слегка рокоча, чтобы в нужный момент загрохотать, оглушая и вздымая души.

И тогда зычноголосый нойон снова обратился к вышивальщице, должно быть, уже на потеху:

— Спрашиваю тебя в последний раз. Тебе, глупая потаскуха, все равно погибать, и выродку твоему не жить! Как тебя понимать всетаки, неужто ты не знаешь, от кого понесла? Может, поднатужишься, припомнишь?

— Не помню, от кого. Это было давно и далеко отсюда,— отвечала вышивальщица.

Над степью прокатился грубый утробный мужской хохот и злорадный женский визг.

Нойон же не унимался с вопросами:

— Так выходит, как понимать,— на базаре где приспособилась, что ли?

— Да, на базаре! — вызывающе ответила Догуланг.

— Торговец или скиталец? А может быть, вор базарный?

— Не знаю, торговец, или скиталец, или вор базарный,— повторила Догуланг.

И опять взрыв хохота и визг.

— А какая ей разница, что торговец, что скиталец или вор — самое главное на базаре этим делом заняться!

И тут неожиданно в рядах воинов раздался чей-то голос. Кто-то сильно и громко крикнул:

— Это я — отец ребенка! Да, это я, если хотите знать!

И все разом стихли, все разом оцепенели — кто же это? Кто это откликнулся на зов смерти в последнюю минуту, навсегда уносившую с собой не выданную вышивальщицей тайну?

И все поразились: пришпоривая своего звездолобого коня, из рядов выехал вперед сотник Эрдене. И, удерживая Акжулдуза на месте, снова повторил громко, оборачиваясь на стременах к толпе:

— Да, это я! Это мой сын! Имя моего сына — Кунан! Мать моего сына зовут Догуланг! А я сотник Эрдене!

С этими словами на виду у всех он соскочил с коня, хлопнул Акжулдуза наотмашь по шее,— тот отпрянул, а сам сотник, сбрасывая на ходу с себя оружие и доспехи, отшвыривая их в стороны, направился к вышивальщице, которую уже держали за руки палачи. Он шел при полном молчании вокруг, и все видели человека, свободно шедшего на смерть. Дойдя до своей возлюбленной, приготовленной к казни, сотник Эрдене упал перед ней на колени и обнял ее, а она положила руки на его голову, и они замерли, вновь соединившись перед лицом смерти.

В ту же минуту ударили добулбасы, ударили разом и загрохотали, надсадно ревя, как стадо всполошившихся быков. Барабаны взревели, требуя общего повиновения и общего экстаза страстей. И все разом опомнились, все вернулось на круги своя, раздались команды — всем быть готовыми к движению, к походу. И возглашали барабаны: всем быть, как все, всем исполнять свой долг! А палачи немедленно приступили к делу. На помощь палачам бросились еще трое жасаулов. Они повалили сотника на землю, быстро связали ему руки за спиной, то же самое проделали и с вышивальщицей и подтащили их к лежащему верблюду; быстро накинули общую веревку — одну удавку на сотника, другую, через межгорбие верблюда,— на шею вышивальщицы и в страшной спешке, под несмолкаемый грохот барабанов, стали поднимать верблюда на ноги. Животное, не желая подниматься, сопротивлялось. Верблюд орал, огрызался, злобно лязгая зубами. Однако под ударами палок ему пришлось встать во весь свой огромный рост. И с боков двугорбого верблюда повисли в одной связке, в смертельных конвульсиях, те двое, которые любили друг друга поистине до гроба.

В барабанной суматохе не все заметили, как паланкин хагана понесли с холма. Хаган покидал место казни, с него было довольно; наказание достигло цели, более того, превзошло ожидания — ведь обнаружился-таки тот неизвестный, обладавший вышивальщицей, что постельные утехи ставил превыше всего, им оказался сотник, один из сотников, обнаружился-таки на глазах у всех и понес заслуженную кару, быть может, в отместку за того, давнего неизвестного, так и оставшегося неизвестным, в объятиях которого побывала в свое время его Бортэ, родившая первенца, всю жизнь в глубине души не любимого хаганом...

А барабаны гудели, рокотали яростно и надсадно, сопровождая гулом своим проход верблюда с повешенными телами любовников, разделивших на двоих одну веревку, перекинутую через верблюжье межгорбие. Сотник и вышивальщица бездыханно болтались по бокам вьючного животного,— то было жертвоприношение к кровавому пьедесталу будущего владыки мира.

Добулбасы не смолкали, леденя душу, держа всех в оглушении



и оцепенении, и каждый в тот день мог видеть собственными глазами то, что могло случиться и с ним, поступи он вопреки воле хана, неуклонно идущего к своей цели...

Палачи-жасаулы прошествовали со своим верблюдом — передвижной виселицей — мимо войска и обозов и, пока они погребали тела умерщвленных в заранее вырытой яме, добулбасы не умолкали, барабанщики работали в поте лица.

Войско тем временем выступило в путь, и снова степная армада Чингисхана двинулась на запад. Полчища конницы, обозы, стада, гонимые для прикорма, оружейные и прочие подсобные мастерские на колесах, все, кто шел в походе, все до едина, поспешно снимались, поспешно покидали то проклятое место в сарозекской степи, все уходили не мешкая, и осталась на покинутом месте лишь одна неприкаянная душа, не знавшая куда себя деть и не посмевшая напомнить о себе,— прислужница Алтун с ребенком на руках. О ней вдруг все забыли, от нее уходили, словно бы стыдясь того, что она еще существует, все делали вид, что ее не видят, все бежали, как с пожара, всем было не до нее.

Вскоре все смолкло вокруг, никаких добулбасов, никаких возглашений, никаких знамен... Лишь вмятины от копыт, унавоженный путь, указывающий направление похода,— исчезающий след в сарозекской степи...

Покинутая всеми, в оглушительном одиночестве, прислужница Алтун бродила, подбирая у вчерашних очагов остатки подгорелой и брошенной пищи, складывая про запас полуобглоданные кости в сумку, и среди прочего наткнулась на оставленную кем-то овчину, взвалила ту шкуру себе на плечи, чтобы постелить ее на ночь под себя и ребенка, матерью которого она оказалась поневоле...

Поистине Алтун не знала, что ей делать, куда путь держать, как быть дальше, где искать приюта, как прокормить младенца. Пока светило солнце, она еще могла надеяться на какое-то чудо: а вдруг да улыбнется счастье, вдруг да встретится жилище — затерявшаяся в степи пастушья юрта. Так думалось ей, так пыталась она обнадежить себя, рабыня, получившая нечаянно и свободу, и ту ношу судьбы, о которой она страшилась думать. Ведь новорожденный вскоре проголодается, потребует молока и помрет у нее на глазах от голода. Этого она страшилась. И была бессильна что-либо предпринять.

Единственное и маловероятное, на что могла рассчитывать Алтун,— это обнаружить в степи людей, если таковые существовали в этих пустынных краях, и, если окажется среди них кормящая мать, поднести ей ребенка, а себя предложить в добровольное рабство...

Женщина бродила неприкаянно по степи, шла наугад то на восток, то на запад, то снова на восток... Она шла с ребенком на руках без отдыха. День приближался к полудню, когда дитя стало все больше ерзать, хныкать, плакать, просить грудь... Женщина перепеленала младенца и пошла дальше, убаюкивая его на ходу. Но вскоре ребенок заплакал сильнее и уже не утихал, плакал до синевы, и тогда Алтун остановилась и закричала в отчаянии:

— Помогите! Помогите! Что же мне делать?

На всем необозримом степном пространстве не было ни дымка, ни огонька. Безлюдно простиралась вокруг степь, глазу не на чем остановиться... Бескрайняя степь да бескрайние небеса, лишь маленькое белое облачко тихо кружило над головой...

Ребенок корчился в плаче. Алтун взмолилась и запричитала:

— Ну, что же ты хочешь от меня, несчастный?! Ведь тебе от роду седьмой день! На свое несчастье появился ты на этот свет... Чем же мне накормить тебя, сироточка? Не видишь — вокруг ни души!

Только мы с тобой в целом мире, только мы с тобой, горемычные, и только белая тучка в небе, даже птица не летит, только белая тучка кружит... Куда же мы с тобой пойдем? Чем мне кормить тебя? Покинуты мы, брошены, а отец и мать твои повешены и закопаны, и куда идут люди войной, и зачем сила на силу прет со знаменами да барабанами, и чего ищут люди, обездолив тебя, новорожденного?!

Алтун снова побежала по степи, крепко прижимая к себе плачущее дитя, побежала, чтобы только не стоять, не бездействовать, не разрываться живьем от горя... А младенец не понимал, захлебывался в плаче, требуя своего, требуя теплого материнского молока. В отчаянии Алтун присела на камень, со слезами и гневом рванула ворот своего платья и сунула ему грудку свою, уже немолодую, никогда не знавшую ребенка:

— Ну, на, на! Убедись! Было бы чем кормить, неужто я не дала бы тебе молока пососать, сиротиночке несчастной! На, убедись! Может, поверишь и перестанешь терзать меня! Хотя что я говорю! Кому я говорю! Что моя пустышка тебе, что мои слова! О, Небо, какое же наказание ты уготовило мне!

Ребенок сразу примолк, завладев грудью, и, приноравливаясь всем существом своим к ожидаемой благодати, зачмокал, заработал деснами, то открывая, то закрывая при этом заблестевшие радостно глазки.

— Ну и что? — беззлобно и устало укоряла женщина сосунка.— Убедился? Убедился, что попусту сосешь? Да ты ведь сейчас зайдешься плачем пуще прежнего, и что мне тогда с тобой делать в этой проклятой степи? Скажешь — обман, да разве бы стала я тебя обманывать? Всю жизнь в рабынях хожу, но никогда никого не обманывала, мать еще в детстве говорила, у нас, в роду моем, в Китае никто никого не обманывал. Ну, ну, потешься малость, сейчас ты узнаешь горькую истину...

Так приговаривала прислужница Алтун, готовя себя к неизбежной участи, но — странно ей было, что сосунок, кажется, не собирался отказываться от пустой груди, а наоборот, блаженство светилось на его крохотном личике...

Алтун осторожно вынула из уст младенца сосок и тихо вскрикнула, когда вдруг брызнула из него струйка белого молока. Пораженная, она снова дала грудь ребенку, потом снова отняла сосок и опять увидела молоко. У нее появилось молоко! Теперь она явственно почувствовала прилив некой силы во всем своем теле.

— О, Боже! — невольно воскликнула прислужница Алтун.— У меня молоко! Настоящее молоко! Ты слышишь, маленький мой, я буду твоей матерью! Ты не погибнешь теперь! Небо услышало нас, ты мое выстраданное дитя! Имя твое Кунан, так назвали тебя родители, твои отец с матерью, полюбившие друг друга, чтобы явить тебя на свет и погибнуть из-за этого! Поблагодари, дитя, того, кто явил нам это чудо — молоко мое для тебя...

Потрясенная происшедшим, Алтун умолкла, жарко стало, пот выступил на челе. Озираясь вокруг в том бескрайнем пространстве, не заметила, не увидела она ничего, ни единой души, ни единой твари, только солнце светило, и кружила над головой одинокая белая тучка.

Насыщаясь и наслаждаясь молоком, младенец засыпал, тельце его расслаблялось, доверительно покоясь на полусогнутой руке, дыхание становилось ровным, а женщина, позабыв обо всем, что было пережито, преодолевая все еще гудящий в ушах беспощадный бой добулбасов, отдалась неведомым ранее сладостным ощущениям кормящей матери, открывая в том для себя некое благодатное единство земли, неба, молока...



А тем временем поход продолжался... Все дальше на запад катилась заданным ходом великая степная армада завоевателя мира. Войска, обозы, гурты...

В сопровождении стражи и свиты, за знаменосцами с развевающимися знаменами, на которых яростные драконы, расшитые шелками, изрыгали пламя, двигался Чингисхан на своем неизменном и неутомимом иноходце поразительной, как сама судьба, масти — с белой гривой и черным хвостом.

Земля уплывала назад, гудя под литыми копытами иноходца, земля убегала назад, но не убавлялась, а все прирастала, постоянно простираясь до вечно недостижимого горизонта все новыми и новыми пространствами. И не было тому конца и края. И будучи песчинкой по сравнению с бескрайностью и величием земли, хаган жаждал обладать всем, что было обозримо и необозримо, достигнуть признания его Повелителем Четырех Сторон Света. Потому и шел завоевывать, и вел войско в поход...

Хаган был суров и молчалив, как, впрочем, и положено быть тому. Но никто не предполагал, что творилось у него на душе. Никто ничего не понял и тогда, когда вдруг случилось совершенно неожиданное,— когда хаган вдруг круто повернул коня, повернул вспять, так круто, что поспешавшие следом чуть было не столкнулись с ним и едва успели принять в стороны. Тревожно и тщетно обозревал хаган небеса, прислонив дрожащую ладонь к глазам, нет, не задержалось, не отстало в пути белое облачко, не было его ни впереди, ни позади...

Так неожиданно исчезло оно, неизменно сопровождавшее его белое облачко. Больше оно не появилось ни в тот день, ни на второй, ни на десятый. Облачко покинуло хагана.

Дойдя до Итиля, Чингисхан понял, что Небо отвернулось от него. Дальше он не пошел. Отправил завоевывать Европу сыновей и внуков, сам же вернулся назад в Ордос, чтобы здесь умереть и быть похороненным неизвестно где...

* * *

Поезда в этих краях шли с запада на восток и с востока на запад...

В середине февраля 1953 года среди пассажирских поездов, шедших через сарозекские степи с востока на запад, следовал поезд с дополнительным спецвагоном в голове состава. Безномерной вагон этот, прицепленный сразу за багажным, внешне ничем особо не отличался от остальных, но только внешне,— одна часть спецвагона была почтовым отделением, другая же его половина, наглухо отделенная от почтового блока, служила путевым следственным изолятором для лиц, представлявших особый интерес для органов госбезопасности. Таким лицом благодаря задуманному старшим следователем одного из оперативных отделов госбезопасности Казахстана Тансыкбаевым делу оказался в этот раз Абуталип Куттыбаев. Это его везли в том арестантском отсеке в сопровождении самого Тансыкбаева и усиленной охраны. Везли для очных ставок в другие города.

Тансыкбаев оказался неутомим в достижении поставленной цели — допросы продолжались и в пути. Задача Тансыкбаева заключалась в том, чтобы шаг за шагом выявить подрывную сеть, созданную вражескими спецслужбами из лиц, бежавших при загадочных обстоятельствах из немецкого плена, оказавшихся в Югославии и вошедших там в прямые контакты не только с будущими югославскими ревизионистами, но и с английской разведкой. Необходимо было разоблачить завербованных и затаившихся до срока врагов Советской власти путем неустанных допросов, сличения показаний, прямых и

косвенных улик и, главное, через торжество королевы следствия — полное признание обиняемыми их вины и раскаяние в содеянном.

Начало тому было уже положено — в процессе допросов Абуталип Куттыбаев припомнил около десятка имен бывших военнопленных, воевавших в Югославии; большинство из них при проверке оказались живыми и здоровыми, проживающими в разных концах страны. Эти люди уже были арестованы и, в свою очередь, на допросах назвали еще много имен, значительно пополнив тем самым список югославских предателей. Одним словом, дело обрастало живой плотью и, с благословения высшестоящего начальства, придерживавшегося мнения, что профилактика в выявлении вражеских элементов никогда не вредна, вступало во вполне серьезную фазу. В случае успеха на фоне разгоравшегося международного конфликта с югославской компартией, предания Тито идеологической анафеме самим Сталиным оно могло оказаться весьма выигрышным и обещало «большой урожай» не только зачинателю процесса Тансыкбаеву, но и многим его коллегам из других городов, проявлявшим чрезвычайную заинтересованность по той же причине — всем им хотелось, пользуясь ситуацией, выдвинуться. Отсюда шла согласованность действий. Во всяком случае, в таких областных городах, как Чкалов (бывший Оренбург), Куйбышев, Саратов, куда везли Абуталипа Куттыбаева на очные ставки и перекрестные допросы, приезда Тансыкбаева ожидали с нетерпением.

Тансыкбаев не терял времени, он любил темпы, напор в работе. От него не ускользнуло, как подействовал на подследственного выезд из места заключения, с какой болью и тоской вглядывался тот сквозь решетку в проносящиеся за окном пристанционные поселки. Тансыкбаев понимал, что происходило у Куттыбаева на душе, и пытался внушить ему, насколько возможно, доверительным тоном, что он, следователь-де, нисколько не желает ему зла, потому как предполагает, что не так уж велика вина самого Куттыбаева, что-де ясно, конечно, что не он, Абуталип Куттыбаев, резидент, руководитель агентурной сети, зарезервированной спецслужбами на случай чрезвычайной ситуации в стране, и если Куттыбаев поможет следствию обнаружить главаря-резидента и, главное, раскрыть, железно доказать это на очной ставке, то свою участь он этим может облегчить. Очень даже. Смотришь, лет через пять — семь вернется к семье, к детям. В любом случае, если он поможет объективному ведению следствия, высшей меры наказания — расстрела — он избежит, и наоборот, чем больше он будет упорствовать, запутывать дело, скрывать от карательных органов истину, тем хуже для него, тем больше несчастья причинит он своей семье. Может случиться, на закрытом суде выйдет и вышка...

Еще один козырной ход Тансыкбаева заключался в том, что он внушал подследственному: если тот пойдет на сотрудничество, то его записи сарозекских преданий, особенно «Легенда о манкурте» и «Сарозекская казнь», не будут приобщены к делу, и наоборот, если Абуталип этого не сделает, Тансыкбаев предложит суду рассмотреть записанные им тексты как завуалированную под старину националистическую пропаганду. «Легенда о манкурте» — вредный призыв к возрождению ненужного и забытого языка предков, к сопротивлению ассимиляции наций, а «Сарозекская казнь» — осуждение сильной верховной власти, подрыв идеи главенства интересов государства над интересами личности, сочувствие гнилому буржуазному индивидуализму, осуждение общей линии коллективизации, т. е. подчинения коллектива единой цели, отсюда недалеко и до негативного восприятия социализма. А, как известно, любое нарушение социалистических принципов и интересов сурово карается... Недаром тем, кто без санкции подобрал с поля общественный колосок, дают десять лет лагерей. Что уж говорить о собирателе идеологических «колосков»! С такой подачи суд может рассмотреть дополнительные обвинения по дополнительной статье. Для большей убедительности Тансыкбаев несколько раз зачитывал вслух свои четкие умозаключения по поводу сарозекских текстов, не случайно явившихся, как всякий раз он подчеркивал, первым сигналом к аресту Куттыбаева и заведению дела...



Поезд шел уже вторые сутки. И чем ближе к сарозекам, тем больше волновался Абуталип, вглядываясь через зарешеченное окно в наплывающие просторы. В свободные от допросов часы, после тягостных увещеваний и яростных угроз, он мог остаться наедине с собой, закрытый в своем арестантском купе, обитом листовым железом. Это тоже была тюрьма, как и алма-атинский полуподвал, здесь тоже окно было зарешечено, не менее крепко, чем там, здесь тоже в глазок присматривало жесткое око надзирателя, но все же это было движением в пути, переменой мест, и, наконец, здесь он был избавлен от дикого, круглосуточно слепящего света с потолка, и самое главное — теплилась, то возгораясь, то угасая, неутихающая, саднящая душу надежда — увидеть хотя бы мельком детей, жену на полустанке Боранлы-Буранный. Ведь за все это время ни одного письма, ни одной весточки им не смог он отправить, и от них не получил ни единой строчки.

Этими надеждами и тревогами полна была душа Абуталипа с тех пор, как привезли его в крытой тюремной машине на станцию отправления под Алма-Атой и водворили в спецвагон, в купе под стражу. И как только понял он по ходу движения, что поезд идет в сарозекском направлении, так с новой силой застонала, запричитала душа его — увидеть хотя бы краешком глаза, хотя бы на мгновение детишек, Зарипу, и тогда будь что будет, только бы глянуть, узреть мимолетно...

Истосковался он до такой степени, что ни о чем другом теперь и думать не мог, только молил Бога, чтобы проезд через Боранлы-Буранный пришелся на дневное время, чтобы только не ночью, только бы не во тьме, и чтобы поезд через полустанок прошел непременно тогда, когда Зарипа и дети оказались бы на виду, а не в стенах барака.

Вот и все, что он просил у судьбы. И мало, и много. Но если подумать, то, в самом деле, что стоило случаю волей своей распорядиться так, а не иначе,— почему бы детям и Зарипе не оказаться в тот час во дворе, пусть бы детишки играли в свои игры, а Зарипа как раз развешивала бы белье на веревке и оглянулась бы между делом на проходящий поезд, и дети тоже вдруг замерли бы на месте, загляделись бы на мелькающие окна вагонов. А вдруг случилось бы такое, что редко, но случалось,— поезд бы взял да остановился на разъезде на несколько минут! И тут душа Абуталипа разрывалась: и хотела, чтобы счастье такое вдруг приключилось, но лучше бы не надо,— нет, не выдержал бы он такого страшного испытания, умер бы, да и детишек жалко — каково-то бы им пришлось, если б увидели отца в зарешеченном окне, как зашлись бы они в реве... Нет, нет, лучше не видеться...

И чтобы укрепить себя, чтобы убедить, заговорить судьбу смилостивиться, чтобы исполнились загаданные желания, он то и дело принимался просчитывать и прикидывать, ориентируясь по железнодорожным приметам, станциям в пути, различные варианты продвижения поезда — важно было установить, в какое время суток должны были они миновать сарозекский разъезд Боранлы-Буранный. Однако сомнения и тревоги не покидали его и тогда, когда расчеты получались благоприятными, ведь поезд мог задержаться, выйти из графи-

ка, опоздать, что нередко случалось зимой при больших снегопадах. Самым обидным было бы, если бы поезд проскочил полустанок ночью, когда Зарипа с детишками будут спать, не подозревая, что отец едет мимо в каких-нибудь десятках метров от дома. Вероятность этого нельзя было исключить, и тем больше страдал Абуталип, сознавая свою полную беспомощность и полную зависимость от случая.

И еще очень опасался Абуталип и молил Бога избавить его от этой напасти — как бы кречетоглазый следователь Тансыкбаев не учинил ему очередной допрос именно в тот час, когда они будут проезжать боранлинский разъезд.

Сколько препятствий и опасностей злейшим образом противостояли чистому желанию человека всего лишь мельком увидеть своих родных — такова была цена лишения свободы, и лишь одно радовало и вселяло надежду, что ему повезет,— окно в камере оказалось справа по движению, именно на той стороне, на которой располагался пристанционный барак на разъезде Боранлы-Буранный.

Все эти мысли, страхи, сомнения, втягивая Абуталипа в омут переживаний, отвлекли его от собственной участи, он, всецело погрузившись в напряженное ожидание, уже не думал о себе, не желал вникать в суть происходящего, не отдавал себе отчета в том, чем грозили ему чудовищные обвинения, выдвигаемые против него, навязываемые ему систематически требующим признания следователем Тансыкбаевым, фанатично и цинично добивавшимся поставленной цели— раскрыть сфабрикованную им же самим, якобы существующую в резерве еще с военных лет вражескую агентурную сеть, раскрыть, чтобы, ликвидировав, защитить государственную безопасность.

Не подконтрольный ни Богу, ни сатане, Тансыкбаев все рассчитал и предопределил, как Бог и сатана, оставалось только действовать. С тем он и ехал, с тем он и вез в арестантском купе Абуталипа Куттыбаева на очные ставки, чтобы поставить последние точки над «і».

Абуталип же молил Бога лишь об одном — чтобы ничто не помешало ему увидеть в окно вагона хотя бы на миг мальчишек своих Эрмеке и Даула, увидеть Зарипу, напоследок, навсегда. Большего он от жизни уже не просил, понимал подспудно и горько, что так написано ему на роду! Что это будет последним мгновением счастья, что отныне он никогда не вернется к семье, ибо то, что инкриминировалось ему Тансыкбаевым, перед которым он был абсолютно беззащитен и бесправен и, стало быть, столь же беззащитен и бесправен перед лицом всемогущей власти, не могло предвещать ничего иного, кроме погибели, чуть раньше или чуть позже, но погибели в лагерях. Абуталип приходил к неизбежному выводу: он обреченная жертва в руках Тансыкбаева. В свою очередь, Тансыкбаев был винтиком в абсурдной, но постоянно самозатачивающейся карательной системе, направленной на неустанную борьбу с врагами, помышляющими остановить мировое движение социализма, препятствующими торжеству коммунизма на земле.

Эта магическая формулировка, однажды обращенная к кому бы то ни было как обвинение, не могла иметь обратного хода. Она могла быть исчерпана только тем или иным наказанием: расстрелом, лишением свободы на двадцать пять лет, на пятнадцать или десять лет. Другого исхода не предусматривалось. Никто и не ждал в подобных случаях иного исхода. И жертва, и каратель одинаково понимали, что эта магическая формулировка, вступив в силу, не только оправдывала карателя, но и более того — обязывала его прибегать к любым средствам для искоренения врагов, а репрессируемого, приносимого в жертву кровавому молоху истребления инакомыслия, обязывала осознать свою обреченность как целесообразную необходимость.



Так оно и получалось. Поезд катился по сарозекской степи, колеса вращались, Тансыкбаев и его подследственный ехали в одном вагоне, чтобы сообща, при этом каждый по-своему, сделать необходимое для блага трудящихся дело — осуществить очередное разоблачение затаившихся идеологических врагов, без чего социализм был бы немыслим, самораспустился бы, иссяк в сознании масс. Потому требовалось все время с кем-то бороться, кого-то разоблачать, что-то ликвидировать...

А поезд катился. И поскольку Абуталип ничем и никак не мог изменить судьбы, то вынужденно смирялся со своей горькой участью как с неотвратимым злом. Теперь он воспринимал суть происходящего настолько же покорно и безнадежно, насколько болезненно и отчаянно сопротивлялся тому поначалу. Теперь он все больше убеждался, что если бы ему было дано заново родиться на свет, то и тогда не удалось бы избежать столкновения с безликой, бесчеловечной силой, стоящей за Тансыкбаевым. Эта сила оказалась пострашнее войны и пострашнее плена, ибо она была бессрочным злом, длившимся, возможно, со времени сотворения мира. Возможно, Абуталип Куттыбаев, скромный школьный учитель, оказался в роду человеческом одним из тех, кто расплачивался за долгое томление дьявола от безделия в просторах Вселенной, пока не появился на земле человек, который, один-единственный из всех земных тварей, сразу сошелся с дьяволом, культивируя торжество зла изо день в день, из века в век. Да, только человек оказался таким ревностным носителем зла. В этом смысле Тансыкбаев был для Абуталипа изначальным носителем дьявольщины. Потому-то они и следовали в одном поезде, в одном спецвагоне, по одному чрезвычайно важному делу.

Когда Тансыкбаева отвлекали на разных станциях встречающие сослуживцы местного уровня, приносившие, кто по дружбе, кто по службе, всяческую дорожную снедь и выпивку, Абуталипа это даже радовало — все же меньше времени оставалось у того на терзание допросами. Пусть себе услаждается в пути. В Кзыл-Орде на вокзале была особенно радушная встреча коллег — друзья принесли в вагон Тансыкбаева дымящееся блюдо, покрытое белым полотенцем. В коридоре за дверью засновали охранники, принимавшие угощение: «Казы, кабырга! — полушепотом, с удовольствием проговорил один из них.— А запах какой! В городе такого не бывает. Степное мясо!»

Через краешек зарешеченного окна Абуталип увидел, как Тансыкбаев в шинели внакидку вышел попрощаться на перрон. Стояли все кружком, коренастые, упитанные, как на подбор, в каракулевых шапках, с краснощекими сияющими лицами, улыбчивые, оживленно жестикулирующие и дружно хохочущие,— возможно, по поводу нового анекдота,— пар горячий валил на морозном воздухе изо ртов, каблуки, наверное, поскрипывали на тонком снегу. А бдительная милиция никого сюда не подпускала — в изголовье состава, у спецвагона стояли они, тансыкбаевцы, одни, довольные, уверенные, счастливые, и никому совершенно не было дела до того, что рядом, в арестантском купе, томился посаженный их стараниями не вор, не насильник, не убийца, а, напротив, честный, добропорядочный человек, прошедший войну и плен и не исповедовавший никакой иной веры, кроме любви к своим детям и жене, и видевший в этой любви главный смысл жизни. Но именно такой человек, не состоявший ни в какой партии на свете и потому не клявшийся и не каявшийся, был нужен им в застенках, чтобы счастливо жилось трудовому народу...

После Кзыл-Орды пошли знакомые, родные места. Близился вечер. Медленно изгибаясь в заснеженных низинах, блеснула Сыр-Дарья, и вскоре, уже на заходе солнца, завиднелось посреди сте-

ли Аральское море. Вначале то камышовой излучиной, то отдаленным краем чистой воды, то островком напоминало море о себе, а вскоре Абуталип увидел прибойные волны на мокром песке почти у самой железной дороги. Удивительно было все это узреть в одно мгновение: и снег, и песок, и прибрежные камни, и синее море на ветру, и стадо бурых верблюдов на каменистом полуострове, и все это под высоким небом в белых разрозненных пятнах облаков.

Припомнил Абуталип, что Буранный Едигей родом с Аральского моря, что Казангап получает от знакомых рыбаков посылки с любимой им вяленой аральской рыбой через проводников на товарняках, и заныло, защемило тревожно сердце — до разъезда Боранлы-Буранный оставалось не так много — ночь езды, а утром, часам к десяти или чуть позднее, прогудит пассажирский поезд со спецвагоном в голове состава, мчась мимо боранлинских обшарпанных ветрами домиков, мимо сараюшек и верблюжьих загонов, огороженных колючими снопами, и, оставляя позади сбегающиеся пути, скроется из виду, придя и уйдя. Сколько их проходит, поездов,— с востока на запад и с запада на восток, но подскажет ли сердце Зарипе, что Абуталип проедет мимо в то утро на запад в арестантском купе спецвагона, а может, детские души почуют нечто необъяснимое и тревожное, и потянет их именно в тот час поглазеть на проходящий поезд? О создатель, для чего же надо жить людям так тяжко и горько?

Февральское солнце уже закатывалось, угасало вдали холодно рдеющей багровой полосой между небом и землей, и уже смеркалось, и уже накатывалась исподволь зимняя ночь. Размывались в сумерках мелькающие видения, зажигались станционные огни. А поезд, извиваясь, прокладывал путь в глубину степной ночи...

Не спалось, маялся Абуталип Куттыбаев. Закрытый в окованном жестью купе, не находил он себе места, метался из угла в угол, вздыхал, то и дело попусту просился в туалет, вызывая раздражение надзирателя. Тот уже несколько раз делал замечание, приоткрыв дверцу купе:

— Заключенный, ты что все шебуршишься? Не положено так! Сиди смирно!

Но Абуталип не в силах был успокоить себя, и он взмолился, обращаясь к охраннику:

— Слушай, дежурный, умоляю, дай что-нибудь, чтобы уснуть, иначе я умру. Честное слово! А зачем я вам мертвый? Скажи начальнику своему — зачем я вам мертвый? Истинно — не могу заснуть!

Как ни странно (причину той отзывчивости Абуталип понял на другой день утром), надзиратель принес из купе Тансыкбаева две таблетки снотворного, и только тогда, приняв снотворное, задремал Абуталип уже в середине ночи, но уснуть по-настоящему так и не удалось. Мерещилось ему в полусне под дробный стук колес и завывание гудящего ветра снаружи, что бежит он впереди паровоза, бежит, надрываясь и хрипя, в страхе, что попадет под колеса, а поезд мчится за ним на всех парах. Так бежал он той безумной ночью по шпалам впереди паровоза, и казалось, что происходит это наяву, настолько было страшно и правдоподобно. Пить хотелось, в горле пересыхало. Паровоз же гнался за ним с пылающими фарами, освещая ему путь впереди. А он бежал между рельсами, вглядываясь напряженно в метельную округу, и звал, кликал жалобно, оглядываясь по сторонам: «Зарипа, Даул, Эрмек, где вы? Бегите ко мне! Это я, ваш отец! Где вы? Отзовитесь!». Никто не отзывался. Впереди бушевала темная мгла, а позади настигал, готовый смять, раздавить его, грохочущий паровоз, и не было сил убежать, скрыться куда-нибудь от набегающего сзади все ближе и ближе, по пятам паровоза... И оттого становилось еще хуже — страх, отчаяние сковывали движения, ноги становились непослушными, дыхание прерывалось...



Рано утром, накинув фуфайку на плечи, бледный, отекший Абуталип уже сидел у зарешеченного окна и вглядывался в степь. Холодно, темно еще было снаружи, но постепенно земля прояснялась, утро входило в силу.

День обещал быть пасмурным, возможно, со снегом, хотя в небе виднелись и размытые просветы...

Да, пошли уже собственно сарозекские земли, заснеженные по зиме, заметенные сугробами, но для внимательного взора узнаваемые по очертаниям,— пригорки, овраги, поселения, первые дымки над знакомыми по прежним проездам крышами. И эти чужие крыши с зимними дымами из труб казались родными. Скоро предстояла станция Кумбель, а там, часа через три, и разъезд Боранлы-Буранный. Можно сказать, совсем уже близко — ведь сюда, в эти места, Едигей и Казангап наезжали при случае и на верблюдах — на поминки, на свадьбы... Вот и в этот ранний час кто-то ехал верхом на буром верблюде, в большой меховой шапке — лисьем малахае, и Абуталип приник к самой решетке — а вдруг это кто из своих... А что если вдруг то Едигей на своем Каранаре очутился здесь почему-либо? Что стоит ему отмахать сотню верст на своем могучем атане, который бежит, как, должно быть, бегает жираф где-нибудь в Африке...

И как-то, сам того не замечая, поддался Абуталип настроению — стал собираться, как бы к выходу из поезда. Раза два переобувался даже, перематывал портянки, сложил вещмешок. И стал ждать. Но не усидел — добился у охраны, чтобы умыться пораньше в туалете и, возвращенный в купе, снова не знал, чем занять себя.

А поезд шел по сарозекским степям... Смиряя себя, Абуталип сидел, зажав сомкнутые руки между коленями, и лишь изредка позволял себе смотреть в окно.

На станции Кумбель поезд простоял семь минут. Здесь все уже было своим. Даже поезда — товарные и пассажирские, встретившиеся с его поездом на путях этой большой станции перед тем, как разминуться в разные стороны,— казались Абуталипу желанными и родными, ведь они совсем недавно проходили через Боранлы-Буранный, где жили его дети и жена. Одного этого оказалось достаточно, чтобы полюбить даже неодушевленные предметы.

Но вот его поезд снова двинулся в путь, и, пока он шел вдоль перрона, пока выходил из пределов станции, Абуталип успел разглядеть показавшиеся ему знакомыми лица местных жителей. Да, да, он, безусловно, знал их, этих увиденных им кумбельцев, да и они наверняка знали старожилов боранлинских — Казангапа, Едигея, их домочадцев, ведь сынок Казангапа Сабитжан окончил здешнюю школу, а теперь учился уже в институте...

Оставляя позади станционные пути, поезд набирал скорость, шел все быстрей и быстрей. Припомнилось Абуталипу, как приезжали они сюда с детворой за арбузами, как приезжал он за новогодней елкой и по разным другим делам...

К еде, выданной ему на утро, Абуталип даже не прикоснулся. Все думалось о том, что до разъезда Боранлы-Буранный осталось совсем немного — часа два с небольшим, и теперь Абуталип опасался, как бы не пошел снег, как бы не заметелило,— ведь тогда Зарипа и детишки будут сидеть дома, и тогда, конечно, он их не увидит даже издали...

«О, Боже,— думалось Абуталипу,— воздержись в этот раз от снега. Повремени немного. Ведь и потом у тебя хватит времени на это. Ты слышишь? Прошу тебя!» Сжавшись в комок, стиснув сомкнутые ру-

ки между колен, Абуталип пытался сосредоточиться, набраться терпения, уйти в себя, чтобы не помешать загаданному, дождаться того, чего он просил у судьбы,— увидеть через окно вагона жену и детей. А вот если бы они его увидели... Утром, когда он, охраняемый за дверью надзирателем, умывался в туалете и посмотрел на себя в позеленевшее зеркало над ржавой раковиной, бросилось ему в глаза, что он бледен, желт, как мертвец, даже в плену не был так желт, и уже сед, и глаза не те, поугасшие от горя, морщины резко прорезались на лбу... А ведь о старости еще не думалось... Если бы сыночки Даул и Эрмек, если бы Зарипа увидели его, то вряд ли признали бы — испугались бы, пожалуй. Но потом они наверняка обрадовались бы, и стоило бы ему вернуться в семью, стоило бы обрести покой рядом с детьми и женой, он снова бы стал таким, как прежде...

Размышляя об этом, Абуталип поглядывал в окно. Вот опять знакомое место — пригорки, а между ними седловинка. Мечтал когда-то приехать сюда с детворой боранлинской, чтоб набегались с пригорка на пригорок, как с волны на волну, радостно визжа.

В этот момент ключи в дверях арестантского купе решительно загремели, дверь распахнулась, на пороге стояли двое надзирателей.

— Выходи на допрос! — приказал старший из них.

— Как на допрос? Зачем? — невольно вырвалось у Абуталипа.

Надзиратель даже придвинулся к нему недоуменно, не больной ли случаем:

— Что значит, зачем? Не понимаешь, что ли, выходи на допрос!

Абуталип в отчаянье опустил голову. Кинулся бы, не раздумывая, в окно, чтобы камнем проломиться прочь, но на окне была решетка... Пришлось подчиниться. Значит, не судьба. Значит, не увидеть ему, приникнув к окну, того, чего он так ждал. Абуталип медленно поднялся с места, как человек с тяжким грузом, и пошел, сопровождаемый надзирателями, в купе к Тансыкбаеву, как на виселицу. И, однако, мелькнула последняя надежда — впереди еще часа полтора пути, может быть, допрос закончится к тому времени. Оставалось надеяться только на это. До купе Тансыкбаева было всего четыре шага. Долго шел Абуталип эти четыре шага. А тот уже ждал его.

— Заходи, Куттыбаев, поговорим, поработаем,— соблюдая строгость в лице и голосе и тем не менее довольно оглаживая свежевыбритое лицо, протертое резким одеколоном, проговорил Тансыкбаев, вглядываясь в Абуталипа пронзительными глазами.— Садись. Разрешаю садиться. Так будет удобней и тебе, и мне.

Охранники остались за закрытыми дверями, готовые немедленно явиться по первому зову. Убить кречетоглазого было невозможно. Нечем. Не видно было нигде ни бутылки, ни стакана, хотя, конечно, кречетоглазый не прочь был пропустить при случае. Об этом говорил запах водки и закусок в купе.

Поезд же шел, как и прежде, разрезая движением сарозекскую степь, и все меньше оставалось пути до разъезда Боранлы-Буранный. Тансыкбаев не спешил, перечитывал какие-то записи, копался в бумагах. И Абуталип не утерпел, он истомился, извелся за несколько минут, так тяжел был ему этот вызов на допрос. И он сказал Тансыкбаеву:

— Я жду, гражданин начальник.

Тансыкбаев удивленно поднял глаза:

— Ты ждешь? — недоуменно проговорил он.— Чего ты ждешь?

— Допроса жду. Вопросов жду...

— Ах вон оно что! — протянул Тансыкбаев, подавляя в себе вспыхнувшее торжество.— Что ж, это неплохо, Куттыбаев, я тебе скажу, совсем неплохо, когда обвиняемый сам, как говорится, по доброй воле, раскаявшись, ждет допроса, чтобы ответить на дознание... Значит, ему есть что сказать, есть что открыть следственным органам. Не так ли? — Тансыкбаев понял, что именно так следует вести сегодня допрос, сменив угрожающий тон на обманчиво дружелюбный.— Стало быть, ты осознал,— продолжал он,— в чем твоя вина, и желаешь помочь следственным органам в борьбе с врагами Советской власти, даже если ты сам был врагом. Важно, что для нас с тобой Советская власть прежде всего, дороже отца-матери, разумеется, для каждого по-своему,— он замолчал удовлетворенно и добавил: — Я всегда думал, что ты разумный человек, Куттыбаев. И всегда надеялся, что мы с тобой найдем общий язык. Что молчишь?



— Не знаю,— неопределенно ответил Абуталип,— не понимаю, в чем я виноват,— добавил он, украдкой поглядывая за окно вагона. Поезд шел напряженно, и сарозекская степь под хмуро нависающим небом убегала назад с головокружительной скоростью, как в немом кино.

— Вот что я тебе скажу. Будем откровенны,— продолжал Тансыкбаев.— Ведь тебя везут, как короля, в спецвагоне не случайно. Такое не бывает зазря. За так-сяк в купе отдельном не повезут. Значит, ты важная персона в следственном деле. От тебя многое зависит. И с тебя особый спрос. Подумай. Очень даже подумай. А теперь послушай, что я скажу. Сегодня поздно вечером мы прибываем в Оренбург, в Чкалов то есть. Там нас ждут. Это наш первый пункт. Ты знаешь, там проживают двое из твоих подельников: Попов Александр Иванович и татарин Сейфулин Хамид. Оба они уже под арестом. Кстати, с твоих показаний. И оба признаются, что вместе с тобой были в плену в Баварии, а потом вместе бежали,— кстати, при странных обстоятельствах, почему-то только вашей бригаде удалось бежать из каменоломен, в этом мы еще разберемся. А потом в Югославии подвизались, и оба они дают показания, что были на встрече с английской миссией. Ты хорошо знаешь, о чем речь. Об этом ты писал в своих воспоминаниях. Надо сказать, любопытно написанных. Нам известно, что Попов — резидент, а Сейфулин его дублер, правая рука. Ты, Куттыбаев, конечно, не первая скрипка в агентуре, потому тебе облегчение, если поможешь следствию,

— Какая агентура? Я уже говорил, что я не видел их с сорок пятого года, как кончилась война,— вставил Абуталип.

— Это неважно. Совсем неважно. Не обязательно видеться в личном порядке, с глазу на глаз. Кто-то был связным. Ну, скажем, этот самый правдолюбец Едигей Джангельдин не ездил ли в Оренбург или куда еще? Ведь и так могло быть, что вы держали связь через кого-то. Ты подумай сначала.

— Если я скажу, что Едигей ездил в Оренбург на своем верблюде Каранаре,— это пойдет? — не удержался Абуталип.

— Ты опять за свое, Куттыбаев. Напрасно. Я с тобой ведь по-хорошему, а ты уже нос воротишь. Сопротивление только во вред тебе. А насчет Едигея можешь не беспокоиться. Надо будет, возьмем и его, даже вместе с верблюдом. Если хочешь, чтобы мы его не трогали, не крути на очной ставке.

Паровоз впереди дал долгий, сильный сигнал встречному. Его мощный гудок тягостно прошелся по сердцу Абуталипа. Все меньше времени оставалось до разъезда Боранлы-Буранный. Ход рассуждений кречетоглазого ужасал Абуталипа. Для такой силы нет ничего невозможного в стране. Но в этот час больше всего угнетало Абуталипа то, что на Тансыкбаева напала необычная словоохотливость, и он не собирается заканчивать допрос.

— Так вот,— прервал молчание Тансыкбаев, отодвигая от себя бумаги и подняв глаза на Абуталипа.— Я уверен, что мы поймем друг

друга, в этом твой выход. Очная ставка в Оренбурге определит главное — или ты будешь мне помогать, делать дело, или я сделаю все, чтобы ты очень сожалел, когда получишь четвертной срок, а то и вышку. Ты понимаешь, что к чему. Мы доберемся и до самого Тито, которому вы служили все эти годы. За процессом следит сам Иосиф Виссарионович. Никто не останется безнаказанным, корчевать будем беспощадно. Так что, дорогой, благодари судьбу, что я не желаю тебе зла. Но и ты не должен оставаться в долгу. Ты понимаешь, о чем речь?

Абуталип молчал и, холодея, считал в уме минуты приближения к полустанку. Значит, так и не придется увидеть своих хотя бы в окно. Эта мысль сверлила его мозг.

— Ты что молчишь? Я тебя спрашиваю, ты понимаешь, о чем речь? — допытывался Тансыкбаев.

Абуталип кивнул головой. Конечно, он понимал, о чем речь.

— Ну, вот так бы давно! — Тансыкбаев истолковал кивок как знак согласия, он встал, подошел к Абуталипу и даже положил ему руку на плечо.— Я знал, что ты неглупый джигит, что ты выйдешь на правильный путь. Значит, мы с тобой договорились. И ни в чем не сомневайся. Делай все, как я скажу. Самое главное — не волнуйся на очной ставке, гляди в глаза и говори все, как есть. Попов — резидент, с сорок четвертого года завербован английской разведкой, перед депортацией был на совещании у самого Тито, имеет долгосрочное задание на случай волнений. Все, этого достаточно. Теперь насчет этого татарина Сейфулина, значит, так, Сейфулин — правая рука Попова. И все — этого хватит. Остальное мы сами. Делай заявления и не сомневайся. Тебе ничего не грозит. Абсолютно ничего. Я тебя не подведу. Так, стало быть. С врагами у нас разговор короткий — врагов ликвидируем. С друзьями сотрудничаем — делаем скидку. Запомни. И еще запомни, со мной шутки плохи. А что ты такой бледный, потный какой-то, тебе что, нездоровится? Душно?

— Да, плохо себя чувствую,— сказал Абуталип, преодолевая приступ головокружения и тошноты, точно он отравился дурной пищей.

— Ну, если так, не стану тебя задерживать. Сейчас пойдешь к себе и отдыхай до самого Оренбурга. Но в Оренбурге чтобы как штык. Понял? На очной ставке чтобы никаких шатаний. Никаких «не помню, не знаю, забыл» и прочее... Все, как есть, выкладывай, и баста. А остальное пусть тебя не волнует. Остальное мы сами. Вот так. Сейчас не будем заниматься писаниной, иди отдыхай, а по итогам очной ставки в Оренбурге подпишем бумаги, как требуется. Подпишешь показания. А сейчас иди. Считаю, что мы с тобой обо всем договорились.— С этими словами Тансыкбаев отправил Абуталипа в его арестантское купе.

И с этого момента, как бы от нового рубежа, для Абуталипа началась какая-то особая жизнь. Ему показалось, что поезд ускорил свой бег. За окном стремительно мелькали хорошо знакомые места, до Боранлы-Буранного оставались считанные минуты. Надо было успокоиться, взять себя в руки и ждать, быть готовым к любому для себя исходу, но прежде всего надо было умерить скорость поезда. «Надо, чтобы поезд шел медленнее»,— подумал Абуталип, заклиная некую силу, и вскоре почувствовал, или ему так показалось, что поезд вроде бы стал сбавлять скорость, за окном прекратилось раздражающее мелькание. И тогда он сказал себе: «Все будет, как я прошу!» — и немного успокоился, перестал задыхаться; приникнув к решетчатому окну, он стал ждать.

Поезд и в самом дел подходил к разъезду Боранлы-Буранный, куда беда пригнала Абуталипа изгоем, где он прижился и мечтал, пока дети подрастут, переждать невзгоды истории. Но и этому оказалось



не суждено сбыться. Семья осталась брошенной на произвол судьбы, а сам он проезжал теперь мимо в арестантском вагоне.

Абуталип всматривался в окно с таким напряжением, будто должен был запомнить увиденное на всю жизнь, до последнего вздоха, до последнего света в глазах. И все, что он видел в тот предполуденный час февральской зимы: сугробы, прогалины у железной дороги, местами оголившуюся, местами заснеженную степь — он воспринимал, как святое видение,— с трепетом, мольбой и любовью. Вот пригорок, вот ложбинка, вот тропка, по которой они с Зарипой ходили на ремонт путей с инструментом на плечах, вот полянка, где летом бегала детвора баранлинская и его мальчишки Даул и Эрмек... А вот кучка верблюдов, а вот там еще пара, и один из них — едигеевский Каранар, его же издали можно отличить, все такой же могучий, неспешно бредет себе куда-то; но что это — снег пошел вдруг, в воздухе за окном заметались снежинки, ну, конечно, ведь с утра небо набухало тучами, значит, быть непогоде, но чуточку бы погодил снежок, совсем чуточку, ведь видны уже загоны верблюжьи и первая крыша с дымом из трубы, а вот и стрелка, поезд переходит на запасную колею, колеса перестукивают на стыках, и стрелочник у будки с флажком, так это же Казангап, жилистый, как посохшее дерево; о, Боже, вот промелькнула будка Казангапа, поезд движется дальше, мимо поселка: вот домики, их крыши и окна, вот кто-то вошел в дом, только спину его увидел Абуталип, а вот кто-то орудует у жердей и досок, что-то строит для детворы. Едигей,— да, это он, Едигей, в телогрейке с засученными рукавами, и рядом его дочурки, а с ними и Эрмек, да, Эрмек мой родной, дорогой мой мальчик, стоит неподалеку от Едигея и что-то подает ему с земли, о Боже, лицо его только мелькнуло, а где же Даул, где Зарипа? Вон женщина идет беременная, то жена начальника разъезда Сауле, а вот и Зарипа, в платке, сбившемся на плечи, Зарипа и Даул, она ведет младшего за руку, они идут туда, где Едигей с детворой что-то сооружают, они идут и не знают, что он, Абуталип, судорожно зажал себе рукой рот, чтобы не закричать, не заорать дико и отчаянно: «Зарипа! Родная! Даул! Даул, сынок мой! Это я! Я вижу вас последний раз! Прощайте! Даул! Эрмек! Прощайте! Не забывайте! Я не могу без вас! Умру я без вас, без родных моих детей, без жены моей любимой! Прощайте!»

И все, что было увидено в те промелькнувшие мгновения, снова и снова возникало перед взором Абуталипа, когда поезд уже давно миновал долгожданный разъезд Боранлы-Буранный. Уже валил снег за окном, густо и обильно, уже давно все осталось позади, но для Абуталипа Куттыбаева время остановилось в минувшем пространстве, на том отрезке пути, который вмещал в себя всю боль и смысл его жизни.

Он так и не смог оторвать себя от окна, хотя из-за снега глядеть в окно было уже бессмысленно. Он так и остался прикованным к окну, потрясенный тем, что, не смирившись с творимой несправедливостью, вынужден был, однако, подчиниться некой воле, тихо, украдкой проследовать мимо жены и детей, как безмолвная тварь, ибо к тому принудила его эта сила, лишившая его свободы, и он, вместо того, чтобы спрыгнуть с поезда, объявиться, открыто побежать к истосковавшейся семье, униженный и жалкий, глядел в окошко, позволил Тансыкбаеву обращаться с собой, как с собакой, которой приказано сидеть в углу и не двигаться. И чтобы как-то унять себя, Абуталип дал себе слово, которое не произнес, но понял...

Горькую сладость мимолетной встречи Абуталип испивал теперь до дна. Только это было в его силах, только это оставалось в его воле — воскрешать и воскрешать все заново, подробно, в деталях, зримо: то, как увидел вначале Казангапа, все такого же, с неизменным

флажком в жилистой руке, на постоянном его посту, сколько же поездов пропустил он на своем веку, стоя то в одном, то в другом конце разъезда; и то, как потом пошли боранлинские домики, загоны для скота, дымки над трубами, и потом — как он чуть не захлебнулся от собственного крика и отчаяния, успев зажать себе рот, когда увидел Эрмека среди детворы возле Буранного Едигея, что-то сооружавшего для ребятишек в тот час, верного человека, оставшегося в мире, как утес, самим собой. Эрмек подавал Едигею то ли дощечку, то ли еще что-то, и в те несколько секунд увидено было так отчетливо, так ясно — Едигей, живо обращенный к детям, большой, кряжистый, смуглолицый, в телогрейке с засученными рукавами, в кирзачах, и мальчик в старой зимней шапчонке и валенках, и идущие к ним Зарипа с Даулом. Бедная, родная Зарипа — так близко увидена была им — и то, что платок сбился на плечи, обнажив ее черные волнистые волосы, и бледное лицо, такое трогательное и желанное; расстегнутое пальто, грубые сапоги на ногах, купленные им, наклон головы к сыночку — она что-то ему говорила,— все это, бесконечно близкое, родное, незабываемое, долго продолжало сопутствовать Абуталипу в его мысленном прощании после встречи... И ничем нельзя было заменить этой утраты, ничем и никогда...

Всю дорогу шел снег, мела, крутила пурга. На одной из станций перед Оренбургом поезд задержался на целый час — расчищали пути от сугробов... Слышались голоса, люди работали, проклиная погоду и все на свете. Потом поезд снова двинулся и шел, окутанный метельными вихрями. В Оренбург въезжали долго, придорожные деревья смутно высились черными, безмолвными корявыми стволами, как сушняк на брошенном кладбище. Самого города практически не было видно. На сортировочной станции опять же долго стояли в ночи — спецвагон отцепляли от состава. Абуталип это понял по толчкам вагонов, по крикам сцепщиков, по гудкам маневровых локомотивов. Потом вагон потащили еще куда-то, должно быть, на запасный путь.

Была уже глубокая ночь, когда спецвагон был поставлен на отведенное ему место. Последний толчок, последняя команда снизу: «Хорош! Отваливай!» Вагон остановился как вкопанный.

— Ну, все! Собирайся! Выходи, заключенный! — приказал старший надзиратель Абуталипу, открывая дверь купе.— Не задерживай! Выходи! Заспался? Глотни свежего воздуха!

Абуталип медленно поднялся навстречу и отрешенно сказал, подойдя вплотную к надзирателю:

— Я готов. Куда идти?

— Ну, готов, так шагай! А куда идти, конвой укажет,— надзиратель пропустил Абуталипа в коридор, но потом удивленно и возмущенно заорал, остановил его:

— А вещмешок твой остается, что ли? Ты куда? Почему не берешь вещмешок? Или тебе носильщика пригласить? Вернись, забери свои шмотки!

Абуталип вернулся в купе, нехотя взял забытый вещмешок и, когда снова вышел в коридор, то чуть не столкнулся с двумя местными спецсотрудниками, спешно и озабоченно идущими по вагону.

— Остановись! — прижал Абуталипа к стенке надзиратель.— Пропусти! Пусть товарищи пройдут.

Выходя из вагона, Абуталип слышал, как те двое постучались в купе Тансыкбаева.

— Товарищ Тансыкбаев! — донеслись их взволнованные голоса.— С прибытием! Уж мы заждались вас! Уж мы заждались! А у нас снегопад! Извините! Разрешите представиться, товарищ майор!

Вооруженный конвой — трое в ушанках, в солдатской форме,— стоял внизу в ожидании заключенного, которого приказано было провести через пути к крытой машине.



— Ну, сходи! Чего ждешь? — торопил один из конвоиров.

Сопровождаемый надзирателем, Абуталип молча сходил по ступеням с поезда. Резко дохнуло холодом, мелко порошил снег. От морозных поручней жестко свело руку. Тьма, разрываемая путевыми огнями на незнакомой станции, путаница рельсов, заметенных пургой, тревожные сигналы маневровых толкачей.

— Сдаю заключенного номером девяносто семь! — доложил конвою старший надзиратель.

— Принимаю заключенного номером девяносто семь! — эхом ответил старший конвоир.

— Все! Шагай, куда прикажут! — сказал Абуталипу старший надзиратель на прощание. И потом добавил зачем-то: — А там посадят в машину и увезут...

Абуталип под конвоем двинулся по путям, перешагивая наугад через рельсы и шпалы. Шли, закрываясь от снега. Абуталип нес на плече вещмешок. То там, то тут подавали гудки локомотивы ночной смены.

Оренбургские коллеги, прибывшие к Тансыкбаеву в купе, чтобы увезти его в гостиницу, однако задержались, отмечая его прибытие. Коллеги предложили ради знакомства выпить и закусить тут же, в купе, тем более что ночь, нерабочее время. Кто не согласится. В разговоре Тансыкбаев счел возможным сказать, что дело пошло на лад, можно быть уверенным в успехе очной ставки, ради которой они прибыли из Алма-Аты.

Коллеги быстро сошлись, оживленно беседовали, как вдруг снаружи раздались возбужденные голоса и топот ног по коридору вагона. В купе ворвались конвоир и старший надзиратель. Конвоир был в крови. С диким, перекошенным лицом, отдавая честь Тансыкбаеву, крикнул:

— Заключенный номером девяносто семь погиб!

— Как погиб? — вскочил вне себя Тансыкбаев.— Что значит погиб?

— Бросился под паровоз! — уточнил старший надзиратель.

— Что значит бросился? Как бросился? — неистово тряс надзирателя Тансыкбаев.

— Когда мы подошли к путям, слева и справа маневровые двигались,— начал сбивчиво объяснять конвоир.— Там же состав передвигали. Туда-сюда... Ну, мы и остановились, чтобы переждать... А заключенный вдруг размахнулся вещмешком, ударил меня по голове, а сам кинулся прямо под паровоз, под колеса...

Все в полной растерянности от неожиданности происшедшего молчали. Тансыкбаев стал лихорадочно собираться к выходу.

— Гад такой, сволочь, выкрутился! — выругался он с дрожью в голосе.— Все дело сорвал! А! Надо же! Ушел ведь, ушел! — и отчаянно махнул рукой, налил себе полный стакан водки.

Его оренбургские коллеги, однако, не преминули предупредить конвоира, что всю ответственность за случившееся несет конвой...

---

**Михаил Матусовский**

# ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

●

То коридоров переход,
То свет сестры дежурной снится.
Впервые в жизни — Новый год
Встречаю в Боткинской больнице.

И страх степанакертских дней,
И улочки Баку кривые,—
Поверьте, мне сейчас видней
Из интенсивной терапии.

Я вижу изморозь, туман,
И лица, желтые до воска,
И толпы беженцев-армян,
Скопившихся у Красноводска.

Террас толченое стекло.
Приклад, пробивший чью-то раму.
И все зубцами пролетло
Через мою кардиограмму.

## Дачный поселок «Красная пахра». Средняя аллея.

То сад, редеющий на треть,
Под ветром станет вдруг приплясывать.
То старый дом начнет скрипеть
Давно просевшею террасою.

То вдруг встревожит иногда
Ночной бездомный голос филина.
То станет исподволь вода
В котельной прибывать усиленно.

Напоминая о войне
Всей остротой рисунка резкого,
Висит на выцветшей стене
Портрет работы О. Верейского.

Лежат тетради дневника,
Где он взывает к нам отчаянно.
Незавершенная строка
Ждет возвращения хозяина.



Опять Главлит статью отверг,
И нет на повесть разрешения.
Опять поэт туда, наверх,
Начальством вызван для внушения.

И в те глухие времена,
Где жить невмоготу становится,
Служила только лишь Она
Его опорою и совестью...

Не потому ли и теперь
Ей долго глаз сомкнуть не хочется,
Когда всю ночь из двери в дверь
По дому ходит одиночество.

Уже дорожки все подряд
Кротовыми подрыты норками.
Сдавая полномочья, сад
Плодами угощает горькими.

И седина, за нитью нить,
Вкруг головы легла короною.
Наверно, очень трудно быть
Марией Илларионовной...

## Кижская легенда

Не за года, а за сутки, поди же,
В белую ночь не уснув до утра,
Выбрав пригорок на острове Кижи,
Не выпускал он из рук топора.

Был его замысел смел и просторен,
Да и сноровка была неплоха.
Сосны смолистые брал он под корень.
А из осин выгибал лемеха.

Издалека различимое всюду,
В северном сумраке вдруг засияв,
Так и возникло онежское чудо
Двадцати двух серебрящихся глав.

В ней была скромность избы деревенской,
Если б не взмывшие ввысь купола...
Церковь, что названа Преображенской,
Преобразила здесь все, что могла.

Вверх устремлялся «бочонок» к «бочонку».
Знал он, какая ждала их судьба,—
Мастер закончил свою работенку,
Пот отирая тряпицей со лба.

Выискав в заводях тайное место,
Бросил топор утомленной рукой.
«Церковь,— примолвил он,— выполнил Нестор,—
Не было, нет и не будет такой...».

## *Еврейское кладбище в Луганске*

Чудовищной гримасою ощерен,
Как будто привиденье, среди дня,
Единственный свидетель — старый череп
Сказать всю правду требует с меня.

Ограды все с решетками кривыми,
Чуть тянет тленьем в воздухе сыром.
Над мертвыми, как будто над живыми,
Здесь учинили подлинный погром.

Могильщики вели работу споро,
Задавши труд киркам и топорам.
А мраморные глыбы мародеры
Проворно растащили по дворам.

Давно уже светильники погасли.
Все поросло, что может порасти.
Фашисты, побывавшие в Луганске,
Сюда не удосужились дойти...

Ты, веровавший в мир людской и братский,
Коль ты и вправду веруешь, окстись,—
Как в этой зоне будет вам гуляться,
Как на лужайках этих вам пастись?!

Вон там камней поруганных молчанье,
Вот здесь плюща растоптанная плеть.
Придется вам однажды, луганчане,
В глаза друг другу все же посмотреть!

●

Беспомощно исписываю разом
И тут же рву в отчаянье листы.
За годы словоблудья я наказан
Мучительной болезнью немоты.

Уж, кажется, открылась дверь стальная.
Но как осилить робость,— не пойму.
Так узник из Шильона знать не знает,
Что делать со свободою ему.

---

Георгий Семенов

# ЧИСТЫЙ АНТИК

**РАССКАЗ**

На утренней заре в мае там хорошо поют птицы. Много их там! Заря прохладная, солнце еще не поднялось, небо на востоке горит розовым пламенем, красит траву и листья мутно-синим цветом. Прохладно там и хмуро еще на земле. А птицы заливаются, стрекочут, щебечут... Дрозды, распушившись в брачных своих танцах, трепещут крылышками в небе, шумно перелетают с дерева на дерево, дерутся, дурея от весенней страсти. Кукушка в лесу кукует, и кажется, ласковое ее ауканье не из леса долетает, а доносится из-под сводов гулкого храма, развалины которого темнеют посреди спящего села. Скворчата уже вывелись, шуршат спозаранку в дощатых домиках, встречая хлопотливых родителей. В гаме и щебете, в треске и нежных трелях разольются вдруг водянистые пересвисты желтой иволги, кочующей по вершинам близкого леса, в котором и дубы растут, и березы, и липы и который тоже, как птицы, готов трубить во всю свою мощь во имя близкого уже солнечного луча.

Шум там стоит такой, будто и не было ночи, а лишь легкая тень легла на землю, чтоб хоть немного остудить страсти ее обитателей.

Воздух благоухает в короткие эти мгновения, пахнет молодой травой, точно ее скосили там и она, подрезанная, пустила сок, напоминающий по вкусу цветущую глухую крапиву, яснотку, раскрывшую сладкие желтые и белые зевы навстречу спящим еще осам, пчелам и мухам. Великие тайны доступны в эти майские рассветы задумчивому человеку, приглашенному на пир земной красоты.

Да вот беда — мало их там осталось, задумчивых. Причин и ответов наговорено множество: отчего так случилось, почему, кто виноват,— но главную причину забыли, не учли никак, будто в голову никому не пришло простое объяснение, ясное, как майский день, который лучом солнца уже осветил чистое небо от края до края, превратив его в голубое южное море, обрамленное зеленью берегов. Галки проснулись в черных звонницах колокольни, в пещерной тьме отвалившегося купола, выметнулись стаей летучих мышей, закружились в суетном танце над руинами церкви, оглашая округу тревожным перезвоном колких голосов. Давно уже снято все железо, какое можно было снять, и вся медь, какая звенела когда-то здесь. Осталась одна лишь кирпичная громадина с отвалившейся тут и там штукатуркой, с пушистыми березками, выросшими на крыше, на всех ее выступах и площадках.

Как же там может жить задумчивый человек, если каждый день видит он перед собой эти мрачные руины, которые казнят его душу немым укором? Это ж трудно представить себе, что ты родился там и с первых дней сознательной жизни вынужден натыкаться взглядом на развалины единственного каменного строения. Развалины эти невольно приучают к мысли, что тебе судьбой полагается усвоить и впитать с молоком матери, воспитать в душе дикий огонь вселенского разрушения, каким горели души дедов, миром разваливших, растаскавших и пожегших кирпичную церковь, возвышающуюся над мирным селом. Эти камни приучат тебя смотреть равнодушно и на другие разрушения, на другие буйства сородичей, тоже познавших сердечную тоску от вечного созерцания окаменелой разрухи, от гибельного соседства с ней, хотя давно уже заглушили они эту тоску и словно не замечают ее, живя бедно или богато в своих рубленых хатках. Живут в беспамятстве, не думая, не вспоминая о разрушенной

церкви, не замечая ее, как если бы ничего тут никогда не было и прадеды их не лежали в гробах под тремя свечами в холодных стенах сирых руин, не блестели слезы прощания в глазах оставшихся жить на земле, не звучали согласные голоса, отпевавшие старых жителей села. Ничего этого не было никогда! Душа задубела, покрылась коростой неверия ни во что и умерла.

Задумчивому человеку там делать нечего. Никакое богатство не пойдет ему впрок, если чуть ли не на дворе его, за оградой, над ним, над его крышей темнеют страшные зевы разрушенной колокольни и если разбитый барабан купола торчащими железками, изогнутыми и ржавыми, вечно будет язвить сердце, питая его ржавчиной и тленом погибшего мира.

Веришь ты в Бога или не веришь — все едино, ибо не может живой человек, не потерявший памяти, жить и быть счастливым даже в очень добротном, крепком доме, если над головой его высится каменная развалина, хаос и оскудение некогда поющей церкви. Разруха каменная разрушит и дух человека, развалит его и не даст ему покоя на земле, даже если человек и забудет обо всем, заглушит совесть винным угаром,— все равно не найдет он счастья там, где, казалось бы, только и жить ему, радуясь судьбе, забросившей его в благодатный этот лесной край России.

Из этого вовсе не следует, конечно, что все руины оказывают мертвящее воздействие на человека. Есть и такие, что овеяны поэтической дымкой прошлых веков: какой-нибудь древний замок на скалистой горе или римский виадук, перекинувшийся каменной аркадой через зеленую долину. Белые каменья и размеренный шаг циклопических арок украшены курчавыми кипами платанов, темно-зелеными пашнями, которые рядом с замшелой древностью водопровода тоже кажутся свидетелями ушедших веков, будто и они тоже шумели в те далекие времена, когда бежала вода в каменном ложе, питая виноградники на южном склоне зеленой горы, те самые виноградники, что и по сей день ровными рядами полосуют пологий склон.

Люди придумали для себя новые жилища, провели под землей железные трубы для воды, а замки и виадуки отдали во власть дождей и ветров, осенних и зимних заморозков, те и славят до сих пор человека своей былой необходимостью и вечной гармонией.

Совсем иное дело — разграбленная, поруганная церковь, с опохабленными фресками, которая невинной жертвой мертвит человеческую душу, скорбью и тоской отзываясь в добром сердце стороннего наблюдателя, каким, помнится, явился тут московский живописец, поселившийся на недельку в летней, холодной половине старой избы.

Тоже, кажется, был май. В палисаднике у лица дома цвела бледнолиловая сирень, в сером скворечнике визгливо пищали птенцы, в воздухе носились стрижи и ласточки, недавно прилетевшие в эти края.

Когда-то их было тут великое множество, как и лошадей тоже, коров, овец и другой живности: кур, гусей и уток, пасущихся на зеленой улице, как на своих угодьях, или в сочных лугах за бережистой речкой. На берегах ее белели тогда утки, вытягивая и грея на солнышке отмокшие в воде лапы, рябые гуси лениво щипали траву, овцы волоклись пыльными тучами в ногах пестрого стада, пахнущего парным молоком. Раздавались хлесткие выстрелы пастушьего кнута с волосяным хвостиком на конце. Даже кнут и тот, казалось, шелестел в траве змеей, свисая тугим ее телом с плеча Никодима, деревенского бедняка и горемыки, жившего с женой и с тремя ребятишками в избенке под соломенной крышей.

Лошади в путах чутко пряли ушами, прислушиваясь к щелчкам кнута, тяжко прыгали, перенося себя на связанных передних ногах и уступая дорогу огрузневшему стаду, которое головой втекало в улицу села, а хвостом еще дробно стучало на мосточке через ручьистую речку, подняв душистую, розовую на заре пыль.

Людей в селе тоже было множество.

— Вот, бывало,— рассказывает старуха,— получит Никодим деньги кой-какие, сядет возле дома, а ребятишки повиснут: «Тять, тять»...— просят пряничов или конфеток... А Никодим глядит на свои лапти дырявые (на ребят и не посмотрит) и говорит, как песенку поет, и сам ухмыляется: «Ножки, ножки, чего хотите, винца или сапожки?» И сам себе скажет бывало: «Винца хотят ножки!» — пойдет и пропьет денежки. А жил бедно! Соломы жена на пол постелит, все увалятся, как овцы, и спят, а утром жена соломой печку растопит, и опять нет ничего... Но зато пастух хороший был. У коров вымя до земли: много молока несли. Знал, вндно, где пасти, Никодимушка-то наш, покойничек... Сыновья все на фронте погибли, а и сам он тоже. Онн и воевать-то не умели, какие они вояки! Жена умерла недавно, а избенку сожгли.



— Чегой-то ты спрашиваешь? Я плохо слышу,— скажет старуха, приоткрывая ухо из-под платка.— Куда подевались-то? Кто куда. Кто умер, кто в город ушел... Да и рожать стали мало. Одна-две дочки, а парень если родится, то и хватит. Одни старые доживают, да и мы скоро уберемся. Никого тут не останется,— то ли радостно, то ли злобно скажет старуха, засветившись морщинами глухих глаз.

— Тут что? Тут молодых-то и нет совсем. Вон Новоторцевы живут трое: она с внучкой да дочь. Внучке тринадцать лет, а матери тридцать пять. Вот и вся молодежь. Мужчины еще есть... На тракторе, на машине. Да сколько их! Всё старухи одни! Шесть семейств, что ли? Шесть, кажется, осталось мужчин. Новоторцевы — они чудные какие-то. Внучку коровьим именем назвали. У нас так коров звали! — прошамкает старуха и разразится одышливым смехом, прикрывая ладошкой беззубый рот.

— Ох, прости, Господи, Марта! У нас половину стада Мартами звали... Во придумала мать! Ее и муж-то бросил потому, что смеялись люди. Телка и телка! Телкой и выросла! Тринадцать лет, а идет — не поздоровается, губы надует, топ-топ-топ, голову отвернет,— рассказывает разозлившаяся вдруг старуха, хлябистым телом изображая идущую мимо Марту, и кажется тогда, глядя на старуху, будто Марта эта и в самом деле неимоверная гордячка, хуже и страшней которой не сыскать на белом свете.— Нехорошо! — скажет старуха.— Нехорошо это. Я так думаю, она из-за имени своего такая выросла. Имя очень неподходящее.— И замкнет рот сморщенными, кожистыми губами, превратившись в живую покойницу, которой нет ни до чего тут никакого дела.

И до художника тоже, от которого красками пахнет. Словно скажет ему: иди-ка, милый, надоел ты мне тут, устала я от тебя и ничего я больше не скажу тебе, потому что не помню ничего и не хочу вспоминать.

Тут встрепенется молчавшая до сих пор другая старуха, махнет рукой и скажет что-то невнятное и трудно понимаемое с первого раза:

— Ноничь и водиночки в колодце нет. А эта водина фсю жизнь калеча: кады водина, кады солина — так и живем. Пережe народу было, что водой налимши. Ноничь — не-е... Ноничь и водину и дровину — фсе сама, фсе сама...

И тоже умолкнет с сознанием, что поддержала свою древнюю подругу, не оставила одну перед лицом бородатого человека с желтым ящиком на лямке через плечо, перед непонятным чужаком, который и сам не знает, чего ему надо тут... Рисует безобразие одно: как изба гнилая, так он тут как тут, а хорошее ничего не замечает... Даже вон церковь развалениую рисует красками, не нашел в другом месте хорошую. Чудной художник-то! Тын повалился, он и его рисует. Кому такие картины нужны? Такие картины каждый день из окошка видать, а он красками, как невидаль какую, вот мажет, вот мажет...

Одуванчиков в ту пору на зеленой улице было так много, так ярко они цвели, распушившись под майским солнцем, что чудилось, будто медовым половодьем была залита вся земля. Рухнувшие кирпичи, сцепленные прочным раствором и вросшие в землю у подножия церкви, и те были украшены нх нежной золотистостью. Цветы с беспечной неприхотливостью красовались над белесыми осколками, окружая их яркими венчиками. Ластились цветы и к стенам церкви, прижимаясь нежными, тонкими, как иглистые кристаллы, лепестками к шершавым лишаям, к белой соли каменного тления, трогая задумчивого человека детской наивностью.

Изображенные на картоне масляными красками, они, конечно, теряли всю свою неповторимую особенность, превращаясь в желтые кляксы. Художник, видно, не умел иначе. Мучило это его или нет — неизвестно. Вполне возможно, он и не хотел изобразить цветок одуванчика, а пытался запечатлеть на картоне общую живописную картину тления камня, утопающего в весенних цветах, и его совсем не интересовали

сами одуванчики, которые не вечным забвением возникали в художническом его сознании, а всего лишь ярким контрастом, нужным ему для решения живописной задачи. Краски в тюбиках были у него плохие, мутные, которыми можно, наверное, писать только пасмурные дни, и, конечно, не его вина, что изображение на грунтованном картоне было как бы подернуто паутинно-серой дымкой, хотя и блестело пока свежей, пахучей краской. Он не имел никакой возможности «вытянуть» истинный цвет, и талант его был в полной зависимости от качества отечественных красок. Знать и учитывать это никто из зрителей не хотел, и это обстоятельство было вечной его печалью: ему казалось, будь у него хорошие краски, он давно уже стал бы знаменитым художником, потому что чувствовал в себе задатки всевидящего гения. Он брезгливо отзывался о нашей промышленности, которая мешала ему стать знаменитым. Выражение бледного его лица несло в себе вечную печать разочарования и болезненную неудовлетворенность. Обрамленное русой бородкой и усами, оно являло собой лицо страдальца с провалившимися грустными глазами, которые ничего, кроме тоски, не обещали человеку, смотрящему на него с вопросом или сочувствием.

Был он худ и долговяз. Брючный ремень на его впалом животе железной пряжкой своей упирался в позвоночник, сборя синюю клетку рубашки. Он горбился под тяжестью большого этюдника, загнанно облизывал яркие губы и смахивал пот с узкого, стиснутого в висках, костистого лба. Если он улыбался, то это была улыбка умирающего от чахотки бедняги, прощающегося с последней своей весной.

Слова произносил медленно и подчеркнуто внятно, как если бы учился говорить по-русски, прислушиваясь к правильности произношения, к верности слова и фонетического ударения в нем. Слушать его можно было очень недолгое время, потому что какая-то необъяснимая усталость вдруг нападала на человека, тревожа головокружением и звоном в ушах, и хотелось скорее избавиться от нудного собеседника, от заторможенной его и отвратительно правильной речи.

А потому было крайне странно и неожиданно услышать от него изумленный возглас, когда он, возвращаясь с этюдов в свою холодную половину, увидел девочку в желтом платье:

— Марта?! — воскликнул он и жадно, одним ощупывающим взглядом окинул ее с головы до ног.— Ты Марта, да? Марта? Я угадал?

В желтом платье с красными цветочками по полю, она стояла босая перед ним в зеленой листве одуванчиков. Взгляд лукавый, через плечо. Крупная девочка с запасом роста в тяжеловатых коленных чашечках, чувственно уже вполне созревшая, загадочная, с широкой обрубистой стопой, в которой и мощь, и крепость ноги, и пружинистая ее легкость. Но и такая пластическая вытянутость тела, такая гибкая шея, такой глаз лукавый, что наш маляр растерялся, увидев эту девочку, изумился, вглядываясь в те неясности плоти, какие еще туманили общий облик будущей красавицы, в гармоническую целостность, что уже наметилась во всех сочленениях ее теплого на вид, сочного и словно бы рожденного для радости будущего, женственного уже тела.

— Чистый антик! — с придыханием промолвил он, опустив на землю этюдник, и даже развел руки.— Весна стабийская... Раковина перламутровая!

И очень смутил девочку своим шумным восклицанием, внес в душу ее испуг. Она нахмурилась, не понимая, что все это значит, хорошо или плохо сказал о ней бородатый дядька, хотя и уловила в его глазах восторг удивления, чувствуя, что он, увидев ее, так обрадовался.

— Откуда вы меня знаете? — спросила она, играя то улыбкой, то хмуростью, точно кокетничала с ним.

— Да как же мне не знать?! Я тебя всю жизнь искал! — воскликнул он, любуясь красочной натурой.

— Папка! — крикнула девочка.— Папка! — и, ахнув, бросилась ему на грудь, заревев и словно бы завизжав от вскипевших слез.— Ты папка, что ли, или нет? — тут же спросила она, опомнившись и оттолкнулась от него, блестя мокрым злым лицом и расплывчатыми глазами,— Ты не папка, нет! — вскрикнула Марта и побежала прочь, замелькав пятками.— Нет! — кричала она навзрыд.— Нет!



Бог знает, что могли подумать старые люди, видевшие эту сцену, слыша крики полоумной Марты, убегающей от заезжего художника.

Как ни старался он в этот день и на другое утро объясниться с ней, внятно и подробно рассказывая матери ее и бабушке, кто он и зачем ему нужна Марта, она пряталась от него и боялась показаться на глаза. Даже возвращаясь на автобусе из школы, которая была за двадцать с лишним километров от дома, шла к селу кружным путем, пробираясь задами, лишь бы не встретиться с бородатым дядькой, который ей очень понравился, и она сразу же почему-то подумала, что это вернулся к ней отец...

Бабушка говорила про нее, виноватясь перед художником, перед хорошим человеком, который что-то такое особенное увидел в Марте, решив ее нарисовать красками:

— У нее ручки проворные, как ящерки, бегали, а ножки быстрые. Такая умненькая росла, все лобик морщила, думала про что-то. Я у нее спрошу, а она: я, бабушка, думаю, не мешай. Про что ж ты, Марточка, думаешь? А она мне, про самое-самое главное. А что ж такое это самое главное? Тебе, говорит, бабушка, все равно не понять. Так прямо и говорила: не понять тебе. Я и не спорила. Вот такая росточком, а так прямо и говорила: не мешай думать. Я таких детей никогда и не видела раньше. Стала бояться за нее: хорошо ли это, маленькой так думать? Волновалася...

У Марты были свои какие-то представления о мире, она могла уйти младенческим взором в неведомую никому пустоту, созерцая там что-то одной ей только понятное и важное. Лицо ее в эти минуты бледнело, белесые бровки хмурились, а глаза расширялись в мертвенном забытьи, глядя в точку и замирая в предвечном каком-то ужасе, который стыл в дымчатых радужках. Бабушка пугалась до смерти, заставая внучку в таком состоянии, окликала упавшим голосом, а если та не отзывалась, трясла в страхе за плечики, выводя из забытья. И часто Марта плакала, вернувшись из потусторонней забывчивости, в какой пребывала ее душенька. Чудилось тогда бабушке, будто там, где летала она ангелом, было ей очень хорошо, а здесь, где должна она жить, противно и неуютно. Ждала даже, что умрет Марта, что зовут ее к себе небесные голоса и не жилец она среди людей, хотя девочка была вполне здорова и по-своему весела, хлопотлива в играх, приучившись в полном одиночестве разговаривать с тряпичными зверятами, не любя и никогда не играя с куклами.

Идет с бабушкой по селу, виноградными пальчиками зацепившись за заскорузлую руку, а навстречу собака бежит. Марта посмотрит на собаку и спросит задумчивым голосочком:

— Это киска?

— Какая же это киска?! Это собачка,— ответит бабушка.— Ав-ав.

— Киска,— со вздохом скажет внучка.

Курицу увидит — тоже ей киска.

— Курочка это! — скажет бабушка.— Киска у нас дома сидит, на печке... Мурка — киска.

— Нет,— ответит внучка,— это киска.

А взгляд задумчивый, глубокий, как будто знает она что-то такое, о чем никто не догадывается.

Как тут не волноваться за ее здоровье!

Однажды, когда ей исполнилось шесть лет и она казалась вполне разумной и здоровой девочкой, она вдруг ошеломила и заставила прийти в отчаяние бедную бабушку, которая долго не могла опомниться и, с испугом глядя на внучку, не знала, что и подумать, как все это объяснить да и можно ли объяснить то, что случилось с Мартой в тот осенний, ранний час сумерек...

Лицо бабушки, или личность, как говорили местные жители, передергивала в тот вечер тонкая и быстрая судорога, кусая без боли дряблую щеку и уголок увядшего рта. Стареющая женщина была еще сильная и хлопотливая работница, успевала и навоз почистить в телятнике, и в огороде переделать все дела, и дом обиходить.

Но после этого случая силы оставили ее, и она, слабая телом и душой, проявила в чертах своего лица все признаки глубокой старости. Все

это с ней случилось вдруг, в один какой-то день, когда она, проснувшись и поглядев на себя в зеркало, увидела лицо медведицы, измученной неволей, грязью и безысходностью своей судьбы,— длинный плоский нос с широкими ноздрями, маленькие угрюмые глаза под костистыми дугами надбровий и серый клок секущихся волос над ухом.

— Что ты зеваешь, Марточка?—спросила она у внучки в тот осенний сумеречный час.—Иди скорей ко мне, я тебя побаюкаю—спатеньки девочка хочет...

— Нет,—сказала Марта, и мучительная зевота снова исказила гримасой ее тихое, задумчивое лицо.—Не-ет,—повторила она сквозь зевоту.—Я не хочу...

— Что же это случилось такое, Господи? Почему ж ты тогда зеваешь? Раз зеваешь, значит, про подушечку мягкую подумала, про сладкий сон. Ты уж не хитри!

— Не-ет,— протяжно сказала Марта, разевая опять упругие розовые губки и скаля ряды молочных зубов.

— Как это нет? Ты еще маленькая, тебе надо побольше спать, расти надо.

— Не хочу я спать,—хмуря бровки, сказала Марта, с упреком взглянув на бабушку.—Я тетю видела...

— Какую тетю, где?

— На небе,—ответила девочка и снова тяжко зевнула.—На небе,—повторила она, думая, что бабушка не расслышала ее.

А бабушка как сидела, так и осталась сидеть, пришибленная словами внучки. Лишь уголки губ опустились да в глазах стерлось живое выражение, которое только что светилось в них.

— Валя,—позвала она дочь.—Валя! Валя, иди сюда.—А сама внимательно и испуганно смотрела на внучку.—Слышишь?! Иди-и! Скорей...

Дочь вышла из-за перегородки, вытирая руки и тревожно глядя то на мать, то на Марту.

— Что вы тут?

— А ты вот... ты спроси-ка,—косно сказала старушка, кивая глазами на внучку.—Ты спроси, спроси... Марточка, скажи маме, что ты там... видела...

Марта, словно понимая важность момента и особенную свою роль, склонила головку к плечу и сказала с недетским спокойствием:

— Я видела тетю на небе... Большая, большая голова... Волосы гладкие, как у бабушки... Красивая. Она посмотрела на меня.—Марта умолкла, вспоминая виденное, задумалась на мгновение и продолжила в полной тишине:— Тетя очень строгая. Она ничего не сказала. Посмотрела, и все...

— А где ты ее видела?—с пугливой усмешкой сказала мать.

— Я ж сказала, на небе,—назидательным тоном ответила девочка.—На небе! Посмотрела на небо, а там тетя...

— Когда видела-то?—опять с усмешкой, нарочито грубо спросила мать.

— Недавно. Уже темно было, а небо еще светлое. Серое,—поправилась Марта.

— Ну и чего?

— Ничего,—сказала Марта.

— Как ты ее видела-то? Как живую или как? Облако какое-нибудь...

— Как живую. У нее волосы, как у бабушки, гладкие, так вот, на ушах... Она красивая, но строгая... Посмотрела на меня, а я на нее посмотрела...

— А потом?

— Потом я посмотрела, а тети уже нет...

Мать засмеялась неуверенно и махнула рукой:

— Марта,—сказала она.—Знаешь, что такое морока? Это когда мерещится что-нибудь... Морока. Понятно?

А Марта взглянула на нее с грустью в глазах, пожала плечиком и с непривычным состраданием в голосе, жалостливо выдохнула из себя:

— Вся жизнь морока...

И вдруг вопль разодрал тишину дома. Бабушка, которая молча слушала этот разговор, цепенея с каждым новым словом от страха, не вынесла пытки, закричала сиплым голосом, завопила слезно, напугав и дочь, и внучку.



— Господи! Что же это?! Валя! Милая! Окрестить же ее надо скорей! Живет некрещеная. Господи, прости... Богородица, смилуйся! Окрестить ее надо, Валя! Нельзя ей некрещеной. Марточка, милая, девочка моя хорошая, прости ты меня, старую,—сипела она, искаженная ужасом.

Мучнисто-желтое ее лицо, на котором тьма вопящего рта была похожа на тьму изогнутого серпика, тронулось холодной испариной.

Марта с матерью бросились к ней, уложили на кровать, успокоили, а когда бабушка закрыла колпаками век мокрые глаза, мать утащила дочку в сени и злобно, мстительно прошептала ей в ухо:

— Ты что ж с бабушкой делаешь, гадюка?! Убить ее хочешь? Ты что там придумала, дрянь паршивая!

— Я, правда, видела!—удивленно сказала Марта, не услышав злости.

— Замолчи. Ишь, какая придумчивая уродилась. Я твою вольницу укорочу лозиной! Будешь у меня вихляться! Вот я бабушке и тебе скажу: ни слова никому. Засмеют люди, греха не оберешься... Слышишь меня?

Марта, конечно, слышала, но промолчала, обиженная. С тех пор она заподозрила всех людей, кроме бабушки, в коварстве и еще больше замкнулась в себе, в своем странном мире то ли грез, то ли неведомой никому таинственной реальности, о которой никто не знал ничего и даже не хотел узнать.

Особенно проявилось в ней эта отчужденность и брезгливая нелюбовь к людям, когда она увидела двух пьяных мужчин на сельской улице.

Был конец августа. День стоял теплый, дымчато-голубой и золотистый. Небесная синева опустилась на землю, затопила леса, поля, холмы, посинила лесные дали и близкие опушки, золотящиеся в лазури, разлившейся и по селу тоже, которое казалось дымчатым в этот день и призрачно легким, неясным в своих очертаниях. Багровые гроздья рябины, малиновые листья вишен, желтые пряди берез—вся эта нежная пестрота была затуманена голубизной, и даже солнце в этот тихий день было золотисто-голубым, будто оно светило сквозь толщу колодезно чистой воды. Было и тепло, и прохладно, свежо и жарко в этот день душистого августа. В воздухе пряно пахло дымом сожженной картофельной ботвы, который мешался с благовонием укропного семени и буреющих помидоров.

Еще этот день запомнился Марте душноватым и резким запахом гераниевых листьев, потому что она стояла в комнате у окна, просунувшись головой между алых гераней, смотрела на улицу.

Рыжий щенок с лисьей мордочкой играл на дороге с мухой, которая нападала на него, а он, лежа на траве, вспугивал ее и, вертя головой, отыскивал муху в воздухе. Увидев муху на своей тусклой шерстке, он кидался на нее и, не поймав, опять выискивал ее, летающую над ним. Голова его то вертелась, как юла, то замирала, разглядывая хитроватым глазом неугомонную муху, ползающую по задней ноге, то вдруг, стремительно вскидываясь, бросалась зубастой пастью на игрунью. Хвост его радостно бился в азарте, уши мотались из стороны в сторону. Он казался глупым, но и очень понятным в своей игре с мухой.

Марта, которой в ту пору было уже лет десять или одиннадцать, заливисто смеялась, сердцем принимая радость веселого щенка, будто он нарочно смешил ее, как маленький клоун. Ей даже чудилось, что она и сама тоже играет вместе с щенком и мухой, становясь то мухой, то вдруг щенком. Замирала, когда щенок настороженно и хитро поглядывал на ползающую муху, и взрывалась в ликующем смехе, когда голова щенка опять болталась на тоненькой шейке, разыскивая взлетевшую хитрюгу, которую Марта тоже, конечно, не видела, как и глупый щенок.

Она так увлеклась игрой! Душа ее растворилась во вселенской радости, пребывая в том истинном и благостном состоянии, о котором не хотят почему-то помнить люди, забывая себя беспечно играющими и добрыми, какими и надо им быть на красивой земле.

В этом счастливом забытьи Марта и не заметила, не услышала, как приблизились эти двое пьяных и спугнули щенка. Она их увидела, когда они, бормоча что-то, остановились под окнами на дороге и без стыда, без оглядки, с животным безразличием стали мочиться в канаву, продолжая свой пьяный разговор.

Эти люди так испугали ее, что она сначала даже не поняла, что происходит. Она, конечно, сообразила, что по дороге шли двое пьяных, грязных, грубых человека, двое мужчин, и что они зачем-то остановились прямо перед ее окнами. Но когда они стали мочиться перед лицом дома, перед окнами других домов, в которых жили женщины,— сознание ее как бы затмилось, потрясенное чудовищным несоответствием всего происходящего с той радостью, какую только что испытывала играющая ее душа, и потому Марта не сразу отвернулась, не сразу почувствовала стыд за этих бесстыжих мужчин, которые, как животные, как грязные телята, заляпанные навозом, остановились и на глазах у нее — помочились.

Этого не могло быть! Так не могут поступить люди, если они люди!

Но когда оскорбленная и испуганная девочка поняла наконец, что все это произошло и что шатающиеся глыбы мяса и одежды, не поглядев по сторонам, не усомнившись в содеянном, не прервав разговора, двинулись дальше по дороге,— когда все это случилось, слезы больно прожгли ей горло, и Марта, резко откинувшись от окна, уронила зеленую кастрюлю с геранью и заплакала.

Она плакала с мстительной злостью, которая мучила ее бессильем что-либо поправить и как-либо оттащить время назад, туда, к счастливой игре, чтобы не было этих скотов перед глазами, чтобы опять стало в мире золотисто и дымчато.

Руки ее сгребали черную землю, просыпавшуюся на крашеный пол, слезы капали в эту землю, которую она ссыпала обратно в ржавую кастрюлю, но время не возвращалось, как эта земля, вспять. Свиток его нетороппливо разворачивался, напоминая Марте, что зловонная лужа под окном не скоро еще испарится и что кто-то безжалостный уже сделал за нее выбор сегодня, кто-то наказал ее жестоким приговором вечно жить здесь, рядом с серыми чудовищами, похожими на людей, и что казнь эта будет всегда с ней, не кончаясь, всегда будет мучить ее, потому что она до конца жизни возненавидела теперь своих земляков, с которыми ей за что-то выпало несчастье жить бок о бок.

«Чистый антик. Что это такое?—думала она с улыбкой в ту нежную пору весны, когда цвели одуванчики.— Почему он назвал меня перламутровой раковиной? Может быть, эта раковина очень красивая? Какая-то еще весна? Забыла, какая весна... Он назвал меня какой-то весной! Влюбился, что ли? Он же старый! Как он мог влюбиться? Нет уж, а рисовать он меня не будет... Это уж ни за что».

Она стояла возле единственной двери пузатого вонючего автобуса, который вез ее из школы, в рейсе своем останавливаясь напротив села́. Сзади на нее навалилась женщина, прижав к двери жесткой сумкой.

Мотор автобуса натуженно подвывал, когда колеса опять и опять попадали в ямы, в которые автобус съезжал с жестким, железным лязгом, бросая людскую массу то в одну, то в другую сторону. Мотор отфыркивался, замирал и опять гудел, вытаскивая колеса из глубокой, непросыхающей ухабины, глинистая жижа из которой, выдавленная колесами, растекалась по щебенке лесной дороги, и снова мотор мучился, жаловался воем, страдал, колеса снова ныряли грязной резиной в густую жижу ухабов, сотрясавших ржавый кузов, набитый сидящими и плотно стоящими людьми.

Но ничего этого не замечала Марта, с каждой минутой все ближе и ближе подъезжая к селу, в котором поселился бородатый дядька, сказавший ей, что она перламутровая раковина. Ей чудилось даже, что полупустое село вымерло окончательно и что в нем живет один лишь этот художник, которого она почему-то приняла за отца и так глупо бросилась к нему на грудь. Будто бы он один там мучается в мертвом этом селе, ожидая ее, а она, совсем уже взрослая и красивая, как перламутровая весна, едет к нему на свидание... Большое село, полусгнившие избы, одичавшие вишни и яблони, разрушенная церковь —все это пустынно и безлюдно, как неведомый остров среди лесного океана, и они одни на этом острове. Он встречает ее и говорит такие красивые слова, называет ее такими ласковыми именами, каких она никогда не слышала ни от кого. Она, конечно, взрослая совсем и тоже любит его, потому что он ее муж, а она его жена...



И так страшно и радостно становилось ей от этих мечтаний, так жарко делалось в теле, что ехала бы она и ехала в автобусе, тряслась бы на ухабистой дороге, лишь бы подольше не подъезжать к селу и к тем людям, с которыми ей поневоле придется встречаться и которых она ненавидела и презирала за их насмешки и телячью дурь, за их некрасивую старость и пьянство. Люди эти даже мечтать ей мешали, живя там, где она поместила свой безлюдный остров среди лесного океана, назначив себя там в жены красивого художника, назвавшего ее перламутровой раковиной.

Она не знала еще, что несколько минут назад он уехал и что такой же кургузый, старый автобус, встретившийся на дороге, увозил его навсегда из жизни погибающего села, для жителей которого он прокурлыкал какую-то свою песню и навеки умолк, непонятный и никому не нужный там.

— Приехал, рта не разявал, скрытный, что волк,— сказала о нем старуха своей подруге.

— Комары наели лицо, балдырь вскочил,—ответила та и пропела торопливым говорком: —«Ах, юбка моя, только три валана, я туда и сюда, нет маво Ивана...» Витей зовут, как овцу. Вить-вить!!

И обе засмеялись, каждая на свой лад: одна одышливо, другая ёкая и мелко трясясь.

До чего ж хорошо поют там птицы на майских зорях! Соловей пробует свой голос в ольховом овражке, едва слышимый за общим гомоном, другой откликается ему в ивовых кустах над речкой. Камышовка звонким шепотом тянет, как летний кузнечик, беспрерывную песенку, вплетаясь нептичьим голосочком во вселенский хор пернатой братии. А за лесом, на болоте, на брусничных кочках гулко токуют тетерева — то ли близко, то ли далеко раздается их бубнящая песня, мало их там или много,— лес звенит от ручьистых их песен, переливистых и зычных, как многократное эхо, рассыпавшееся по лесным уремам.

Прошло шестнадцать лет с тех пор, как услышала Марта, будто она перламутровая раковина, весна стабийская, чистый антик, о чем до сих пор помнит она, молодая еще женщина с припухшими после крепкого сна, заспанными глазами, с подмалеванными дымчатой голубизной веками.

Чужая, ни на кого не похожая тут, ходит она по селу, благоухая нездешними духами, напоминающими запахом терпкий и горький дым, какой мнится весной на пригретой солнцем опушке, захламленной прошлогодними листьями, увядшими сухими цветами и ожившей корой ивовых веток — тонкий запах тления вперемешку с цветущей медуницей. Смотря с недоумением и грустной улыбкой по сторонам, плывя голубоватым взглядом по обветшалым домишкам, по камням и стенам облезлых руин, вздыхает, шепчет сочными еще, развратно игривыми, натруженными губами: «Боже мой! Все, как было... Ничего не изменилось. Все, как было, Господи! За что же такое несчастье?!» Ставит яркую, бело-сине-красную спортивную туфельку, в какую обута нога, с осторожностью цапли, выслеживающей лягушку, пробирается с бугорка на сухой бугорок, поеживается в утренней прохладе, судорожно шевелит лопатками под теплой мохеровой кофтой елового цвета. Белые брюки туго обтягивают крутые ее ягодицы и сильные ляжки. Аккуратный носик меж холеных щек морщится, глаза жмурятся — Марта чихает, словно местный воздух щекочет тонкие ее ноздри, оглядывается по сторонам с игривой и смущенной улыбкой, зябко закладывает руку за руку под грудь.

Никого нет вокруг. Одни лишь птичьи голоса откликаются на упругий ее чих, который она не успела подавить и оттого смущена невольно.

Никого вокруг, кроме матери, которая робко плетется за ней, молча ожидая от дочери то ли вопроса, то ли приказа, словно не дочь это, а большая начальница, которую она сопровождает в грязный телятник. Неловко ей вроде бы и стыдно, что начальство так неожиданно нагрянуло. Знато дело, прибралась бы, навоз почистила... А теперь что ж! Теперь не миновать разноса.

Идет за дочерью в резиновых сапогах, над голенищами которых блекло синеют трикотажные гимнастические штаны с белыми лампасами и с

пузырями на коленях. На плечах внакидку солдатский защитный бушлатик с защитными пуговицами со звездой. Непокрытая голова с гладко зачесанными сивыми волосами, сквозь которые белеет на солнце кожа в косом проборе.

— Ах, мама, мама,— со вздохом говорит Марта, словно упрекает ее в чем-то.— Что же это такое творится-то, Господи! Вот уж не думала...

— Что, доченька? — откликается та, поспешая за Мартой и заглядывая ей в лицо.— Что ты сказала, я не расслышала.

— А что тут скажешь? — говорит Марта, зябко поеживаясь.— Тут и говорить нечего.

— Ну да,— соглашается с ней мать.— Ну да... Понимаю. Я тебе говорила, надень чего-нибудь, а то вишь какая грязь, в таких туфельках красивых только и ходить. И белые джины... Испачкаешь... Жалко.

— Не джины, мам,— с горькой усмешкой поправляет Марта.— Джинсы! Пропади они пропадом! Слезы в сердце, а ты про какие-то тряпки. Я про другое совсем...

— Про другое, конечно... Про другое, чего ж говорить. А плакать нечего, не советую... Она легко умерла, дай Бог каждому. Заснула и не проснулась. И пожила хорошо, чего же еще! Жалко бабушку... Это уж как водится. Но плакать нечего. Хорошо пожила, вот только .. Но она довольна была за тебя. Поглядит зимой в окошко, улыбнется: хорошо, говорит, Марточка сейчас, слава Богу, говорит...

— Мам, помолчи, пожалуйста... Прошу тебя.

Кладбище на бугре за церковью властвует над всей округой, поднимаясь березами да ивами над голубыми и белыми ажурными крестиками, словно огромный, очерченный строгой границей пушистый куст, белеющий стволами под туманно-нежным небом.

Из всех окрестных деревень привозят сюда покойников, хоронят, соблюдая кое-какие обычаи, но редко навещают люди могилы близких. Да и некому порой.

Марта вздыхает в нервном ознобе, зевает, как в детстве. На подходе к кладбищу срывает в кустах горячо светящийся цветок медуницы, а когда мать подводит ее к оплывшей могиле с железным поблекшим крестом, садится на корточки и, поблескивая слезой сквозь улыбку, кладет лилово-розовый цветочек в ноги давно похороненной бабушки.

— Здравствуй,— чуть слышно шепчет волнующимися, непослушными губами.— Все хорошо, ба... Ты там... не беспокойся... Все хорошо. Помнишь про киску? Это я нарочно, чтоб все, как киски... пушистые.

Мать внимательно и строго смотрит на нее, не понимая, что там такое шепчет дочь, про какую-такую киску.

— Мам! — вдруг говорит Марта, снизу вверх глядя на нее с внезапным слезным восторгом.— Мам, а что ж ты вишенку не посадила? Бабушка всегда любовалась, не помнишь разве? Цвела бы тут.

— Так что ж! — восклицает мать, вскидываясь.— Вишенку на могилу не садят. Я что-то не знаю. Можно и вишенку. Или сирень... Никак руки не доходят. Крест и тот не сразу воткнула. Больше года без креста была могила,— визгливым голосом говорит она, будто оправдывается перед начальством, не чувствуя за собой вины, как если бы начальство за телят ее упрекало, которые в весе не прибавляют, а она про комбикорм, что не подвезли вовремя.— Без бутылки никто ничего не хочет! А за крест две пришлось. Где их теперь возьмешь? Самогонку купишь алкоголикам проклятым, им все одно, лишь бы глаза залить. А возможности мало, вот и вихляйся, как хочешь... Самогонка крепче водки, они ее охотно берут, да ведь кто гонит-то... Отыщи-ка! Хоть сама... Не поверишь... Вот!

Марта, отвернувшись от матери, прижимает на прощанье ладонь к холодной земле могилы, засыпанной грифельно-серыми листьями берез и старых ив, и, попрощавшись, словно отдав тепло своей руки бабушке, поднимается пружинисто и, сердито глядя на мать, отряхивает руки.

— Ладно,— говорит Марта хмурясь.— Сама завтра посажу сирень-ку. А может, даже сегодня. Завтра уж некогда... Ты хоть поливать-то будешь?

— Ага! Придумала... Теленкам снеси водички попить. И сюда снеси... Дождик для чего? Надо иву посадить, она водичку сама найдет.



Голос у нее напористый, хоть и старается говорить с дочерью спокойно и даже душевно, а все равно по привычке срывается на крик, будто на телят орет или и в самом деле перед начальством правоту отстаивает, на которую опять хотят махнуть рукой, как на что-то несущественное.

Они уходят, как и пришли сюда: Марта впереди шуршит белой тканью, оттягивает тугие ляжки, мать чуть сзади с растопыренными пустыми рукавами бушлата, которые длинноваты ей и потому вывернулись серой подкладкой наружу. Подкладка грязная, протертая до ваты, лоснится бурой засаленностью.

То ли злится старая женщина на дочь, то ли побаивается ее, не понимая толком, кто идет перед ней. Марта ли? Ее ли родила в синем мраке районной больницы, чуть не умерев от заражения крови, ее ли месяц спустя еле живая кормила из бутылочки подслащенным коровьим молоком, зло проклиная заезжего ветеринара, который так и не узнал, что семя его проросло и распустилось красивым цветком.

Сам он тоже был красивым мужиком! Лето тогда стояло жаркое, с ливневыми дождями без гроз, вода в речке теплая, ласковая... А в километре от села было такое место, которое называлось бездонкой. Вот там и купались с ним, прыгали в воду с изогнутой ивы, не доставая дна, будто его и не было там... Потом мокрые, дрожащие стояли в лесу под густым дождем, который серым мраком поливал их из темной тучи. Лес ревел по-звериному под этим тяжелым ливнем... Но вдруг среди тучи образовалась промоина, и солнце хлынуло в нее. Лес заблестел, как оцинкованный, а в ярких лучах солнца неслись к земле нити воды, сверкающие в яростном свете. Они как раз стояли напротив солнца, которое слепило им глаза, он прижимал ее к себе, а ей казалось, что это так и надо, и согласна была на все... Дождь размолодил глиняную дорогу, ноги скользили, идти было нелегко, а когда они подходили к опушке, он сказал: «Ты иди, а я другой дорогой пойду, чтоб никто ничего... Поняла?» Она и тут согласно кивнула ему и пошла...

Пошла рожать дочку, как она потом думала о себе, дуреха, и, родив, назвала ее Мартой, коровьим именем, вспомнив, кстати, школьное: «Анна унд Марта — баден». Купаются, значит. Анна — мать, Марта — дочь и отец — ветеринар. Дура была, дальше ехать некуда.

А теперь, поспевая за дочерью, не поймет никак, что же случилось в жизни, почему Марта живет в чужой стране, с чужим, нерусским мужем, молчит о нем, ничего не рассказывает... За это по головке не погладили бы в старые времена. А теперь вот приехала навестить, интересуется, ругает наши порядки...

Что у нее на уме?

Сердце томит от непонятной тоски. Тревожится мать, будто преступление какое совершает. Хочется ей приласкаться к дочери, расспросить ее обо всем, пожаловаться на проклятущую жизнь, а боится, точно кто-то сурово одергивает ее, предостерегает, не велит общаться с иностранкой... Мало ли что дочь! Все они чьи-нибудь дочери да сыновья... И то уж, не успела приехать Марта, косятся старухи да мужики, посмеиваются, спрашивают ласково про дочь, вежливо, вкрадчиво, как бы между делом интересуются, что она теперь, откуда и надолго ли... Ох, не к добру все это! А дочь, как нарочно, наряжается во все новое и дорогое, злит людей своим нездешним видом. Ох, не к добру!

И рада бы мать не отходить ни на минуту от дочери — все ж таки дочь! — замкнуться бы в своей хатешке и лить горькие слезы, оплакивая тяжелую жизнь... Но вместо этого пугливо поглядывает на нее, норовит уйти поскорей от нее, придумывая себе лишние хлопоты, бежит из дома ни свет ни заря.

— Я, дочка, без клопотов жить не могу, такая уж привычка,— бодренько говорит она, оставляя Марту и на этот раз, как вошли они через вольный край в сельскую улицу.— У меня вся жизнь, доченька, в клопотах прошла... Телята голодные, поить их надо, а ты иди погуляй или дома отдохни...

— Мам,— говорит Марта в смущении.— Почему «клопоты»? Хлопоты, а не «клопоты».

— А уж привыкла так... Заели они меня — хлопоты эти. У меня зуб-то передний вывалился, мне и легче так. Чего ж поделаешь! — гово-

рит мать, ощерившись в улыбке.— Видишь, зуба-то нет, вот и выскакивают... клопоты... Верно подметила. Да я привыкла. Ничего, обойдется, кому надо, поймет...

Бежит от дочери, как от врага народа, от которого лучше подальше, лучше не пытать судьбу — мало ли... У нее своя жизнь, пускай и живет, как хочет, ей с матерью не жить все равно, хоть и зовет она к себе в гости, в Голландию. То в Чехословакии жила, а вот теперь Бог знает куда переехала с новым мужем — к капиталистам.

Смеется в душе, думая о приглашении дочери: что ж она, дурочка совсем,— как же она поедет в Голландию? На автобусе, что ль? Дайте-ка билет до Голландии, мне там сходить надо... за углом направо. Чудачка Марта, Господи прости! Ничего не понимает.

Радуется мать, что освободилась от дочери и что люди видели, как она на работу побежала. А на сердце все равно тревога, будто разрывает ее на части злая сила, кровь в жилах горит от смертной тревоги, аж дышать тяжело. Бегает туда-сюда, ищет причину убежать от Марты, юлит перед ней, а сама ждет не дождется, когда соберет дочка свой опустевший кожаный, с золотыми пряжками чемодан. Ласково гонит любопытных старух от дома, боясь обидеть, обманывает их, говоря, что у Марты еще три дня впереди, что устала она с дороги, а уж потом обязательно чайку английского попьют они с конфетками шоколадными, и все им Марта расскажет, все как есть на самом деле, со всеми подробностями.

— Дочка́-то из Америки приехала? — спрашивает ее согбенная древняя старушка, потерявшая одышливую свою подругу. Лет уже девяносто бабке Насте, а вот притащилась с вопросами.

— Нет, баб Насть, не из Америки, из Голландии.

— Не из Америки? — с недоумением во взгляде переспрашивает старушка, держась багрово-серой, высохшей рукой, искореженной годами и тяжелой работой, за покосившийся столбик калитки.— Говорят, из Америки...

— Неверно говорят... Не слушай ты никого! Ступай, милая, домой, я позову чайку попить,— ласково кричит ей мать.— Обязательно позову, не забуду... Ступай, не упади только... Я тебя тогда позову... Дойдешь сама-то? Ну и хорошо.

Лишь поздно вечером, когда затихнет выморочное село, растворившись в светлой майской тьме лунной ночи, и умолкнут все звуки на земле, когда Марта, скинув дорогие свои одежды, каких никогда не видала и не наживала мать, уляжется под тяжелое лоскутное одеяло, захлебнувшись в зябкой судороге от прохлады, а мать, постелив себе на широкой лавке, присядет в темноте, свесив сивую голову на грудь,— вот тогда только и начинаются их тайные и опасные, как кажется матери, антисоветские какие-то разговоры, которые можно только шепотом говорить, так, чтобы никто не подслушал, потому что страшно все-таки слушать дочь, живущую в богатой Голландии.

Мать даже прервет ее как бы невзначай, когда совсем уж она расхвалится, скажет с протяжной зевотой, не тая громкого голоса:

— У нас тоже, дочка, жизнь получше стала. Теперь хорошо... Никто не голодает... Комсомол из города оказывает помощь на уборке... Живем неплохо. А вот ты говоришь, безработные... Ну все равно где... В Западной Германии или в этой... во Франции... Есть они? Есть... Вот меня интересует: почему бы им к нам не приехать? У нас работы очень много, всем хватит. А сколько домов заколочено?! Живи, работай. Люди толковые, не алкоголики... Пусть живут... Вот что меня интересует... Почему так жизнь устроена: у одних рук не хватает дела переделать, а другим работы не хватает?

— Да, мамочка, дорогая моя... На этот вопрос я тебе не отвечу,— скажет Марта, посмеиваясь в лунной колыбели, шевелясь там под тяжелым одеялом в голубом свете полнолуния, и, перевернувшись на живот, чтоб удобнее было говорить, добавит: — Ты, мам, газетки бы хоть почитала... Телевизора нет, а то бы многое поняла...

— Знаю я и так,— обиженно отзовется мать.— Все знаю!

— Не знаешь, а то бы не говорила... О, Господи! — вздыхает Марта в отчаянии.— А Прага все ж таки красивее Амстердама... Мы с тобой, мам, не так жизнь прожили, вот что я скажу тебе... Не так все́. Я, например, когда в Праге жила... А там самый великий праздник — праздник святого Йезефа... Иосифа по-русски... Муж был Йезеф, ты знаешь... Вот мы с ним пойдем в храм. Там не как у нас. Там сидят люди, скамеечки такие, как в кино, рядами... Орган играет. Священник в белом весь. Орган перестанет, священник проповедь говорит, а люди слушают и повторяют за ним. Красота тоже очень необыкновенная. Стеклышки разноцветные на окнах, а окна большие, высокие. Скульптуры. Дева Мария, Христос. Очень красиво! И вот когда первый раз меня муж привел в этот храм, я очень смущалась... Не привыкла! А муж мой верующий был. И этот тоже, но тот — особенно... Остановились с ним около входа, а тут такая каменная ваза с водой, когда входишь, надо пальцы обмакнуть в воду и перекреститься. Стоим с ним, он меня под руку держит, а я оглядываюсь, как дура, и улыбаюсь, думаю, все-таки я православная, а не католичка... А потом, мам,— говорит Марта тихим, нежным от любви голосом,— смотрю, а позади всех рядов, на какой-то дощечке, на помостике таком деревянном, стоит мальчик на коленях... Ну просто ангел! Светленький, красивый, волосы волнистые. Пальтишко на нем обыкновенное, брючки синенькие и кроссовки на ногах... Мальчик-то обыкновенный! Их таких полно на улицах в Праге. А тут стоит на коленочках, поглядывает по сторонам, священника слушает, музыку. Я уставилась, мам, на него, как на чудо! Даже муж заметил. Не могу оторваться... Смотрю и смотрю. И так, мам, завидую ему, что невозможно передать! Лет десять мальчику, а душа его что-то такое уже познала, чего я до сих пор не знаю. Да и ты тоже! Мы ничего этого не знаем! А он спокойненько стоит на коленях, как будто так и надо, не смущается, и люди не обращают на него внимания. Нужно ему это зачем-то, он и пришел в храм. Потребность у него какая-то в этом есть. Вот уж я позавидовала ему! Понимаешь, мам?

— А чего ж не понять?

— Нет, ты не понимаешь... Мальчик-то обыкновенный! Как все мальчики, в хоккей играет, в футбол. А в храме на коленочки опускается. Я до слез любовалась! Вот, думаю, какой хороший человек растет! У нас таких нет. Не грехи же он замаливать пришел? Какие у него грехи! А вот пришел, приобщился, нашел время, чтоб с Богом поговорить, а потом опять побежит гулять, играть с ребятами, веселиться... Понимаешь, в чем дело! Ребенок, а уже знает больше нас с тобой, как надо жить. Душа у него трепетная, отзывчивая. А у нас вон что творится — одни развалины. Сегодня проходила мимо, даже страшно стало. Раньше не обращала внимания, а теперь страшно. Так не бывает, мам, понимаешь?! Такого нигде нет. Только у нас. А зачем это? Ох, мамочка, милая... Ты, конечно, хорошо живешь... Ты все свои грехи давно искупила муками, а в душе все равно покоя нет. Видишь, ты какая нервная! Измученная... Праздника-то для души нет! Тишины-то нет в душе. А там они с детства понимают, что без этого нельзя жить, без этого человек озлобляется. Я это тоже там поняла,— шепотом говорит Марта и умолкает в задумчивости.

— Ну а в Голландии-то этой... В магазинах, небось, всего полно... Колбаса, небось, бери — не хочу. Или как? — спрашивает мать с недоверчивой усмешкой.— Простой-то народ может там хорошо питаться или только богатые, как у нас? Всякие там толстосумы?

Марта вздыхает обреченно, ворочается под одеялом, выпрастывая мертвенно-белую в лунном свете ногу из-под его душной тяжести, свешивает ее с кровати, охлаждая, говорит с тяжким вздохом:

— Я, мам, не буду тебе ничего рассказывать об этом, потому что ты все равно не поверишь. Одно скажу, там магазины продовольственные на наши не похожи совершенно. Они как музеи. Там как будто не продукты питания разложены на полочках, а произведения искусства, ты бы там, мамочка моя хорошая, ты бы там,— со слезами и с дрожью в голосе говорит Марта,— с ума совсем сошла бы... Ох, Господи! Что это я плачу-то... Там, мамочка... Там... Нет, не могу... Об этом лучше не говорить. Там...

Долго длится для матери бессонная лунная ночь, тревожа душу призрачным светом.

Дочь уже спит, раскидавшись на широкой кровати. Красивая в лунном луче, белая, как большой ребенок, в короткой шелковой рубашке с тонкими кружевами на груди и на подоле. Из-под подола сочно выпирают

бесстыжие в потемках бедной избы, сильные ноги с обрубистой стопой, широкой в кости, созданной природой для прочной, уверенной стойки на крестьянской земле. Ногти на ногах темнеют красным лаком и кажутся черными, как запекшаяся кровь, будто Марта изранила пальцы на родимой земле. Груди, не знавшие щекота детских губ, туго теснятся под кружевами, распирают рубашку, обозначая на скользком шелке торчащие бугорки сосков. Короткие волосы темными перьями обрамили лицо спящей красавицы, в истоме ждущей золотого дождя...

А мать сидит у окна и смотрит на улицу, залитую лунным светом, привалилась сивым волосом к оконному косяку и чего-то ждет, не раздеваясь, будто спит с открытыми глазами. Вот уж предутренняя песня соловья донеслась из далекого оврага, гулкое щелканье, задумчивые переливы и яростное щебетанье.

Дочь еще с вечера слушала соловьев, умиляясь чуть ли не до слез красотой раскидистых, вольных звуков, пришла домой грустная и усталая, отказалась от еды и только чай попила из самовара, надкусив конфетку, которая так и осталась лежать в яркой обертке на столе.

— Куда ж ты теперь поедешь?—спрашивала ее мать.—В Чехословакию или в Голландию... Что-то я не могу понять.

— В Чехословакию... Я ведь оттуда приехала.

— А муж кто у тебя?

— Голландец...

— А этот-то, чех... Ты опять к нему, что ль?

— Нет! Мы с моим теперешним мужем отдыхаем в горах. Татры называются. Мы с мужем в Чехословакии отдыхаем, понимаешь? Он там ждет меня, а я приехала к тебе. Там снег в горах. На горных лыжах катается. Красота там необыкновенная! Ты даже не представляешь. У меня там все осталось—костюмы, лыжи... Все! Он меня ждет сейчас. Ужасно скучливый! Я еле вырвалась, хотел со мной ехать.

— Снег?—спрашивает мать.—Какой же отдых в снегу? Я думала, там теплей, чем у нас.

— Это в горах, мам! В горах только, а внизу уже давно все зеленое, все цветет. Но там тоже тепло! Снег лежит, а не тает. Солнце горячее... Я загореть еще не успела! А то бы черная приехала.

— Страшно в горах-то?—с потаенным любопытством спрашивает мать.

— Нет, не страшно. Голландия плоская, как стол. Тоже красивая, но гор нету. Вот мы и поехали в горы.

— Ох, доченька, какая ты у меня смелая! Ничего-то ты не боишься! В кого только пошла? — говорила мать, разглядывая Марту с недоверчивой улыбкой.— А я всю жизнь кого-нибудь боюсь... Чего-то мне все кажется, щас ругать будут, не то опять сделала, не так все, как надо... У нас ведь тоже природа красивая! — восклицала она, встрепенувшись, будто испугалась слов о собственном страхе.— Вот тут щас, как за речку-то зайдешь, большой луг, там летом ромашки, что твое белое озеро. А завтра утром можно и ландышей пособирать... Вот тут, вольным краем выйдешь из села, и по левой руке вскоре березничек будет, там много ландышей... Небось, уж есть расцветшие. У нас поздно цветы цветут... Северный все ж таки край...

— Что ж я, не знаю, что ль! — откликалась Марта.— Говоришь, как будто я не жила здесь. Я и без тебя все знаю! Я иной раз так заскучаю... Поговорить по-русски не с кем! Муж этот мой, голландец, не хочет, чтоб я по-русски говорила. Он немецкий хорошо знает, а я тоже в Чехословакии научилась... Вот мы сначала с ним калякали по-немецки,— говорила Марта и оживленно смеялась.— А потом... Я и по-голландски сейчас могу... Как-никак — шесть лет уже с ним... Сейчас говорю по-русски, а сама радуюсь... Это трудно объяснить. Я там все равно думаю по-русски... Говорю по-голландски, а как будто перевожу с русского... А уж во сне и подавно, только по-русски...

Мать смотрела на нее, сидящую вечером возле самовара, и всякие мысли в голове у нее словно цепенели, как на лютом морозе,— даже не знала, о чем бы спросить, чем бы поинтересоваться, о чем узнать у дочери.

— Ага,— говорила она,— ага,— слушая Марту, и кивала, кивала, не понимая ничего.



А когда наступил день отъезда, она с утра уже готова была и словно бы торопила дочь, выпроваживая из дома, подгоняла время, уговаривая Марту выйти пораньше, чтоб уж не опоздать на автобус, а то и попутку какую-нибудь остановить. Путь у дочери был далекий, она даже подумать боялась, как сложно и долго придется ей добираться до этой Чехословакии, а потом и до своей Голландии. И промедление казалось ей очень опасным. Она даже поругивала дочь, которая не торопилась, как если бы ей ехать всего лишь в районный городишко, а не в Чехословакию.

Марта была спокойна в тот день, вяло поглядывая вокруг заспанными глазами, долго щурилась, подрумянивала щеки, подкрашивала голубой дымкой припухшие веки, раздражая своей отчаянной храбростью, с какой она собиралась в далекий путь.

Мать со страхом представляла себе этот опасный, рискованный путь с пересадками, с ожиданием на вокзалах среди чужих, недобрых людей, удивляясь, как можно в таких дорогих одеждах, с дорогим чемоданом ехать красивой женщине одной и ничего не бояться, будто она была заговорена от несчастий колдовской водичкой... Мать суетилась, охала, стонала в слезных припадках, а дочь только позевывала и оглядывалась вокруг, запоминая на долгую жизнь в Голландии все, что окружало ее здесь, в родной стороне, которую она покидала навсегда.

Измученная долгой дорогой, доберется она до Москвы, сядет наконец в чистое купе поезда «Москва — Братислава», бросит пустой чемодан на полку, причешется перед зеркалом, улыбнется сама себе, как бы сбросив с души тягость затянувшегося расставания с родиной, и, когда поезд мягко тронется, закроет глаза, предвкушая встречу с наскучавшимся без нее мужем, который схватит ее в охапку и чуть ли не на руках потащит в какой-нибудь легковой автомобиль — в такси ли, во взятый ли напрокат — и увезет ее в горы, в роскошный отель с горячей водой в сверкающей хромом и глазурованными стенами ванной, в которой она будет долго-долго отмывать тяжкие воспоминания о нищем своем селе, о матери, пропадающей там, и о страшной разрухе...

«Господи! — думала она.— Лучше бы я уж не ездила! Зачем? Зачем я это сделала? Хотя, конечно, могила бабушки... Надо было съездить...»

И она покажется себе очень доброй, хорошей дочерью и внучкой, у которой большое сердце, умеющее любить и страдать, как никто на всем белом свете не умеет... Она с веселым негодованием будет путать мальчиков в форме пограничных войск, что едет в Чехословакию, хотя она гражданка Голландии, а родилась в России, что она русская, отдыхает сейчас в Чехословакии, а живет в Голландии со своим мужем... Придет обязательно какой-нибудь суровый на вид офицер разбираться с ее паспортом, таможенник заставит открыть чемодан, удивившись, что в нем только смена белья и никчемная мелочь, подозрительно оглядит, прощупает донышко, заставит вынуть вещички... Уж это обязательно предстоит ей пройти, стерпеть, не обращая внимания на особый, пристальный осмотр ее документов и вещей, смириться с этой неизбежностью, с какой она уже встретилась, въезжая в страну своего детства...

Какой-нибудь мужчина, чех, словак или русский, привлечет ее внимание, и она легко разговорится с ним, потому что спать ей некогда: после Чопа надо выходить поздней ночью.

«Вы знаете,— скажет она с особой озабоченностью и тревогой,— гостила у мамы, в деревне. И просто поражена! Мы с мужем следим за событиями в России, радуемся, я думала увидеть процветающую деревню, изобилие... А ведь ничего не изменилось! Я просто убита... Ничего не улучшилось! Все такая же бедность, неустроенность и, как это сказать по-русски, безобразие... Стала немножко забывать русский... К сожалению, да... У меня муж голландец, он богатый человек, я маме привезла много... презент... подарок... У меня муж очень хороший человек. Он, конечно, скучал... Мы отдыхаем в Татрах, да... В горном отеле. Ну, так себе, ничего, конечно. Муж заказал наилученный, пардон, лучейший... нет... хороший самый... номер... Но в Голландии... Это несерьезно... Ну-у... Шутка, конечно... Какая разница, в конце концов... Есть лучший в мире снег, солнце, лыжи... Извините, я, может быть, мешаю вам? Вам надо спать? Нет?

Хорошо... я... Ах, нет? Я смотрю, у вас хорошие сигареты... Спасибо! Советские сигареты делают из соломы или, пардон, из сухого навоза...»

И хотя Марта так и не втянулась в эту злую привычку, на этот раз с наслаждением возьмет в пальцы душистую американскую сигарету, которыми запасся для шику плененный Мартой советский гражданин, прикурит ее от газового огонька услужливо поданной зажигалки, затянется, как в поцелуе, дымом и продолжит пустячный разговор, слегка кокетничая с земляком, которому приятно, конечно, поболтать с красивой женщиной из далекой Голландии, говорящей по-русски с небольшим и очень приятным акцентом. Марта давно уже знает, что русским мужчинам почему-то нравятся женщины, говорящие с легким иностранным акцентом, и поэтому продолжит милые хитрости, доставляя удовольствие попутчику и себе, потому что попутчик, если он русский, обязательно не ляжет спать, пока она не сойдет на станции, обязательно отнесет чемодан в тамбур и пожелает счастья и удачи на заснеженных склонах гор.

«Знаете,— скажет Марта,— я очень скучаю там без России... Но я люблю мужа... Любовь! Понимаете? Она лишила меня родины, отечества, а что дала взамен? Я вам скажу.. Только любовь... Первое время я сходила с ума без России... Я выросла в деревне! О, знаете, у меня потрясающая судьба! Педагогини из меня не получилось, но пединститут подарил мне хорошего человека. Это был чех, тоже студент, красивый и очень ласковый... Он меня называл «слечно». Это по-русски девушка... Потом я стала его женой, манжелкой по-чешски... Европа! Прага! Горы... У меня кружилась голова от счастья. Но увы, была трещина. Она прозвенела, как тонкий лед под ногами, и я провалилась в холодную воду. Это, конечно, безумие, я вспоминаю о своем первом муже с грустной улыбкой, мне жалко его... Ах, все это... Но что я могла поделать? Меня поманили Нидерланды, и я не устояла на ногах. Нет, это невозможно! Это все равно что удержать на поводке чугунную тумбу, которая вдруг стронулась бы с места и, как собака, пошла по тротуару. У меня никаких сил не хватало. Нет, у меня потрясающая судьба! — промолвит Марта с отстраненной улыбкой, словно разглядывая себя со стороны.— Иногда, по ночам, если бессонница, мне делается даже страшно. Где я? Зачем? Но это проходит... Это только иногда... Представьте себе! Можете ли вы подумать, деревенская девочка влюбилась в голландского делового человека и теперь забывает даже чуть-чуть русский речь... Я сама не могу поверить, но это так... Чего только не в силах сделать любовь. Правда? Вы согласны со мной?» — спросит она в полутемном коридорчике у своего соотечественника, подарив ему мягкий, обволакивающий взгляд, и продолжит с удовольствием свой рассказ, заметив, что попутчик почти готов, что в ней жива энергия женской власти и что она хороша собой, как прежде, ничто не потеряно, не истрачено в дальней дороге, взгляд не очерствел, не померк от созерцания той нищеты и разрухи, откуда она вырвалась наконец как из страшной неволи, как из липкой паутины.

А бедная мать, распрощавшись с Мартой, будет реветь целый день. Английский чай в железной коробке, копченая колбаса, твердая, как палка, шоколадные конфеты — вот и все, что осталось в сереньком доме от богатой гостьи, которую она так и не успела разглядеть. Плакала дома, плакала на улице, не скрываясь от людей, плакала в телятнике, вытирая слезы рукавом солдатского бушлата.

В селе только и разговоров было, что о Марте Новоторцевой, приезжавшей, как говорили все, к матери из Америки...

— Да не из Америки она, Господи! — со слезами говорила мать.— Из Голландии...

А согбенная старушка, которую мать угостила чаем с конфетами, все равно говорила, ничего уж не понимая совсем:

— Америка — явна за вадой... Фсё рекáм, фсё вадáм туда ехать... Там глыбкая вада есть... Шшуки водятся...

---

Владимир Друк

# КУДА ИДЕТ НЕБРИТЫЙ ДЯДЯ?

●

рожденный ползать зачем летает?
рожденный ползать летать не может!
рожденный ползать летать не должен!
зачем летает?

рожденный ползать не может ползать
рожденный ползать не хочет ползать
не может больше не хочет больше
вот и летает!

## Памятники

Калмык забыл что он калмык.
Еврей забыл что он еврей.
Читатель ждет уж рифмы «розы»,
Ну, на — возьми ее скорей.

...здесь сталин очень честно правил
пока не в шутку занемог
он уважать себя заставил
и лучше выдумать не мог

и брежнев очень честно правил
пока не в шутку занемог
он уважать себя не мог
и лучше выдумать заставил

и я не знаю про хрущева
и я не знаю про других
кто памятник себе хотел бы
а ведь могли чего еще бы...

Здесь Карабах! Здесь леший бродит!
И на ветвях сидит шиит.
Пойдет направо — не уходит...
Налево — тоже...

шиит — антишиит
семит — антисемит
калмык — антикалмык
бисквит — антибисквит
ЭЛЕКТРОЛИТ!

Пускай им
общим
памятником
будет
Построенный в боях
развитой —

О! Этот Театр Дружбы Народов!
Где все мы — актеры...

## *Куда идет небритый дядя?*

*(идиллия)*

Куда идет небритый дядя,
По сторонам украдкой глядя,
Сжимая денежку в руке,
Куда спешит он налегке?

Зачем он встал в такую рань?
Чего он ждет? Кого он ищет?
По переулку ветер свищет,
Скрипит фонарь у старых бань...

В дали туманной — «Гастроном».
Когда еще откроют винный!
Ужели хочется вином
Душе утешиться безвинной?

Такая мысль весьма обидна.
Мы можем дядею гордиться.
Ведь он торопится побриться.
Ведь быть небритым очень стыдно.

## *Террариум*

Царапают тело пещерные глыбы
И мимо плывут говорящие рыбы...

Зажат навсегда в параллельном стекле,
Стоит на большом шестиногом столе,
И, выпучив глаз, насмехается гад
Над тем, как я стеклами окон зажат.

Как тело царапают желтые глыбы,
И мимо плывут говорящие рыбы...

●

вихри враждебные
бури магнитные
выборы в местный совет

выпить бы что-нибудь
жизнезащитное

только закусывать нет

---

Валерий Пискунов

# ЧИСЛО ЗВЕРЯ

*Кто имеет ум, тот сочти число зверя,
ибо это число человеческое...*

Саша Харабарджахян схлестнулся с Куренко. Веня знал, что это должно было случиться, но уж очень медленно, нехотя накручивалось. Веня хватал их за руки, думал — обойдется, но они сорвали штору. Оранжевая штора и за нею бледный апрельский свет — это последнее, о чем Веня успел пожалеть. Потом наступило короткое безумное забытье. Харабарджахян низенький, с круто всаженной в большие плечи головой, вдруг раздулся и тянул Куренко на себя, гнул его за шею. Побледневший, сухой Куренко раздергивал на Харабарджахяне рубашку. Веня пытался упрашивать, разнимать, потом держал дверь, чтобы в кабинет не заглянули. Сколько он помнил, все дни проходили в одной и той же тупой беседе: кто национальнее, кто древнее. Все доводы были высказаны и пересказаны, но какой разговор ни начинали — съезжали на кровь, на корни, на гены. Тупо, нервно и желая бы не говорить, но уже не видя друг в друге ничего, кроме гнойных знаков инородности. «Национальность, — говорил Куренко, — это что-то вот тут, загрудинное». «Да вас, хохлов, много и вы не чувствуете своей крови, — говорил Саша Харабарджахян. — А нас, армян, мало. Нас турки резали». — «Не дорезали». — «А ты молчи, детдомовский! Нас у мамы одиннадцать душ детей было. В войну ни одного в детский дом не отдала. Немцы пришли, выстроили нас: «Покажь письки!» А мы все черненькие, кудрявые. Спрашивают: «Юде?» А мама неграмотная, всего боялась. «Юде, юде». — говорит и кланяется. Хорошо, соседи сказали, что мы не евреи!» — «Да что армяне, что евреи — славянам век заедают». — «А ты Солженицына читал?» — «Ну». — «Бздну! Кто нес культуру в Россию? Купцы! А кто был купцами? Армяне, да вот такие, как Веня, — жиды!» — «А кто мир спасал? Всегда славяне!» — «Какой ты славянин? Хохол ты и душа у тебя хохлацкая, подлая. Такие и вырастают в детских домах: глазами воспитательницу едят, а сами за спиной дрочат».

Саша Харабарджахян мог иногда посочувствовать Вене, но наедине, оглянувшись по сторонам. И предавал он, не думая, что предает. Просто в этот момент забывал, что Веня человек. И глаза его большие, с черными шариками в белке были такими, что Веня в тот момент чувствовал себя существом, которое надо предать. «Хитрый персюк!» — говорил о себе Саша и шутовски подергивал плечами.

Куренко не играл в доброту. Он взвинчивал себя, доводил до истерики и — тоже естественно — получал как бы некое биологическое право крикнуть и оскорбить. И вот сегодня он, сипло посмеиваясь, сказал Харабарджахяну, что армяне плодятся, как кролики. «Хохол долбаный!» — закричал Саша и дернул руками, словно газету разорвал. И теперь они кидались по кабинету, и Куренко как бы прятал и хотел зачем-то сохранить, а Саша — разметать половинки на мелкие кусочки.

Саша отпустил Куренко. Они сели, замолчали. Веня мучился от невозможности быть как раньше — в недосказанности, в недопущении ссор до крайности. Он всегда старался иметь дело не с людьми, а с бумагами,

---

Валерий ПИСКУНОВ родился в 1949 г. Живет в Ростове-на-Дону. Автор научно-фантастических повестей и рассказов. В центральной печати публикуется впервые.

с докладами, которые он готовил начальству. Бумаги менялись, и бог с ними. Когда менялись люди, это для Вени было всегда маленьким светопреставлением: надо было меняться самому, пересматривать отношения, здороваться или не здороваться... Нельзя доводить человека до надлома.

Пороки должны сгнивать незаметно, как опавшая листва. Все исключительно в христианских традициях. И до сих пор Веня ни в чем не мог упрекнуть ни Сашу, ни Куренко, ни себя самого. Христианство зарождалось в подлости и фарисействе. Оно появлялось на свет как некое клейкое вещество — люди в унижении не могут не склеиваться. Замес на подлости, мерзости, но — высокодуховный.

В христианстве доброта разборчива. Без отбора жалеть людей невозможно. Там, где добро т я н е т с я,— выворачивается злоба.

Веня не исключал себя из этой гармонии. Он знал то самое м е с т о, оказавшись в котором он мог позволить себе простить предателя и подлеца. Это место богом проклятое, оно отдано уму праведному, совести праведной на откуп: вот тебе преисподняя, вали сюда все человеческие отходы, вали все то, что невидимо, неосязаемо, духовно, вали, в этой топке все сгорает. Сгорая, изменится до неузнаваемости. А если не изменится, станет таким ядовитым, стерильно-ядовитым, что ничто не решится к нему прикоснуться. Ни добро, ни зло.

Ветер через форточку вылизывал оборванную занавеску. Заглянул толстый Сидаш: «Вы слышали?» — «Слышали!» — огрызнулся Саша. Веня быстро поднялся и вышел. В коридорах, среди разломов солнца, было оживление. Ходили, заглядывали в кабинеты, говорили друг другу: «Ты слышал?» Авария на атомной станции. Первое чувство чиновника: накрыло, слава богу, чужое ведомство. И цепь возможных последствий. Полное преображение нутра. Веня с сигаретой тоже ходил по коридорам, но закурил только в туалете и даже обыкновенное мочеиспускание приобрело вдруг значение сопричастности: все, что делается, включено в случившееся. Радиация упала на Запад. В кабинетах скопилась атмосфера затаенности и возбуждения. И Куренко, по своему обыкновению выдергивая сигарету после каждой затяжки, говорил, что русские призваны спасти мир от атомной угрозы, прикрыв реактор своими телами. Саша виновато и весело допытывался у Вени, что такое «радиоактивный йод», и рассказывал, что на ЖБК, где он когда-то работал, панели радиоактивны. «Я своего сыночку ни за что не стану держать в крупноблочном! Он у меня должен расти богатырем, и потомство у него должно быть крепкое!» Веня надеялся, что новость расслабит поссорившихся, но примирения не произошло. И Веня мучился в этом разрыве, в невесомости, не зная, что и как сказать, когда выйти и когда войти. Саша стал навязчивее обычного, а Куренко, казалось, возненавидел Веню еще больше. Когда Куренко смотрел на него — в лицо или в спину,— Веня чувствовал пакостность его мыслей. И Веню тянуло заговорить, войти в тесный разговор с Куренко, порассуждать об аварии, рассказать, что такое радиация и как велика нуклеарная опасность. Но заговорить было нельзя еще и потому, что Саша ревновал и был настороже, волновался, вертел большой кудлатой головой. Веня опять погружался в невесомость, не зная, куда он летит. И когда шел домой, черный след ссоры тянулся. В открытое окно музыкальной школы услышал виолончель — чистый тяжелый звук и пауза, словно смычок занесли над горлом.

Чтобы тесть не успел ответить, Веня крикнул: «Джерри, гулять!» Спаниель схватил поводок и поволок в переднюю. Но тесть уже выходил из кухни.

Между кухней и комнатой тестя метра два, тесть выходил, заворачивал брюшком влево и стеночкой, стеночкой сразу входил в свою комнату. В этом пристеночном смещении было много чего для человека не постороннего. Я бы, мол, сразу вошел к себе, но вот ведь стена. И еще солнечный свет, он падал через комнату тестя. Это важно, как важен запах тестя — от его груди, шеи, от спины. И еще независимость и отчужденность, и правота в лице, в полуприкрытых темных глазах, на хорошо, до светлой пыльцы, пробритых щеках, и еще самоуничижение человека, чьей добротой живы все в этой семье. «В этой квартире»,— подумал Веня.



Джерри таскал поводок по прихожей, скулил. Веня пожалел, что сорвал пса с места. Свет солнца выдвигался из тестевой комнаты стеклянным вместилищем, и в это вместилище входил тесть. То есть он еще не вошел, он лишь как бы отдалился и сказал: «Не надо было заводить семью». — «Что, что вы сказали?» — но тесть уже задвигал за собою дверь, впихивал свет обратно в комнату. Тесть уносил на спине широкий крест полосатых подтяжек.

Веня вышел без пиджака, в тонком пуловере. Ветерок пробивался сквозь вязаное ситечко, и следом просачивалось солнце. Тополя серебрились льдистыми листочками. Листочки были еще не крепкие и такие трепетные, что не держали тени и казались маленькими полусферами или раковинками, в которых на просвет в лиственных венках светилась изумрудная кровь.

Спаниель метался по двору — клубок светлых и темных пятен, уши его взлетали и бились вольно, словно грива. И легкость входила в тревожную душу Вени и с нею какая-то странная получеловеческая обида на пса: уж очень легко и быстро забывал Джерри семейные конфликты.

Джерри подбегал, подпрыгивал, падал лапами Вене на живот, изжелено-каштановыми глазами впивался в глаза, тянул за собой, бежал к первой попавшейся травинке, нюхал и звал нюхать, прыгал и манил догонять, пугался и приглашал пугаться. И Веня курил и вместе с дымом всей грудью, животом втягивал и небесную предмайскую синь, и вязкий запах древесного сока и той тонкой зеленой кожуры, что выстилает сейчас молочные косточки молодых побегов. Увлеченный, Веня пугался внезапного, как из-за угла, ветра — ветер налетал обрывком зимы, заплутавшим в квадратном лабиринте города, приносил в своей памяти сугробы, стужу, пенистые гребни, заглаженные на спад. Ветер обрывался, и сразу торопливо, мягко, словно теплый собачий бок, припадало солнце.

Подбегал Джерри, глядел Вене в лицо глазами расшалившегося боксера: обманный взгляд в одну сторону, рывок всем телом в другую.

— Домой? — спрашивал Веня шутливо.

Джерри отпрыгивал, летел по дуге, западая набок, уши взбивались на спину, светились нежной фиолетовой изнанкой. И вдруг с чистого, еще не налитого неба хлопьями шел снег. Веня ловил снежинку на ладонь. «Джерри, смотри!» Джерри слизывал снежинку, и Веня ловил другую. Она лежала серой пепельной пушинкой. И пока снежинка таяла, вкалывая в ладонь иголочку холода, Веня испытывал тревожный сбив ощущений. Даже горло перехватило, так пугаешься, заспав утро или вечер. Так путаешь раннюю весну и позднюю осень... Но растерянность была глубже, как наваждение, и хотя память силилась уравновесить недоумение, это не было ей под силу. Воспоминание шло не из памяти, а из какого-то закуточка в самом существе, где сидело гномиком, сжимавшим молоточек в холодной руке. И у ног гномика — холодная наковаленка и рядом же вдруг полыхнувшая раскаленным морозом печь, и вот гномик-кузнец очнулся, заторопился, пошел доставать из печи расплавленные на лютом пламени кусочки льда и ну ковать-выковывать пластинчатые узоры снежинок.

Через неделю приехала невестка, заявилась с ребенком. Веня был на службе, в пылу подготовки доклада. Тесть позвонил и, виноватя, проскрипел: «У вас гости из Киева». Веня только в этот момент связал аварию с Киевом и с братом. Веня обозлился и на тестя, и на тех, по чьей вине взорвался блок, и на внезапный приезд невестки. Харабарджахян вертелся возле, подсовывал свою часть доклада, угодливо говорил: «Был бы Ёська, он порядок бы наве-ол! Скажи, Куренко?» Куренко хихикал, морща бледный лоб, смотрел смущенными перебесившимися глазами на Веню, на Сашу, сказал: «Все мы заложники», и рассказал то, что уже рассказывал: как у него болела голова (голова у него была маленькая, лицо длинное с подвижными усами), как врачи не могли найти причину и как он однажды вот так сел, сосредоточился вот тут (он выдавил пальцем белое пятнышко над переносьем), стал внушать себе, что болезнь должна выйти, выйти, и как хлынул гной. «Так что если уметь сосредоточиться,— гнусавя, сказал он уверенным тоном,— можно внушить се-

бе, чтобы организм очистил пораженные гены». — «Точно! — подхватился Харабарджахян, выскочил из-за стола. — Нас в сборной учили мысленно штангу поднимать!» Он сдернул воображаемую штангу с полу, поднял на грудь, напрягся, раздулся, покраснел и лицом и шеей, выпучил зарозовевшие глаза. «Оп, оп», — он медленно выжимал «снаряд» и вдруг бросил руки: — «Ой, бля, аж в животе заломило. Сорвал мышцы, сука буду. Растянул пресс». Он растерянно смотрел в глаза Вене, в пол, обминал ладонями выпуклую грудь и сведенные вперед плечи.

Вечером из кухни в туалета в ванную ходила жена брата с маленькой Юлей. Джерри радовался, он сразу выделил девочку, сунул нос к ее поджатым ножкам. Девочка рассердилась, но не оттолкнула. Если Джерри удавалось девочку рассмешить, она сразу делалась похожей на Вениного брата. Жена суетилась, угождала, всклокоченная и сюсюкающая. Веня одернул ее, представляя, как слушает из своей комнаты тесть. «Вика, — сказал Веня жене, — я все сделаю сам». И попробовал взглянуть на нее глубоким взглядом тестя — ее отца. Но ничего не вышло. Что его голубые против ее черных? Ольга, дочь, была спокойнее, рассудительнее, и Веня сказал ей: «Между прочим, Юля твоя племянница». И выделил двойное «эн» так, чтобы тесть услышал. Он хотел переиграть его, подвесившего в комнатах упрек, что чужие люди вынуждены заботиться о его, Вениных родственниках. Это была заведомо проигрышная игра, но Веня не мог в нее не играть. Раздраженный, он расспрашивал, и Оксана отвечала: «Да можно разве ж до вас дозвониться? Все людьми забито. Юрка кое-как в вагон нас запихнул. Чемодан остался. Как в войну, ей-богу, а как же!» — «Это правда, что защитного купола нет?» — «Та откуда ж я знаю?» — «Котел упал в шахту или нет?» — «Тю, да не пытай ты меня! Бежали як угорелые». Оксана была странно одета: в открытом сарафане, вязаной кофте, вещей почти не было. Только пакет с детским бельем. Тяжело ходил Веня по комнатам, смотрел голубыми глазами на дочку брата — Юля толкала свою складную коляску, ходила, притопывая, за мамой. «Привыкнет», — говорила жена и брала девочку на руки. Жена менялась на глазах, Веня даже стал тихо ревновать, так хорошела жена с ребенком на руках. «Юленька, Юленька», — пела жена, и глаза у нее становились томными, щеки розовели, тайная сила наливала руки, ходила она так, что бедра словно выговаривали телесным шепотом ставшие уже отвлеченными слова.

Тесть выходил ненадолго, он слушал рассказ Оксаны и не хотел слушать. Все это слухи, бабьи россказни. Надо ждать официального сообщения. «А если не будет официального сообщения?» — спрашивал Веня, глядя в потолочный угол. «Оля, — сказал тесть внучке, — ты будешь спать у меня».

— То говорили не бойтесь, то сказали, все закупорьте, даже форточки не открывайте. Воду только (Оксана говорила «тилько» и поправлялась незаметно) из бутылки, газированную. А она ж не пьет! Как же так жить? Ну, Юрка скоренько собрал нас и на вокзал, достал разрешение, та почти два дня там мудохались.

Они ужинали на кухне, теснились, и Веня вспоминал, что когда заставал тестя жующим в одиночестве, пугался. Поэтому старался быть на кухне с женой или с дочкой. И вот теперь еще Оксана и маленькая Юля, похожая и на брата и на саму Оксану. Словно камешек-кристалл, как повернешь: так — глазами, улыбкой на Юрку, а вот так — покоем, хмуростью, нежностью — на Оксану.

— Я помню войну, — сказал тесть, — и знаю, что нет ничего страшнее паники.

— Это не бомбежка, — сказал Веня. — Это радиация.

Сказал и понял, что ничего невозможно объяснить. Тесть не захочет понять, тесть не сможет понять. Он смотрел на Веню, как на больного, и Веня в самом деле был болен недугом глубочайшим, — генетическим недугом, — так, полагал Веня, думает тесть, — и как объяснить тестю, что весь его так называемый жизненный опыт, вся его так называемая мудрость — это фикция, от нее надо отказаться, как от самого себя, сказать себе: жизнь моя в лучах радиации никому не нужна. Тесть должен забыть свою жизнь, признать ее ненужной и открыто сказать всему миру: «Ни одного мгновения моей жизни не завещаю я своим потомкам!» Вот тогда-то Веня смог бы объяснить ему, что такое радиация.



Вика мыла посуду, Оксана ей помогала. Веня слушал их голоса: высокий, растерянный жены и хрипловато-грудной, вялый Оксаны. Веня возился с маленькой на тахте в гостиной. Ольга сидела рядом сердитая. Веня разозлился и сказал: «Как тебе не стыдно? Почему ты не хочешь спать в дедушкиной комнате?» И видя, какие у нее виноватые черные глаза и какое злое лицо, он вдруг понял, отчего плачут дети: они не могут справиться с неразвитой подвижностью лица: чувство застывает маской, о которую бьется, ища выражения, чувство, бегущее навстречу. И чтобы дочь не расплакалась, он растормошил Джерри: «Смотри, Джерри, эта шестиклассница, как собака, не любит менять лежбище!» Джерри взлаивал и бежал на кухню, оттуда к тестю, с налету падал на дверь, вбегал и кричал: «Старик, иди к нам!» Тесть скрипучим голосом объяснял спаниелю, как он должен себя вести, когда в доме гости, когда в доме людей больше привычного и люди устали с дороги.

И Веня слышал его мысли: Киев полон паникеров, порядок в стране утрачен, и жизнь с тех пор, как он почти потерял дочь и почти лишился возможности продлиться во внуках и правнуках, с тех самых пор порядок вещей стал непредсказуемым: все могло произойти внезапно. Как остановка сердца.

Ничего не замечала Оксана, она была свойски проста, она хватала дочку так, словно вылавливала большую рыбину, сажала на руки.

— Юленька, донюшка, да как же ты ухезалась! Что о тебе твой дядька подумает, а? Ах ты ж такая! Смотри, собачка и та под себя не ходит.

Большой Оксане мало было одного ребенка, как мало одного ребенка мадонне. Лицо такое нежное, что свет, казалось, не может уложиться в фокусе, отчего лицо светилось двойным аурным светом и большие, клубнично исколотые губы и скользкие под губами плотные зубы — все для того, чтобы улыбка была легкой и длимой. Она подхватывала ребенка, держала его в голых коленях и ребенок был терпелив. Она держала ребенка с наивностью мадонны, и ее ноги, ступни с пальцами, словно увеличенные ступни ребенка, были нежны и чисты. Она еще, оказывается, кормила ребенка. И не стесняясь, круговым движением плеча сбрасывала бретельку сарафана, обнажала снежную, в голубых проталинах грудь, и губы ребенка прилипали к маслянистому стойкому соску.

Юля еще не говорила, произносила тихие торопливые звуки, показывала мамке руками, пальчиками и терпеливо ждала, когда мамка поймет, объяснит себе или другому.

Оксану с дочкой уложили в гостиной. Тесть забрал внучку. Джерри никак не мог успокоиться, ходил по комнатам, проверял, кто где. Место для Джерри тоже было новым, в комнате Вени и Вики, под окном. Когда Джерри возвращался, толкнув дверь и сдвинув ее боком, Веня видел, как он топчется и царапает подстилку. Свет сквозь сетку занавески падал яркий, наведенный жесткой луной. Джерри вздыхал, чесался, не мог унять беспокойство. Веня шепотом приказывал лечь, Джерри повиновался, но ненадолго, вскакивал, шел по комнатам, один раз девочка сказала: «Мама, бабака».

Яркий лунный узор лежал на лице дремлющей жены. Веня старался лежать тихо. Жена устала сегодня. Вспоминая ее красоту и привлекательность, возбужденные чужим ребенком, Веня понимал, отчего это вдруг. Она возилась по хозяйству, она чувствовала, как напряжен тесть. Как напряжена жизнь. Веня любил жену и боялся пошевелиться. Лунный узор на лице жены один раз дрогнул. «Господи боже мой», — с силой сказала Вика, словно хотела выговориться. Но она спала. Веня расслабился. Поднявшийся было пес вздохнул и упал на подстилку.

Беспокойство пса передалось Вене. Он осторожно поднялся. Проходя через гостиную, увидел Оксану. Она лежала навзничь, короткая Викина сорочка едва прикрывала бедра. Сон был так глубок и так ровен — Веня невольно замер. Девочка лежала под боком и была почти невидима под рукой Оксаны. И на них падал голубой свет луны. Вене казалось, что он удостоен чуда: вся суетливость, вся размашистость Оксаны раствори-

лись, утих ее украинский сильный голос, отошли, рассеялись и усталость, и тревога, и вот вместе с ясной луной, чисто и ясно предстала Оксана. Сон явил ее всю, и ноги ее были такими длинными, долгими и руки долгими, и все тело, ставшее вдруг великолепно длинным,—вся она с повернутым к свету лицом, была долгой, и лунный свет тянулся, тончился и все не мог дотянуться, охватить ее, осветить тонкие щиколотки ног.

Часа в три ночи девочка заплакала. Джерри, как ждал, выбежал в гостиную. Поднялась Оксана, и слышно было, как вышептывает, успокаивает. Девочка, поплакав, вдруг закричала. Веня подскочил, включил свет. Оксана держала девочку под живот, та визжала зверьком, ее рвало, она судорожно подтягивала ножки, она не могла остановиться в крике и захлебывалась.

«Ой, мамочки, отравление»,— бубнила Вика и перебирала все съеденное за вечер. Тесть выглянул, что-то строго сказал. Джерри не обратил внимания, он обнюхивал рвотные лужи, потом жадно зачавкал. Веня прогнал его в комнату тестя.

Вызвали врача. Оксана вытирала пол. Девочка извивалась в руках Вики. Веня смотрел в окно. Небо было светлым во всех своих краях, скоро должно было наступить утро, но сияние было таким ровным и равновыпуклым, что невозможно было представить, откуда пойдет солнце и возможно ли оно. Вене стало страшно, как будто кто-то умер. В дверь позвонили. Пришел врач—сухая, в затемненных очках, женщина.

Юля замолчала, следила за руками врача. Женщина ощупывала живот, прижав девочке подбородок, старалась заглянуть в горло. Девочка выгнулась. Врач спросила: «Вы мама?» Оксана подхватила девочку и стала быстро говорить, рассказывать. Врач перебила: «Ребенка надо в больницу. Температура, гланды увеличены... Я не могу сказать, что с ним. Собирайтесь».

— Доктор,—взмолилась Вика,—куда же им собираться? Они только сегодня из Киева.

Женщина отняла руки и стала ругаться. Она ругала Оксану, ругала всех. Она вышла и стояла в прихожей. Она потребовала помыть руки. Веня боялся ее затуманенных линзами глаз. Вика подсунула ей чистое полотенце. Женщина сказала: «Знаете ли вы, что опасны для окружающих?»—«Да какие там опасные!»—«Для таких, как вы, организован санпропускник на Береговой. Вы обязаны провериться». И запретила принимать лекарства, и запретила контачить. И запретила бы девочке плакать, а ее железам источать или впитывать. И тесть толкался в прихожей, он был уверен, да, да, уверен, что иначе быть не могло. «Как можно было вот так уезжать? Это безответственно. Там, наверное, есть специалисты. Они бы все сказали...» И дверь была закрыта за врачом. И свет сразу погасили. Девочка дремала. Оксана, согнувшись на тахте, держала руку под ее головкой.

Оксана повезла Юлю на Береговую, вернулись поздно. Оксана улыбалась: «Ну, держали, ну, держали. Там из Киева и еще откуда-то».—«Проверили?»—«Проверили, и вещи и коляску». Оксана улыбалась, раздевая девочку, улыбалась текучей, светлой от зубов и десен улыбкой. «Ну, так что же сказали?»—«Та ничего я не уразумела. У малой вот тут, в гландах нашли. Та еще на коляске. Ренгены».—«Рентгены или милирентгены?»—уточнял Веня.—«А что? Чи ренгены, чи милиренгены, не поняла. Не поняли мы, да, Юленька?» Она подбросила девочку, гордясь, сказала: «У нас радиоактивный йод нашли, во как! Но ничего, сказали, опасного». Девочка озиралась синими—у Юрки такие же, с яркой, завлекающей голубизной глаза,—девочка искала собачку. Джерри видел ее, он перебирал в нетерпении передними лапами, и когда Оксана, пугая: «ууу!»—качнула на него девочку, Джерри отскочил, а девочка рассмеялась.

Веня мыл коляску. Дал напор через гибкий душ, взбил пену, полоскал, сливал, опять взбивал пену. Каждый сустав этой складной коляски вызывал подозрение и омерзение. Пузыри пены, казалось, источали лучевую опасность. «Ах, Кюри, Кюри»,— думал Веня, и внутренний, изнутри, из вселенной, страх овладевал и мозгом и мыслью. Страх был сродни



тому, который проступал в разговорах с Куренко и Харабарджахяном. Гнусная правота «крови» была такой сильной и такой всепоглощающей, что от нее невозможно было отказаться. Доказывал ли Харабарджахян древность армянской культуры? или Куренко отстаивал право славян на самоопределение? или Веня убеждал, что евреи такие же люди, как и все человечество? Черты «народного характера» можно на пальцах пересчитать, а человек—вселенная. Если в человека ударить тяжелыми ядрами национализма, начинается распад. Однажды, разозлившись, Веня сказал Куренко: «Еврейство так оболгано—что бы я ни говорил, вы будете подозревать... Ну, так я для того и говорю!»

Телефон в Киеве молчал, и сам брат не звонил. Теснота в квартире накапливалась.

Подули западные ветры. Сухая светлая погода точилась пылью. В комнатах повисла невидимая паутина. Оксана сметала пыль, возилась на кухне, начищала краны, перемывала тарелки, стаканы, чашки. Юля ползала за нею, заламывая голову, ныла: «Мама, мама». Джерри спал или ходил за Юлей, или садился поодаль, и тогда девочка плакала навзрыд, обиженная тем, что на нее смотрят, а значит, осуждают.

Ветер был нуклеарный, он пронизывал до желез, до клеток. Идя по улице, Веня старался реже дышать. Он спрашивал себя, как он относится к катастрофе, и в том, что эта катастрофа не отбирает людей по внешним признакам или по крови, находил успокоение и надежду. Саша Харабарджахян, испуганный, заискивал, спрашивал: «Есть лекарство от радиации? У меня один ребенок—возьмут меня в Чернобыль? Я хочу, чтобы сберечь сына. Он у меня уже английским владеет. Я говорю ему, чтобы не бегал по улице—не слушает!» Куренко предсказывал еще большую катастрофу. Глаза его с красными белками, косили, он отворачивался, но Веня чувствовал след его тяжелого взгляда. «Мы зна-аем, кто проектировал станцию! — говорил Куренко через нос.— Они все продумали!» Он говорил, втягивая слова в себя, как будто смысл был не в словах, а в чем-то другом, с чего надо было счистить, сорвать слова. «Но мы готовы. Мы опять спасем мир... А другие пусть бегут, как крысы».

Из глубин заполыхавшей, распадающейся материи вырвался страх. Теперь все можно было видеть на экране телека: вертолеты над блоком, маски, приборы на тонких нервах невидимого взрыва, БТР, опять вертолеты, опять маски и белые халаты и обожженные люди, и свет экрана, как продолжение распада, лучился, падал на лица, проникал в телесную суть. «Не сиди у телевизора!»—сердился Веня на дочку. Страх был непривычным. Страх, лежащий вне чувств, страх головной, как перед внезапно заговорившим богом.

Глубокой ночью позвонил брат. Он был пьяненький. Тянул слова и был добродушно, радостно прост.

— Во-одочка — она всегда полезна,— пел он вялым языком.— Она кровушку чистит... Чем питаемся, братик? А свежей рыбкой. Поймаем, проверим уровень заражения, если он ниже нашего,—на сковородку.

— Боже мой, что ты болтаешь? Давай мы будем присылать!

— Пока оно дойдет... Вы лучше наше не ешьте. Ничего, понял?— Голос то пропадал, как будто брат отворачивался, то вдруг звучал громко, рядом. Спазмы жалости мешали Вене говорить. Ему казалось, что брат исчезает в пустом пространстве, уходит в бездну и в этой бездне не за что ухватиться и некому протянуть руку.—Я уже получил сверх меры, братик. Это я не жалуюсь, понял? Прими спокойно, к сведению... Но вы там как? Я тут Оксане путевку достал, на два месяца, куда-то под Тулу.

— Да перестань ты! Что ты мелешь? Уезжай сам. Все бросай, слышишь?

— Слышу, братик,—через паузу, как будто пространства уже были так велики, что голос запаздывал.—Не отпустят. Да и зачем? Кому-то же надо.

И смеялся. «Дурак ты!—кричал Веня.—Этого дерьма на всех хватит, на столетия, понял?.. Оксану позвать?»—«Не надо... Ты не нервничай... Поклон тестю».

Разговор прервался, Веня бился, набирал, но код срывался, ничего не выходило. Вика остолбенело сидела напротив, говорила: «Да что же

там такое? Что? У нас мужиков забирают. Ночью, через военкомат. У кого дети, кто семейный. Что же это все такое?»

Они давно не говорили с Викой. Не было вечерних, перед сном, разговоров. Он любил, когда она, рассказывая, рассуждая, как бы переделывала прошедший день, выправляла, вносила пересказом смысл. Пересказа не было, и смысла не было. Вика лежала тихо. Ее черные, вбирающие свет волосы казались сгустком неподвижности. И слезы, отягощенные неподвижностью, не приносили облегчения. «Мне папу жалко. Я совсем не занимаюсь им». Но жалость к зараженному брату выпаривала Вене душу. Когда приходит беда, думал Веня, ты понимаешь, что желал ее, и ему открывалось ровное, ясное, как проснувшийся разум безумие.

Во сне (а в снах на первый взгляд все бывает ясно априори) он вел какую-то борьбу с недоборьбой. Это было объявлено громко, на весь сон — в залах, открытых небу и морю, среди колонн и коричневых водорослей. Но этот сон не был априорным, и мучительно было понимать необъясненное: он вел борьбу с недоборьбой, и впервые сон не объяснял ему смысл происходящего.

И теперь-то он понимал, что такое пророческий сон. Он приходит, объемля тебя, и что бы ни происходило в этом сне, — а происходит жизнь — все — от сакраментального смысла.

От мыслящего смысла.

И ужас, ужас в том, что событие — жизнь, а оно пророческое, и он понимал, что ему еще отольется (так он во сне и подумал: «отольется мне это пророчество»), как ты ни протестуешь (а проснуться не можешь, потому что это не по правилам сна), как ты ни призываешь онтологический смысл, мыслящий смысл открыться, быть с тобой заодно (ведь мыслит твое сознание, но оно хитрым образом оторвано от тебя, оно «оно», оно свободно от тебя — так в детстве мама, сказав: «Я уйду от тебя», уходит, и ты с ужасом понимаешь, что она свободна кинуть тебя, и рвешься к ней, кричишь, протестуешь против такой свободы, но ты не свободен от него и хочешь управлять им, ты хочешь совместить себя с этим уходящим в онтологию сознанием, ты бьешься, как космонавт в невесомости, ты пытаешься это нечто своевольное, твое — не твое, поместить в предназначенное ему гнездо-выемку, но оно уплывает, оно, твое сознание, выворачивается, ведет себя непредсказуемо и произвольно), событие-жизнь, жизнь-сон, известные тебе в своей основе, превращают случайность в неизбежность, без перехода, и что бы ни произошло, ты знаешь: так надо. Почему надо? Это не вопрос пророческого сна. Сон — безумие, уверяющее тебя, что все возможно в мире, построенном на заведомо известном тебе с м ы с л е.

Вот что сказал Вене пророческий сон: в мире, исходящем из с м ы с л а, ни одно мгновение не живет на правах случайности, и следуют мгновения одно за другим со скоростью безумия.

Тесть был сердечником. Он был сердечником по убеждению. Он боялся приступов. Он боялся смерти. Глаза делались детскими, они смотрели в потолок или скользили по стенам и лицам. Он видел смерть, это она своим лучом выхватывала его из тьмы, и это было страшно. Он прятался от нее во тьму же, это была такая хитрость — обманывать смерть-черноту, скрываясь от нее в черноте-пустоте. Сжимался, когда вдруг возникал луч ее света, поднимал плечи, хватался за грудь, обманным движением посылал в рот таблетку. Смерть находила его, и луч упирался в его лицо. Это был особенный свет, свет, раздвинувший два мрака: мрак запредельной пустоты и мрак-занавес, за которым пряталась жизнь. Это был мягкий луч, тушующий лицо, чтобы ярче были видны черные глаза тестя. По лицу растекалась лужа света, словно смерть надломила над этим лицом ампулу, плеснула на лоб, щеки, — натекло в складки, текло по губам, в ушные впадины. Отпуская руку дочери, он говорил одно и то же: «Хороните меня из морга».

На службе произошел глупый случай. Вкатился инвалид на низкой колясочке. Саша Харабарджахян сидел напротив двери и потому инвалид накатился на него.

— Я из-под Чернобыля, — сказал он не хриплым — поставленным



голосом, привыкшим просить в подземных переходах или под воротами церкви. — В чем был, в том уехал. Помогите, дайте на дорогу.

Инвалид был в чистом защитном френче, седые волосы были подровнены недавней стрижкой. Саша выслушал и отослал его к Куренко, тот переспросил и кивнул на Веню. Инвалид развернул колясочку на детском резиновом ходу и, отталкиваясь длинными отвертками, подъехал к столу Вени. Лицо у него было чистое, глубокие складки выбриты и розовы, он смотрел раздраженными голубыми глазами.

Веня подобрался. Он был дежурным (ох, совпроф, совпроф!) и сказал инвалиду, что нужно уточнить кое-какие детали. «Деньги у нас так просто не дают, — сказал Веня. — Но я постараюсь все устроить». И быстро вышел. Не злые глаза напугали Веню и не заточенные отвертки. Веня спустился на этаж ниже к секретарше, и та, уяснив о ком речь, сказала, что никакой это не беженец, а старый мошенник-алкаш из местных. Веня пошел бродить по коридорам. Напугало его то, что не был инвалид похож на человеческую половинку, не было в его облике никаких признаков — одутловатости, отрешенности, натренированности плеч, шеи, не было мышц в лице, которые становятся продолжением мышц рук и предплечий, не было того особенного сумасшествия, которое накаляет глаза такого рода калекам. Не может человеческая половина не быть сумасшедшей, думалось Вене. Мысль, оказавшись на границе существа, проваливается в бездну... Веня спустился в буфет, потом выкурил сигарету, поднялся на лифте вверх, на последний этаж, а когда спускался, двери лифта на его этаже открылись и въехал инвалид. Он смотрел на Веню, не поднимая головы, сквозь яростную красноту век светилась детская, как у Юльки, синева. И голосом, привыкшим к неутомимому попрошайничеству, сказал: «Мне на первый». Веня глядел на сверкающие жала отверток и поджимал ноги в сандалетах. Веня хотел что-то ему объяснить, но не мог позволить себе говорить сверху вниз. Надо было присесть перед инвалидом, как перед ребенком, но уж это было бы глупо. Инвалид сказал: «В шестьсот шестьдесят шесть играете». Точно, подумал Веня, безумный. «В шестьдесят шесть», — поправил Веня. Лифт остановился, дверцы разъехались, инвалид подал коляску на выход, передние колеса въехали через порожек, задние застряли в проеме, пол в коридоре был плиточный и отвертки скользили, скребли попусту. Веня засуетился, он хотел помочь, но боялся дотронуться до плеч и с ужасом вдруг понял, что вытолкнул коляску ногой.

Веня не мог себе простить. Он шел по улице, чувствуя те места в стопах, куда инвалид мог бы вонзить отвертки. «Но не я же заедаю век», — оправдывался Веня перед инвалидом — инвалид представлялся ему с в е р х ч е л о в е к о м: нормальные мысль и чувство были вдвое больше его усеченного тела. Из открытого окна музшколы опять ревнула виолончель. За многие разы, проходя мимо, Веня уже уловил, что это часть какого-то виолончельного рондо. Вене хотелось заглянуть под белую занавеску, посмотреть, кто же так долго и нудно ведет «борьбу с недоборьбой». И всякий раз жалел о том, что не отдал дочку в музыкальную школу.

Джерри врывался с улицы мокрый. Оля за ним не поспевала, он носился по комнатам, и все кричали на него. Веня горланил, еле сдерживаясь, чтобы не ударить его, но пес не желал утихать, он падал на пол, на палас, терся загривком, спиной, вскакивал, встряхивался, выбивая из шерсти остатки дождя. Джерри не хотел понимать людей. И тут Веня хватал его поперек живота и тащил под душ смывать радиоактивные осадки.

Обмытый и высушенный Джерри приходил в комнату тестя. Тесть не прогонял его, но порой, когда, как нынче, повышалось давление, сгонял Джерри с кровати, указывал место где-нибудь под окном. Но Джерри не шел туда, а подходил к двери и стоял, стоял упорно, ждал, пока тесть не откроет, и проходил в приоткрытую дверь медленно, медленно протаскивал свое тело под легким давлением дверного ребра.

— Ольга! — кричал тесть. — Вычеши наконец собаку!

— Я вычешу, Семен Яковлевич! — говорила Оксана и звала Джерри к себе на колени, но не вычесывала, гладила за ушами и в паху. А если Юле было плохо — девочка то бледнела, то заваливалась в бессилии на

бок,— Оксана брала девочку на руки, подхватывала Джерри, прижимала их друг к другу: «Смотри, доня, какой у тебя братик ушастый!»

Вене было жаль тестя: это странное задыхание при виде серебристо-серых собачьих волокон. Тесть распадался от одиночества. Ольга забывала срезать ногти на его правой руке. Тесть задыхался, он открывал форточку, свежим воздухом входила любовь к внучке. «Почему все это не похоже на прожитую жизнь?» — ему думалось, что если бы прожитое и настоящее совместилось, он перестал бы задыхаться. Тесть поспешно выходил взглянуть на внучку. Она играла с Юлей. «Оля,— говорил тесть,— будь осторожна... Ведь она маленькая».— «Я тоже была маленькой и все помню».— «Ты ничего не можешь помнить,— сердился тесть.— Это глупо».— «Почему глупо?» — вмешивался Веня.— У нее еще не ослабла память».

— Если бы люди все помнили,— тесть начинал задыхаться, пятился и открывал дверь в свою комнату, как открывают на балкон. «Если бы люди все помнили»,— это было хорошо отполированным стволом, по которому свистела пуля: «Если бы можно было тебя не знать».

— Ольга,— кричал обозленный Веня,— вычеши собаку!

Тесть стал забирать к себе маленькую Юлю. Он играл с ней часами. Девочка успокаивалась. Она смеялась, она толкала ножками его «козу», она ужасалась его «козе» и отползала, падала лицом в подушку, замирала, подставляя страху спину, ждала, когда «коза» приблизится и дедушка коснется ее страшными легкими пальцами. Веня знал, каких трудов стоит тестю прикрывать собой эту радиоактивную девочку.

Странной стала Вика, сдержанной, мелочно-хозяйственной. И жадной до телесной пищи, похотливо-нетерпеливой стала она. Никогда раньше не чувствовал Веня столько пустоты в этой женщине. Пустота-обморок, молчание-столбняк, дыхание в одно движение с коленями, потные ладони и потное лицо, а потом — жалкий матовый взгляд. Хотела ли она через похоть уяснить для себя, как тяжело одиночество отца? Хотела ли в обмирании плоти (даже стонала впервые в жизни, сцепив зубы) искупить свою вину перед умирающей плотью отца?

Уставший, соотнесенный с самим собой, узнавал Веня в ненависти тестя подноготную ненависть Куренко. Можно ненавидеть и отвергать человека не по особенным признакам, а по самым общим — потому что он человек... Уму это было недоступно, но чувства пробивались в эту омерзительную глубину, искали и находили пищу еще большему неприятию. Глубина была бездонной, почти космической, а чувства тянулись, выворачивались наизнанку, только чтобы дотянуться до самого ядра человеческого, до той лучевой сердцевины, которая от одного только прикосновения превращала яд в наслаждение.

«Я ему скажу,— думал Веня.— Я скажу ему: не делай этого, Куренко. Я пошел дальше тебя, я заступил не только черту, я заступил свет, я перешел в бездну. Там нет ничего, Куренко. Я возненавидел близких, я пожелал, чтобы они ушли. И мало того, Куренко! Все это духовно, человечно, свято. На меня снизошел лучезарный ангел, Куренко, он освещал мне путь. Он вел меня над распадающимся миром, он вел меня светлой тропою разума, и я видел, как отделяется свет от тьмы... Не ходи туда, Куренко».

Веня наслаждался, глядя, как Оксана погружает кулаки в лобастый ком теста. Он удивлялся ее терпению мадонны, не мог оторвать взгляда от свято-нежного тела, теснящегося в коротком сарафане, приходил в смятение от ее бесстыдных приседаний к ребенку, от звериной поступи больших ее детских ног. «Юлька, тю на тебя!» — обрывала она ноющую девочку. «Ну какую же дуру нашел себе брат!» — думал Веня и радостно было ему это сознавать: ведь дура почти первобытная, не тронутая ни науками, ни мировоззрениями, но насыщенная мудростью, перемешанной с пошлостью. И даже гуще того: прямо из древней обывательской пошлости выглядывало прекрасное свежее тело, лицо мадонны и такая же мудрость терпеливая, трудолюбиво переминающая ее дурной язык, ее пошлые, скудные мысли, ее грудной тягучий голос,— и свет шел прямо из глаз, и голос пел прямо из гортани, и добром были овеяны ее руки.

Но более поражала ее свобода. Она была свободна своей самобытностью, на ней не лежала печать семьи, печать мужа. В речи не было интонаций, какие бывают у дур, копирующих своих мужей, жесты ее были свободны от рисунка его жестов, не было его словечек, шуточек. «Как будто его уже давно нету!» — ужасался Веня. Она была свободна от печатного станка времени, переносящего суть одного человека на чело другого. Она была свободна от перевоплощения, которым был обезображен тесть, в лице которого, в повадке все настойчивее проступали черты умершей пять лет назад тещи. Живые превращались в саркофаги для мертвых. Веня панически замечал в себе эту податливость. Куренко вошел в него так же прочно, как вошел тесть. Они вошли, облучив для верности его нутро. Вошли распадом — на всю жизнь, до последнего дня. И эта лучевая болезнь была для него существеннее смертельной судьбы брата.



В уголочке гостиной Оля вычесывала Джерри. Джерри не давался, рычал, хватал зубами щетку. Веня не сразу заметил, что Оля плачет. Когда она сердилась или плакала, она становилась похожей на тестя и Веня стыдил и ругал ее. Но сейчас ему стало жалко и он приобнял ее и спросил, в чем дело? «Ну?» — подтолкнул он дочку. «Он совсем больной,— сказала она.— У него тоже, наверное, облучение».— «С чего ты взяла? Собаки весной линяют».— «Да, линяют... У него вот это черное пятнышко совсем не похоже на другие...» Она выправляла пальцами темно-коричневые завитки. Джерри притих, таращил косящие переблескивающие глаза. «Ну ты что-то совсем,— сказал Веня и поцеловал дочку.— Такое выдумаешь». Он взял у нее щетку, опрокинул Джерри на спину и стал жестко, приговаривая, водить по животу. Джерри распластался, подвесил лапы, закинув голову, улыбался во всю пасть, он рычал, урчал довольной утробой, рычал блаженно, протяжно, поскуливал, допевая несыгранную часть виолончельного рондо.

И вдруг в доме наступил какой-то порядок. Они сидели на кухне: две женщины и Веня. Оля прогуливала Джерри. Было тихо. И было слышно, как в своей комнате тесть напевает Юле: «Е-хал Гре-ка че-рез ре-ку!» Кухня была чистой-чистой. Окно было прозрачным. Занавески топорщились после свежей глажки. И чашки были чистыми. Чистыми были плечи Оксаны и чистой линией лежали ее руки. Надломленной, истонченно-светлой была жена. И Веня со стыдом понял, что наступил предел этой чистоте. Дольше выносить ее уже не было сил. И еще он понимал, что эта спортивно сложенная мадонна и ее изможденное дитя — последнее, что осталось, может быть, от его брата.

И когда они с Олей провожали Оксану и Веня нес на руках Юлю, чистота еще длилась. И на берегу у парохода, где они уже не знали о чем говорить и Оля водила девочку по цветочному ограждению, приговаривая ласково: «Вот так, Юленька, вот так, ножками»,— длилась чистота. «Ох,— говорила Оксана, оглядывая и Веню, и реку, и деревья,— вот мы и освободили вас».— «Ну, брось, Оксана»,— длилась чистота. И в линиях ее лица с мошками веснушек, и в глазах, и в том, как она сильно и свободно выгибала руку, прихватывая волосы на затылке,— длилась, длилась чистота. И когда Веня думал: «Молодец баба, спасла девчонку»,— длилась чистота, перетекая и в чистоту реки и солнца и в неохватный корпус парохода. «Ну, доня, теперь мы поедем, ту-ту!» — говорила Оксана с чистым женским покоем в голосе, и на мгновение Веня жалел, что не она ему жена. Длилась и длилась чистота, и он был чист в своем постыдном неумении не чувствовать облегчения, что они, наконец, уезжают и благодарно смотрел на свою дочь, радуясь тому, как нежно трудится она над Юлей. И чтобы не томить их на жаре, Веня попрощался и они с Олей пошли вверх от реки, и Веня думал, что чистота эта заразна и что он заразился этой чистотой. И когда Оля, не глядя на него, спросила: «Папа, а почему мы евреи?» — он не испугался и сказал: «А чем они хуже других людей?» — «Нет,— жестко сказала Оля,— евреи плохие, они злые, жадные, их никто не любит». И Веня понял, почему он не испугался — ему надо будет еще проснуться. «Тебе надо будет еще проснуться»,— сказал себе Веня. Провидческий сон никогда не напугает кошмаром, он лишь мягко предостережет, оставит неприятный осадок с тем, чтобы подлинный кошмар ты испытал наяву.

Ростов-на-Дону.

---

## Наталия Горбаневская

# ИЗ РАЗНЫХ СБОРНИКОВ

•

Ну что, хлопотливая ласточка,
куда ты летишь хлопотать?
Домой, бесцензурная весточка,
привет от меня передать.

Скажи, что на пядь под землею
и с глоткой, набитой землей,
жива и дышу, замерзаю,
но все же не до смерти злой.

Скажи, что глаза растворивши,
песку и подзолу набрав,
я вижу, я все еще вижу,
беспамятство смерти поправ.

Скажи, что уже не надеюсь
на встречу, но, сколько жива,
не сдамся и не охладею,
и это не просто слова.

•

Москва моя, дощечка восковая,
стихи идут по первому снежку,
тоска моя, которой не скрываю,
но не приставлю к бледному виску.

И проступают водяные знаки,
и просыхает от слез листок,
и что ни ночь уходят вагонзаки
с Казанского вокзала на восток.

6 янв. 1973

•

Шел год недобрых предсказаний.
Гадалки, опасаясь мести,
ушли в подполье. Под Казанью

---

Наталия Евгеньевна ГОРБАНЕВСКАЯ — автор поэтических книг «Побережье» («Ардис», 1973 год), «Три тетради стихотворений» (вышла в Бремене в 1975 году), «Перелетая снежную границу» («Имка-пресс», 1979 год), «Чужие камни» (поэтическая серия «Руссика», выходящая в Нью-Йорке, 1983 год), книг «Переменная облачность» и «Где и когда», выпущенных в 1983 году в Париже издательством «Контакт». «Побережье» и «Три тетради стихотворений» переизданы «Ардисом» в 1981 году, вошли в книгу «Ангел деревянный».

Наталия Горбаневская — заместитель главного редактора журнала «Континент», сотрудник «Русской мысли». Живет в Париже.



родились сросшиеся вместе
телята. Где-то за Уралом
болота поглотили вышку
нефтедобычи. Небывалым
огнем, забывши передышку,
зашлись камчатские вулканы
одновременно все. На Пресне
распространились тараканы
величиной со сливу. Вести
чудовищные умножались,
едва скрываемые прессой.
Ужас усиливался. Жалость
друг к другу становилась пресной,
почти формальною. На Охте
мать бросила дитя в трамвае
с запиской. Чаще рвали когти
без ничего, без слов. В сарае
в одном нашли самоубийцу
девятилетнего. Загадку
никто не разгадал, не бился
разгадывать. Призыв к порядку
порою свыше издавался,
печатался, передавался
по радио. Но в каждом ухе
звенели только слухи, слухи.

•

Всё на свете — вдруг,
мимо цели, в цель ли,
в яблочко ли, в круг,
друг мой Боттичелли.
Крепче кистью вдарь
одеревенелой,
отплеснется дань
пенною Венерой.

Всё на свете — блиц,
и шалеют блицы
над толпой без лиц
во дворце Уффици.

Сознавая риск
спин изображенья,
щелкает турист
до изнеможенья.

Всё на свете — свет,
верно, друг мой Сандро?
В свете — дар и цвет,
только тьма бездарна,
как толкучка в зале,
и бесцветна тьма,
как моя, в Казани,
темная тюрьма.

•

Это я не спасла ни Варшаву тогда и ни Прагу потом,
это я, это я, и вине моей нет искупленья,
будет наглухо заперт и проклят да будет мой дом,
дом зла, дом греха, дом обмана и дом преступленья.
И, прикована вечной незримою цепью к нему,
я усладу найду и отраду найду в этом страшном дому,
в закопченном углу, где темно, и пьяно, и убого,
где живет мой народ без вины и без Господа Бога.

28 июля

•

Муха бедная в янтарь
ненароком залетела.
Орвелловский календарь
оборвался до предела.

Бедной музе в янтаре
не вздохнуть, не трепыхнуться.

А на нарах в январе
в тесноте не повернуться.

Орвелловский переплет
в тихой печке пламя лижет.
Муха бедная поет,
но никто ее не слышит.

## *Эпитафия*

Ближе брата, первым из семерых,
самый младший — туда, где возврата нету.
Сладкой жизни слаще ли был семерик,
чем кайло и лопата по мерзлому снегу?

Так — уснуть и проснуться подальше земли,
за запреткою, над КПП и брусчаткой...
За колючими звездами нас отмоли,
удели нам скорыя помощи братской.

●

Мы меняемся день ото дня
и, на шаг от себя отойдя,
зеркала протираем несмело,
и, стеклянной касаясь черты,
уходящие ловим черты...
Только ты неизменна, измена.

Только ты, изумительный змей,
в тех извечных изгибах ветвей
извиваешься жалом измятым,
и встает у тебя за плечом
ангел огненный, ангел с мечом,
с автоматом.

12 янв. 1973

●

В исследовании селедочной головки
голландцев, голытьба, общеголял кубист:
клубы махры, кошмары голодовки,
съестно пропахли клейстером листовки
со списками предутренних убийств.

Такого не придумаешь в бреду,
в буржуйке жги Брокгауз бестолковый,
предупреди: «Заутра не приду»,
пожни свою судьбу и череду,
как в очередь за воблою пайковой.

Вот эти годы, голода и годы
(угодливая память — помело),
мело метелью, и заря свободы,
оскалив зубы, возводила своды,
где духу туго, плоти не тепло.

7—14 декабря

●

В тот год подпортили весну большевики,
чтоб обеспечить посещаемость балета.
Шелка ползли в театр, надев дождевики...
*А кто мне обещал, что наступило лето?*

*Кто обещал — и позабыл, что обещал,*
*скорей причудилось, чем вправду обещалось,*
*и не из-за того, а просто обнищав,*
*я промокаю, промерзаю, простужаюсь.*



*Ни водостоков с крыш, ни мокнущих афиш,*
*ни теплых па-де-де, в парах двойного кофе*
*я больше не хочу. Смотри, не ешь, не пьешь,*
*когда барометры клонятся к катастрофе.*

Так бормотала я в тот год себе сама,
в тот год давно прошедший, семьдесят девятый,
когда свирепствовала мокрая зима,
вбивая мерзлый гвоздь в Париж полураспятый.

Так бормотала я в тот год себе сама,
осуществляя впрок свободу бормотанья.
По всем приметам выходило, за зимой
придет октябрь и осень страшного братанья

волков с гиенами на наших позвонках,
и выходило: проморгают, проворонят...
Объявлен ясный день, и в слякоти, впотьмах
припоминай теперь, как выглядел барометр.

1979—1984

●

Это голос мой, голос мой — или
слабый рокот на ранней заре?
Но милей мне межзвездной медлительной пыли
эта пыль тополей во дворе,

этот сгорбленный, кривоарбатский
сонный запах запрошлых лет,
летний день, летний город, почти азиатский,
летний вечер и летний рассвет.

22—23 марта

## *Песенка о непредвиденном*

В городе Калининграде
родился Иммануил
и не ведал, Христа ради,
где родиться угодил.
　　Не предвидел мудрый Негг
　　флага РСФСР.
В тишине библиотеки,
фолианты поглотив,
взвесил точно, как в аптеке,
нравственный императив.
　　Не предвидел книжный крот
　　принудительных работ.
А в порту теперь не шутки:
поглядев, нейдет ли мент,
платит флотский проститутке,
вынимает «Континент».
　　Не предвидел старый хрен
　　ни спецхрана, ни главлита,
　　ни того, в какое сито
　　буква умная падет,
　　прежде чем сквозь все препоны,
　　все таможни, все законы,

через вольный рынок, черный,
по доктрине обреченный,
к новым Кантам попадет.

●

Этот день никогда не кончится
или кончится слишком рано.
Час за часом вскачь, точно конница
от Урала до океана.

День прощания, день несказанных
и ненужных слов. Разговора
не начнется в сквозняночных скважинах
непрокашливающегося горла.

Развеваясь гривами по ветру,
по волнам, подернутым чернью,
час за часом уходят под воду
на последней заре вечерней.

●

Почему такая смерть,
долгая, как жизнь?
Взрывчатая мокнет смесь,
и без фитиля.

Почему такая жизнь,
тошная, как смерть?
Потесней прижмись ко мне,
мать сыра земля.

●

И только нерусское имя за зеленью
саргассовых верст
еще не до донышка ветром развеяно,
и парусный холст,

платком носовым к побережью приложенный,
как хворост, хрустит,
и зарево-марево-морево — Боже мой! —
на стертую стрит

ложится волной, пеленою, холстиною,
снежком Покрова...
А имя пылит над бетонной пустынею,
над краешком рва.

●

Кому-то подарила
исписанный листок,
дарила, говорила:
«Возьмите этих строк

попробовать образчик,
короткий, как рецепт,
хотя и тарахтящий,
как грузовой прицеп».

Дарила, говорила,
а думала свое:
«Вглядись в мои чернила,
в житье мое, бытье,

в мой, прирученным волком
зажатый в горле крик
и в мой ночным проселком
летящий грузовик.

Вглядись в мои ухабы,
в разъезженную твердь,
в разверзшиеся хляби,
в ночную круговерть

дорогой, без дороги
и посреди зимы,
и взгромоздясь на дроги,
и на аэродроме,
толкнувшись от земли...»

А думала свое:
«Мое житье-бытье —
одна строка, и кроме
нет ничего. Не дрогни,
вглядись в лицо ее».



●

Одна, одна в совсем пустом Париже,
одна, одна в совсем пустой вселенной,
совсем одна, и ни на шаг не ближе
к разгадке вечности, где держат меня пленной.

Совсем одна, в метелочки полыни,
пробившейся сквозь трещинки в панели,
как в полынью ныряю или в пламя,
как из огня да в полымя метели.

Здесь молонья вчера прогрохотала,
и я одна, совсем одна отныне,
и пустота Латинского квартала
не пуще нутряной моей пустыни.

Пустынножительница, полонянка
камней, уже не видных под вьюнками,
как просто было дожидаться танка,
идя навстречу с голыми руками.

Но этот грохот не артиллерийский,
зачем он мне одной принес пощаду?
Отсюда и до островов Курильских
какой игре расчистил он площадку?

Совсем одна, мала, слаба, глупе́нька,
заполоненная умом позавчерашним,
зачем так стало, что последняя ступенька —
я, а не кто-то мудрый и бесстрашный?

Не кто-то праведный, кто, запросто ответы
на все найдя, век дожил бы в блаженстве...
И плачу я щекой к щеке планеты,
мы с нею две равны в несовершенстве...

●

Там, где Кривокардинальский переулок
вытекает к петербургским фонарям,
подошел к нам полунищий параноик
со светящимся под глазом фонарем.

Он читал стихи — спасибо, не романы —
и потребовал за них хотя бы франк.
Друг мой долго выворачивал карманы
и сказал: «Закрыто — все ушли на фронт».

И тогда бродяга сел и долго плакал
о себе и об ушедших воевать,
о спартанцах, абиссинцах и поляках,
меж рыданий поминая твою мать.

Свет неверный расплывался под листвою
безымянного древесного ствола.
«Да не плачь, — взмолился друг мой, — Бог
с тобою», —
я глаза от них обоих отвела.

Я глядела на соседнее аббатство,
я глядела, только чтобы не глядеть
на убожеское братское сиротство,
за подкладкою нащупывая медь.

Я ушла, просыпав мелкие сантимы,
не отёрши ни своей, ничьей слезы,
носовым платком обмахивая стены,
заметая переулками следы.

●

Хорошо в январе на заре,
прогулявши всю ночку
без памяти,
при последнем ночном фонаре
по афишам учить тебя грамоте.

Хорошо не зевать, не в кровать
возвращаться — отдельно,
вместе ли,
но еще и еще открывать
просыпанье небесной пестряди.

Хорошо на заре — не в снегу,
но хотя бы в нестаявшем инее —
о своем умолчать (не солгу),
твоего не припомнить имени.

●

...где реки льются чище серебра,
не загрязненные мазутом и маслами,
где Бог нас не оставил и светла
адмиралтейская игла, где на соломе
лежит Младенец и глаголет бык
мудрее мудрого, наевшись чистотела,
где русский от побед давно отвык
и от войны, держась родимого предела,
где под покровом звездного плаща
к нам не крадутся государственные тати,
где, слоги долго в горле полоща,
но не раздумывая, кстати ли, некстати,
как сказку, пересказывая быль,
былую быль, былую боль, любовь былую,
ты в пыльный обращаешься ковыль,
а я по ветру одуванчиком белею.

●

И, подъемля взгляд нетрезвый
(и не трезвый, и не пьяный):
— Здравствуй, ангел мой
пресветлый,
заоконный, океанный!
Бесприютной, беспривeтной,
многогрешной, окаянной,
мне явился в предрассветный
час твой облик осиянный.

И, глаза спуская долу
(долу, к полу, в подпол,
в бездны):
— Ну, прощай! Опять подолгу
не глядеть в просвет небесный,
не давать уста глаголу
искривить мольбой болезной.
Не ищи в стогу иголку,
ни меня во тьме вселенской.
Подымая, опуская
очи долу, к небу очи:
— Кто я? что я? птичья стая,
в непроглядном мраке ночи
разрываемая бурей,
разбиваемая оземь,
об отвал землицы бурой,
о проклюнутую озимь,

уносимая за тучи,
за моря, за океаны,
за вершины и за кручи,
за окно... Открыты краны
четырех конфорок света.
Не ищи меня, иголку,
в сна сугробе, в стоге снега,
в тех потьмах, где я умолкну.

---

Дина Каминская

# УГОЛОВНОЕ ДЕЛО № 41074-56 — 68С «О НАРУШЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И КЛЕВЕТЕ НА СОВЕТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ»

## ИЗ ЗАПИСОК АДВОКАТА

*«Пражская весна» — демократические перемены в Чехословакии — совпала с усилением репрессий внутри нашей страны, и на душе было тревожно. Тем больше мы все радовались за чехов, хотя понимали, что их тоже не оставят в покое. И все-таки теплилась надежда: а вдруг...*

*Помню утро 21 августа и сообщение ТАСС о вводе войск. Уже с рассвета вовсю работали глушилки, ничего нельзя было узнать Охватывило ощущение морока, бреда, ужаса, бессилия, отчаяния и стыда за себя и страну.*

*Через два дня мы ехали в такси с Владимиром Огневым, и шофер начал ругать чехов: негостеприимно, мол, встречают советские танки. Я смутился. Мне казалось, что каждому мало-мальски нормальному человеку должна быть понятна преступность нашего вторжения. Но Огнев не растерялся и ответил: «А вам бы понравилось, если бы к нам наводить порядок вошли китайцы?» — и тут уж смутился таксист.*

*Безнадежность росла, и, казалось, ей не будет предела.*

*Но вот 25 августа семеро вышли на площадь, и тотчас что-то изменилось. Кое-кого из них я знал, а когда небывалый подвиг совершают знакомые тебе люди, это особенно потрясает. Потрясает и то, что в огромной стране, где столько людей с болью восприняло вторжение в Чехословакию, на Красную площадь вышло всего семеро. Потрясает, что их не поняли даже диссиденты.*

*Я вспоминаю свой разговор с Андреем Амальриком в 1975 году, когда он вернулся в Москву после лагеря и колымской ссылки. Амальрик, человек редкого ума и бесстрашия, сказал мне: «Я отговаривал Павла Литвинова выходить на площадь. Я считал, что это совершенно бессмысленно, что их в одну минуту скрутят и ничего их демонстрация не даст. Теперь я понимаю, что Литвинов был прав, а я нет».*

*И в самом деле, прав был Литвинов и его друзья: подвиг не может быть бессмысленным. Он может не дать мгновенной практической пользы, но он многому научит современников и даже потомков.*

*К сожалению, люди готовы преклоняться перед пустым, дутым величием. Истинное величие чаще всего постигается лишь после смерти. Так, к нашему горю, лишь после смерти стал виден стране масштаб Андрея Дмитриевича Сахарова; ведь все мы не забудем, как на съезде народных депутатов его отталкивали от микрофона.*

*Сегодня, спустя двадцать два года, бронированные гвардейские машины бесславно, несолоно хлебавши, возвращаются восвояси на железнодорожных платформах и кажутся никчемными, как пустые консервные банки. (Вообще конец столетия все настойчивее убеждает, что моральная и политическая слабость часто норовит принять обличие военной мощи.)*

*А герои Красной площади, к счастью, почти все живы, хоть и обитают в разных странах. И каждый из нас им обязан лично. Они спасли страну, потому что с библейских времен известно: не погибнет город, в котором есть праведники. Так что всем нам надо учиться за неординарным, нестадным поступком прозревать ростки настоящей человечности и перестать побивать камнями своих пророков и героев.*

*О позорном суде над людьми, вышедшими на Красную площадь, рассказывает глава из книги Дины Каминской «Записки адвоката». К несчастью, ничего в этой главе не усторело и, боюсь, устареет еще нескоро. Это все «было при нас, это с нами вошло в поговорку» (Б. Пастернак), и я не представляю себе читателя, который не прочел бы эту главу залпом.*

*Дина Исааковна Каминская — известный московский адвокат — участвовала во многих процессах, в том числе в нескольких политических. Защищала Владимира Буковского (1967 г.), Юрия Галанскова (1968 г.), Анатолия Марченко (1968 г.), Ларису Богораз и Павла Литвинова (1968 г.). После участия в процессе над Мустафой Джемилевым и Ильей Габаем, боровшимися за возвращение крымских татар на их родину (1970 г.), была лишена «допуска» к ведению политических дел, но продолжала консультировать обращавшихся к ней за советом и помощью родственников и друзей диссидентов. В 1977 году ее исключили из коллегии адвокатов и вскоре после этого принудили эмигрировать.*

*«Каждое утро я ехала в Лефортово с чувством, что меня ждут, что я нужна,— вспоминает она время подготовки к процессу над вышедшими на Красную площадь.— Какой тяжелой оказалась для меня потеря этого чувства в нынешней уравновешенной и размеренной жизни в эмиграции...»,— пишет она с горечью. А ведь и в эмиграции Каминская не сидит без дела: каждый день разные радиостанции доносят до нас ее голос — она обсуждает правовые проблемы, сравнивает американское судопроизводство с советским, анализирует новые статьи наших законов. Но вот поди ж ты, все оказывается не так просто: ностальгии не побороть, ностальгии не только по родной земле, но и по профессии. Возможно, что-то сходное испытывал бы театральный актер, заставь его читать биржевые сводки.*

*Меж тем профессия адвоката, особенно в годы, когда ею занималась Дина Каминская, казалась малоосмысленной. Приговоры выносились не в судебных кабинетах, а в райкомах, горкомах и так далее по восходящей. И при всем при этом Каминская пишет: «У меня никогда не возникала мысль, что обреченность дела может позволить работать хуже, чем я умею, и, следовательно, хуже, чем я обязана».*

*Эти слова дают надежду. Недаром конец двадцатого века достаточно ясно доказал, что, если в безнадежное дело вкладываешь всю душу и все силы, оно в конце концов обернется победой.*

*Владимир* КОРНИЛОВ

*Не ругайте нас, как все нас сейчас ругают. Каждый из нас сам по себе так решил, потому что невозможно стало жить и дышать... Не могу даже подумать о чехах, слышать их обращения по радио,— и ничего не сделать, не крикнуть.*

*Лариса*
*25 августа 1968 г.*

Позади только что закончившийся суд над Анатолием Марченко, известным диссидентом, автором книги «Мои показания», в которой он — бывший политический заключенный — описал тюрьмы и лагеря времен правления Хрущева.

Его судили за нарушение паспортного режима. Но это была лишь внешняя причина. Подлинным основанием привлечения его к уголовной ответственности были написанные им и переданные на Запад для публикации открытые письма в поддержку нового направления демократизации Чехословакии.

В народный суд Тимирязевского района Москвы, где слушалось это дело, пришли многие друзья Анатолия. Помню Павла Литвинова, Бориса Шрагина, Анатолия Якобсона и других, имена которых мне были известны по их участию в борьбе за права человека в Советском Союзе. Среди пришедших был и самый близкий и дорогой Анатолию человек, его нынешняя жена — Лариса Богораз-Даниэль.

По иронии судьбы судебный процесс над Анатолием происходил в тот самый день — 21 августа 1968 года, когда советские войсковые части вступили на территорию Чехословакии, оккупировали ее для того, чтобы, как сказано было в «Правде» 21 августа, «...служить делу мира и прогресса».

Все мы, собравшиеся в народном суде, уже знали об оккупации Чехословакии. Все, кроме Марченко. Меня специально просили ничего ему об этом не говорить. Его друзья не сомневались, что он в судебном заседании будет протестовать против вторжения и этим навлечет на себя новые преследования.

После приговора (Марченко был осужден к одному году лишения свободы) народный судья сказал, что я смогу ознакомиться с протоколом судебного



заседания 26 августа и тогда же получу разрешение на свидание с Анатолием в тюрьме. Я обещала Ларисе и Павлу Литвинову встретиться с ними до того, как пойду на свидание с Анатолием. Мы назначили и время встречи — 25 августа в 6 часов вечера.

Наше знакомство с Ларисой Богораз-Даниэль началось с моей неудачной попытки защищать ее бывшего мужа — писателя Юлия Даниэля [1]. Знакомство это не оборвалось тогда. У Ларисы и ее друзей часто возникала необходимость получить у меня совет. Но, помимо этого и независимо от этого, мы просто испытывали друг к другу чувство искренней симпатии, довольно быстро перешедшее в дружбу.

С Павлом Литвиновым я познакомилась позже, наверное, в 1967 г., когда начала выступать в политических процессах. Но родители Павла были моими добрыми и давними знакомыми, с которыми меня связывал и общий круг друзей, и любовь к музыке, и совместные туристские походы. Поэтому, хотя мои встречи с Павлом носили деловой характер и были связаны с организацией защиты по нескольким политическим делам, дружба с его родителями сразу же определила неформальный характер наших отношений. Кроме того, Павел мне очень нравился — мягкостью, терпимостью и личным мужеством, в котором я имела возможность убедиться еще во время процесса над Юрием Галансковым и Александром Гинзбургом [2].

11 января 1968 г., накануне окончания этого процесса, Павел и Лариса написали и передали на Запад для публикации обращение «К мировой общественности».

В то время в Москве и в других городах страны многие писали и подписывали самые разнообразные письма протеста, в которых резко критиковали нарушения «социалистической законности», выступали с требованиями соблюдения демократических норм. Каждое это письмо было заметным явлением общественной жизни. Слушали их по западным радиостанциям, читали и передавали из рук в руки тонкие листки папиросной бумаги с еле различимым текстом.

Каждый вечер, когда я приходила в консультацию, секретарь передавал мне пачку почтовой корреспонденции. Я вскрывала конверт за конвертом. Это были письма совершенно незнакомых мне людей. Большинство начиналось так:

«Генеральному прокурору СССР
Верховный суд РСФСР

Копии:

Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу
Председателю Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорному
Председателю Совета Министров СССР А. Н. Косыгину
Адвокатам: Б. А. Золотухину, Д. И. Каминской».

Почти в каждом из этих писем перечислялись нарушения, допущенные судом при рассмотрении дела Галанскова, Гинзбурга и других. Почти каждое письмо содержало требование к властям — соблюдать собственные законы. Каждое такое письмо для его автора могло повлечь полное крушение всей его сложившейся жизни и требовало незаурядного мужества, а все вместе они свидетельствовали о возрождении общественного мнения, уничтоженного в нашей стране еще в начале 20-х годов.

Обращение Павла и Ларисы заметно отличалось от большинства полученных мною писем своим нравственным, гражданским пафосом. Они обращались не к властям, не к правительству и коммунистической партии, а к каждому из нас — «К каждому, в ком жива совесть». Они ставили каждого человека перед необходимостью нравственного выбора.

---

[1] Президиум Московской коллегии адвокатов отстранил Д. Каминскую от участия в процессе над А. Синявским и Ю. Даниэлем. «Кандидатура защитника Каминской была отведена коллегией адвокатов без объяснения причин» (А. Гинзбург «Белая книга»).

[2] На «процессе четырех» (А. Гинзбурга, Ю. Галанскова, А. Добровольского, В. Лашковой) Д. Каминская была адвокатом Ю. Галанскова.

Помню, мы слушали это обращение по радио вместе с пришедшими к нам друзьями:

> «Граждане нашей страны!
> Этот процесс — пятно на чести нашего государства и на совести каждого из нас... Сегодня в опасности не только судьба трех подсудимых — процесс над ними ничем не лучше знаменитых процессов 30-х годов, обернувшихся для нас таким позором и такой кровью, что мы от этого до сих пор не можем очнуться».

Мы слушали, боясь пропустить хоть одно слово — ведь это впервые голос диктора обращался непосредственно к нам, взывал к нашей чести.

Ведь родилось, выросло и даже успело состариться целое поколение, к которому никогда так не обращались и для которого поэтому звучание слов «совесть» и «честь» было особенно торжественным.

Ставшие сейчас привычными термины «диссиденты», «инакомыслящие» тогда только приобретали права гражданства. В те годы мне приходилось встречаться с теми, кто впоследствии приобрел широкую известность своим участием в диссидентском движении. Их, безусловно, объединял нонконформизм и достойное уважения мужество, готовность жертвовать своим благополучием и даже свободой. Однако это были очень разные люди.

Иногда мне казалось, что некоторых из них слишком увлекает сам азарт политической борьбы. Разговаривая с ними, я явно ощущала, что, борясь за свободу высказывания своих мнений, они в то же время недостаточно терпимы к мнениям и убеждениям других людей. Недостаточно бережно, без необходимой щепетильности распоряжаются судьбами тех, кто им сочувствует.

Помню, как-то после одной такой беседы я, вернувшись домой, сказала мужу:

— Знаешь, они, конечно, очень достойные и мужественные люди, но когда и подумала, что вдруг случится так, что они окажутся у власти,— мне этого не захотелось.

Мое отношение к Павлу, Ларисе и многим другим определялось не только тем, что я разделяла их взгляды, что наши оценки советской действительности совпадали. Меня привлекала нравственная основа их убеждений и методов, которыми они и движение (получившее впоследствии название «правозащитного») пользовались. Некоторые из участников этого движения силою внешних обстоятельств стали моими подзащитными. Моими друзьями они становились по моему внутреннему выбору.

Вот почему, договариваясь с Павлом и Ларисой и уже считая их своими друзьями, я просила их прийти 25 августа 1968 г. ко мне домой, а не в юридическую консультацию.

Воскресенье 25 августа. Я хорошо помню этот день и наше возвращение с загородной прогулки в Москву, обусловленное встречей с Ларисой и Павлом. Помню и то, как негодовала, когда они не пришли в назначенное время, даже не позвонив, не предупредив, что наше свидание откладывается.

А потом сквозь треск и шум, всегда сопровождавшие передачи западного радио, мы услышали:

> «Сегодня на Красной площади в Москве небольшая группа людей пыталась продемонстрировать протест против оккупации Чехословакии».

И я сразу же сказала:

— Это они.

Ничто в наших предшествовавших разговорах не давало мне оснований для такого предположения. Более того, у меня было впечатление, что Павел и Лариса лично для себя не считали демонстрацию наилучшим способом выражения несогласия или протеста. Что им более свойственны индивидуальные письма и обращения к общественности, которые дают возможность не только протестовать, но и подробно этот протест аргументировать. Но я видела, как Павел и Лариса были потрясены оккупацией Чехословакии, и, зная этих людей, понимала, что они не смогут промолчать. Исключительность самого события определила и выбор исключительной, не свойственной им формы протеста.



А уже на следующий день — 26 августа — я держала в руках ту записку, которую поставила эпиграфом к этой главе.

Короткую, обращенную ко мне записку, которую Лариса во время обыска у нее на квартире каким-то чудом смогла написать и передать для меня.

> «...Не ругайте нас, как все нас сейчас ругают. Каждый из нас сам по себе так решил, потому что невозможно стало жить и дышать...»

И тут же несколько слов для Анатолия:

> «...Пожалуйста, прости меня и всех нас за сегодняшнее,— я просто не в состоянии поступить иначе. Ты знаешь, какое это чувство, когда невозможно дышать».

На следующий день мне стали известны имена всех участников демонстрации: Константин Бабицкий, Лариса Богораз-Даниэль, Наталья Горбаневская, Вадим Делонэ, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг.

Когда я узнала, что Вадим Делонэ был одним из участников демонстрации, первое чувство, которое испытала, было чувство острой жалости. Я понимала, что он был самым обреченным из всех этих, обреченных на наказание людей. Ведь он уже был осужден за участие в демонстрации на площади Пушкина [1], и новое осуждение, да еще за совершение аналогичного преступления, давало право суду не только назначить ему максимальное наказание (три года лишения свободы), но и присоединить весь срок, не отбытый по предыдущему приговору.

Почему не уберегли его? Как могли допустить, чтобы он принял участие в демонстрации?..

Но еще до первого свидания с Павлом и Ларисой я знала, что свойственная им человечность и чувство ответственности за судьбы других не изменили им и в этот раз. Для них приход Вадима на Красную площадь был полной неожиданностью. Никто из остальных участников демонстрации Вадиму о своих намерениях не рассказывал. Не рассказывали именно потому, что хотели уберечь его.

Не знаю, права ли я была в своей уверенности, но ни тогда, ни позднее не сомневалась в том, что кроме общей для всех причины демонстрации — протеста против ввода советских войск в Чехословакию,— у Вадима была и вторая, глубоко личная причина, которая привела его тогда на Красную площадь. Для него участие в демонстрации являлось и формой самореабилитации. Я употребляю термин «самореабилитация» потому, что ему не было необходимости реабилитировать себя в глазах других. Никто его не винил за те прошлые показания в КГБ, которые он давал по делу о демонстрации на площади Пушкина [2].

Некоторые вообще не признавали морального права за людьми, никогда не терявшими свободы, судить тех, кто на себе испытал тяжесть тюремного заключения. Но все соглашались с тем, что поведение Вадима на том, прошлом суде не вызывало никаких нареканий.

Я с большим уважением отношусь к этой второй причине, как к проявлению чувства высокой требовательности к самому себе.

Мне кажется, что в этот же день, во всяком случае, в первые же дни после демонстрации мне стало известно, что Лариса просит меня быть ее адвокатом. Вскоре с аналогичной просьбой о защите обратилась ко мне и Флора — мать Павла Литвинова.

---

[1] Демонстрация у памятника Пушкина 22 января 1967 г. была устроена группой молодежи в защиту арестованных незадолго до этого Добровольского, Галанскова, Лашковой и Радзиевского и с требованием отменить статьи 70 и 190-1-3 Уголовного кодекса РСФСР как антиконституционные.

[2] На предварительном следствии Вадим Делонэ обратился с «Заявлением о чистосердечном раскаянии» и на суде признал, что считает свое участие в демонстрации ошибкой. Был приговорен к условной мере наказания.

Созвонившись со следователем, советником юстиции Акимовой, и удостоверившись, что в показаниях Ларисы и Павла нет противоречий, я приняла защиту обоих. От следователя Акимовой я также узнала, что всем арестованным участникам демонстрации предъявлено обвинение в грубом нарушении общественного порядка и в клевете на советский общественный и государственный строй. (Статьи 190-1 и 190-3 Уголовного кодекса РСФСР.)

Расследование дела было закончено небывало быстро — в течение двух недель, и с 14 сентября полностью укомплектованный состав защиты приступил к ознакомлению с материалами дела. Помимо меня в деле участвовали: Софья Каллистратова — защитник Вадима Делонэ, Николай Монахов — защитник Владимира Дремлюги и Юрий Поздеев — защитник Константина Бабицкого.

В отношении Файнберга и Горбаневской дело было выделено в связи с тем, что они были направлены на судебно-психиатрическую экспертизу.

Итак, 14 сентября 1968 г.— день, когда я начала изучать дело, а значит, и день первой встречи с подзащитными в Лефортовской тюрьме — следственном изоляторе КГБ.

Я знала, что Лариса и Павел ждут моего прихода. Что они видят во мне не просто защитника, которому можно доверять, что сам факт встречи именно со мной будет для них радостью. Возможность увидеть их, говорить с ними была горькой радостью и для меня.

Впервые за годы своей работы я ехала в тюрьму на свидание с людьми, которые были мне дороги, которых я любила и которыми восхищалась.

* * *

Мое знакомство со следователем Галаховым состоялось, как только я пришла в Лефортовскую тюрьму. Галахов — член бригады следователей, которая постановлением прокурора Москвы была специально создана для расследования этого дела. Теперь, когда следствие уже закончено, ему поручено обеспечить мне возможность ознакомиться с делом, с каждым из моих подзащитных в отдельности.

Галахов предупредил меня, что наша работа должна быть закончена в максимально сжатый срок.

— Руководство приняло решение передать дело в суд до истечения месячного срока. Просьба к вам организовать работу так, чтобы нас не задерживать. Вы можете работать так поздно, как вам это будет необходимо,— с администрацией тюрьмы этот вопрос согласован.

Расследование дела о демонстрации на Красной площади было закончено в небывалый, поражающий своей сжатостью срок. Зная стиль и условия работы следственного аппарата прокуратуры, я могу уверенно сказать, что этот срок был определен в каких-то очень высоких инстанциях, явно выходящих за рамки прокуратуры.

Следователи в течение двух недель не только завершили допрос семи арестованных демонстрантов, примерно тридцати свидетелей, но и обеспечили проведение шести психиатрических экспертиз, происходивших в тюрьме, одной психиатрической экспертизы в Институте им. Сербского (в отношении Натальи Горбаневской) и судебно-криминалистической экспертизы в специализированном научно-исследовательском институте.

Мне, как и другим адвокатам, было совершенно ясно, что всем этим дирижировало, обеспечивало незамедлительное выполнение этих формально необходимых следственных действий ведомство сильное и авторитетное, то есть КГБ. А для того чтобы удобнее было руководить расследованием, КГБ распорядился содержать всех арестованных по нашему делу в тюрьме, которая прокуратуре неподведомственна и куда по постановлению, подписанному прокурором, арестованного вообще не примут,— в следственном изоляторе КГБ в Лефортово.

Просьба ознакомиться с делом в пределах сентября была абсолютно выполнима. Мне было ясно, что при ежедневной работе я успею прочесть все материалы следственного досье, сделать из него необходимые выписки и что у меня останется достаточно времени, чтобы подробнее обсудить позицию защиты и подготовить моих подзащитных к суду.



Я понимала, что следователь не разрешит нам втроем работать одновременно в одном кабинете, так как это нарушало бы обязательную изоляцию обвиняемых, и, в свою очередь, попросила организовать работу так, чтобы я могла видеться с каждым из моих подзащитных ежедневно. Я хотела иметь возможность видеть Павла и Ларису каждый день, чтобы рассказывать им о семьях и о близких им людях и обязательно каждый день их кормить.

Опыт общения со следователями по предыдущим политическим делам убедил меня, что одни следователи быстрее и без особого сопротивления, другие после уговоров, но все они в конце концов соглашались на это отступление от тюремных правил и разрешали в их присутствии кормить арестованных. Единственное требование, которое они ставили и которое мы неукоснительно соблюдали,— все должно быть съедено здесь, в следственном кабинете, в камеру ничего уносить нельзя.

Предложенный мною порядок работы — с одним из подзащитных до обеда, а со вторым после обеда — возражений не вызвал. Договорились с Галаховым и о том, что Ларису и Павла на обед уводить не будут, что даст нам возможность сохранить много времени для работы.

С этого дня я ежедневно приносила обильные обеды, приготовленные матерью Павла. Когда утром я приходила в тюрьму, сгибаясь под тяжестью огромного портфеля, с которым муж обычно ходил за покупками, Галахов, укоризненно качая головой, неизменно повторял:

— И охота вам, Дина Исааковна, таскать такую тяжесть? Ну, принесли бы пару бутербродов, яблоки. А то настоящие горячие обеды приносите, да еще на двух человек!

14 сентября в первую половину дня я решила работать вместе с Ларисой Богораз.

Лариса вошла в комнату легко и непринужденно, без всякой тени подавленности, и сразу ко мне, путая официальное «Дина Исааковна» и уже ставшее для нас привычным дружеское «ты».

Подготовка к защите на этом этапе — это тщательное изучение всех материалов, которые за две недели собрала и запротоколировала бригада следователей.

Формулировка обвинения, предъявленного всем привлеченным к ответственности, кроме Ларисы, совпадала дословно. Она — общая для всех, без всякой попытки индивидуализации, хотя это безусловное требование закона.

«Расследованием по делу установлено:

Павел Литвинов (или Вадим Делонэ, или Константин Бабицкий.— Д. К.), будучи несогласен с политикой КПСС и Советского Правительства по оказанию братской помощи чехословацкому народу в защите его социалистических завоеваний, одобренной всеми трудящимися Советского Союза, вступил в преступный сговор с другими обвиняемыми по настоящему делу (перечисляются фамилии остальных обвиняемых.— Д. К.) с целью организации группового протеста против временного вступления на территорию ЧССР войск пяти социалистических стран.

Ранее изготовив плакаты с текстами, содержащими заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, а именно: «Руки прочь от ЧССР», «За вашу и нашу свободу», «Долой оккупантов», «Свободу Дубчеку», «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия» (на чешском языке), 25 августа сего года в 12 часов дня явились к Лобному месту на Красной площади, где совместно (перечень фамилий остальных обвиняемых.— Д. К.) приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушивших общественный порядок и нормальную работу транспорта: развернул вышеуказанные плакаты и выкрикивал лозунги аналогичного с плакатами содержания, то есть совершил преступления, предусмотренные статьями 190-1 и 190-3 Уголовного кодекса РСФСР».

Для того чтобы эта формулировка соответствовала требованиям советского закона, в ней, помимо общего изложения событий, обязательно должно было быть указано: что конкретно в каждом из плакатов следствие считает «ложным измышлением», кто из обвиняемых какой из этих плакатов «изготовлял» (ведь изготовление клеветнических произведений образует самостоятельный состав уголовного преступления — статью 190-1), какие именно тексты и кто из обвиняемых выкрикивал.

От обвинительной власти требуется индивидуализировать вину каждого обвиняемого и степень его активности по сравнению с другими участниками групповых действий.

Не менее наглядно пренебрежение к требованиям закона проявилось и в том, как было сформулировано дополнительное обвинение в отношении Ларисы Богораз:

> «Будучи несогласна с действиями КПСС и Советского Правительства по оказанию братской помощи чехословацкому народу, она 22 августа 1968 г. направила об этом два заявления на имя директора и в профсоюзную организацию Всесоюзного научно-исследовательского института технической информации и координирования».

Из этой формулировки нельзя понять ни то, какие именно заявления направила Лариса, ни то, почему направление заявления является уголовным преступлением, ни то, какое преступление она совершила.

Для того чтобы это обвинение перестало быть таинственным, я сразу приведу текст этих абсолютно одинаковых заявлений:

> «В знак протеста против оккупации Чехословакии Советскими войсками я объявляю забастовку с 21 по 31 августа».
>
> (Том 3, листы дела 193, 194.)

Я знаю, как работают следственные органы Москвы, и могу сказать с уверенностью, что подобные формулировки не были результатом неопытности или небрежности. Я не допускаю и мысли, что старший следователь прокуратуры Москвы, советник юстиции Акимова позволила бы себе такое нарушение закона по любому из тех многих обычных (не политических) уголовных дел, которые ей приходилось расследовать. То, что именно так были оформлены следственные документы по делу о демонстрации на Красной площади, я могу объяснить двумя причинами.

Первое. Необходимостью выполнить поручение высоких партийных инстанций и КГБ и привлечь всех без исключения участников демонстрации к уголовной ответственности. И второе. Невозможностью в полном соответствии с законом оформить обвинение в действиях, которые по этим же законам не являются преступными.

* * *

Материалы дела о демонстрации — это три толстых тома. Но уже с первого дня мне стало ясно, что для защиты важен первый том — с показаниями свидетелей — и те части остальных двух томов, где содержатся очные ставки. Обвиняемые же на большинство вопросов следователей отвечать отказывались.

Перечитывая сейчас свои выписки из следственного досье, отбирая те показания, которые интересно представить читателю, я вижу, что все они значительно менее эффектны, чем бьющие в глаза своей непримиримостью и политическим темпераментом показания Владимира Буковского[1]. Это не потому, что участники демонстрации на Красной площади люди менее мужественные, менее убежденные. Просто они другие.

[1] Д. Каминская была адвокатом В. Буковского на процессе над участниками демонстрации у памятника Пушкина 22 января 1967 г. Как инициатор демонстрации В. Буковский был приговорен судом по статье 190-3 Уголовного кодекса РСФСР к трем годам лишения свободы.



Сдержанный тон показаний более свойствен их характеру, возрасту и той позиции поведения на следствии, которую каждый из них избрал самостоятельно, но в которой все они оказались поразительно солидарны.

Если Владимир Буковский говорил следователю:

> «Свои политические убеждения не скрываю и привык говорить о них открыто»,

то все участники демонстрации на Красной площади вообще отказывались беседовать со следователями о своих взглядах и убеждениях, ограничив свои объяснения мотивами демонстрации.

Пожалуй, единственным человеком, который по складу своего характера мог нарушить этот общий тон сдержанности, был Владимир Дремлюга. Но на следствии он давать показания отказался, сохранив для суда весь свой темперамент бойца.

Солидарность и непреклонность в избранной линии поведения были первой особенностью, которую я отметила, читая показания обвиняемых.

Самые подробные показания, которые Лариса Богораз дала на следствии, заняли несколько строк:

> «25 августа пришла на Красную площадь. Подняла транспарант с протестом против ввода войск в Чехословакию. На вопрос о том, какой плакат держала я и какие именно плакаты держали мои товарищи, отвечать отказываюсь.
>
> Мои действия не нарушили общественный порядок и движение транспорта, не препятствовали воскресной прогулке граждан.
>
> Само выражение протеста не нарушает общественного порядка. Лозунги не содержат клеветнических измышлений, а выражают критическую точку зрения по одному конкретному вопросу. Обвинение против нас считаю несостоятельным.
>
> Отказываюсь принимать участие в работе следствия и больше ни на какие вопросы отвечать не буду».
>
> (Том 3, лист дела 182.)

Так же кратко выглядят показания Павла Литвинова от первых — в день задержания и до последних — 12 сентября.

> «От показаний отказываюсь. Считаю задержание насилием со стороны лиц в штатском. Через следствие я обращаюсь с жалобой на лиц, задержавших нас.
>
> На все остальные вопросы отвечать отказываюсь».
>
> (Том 3, лист дела 7, 25 августа.)

Читая показания Ларисы и Павла, я с удовольствием отмечала не только их мужество — оно не было для меня неожиданностью,— но и сдержанный, спокойный тон этих показаний. Та же спокойная сдержанность была и в более подробных показаниях двух других участников демонстрации — Вадима Делонэ и Константина Бабицкого.

В самый день задержания, 25 августа 1968 г., Константин Бабицкий, молодой ученый, автор трудов по математической лингвистике, сказал:

> «Сегодня я пришел на Красную площадь, чтобы выразить свой протест против трагической ошибки нашего правительства — вооруженного вмешательства в дела Чехословакии».
>
> (Том 2, лист дела 20.)

В своих последующих показаниях Бабицкий говорил, что не боится назвать цель демонстрации высокой.

То же осознание высокой цели пронизывало показания не только обвиняемых, но и их друзей и родственников, которые были очевидцами демонстрации.

Том 2, лист дела 70. Показания свидетеля Татьяны Великановой.
Вопрос следователя: «Расскажите, что вам известно по этому делу?»
Ответ:

> «Утром в воскресенье мой муж Константин Бабицкий сказал, что должен быть на Красной площади у Лобного места в 12 часов, чтобы выразить протест против введения войск в Чехословакию. На мой вопрос он ответил, что, кроме него, будут и другие участники, но кто именно, я не спрашивала».

Вопрос: «Пытались ли вы воздействовать на мужа, отговорить его? Ведь у вас трое несовершеннолетних детей, и вы должны были понимать последствия».
Ответ:

> «Я не пыталась отговорить. Если муж считал, что во имя совести он должен так поступить — отговаривать его было бы просто бесчестно».

* * *

А сейчас мне кажется необходимым сделать небольшое отступление и вновь вернуться к словам записки Ларисы Богораз: «Не ругайте нас, как все нас ругают».

В один из первых дней после демонстрации к нам домой пришел друг Ларисы и Юлия Даниэля Анатолий Якобсон [1]. Только однажды потом за долгие годы нашей дружбы я видела Анатолия в состоянии такого безудержного отчаяния. Тот, второй, раз был в день прощания, когда Анатолия изгнали из Советского Союза.

Навсегда в моей памяти осталось его залитое слезами лицо и то, как он сквозь рыдания пытался читать болезненно им любимые строки прощания с Ленинградом из стихов Анны Ахматовой:

> Разлучение наше мнимо:
> Я с тобою неразлучима,
> Тень моя на стенах твоих...

Я никогда после этого прощания Анатолия не видела. Он действительно был неразлучим со своей страной и в изгнании покончил жизнь самоубийством.

А в тот августовский день в 1968 г. Анатолий сидел в моей комнате, закрыв лицо своими сильными руками, и сквозь рыдания повторял раз за разом:

— Я должен был быть с ними. Я должен был быть с ними. Я должен был быть с ними.

25 августа Анатолия не было в Москве. Только на следующий день он узнал о демонстрации и об аресте самых близких своих друзей.

Анатолий написал замечательное по силе и точности открытое письмо, посвященное демонстрации на Красной площади. Рукописный подлинник этого письма, ставший теперь для меня печальной реликвией, лежит в моем досье по делу о демонстрации с тех самых дней.

> «Многие люди, гуманно и прогрессивно мыслящие, признавая демонстрацию отважным и благородным делом, полагают одновременно, что выступление, которое ведет к неминуемому аресту участников и к расправе над ними, неразумно, нецелесообразно...»

От Анатолия я узнала то, о чем мне потом рассказывали другие друзья демонстрантов: намерение провести демонстрацию протеста не встретило поддержки у многих из их единомышленников. Делались отчаянные попытки отговорить их, предотвратить демонстрацию именно потому, что считали ее «неразумной», «нецелесообразной».

Вот чем объяснялись эти поначалу непонятные для меня, повторяющиеся слова в записке Ларисы — «не ругайте», «простите».

[1] Анатолий Якобсон был членом созданной в 1969 году «Инициативной группы защиты прав человека в СССР». С декабря 1969 г. до 1972 г. был редактором «Хроники текущих событий».



Как-то совсем недавно я разговаривала уже здесь, в Америке, с моим добрым другом, тоже эмигрантом, изгнанным из Москвы. Он был в числе тех, кто 24 августа объезжал квартиру за квартирой. К Бабицкому, к Ларисе, к Павлу Литвинову — с единственным намерением удержать их, предотвратить демонстрацию. Им руководила абсолютно гуманная цель — уберечь их. Ведь он, как и другие, предвидел единственно возможный в советских условиях исход такого открытого протеста.

— Сейчас я понимаю, что был не прав. Я не должен был их отговаривать. Я должен был быть с ними.

Письмо Анатолия Якобсона было ответом всем тем сочувствующим, кто осуждал демонстрацию:

> «К выступлениям такого рода нельзя подходить с мерками обычной политики, где каждое действие должно приносить непосредственный, материально измеримый результат, вещественную пользу.
> Демонстрация 25 августа — явление не политической борьбы, а явление борьбы нравственной...
> Исходите из того, что правда нужна ради самой правды, а не для чего-нибудь еще; что достоинство человека не позволяет ему мириться со злом, даже если он бессилен это зло предотвратить».

И еще:

> «Семеро демонстрантов, безусловно, спасли честь советского народа. Значение демонстрации 25 августа невозможно переоценить».

Анатолий с полным правом назвал всех участников демонстрации героями 25 августа.

* * *

С каждым новым днем работы над делом я все больше и больше убеждалась, что первое дело о демонстрации (дело Буковского и других) принесло определенный опыт не только мне. Следственные органы по-своему тоже этот опыт учитывали и старались избежать тех явных дефектов в конструкции обвинения, которые были допущены в первом деле.

Тогда, конструируя обвинение, КГБ исходил из того, что уже одно содержание лозунгов может рассматриваться как нарушение общественного порядка. Следствие тогда вполне устраивали показания свидетелей — комсомольцев-оперативников, что их «вмешательство», то есть разгон демонстрации и задержание участников, было оправдано «антисоветским» или «клеветническим» характером лозунгов. Формально суд разделил эту позицию и осудил Буковского и других по статье 190-3 Уголовного кодекса. Но правовая несостоятельность обвинения после суда стала очевидна всем, в том числе и КГБ.

Поскольку советская власть не может и не хочет мириться с инакомыслием, в какой бы форме оно ни выражалось, то отпадал естественный и законный вывод из прошлой ошибки — признание демонстраций гарантированным конституцией правом граждан нашей страны. Вместо этого было добавлено второе обвинение — в изготовлении и распространении клеветнических измышлений, квалифицированное по статье 190-1 Уголовного кодекса.

Предъявив это дополнительное обвинение, следственная власть вопреки закону полностью освободила себя от обязанности его доказать или аргументировать, ограничившись простым перечислением текстов плакатов. Вторую же часть обвинения она старалась доказать любыми способами и доказать так, чтобы избежать упреков защиты в том, что сам факт демонстрации рассматривается как нарушение общественного порядка.

Обвинительную власть уже не могли устроить показания свидетелей, что нарушение общественного порядка они усмотрели в содержании плакатов. Необходимы были доказательства, что демонстрация сопровождалась бесчинствами и нарушала нормальную работу транспорта.

В распоряжении следствия по этому пункту обвинения, помимо показаний обвиняемых, были показания трех групп свидетелей.

Первая группа — это друзья и родственники подсудимых.

Вторая — свидетели Ястреба и Леман. Свидетели незаинтересованные, чьи показания полностью подтверждают рассказы обвиняемых и их друзей.

Третья группа — это подлинные свидетели обвинения, то есть те, чьи показания используются обвинением как доказательство вины в нарушении демонстрантами общественного порядка и нормальной работы транспорта.

Я хочу представить моим читателям равную с судом возможность самим оценить материалы дела и самим сделать вывод о доказанности обвинения.

Итак, показания свидетелей первой группы.

Татьяна Великанова, жена Константина Бабицкого (том 2, листы дела 70—71, оборот):

> «Я видела, как муж вместе с остальными участниками демонстрации сели вокруг Лобного места и развернули плакаты... Примерно через 2 минуты подбежали две группы мужчин и стали эти плакаты вырывать. Один, я хорошо запомнила его лицо, ударил Файнберга ботинком в лицо. У Файнберга весь рот был в крови.
>
> Никто из знакомых мужа даже не поднялся и никак не реагировал на провокацию.
>
> В том крыле, где сидел Литвинов, тоже кого-то били, кого — не рассмотрела. Какой-то мужчина ударил пинком моего мужа в бедро.
>
> Побои наносили не из толпы собравшихся граждан, а определенные специальные люди, но без повязок».

Свидетель Панова, знакомая Татьяны Великановой (том 2, листы дела 72—73, допрос 12 сентября):

> «Направляясь на Красную площадь к Татьяне Великановой, увидела, как у Лобного места кольцом сели на ступеньки люди и развернули белые полотна с надписями. Было 12 часов. Почти сразу к ним с двух сторон бросились люди в гражданской одежде, сразу начали избивать тех, кто сидел с плакатами, и отнимать эти плакаты. Все происходило очень быстро. Бабицкий сидел рядом с человеком, у которого было разбито, окровавлено лицо.
>
> Никто из тех, кто сидел у Лобного места, даже не повернулся и ничего не сказал, когда их начали избивать».

Абсолютно аналогичные показания дали и другие знакомые и друзья демонстрантов.

Показания второй группы свидетелей — очевидцев демонстрации, которые при разных обстоятельствах оказались 25 августа на Красной площади.

Свидетель Ястреба (том 1, лист дела 90, допрос 28 августа):

> «Мое постоянное место жительства — Челябинск. В Москву приехала в отпуск. 25 августа я пришла на Красную площадь в 11 часов 50 минут — просто хотела посмотреть площадь и Мавзолей Ленина. Я видела, как к Лобному месту подходила эта группа и все сели на парапет. Буквально мгновенно подняли вверх руки, в которых были лозунги... Почти сразу подбежали мужчины и отобрали лозунги. Эти люди даже не поднялись на ноги — продолжали сидеть.
>
> Один из мужчин сгоряча ударил довольно увесистым портфелем по голове одного из сидящих. Люди из толпы его останавливали. Видела, как еще один мужчина на них замахивался.
>
> Когда их задерживали, они шли спокойно...»

Свидетель Леман (том 1, лист дела 5, допрос 25 августа):

> «25 августа был на Красной площади, увидел толпу у Лобного места и подошел. Какой-то человек ударил сидящего в зеленой рубашке по зубам. В этот момент их стали сажать в машины. Вдруг ко мне подбежали несколько человек и схватили меня за руки. Один сказал: «Этот?» — Другой ответил: «Нет». Но первый повторил: «Этот».
>
> Они заломили мне руки, дали по шее и затолкали в машину; так я оказался в пятидесятом отделении милиции. Никого из задержанных я не знаю».



Прокуратура Москвы очень тщательно проверяла обстоятельства, при которых свидетель Леман оказался на Красной площади и был задержан. Было бесспорно установлено, что никого из демонстрантов он не знал, очевидцем демонстрации оказался совершенно случайно, и его задержание было ошибкой.

И, наконец, показания свидетелей третьей группы — свидетелей обвинения.

Из них я приведу только те, которые были наихудшими для обвиняемых и на которых впоследствии базировался обвинительный приговор.

Свидетель Богатырев (том 1, лист дела 54, допрос 27 августа):

> «25 августа пришел на Красную площадь около 12 часов, чтобы погулять там. Увидел толпу у Лобного места. Там кто-то выкрикивал «Свободу Дубчеку». Я подбежал. Этих граждан уже сажали в машины. Картина была омерзительная. Задержанные вырывались, оскорбляли граждан, выкрикивали лозунги, вели себя, как отъявленные хулиганы. Одна из женщин обзывала собравшихся сволочами, провокационно кричала, что ее избивают, хотя никто не бил, визжала.
>
> Кто-то передал мне отобранные у них плакаты, я не читал их и передал в милицию.
>
> В машине они продолжали кричать. В отделении милиции я сообщил свой адрес и ушел».

Свидетель Давидович (том 1, лист дела 26, допрос 27 августа):

> «В Москве был проездом. Мое постоянное место жительства — Коми АССР. 25 августа был в ГУМе и вышел из него на Красную площадь около 12 часов. Увидел группу людей, двигающихся по площади к Лобному месту.
>
> Они сели около Лобного места со стороны Красной площади. Тут же развернули плакаты, «Руки прочь от ЧССР», второй на чешском языке. Стала собираться толпа. Участники этой группы начали произносить речи. Собравшиеся граждане требовали, чтобы их задержали.
>
> Мужчины в штатском стали активно сажать участников этой группы в подошедшие автомашины. Я тоже стал помогать. Их никто не бил».

И, наконец, полностью приведу документ, против которого в моем досье стоит знак NB.

Том 1, лист дела 7. Рапорт инспектора отдела регулирования уличного движения Куклина.

> «25 августа во время несения постовой службы заметил на проезжей части Лобного места группу лиц с плакатами. Стоя на проезжей части с плакатами в руках, они кричали. Эта группа мешала движению транспорта, идущего из Спасских ворот Кремля на улицу Куйбышева и обратно.
>
> На мое требование уйти с проезжей части граждане не реагировали и продолжали стоять и кричать».

Все это: и показания последней группы свидетелей, и рапорт инспектора ОРУДа — серьезный обвинительный материал. Если суд будет с доверием относиться к их показаниям, он их использует как доказательство вины в нарушении общественного порядка, а рапортом подкрепит обвинение в нарушении нормальной работы транспорта.

Оставаясь наедине с каждым из моих подзащитных, мы обсуждали эти показания. И Павел Литвинов говорил мне:

— Дина Исааковна, ведь это подлое вранье. Демонстрация была сидячая. Мы сидели на тротуаре и не поднимались до тех пор, пока нас не стали

сажать в машины. За все то время, что мы там были, через площадь не прошла ни одна машина.

— Диночка (это уже говорит Лариса), но ведь всем понятно, что это неправда. Никто из нас ни на секунду не поднимался. Мы так решили заранее — сидеть на тротуаре и не поддаваться ни на какую провокацию. Ведь даже когда били, ни один не крикнул, не оттолкнул от себя.

И Павлу, и Ларисе я верю безоговорочно. Верю потому, что это говорят именно они. Но, помимо этого, еще когда читала дело, профессиональная привычка удержала в памяти такие детали, которые позволяли сначала сомневаться, а потом уже в суде безо всякого сомнения сказать:

— Вся эта группа свидетелей дает ложные показания по целому ряду самых существенных для обвинения деталей. Рапорт инспектора ОРУДа — фальсификация.

Что породило у меня сомнения в правдивости этих свидетелей?

Прежде всего, конечно, то, что их рассказ (о том, как происходила демонстрация и как задерживали демонстрантов) опровергался показаниями обвиняемых, которым, повторяю, я верила, и всех остальных очевидцев демонстрации, в числе которых были люди совершенно незаинтересованные, в чьей объективности сомневаться было нельзя.

Теоретически свидетели обвинения — Веселов, Богатырев и другие — также посторонние, значит, тоже незаинтересованные и объективные, как Ястреба и Леман.

И вновь перелистываю страницы дела, чтобы проверить себя. И вписываю в свое досье против каждого из свидетелей:

Свидетель Веселов — сотрудник воинской части 1164.
Свидетель Богатырев — сотрудник воинской части 1164.
Свидетель Иванов — сотрудник воинской части 1164.
Свидетель Васильев — сотрудник воинской части 1164.

Как случилось, что все они оказались в один и тот же день и тот же час в одном и том же месте?

Почему ни один из них не сказал на допросе, что договорился встретиться со своими сослуживцами или хотя бы случайно встретил их на Красной площади?

Почему следователь, который у всех свидетелей подробно выяснял все, связанное с приходом на Красную площадь, ни одному из этих свидетелей не задал сам собой напрашивающийся вопрос: была ли их встреча случайным совпадением или обусловлена договоренностью?

Следователь не спросил их даже о том, знакомы ли они вообще друг с другом. Как будто бы надеялся на то, что никто из участников процесса не заметит, что все эти свидетели, согласованно дающие показания против обвиняемых, являются сотрудниками одной и той же воинской части.

И еще одна деталь. Заполняя анкетные данные свидетеля, следователь не может ограничиваться лишь указанием номера части. Он должен указать звание свидетеля и то министерство, в ведении которого эта воинская часть находится (Министерство обороны, Министерство внутренних дел, КГБ).

В анкетных данных этих свидетелей в графе «Занимаемая должность» — загадочное для воинской части и принятое только в системе КГБ слово: «сотрудник». К какому министерству относится воинская часть 1164, указано не было.

Из анкетных данных свидетеля Давидовича я узнала, что у него высшее юридическое образование, что он предъявил следователю не паспорт, а удостоверение личности Министерства внутренних дел и что место его работы воинская часть 6592. Сопоставляя это с тем, что его постоянное место жительства и работы — Коми АССР (республика, где сосредоточены лагеря строгого режима и тюрьмы), я имела все основания предполагать, что Давидович является ответственным (о чем свидетельствует наличие высшего юридического образования) работником тюрьмы или лагеря.



Конечно, само по себе это еще не означает, что он говорит следствию неправду, но относиться к его показаниям как к показаниям человека объективного я уже не могла. Кроме того, в показаниях Давидовича была одна подробность, явно свидетельствовавшая, что он либо говорит неправду, либо сознательно скрывает обстоятельства, при которых оказался на площади.

Давидович утверждал, что он вышел из ГУМа. Но каждый москвич знает, что в воскресенье в ГУМе торговли не бывает, для покупателей он закрыт. Значит, если Давидович, как он утверждал, пришел на Красную площадь просто для воскресной прогулки, он в помещение ГУМа попасть не мог. Другое дело, если он был участником «оперативного мероприятия».

ГУМ своим фасадом выходит на Красную площадь, а торцовой частью на улицу Куйбышева, то есть на правительственную магистраль, по которой следуют машины в Кремль и из Кремля на Старую площадь, в здание ЦК КПСС. Поэтому в здании ГУМа расположены круглосуточные посты оперативного наблюдения.

Если Давидович, утверждая, что на Красную площадь он вышел из ГУМа, сказал правду, это значит, что он находился там как участник запланированного «оперативного мероприятия».

Мой опыт работы адвоката избавлял меня от сомнений по поводу того, согласятся ли «сотрудники» — участники этого мероприятия — давать любые показания, которые от них потребует КГБ. Такое понятие, как уважение к правосудию, к обязанности гражданина говорить в суде только правду, в Советском Союзе вообще встречается нечасто. Те же свидетели, о которых пишу сейчас, могли не опасаться и привлечения к уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Более того, они знали, что ни следователь, ни судья не будут даже пытаться уличить их во лжи, какой бы явной эта ложь ни была. Что потом каждое слово, сказанное ими по подсказке КГБ или прокуратуры, суд будет защищать от критики со стороны адвокатов и самих подсудимых.

Но я понимала, что весь этот ход рассуждения, важный для моей оценки показаний свидетелей, не может быть использован в суде, пока я не найду подтверждения того, что КГБ действительно оказывал давление на этих свидетелей.

Но, как ни скрывай, ложь обязательно где-то проявится.

И вот:

Том 1, лист дела 69, допрос свидетеля Куклина 27 августа:

> «25 августа стоял на посту на углу улицы Куйбышева. Заметил группу в 8—10 человек, которые шли по направлению к Лобному месту. Не знаю, почему, но я сразу обратил на них внимание и сразу побежал туда. Когда я прибежал на площадь, я увидел что-то в руках у граждан, которые сидели на тротуаре Лобного места... Близко к Лобному месту я не подходил и потому лозунгов не видел и выкриков не слышал... В этот же день после сдачи смены я написал рапорт».

Противоречия между показаниями Куклина и им же написанным рапортом очевидны.

В показаниях: «...Выкриков не слышал».

В рапорте: «... Они стояли на проезжей части и кричали...»

В рапорте: «На мое требование уйти с проезжей части эти граждане не реагировали, продолжали стоять и кричать».

Но как мог свидетель обратиться к демонстрантам с каким бы то ни было требованием, если близко к Лобному месту он не подходил (протокол допроса)?

Куклин не обычный свидетель. Он инспектор ОРУДа. Ему был доверен один из самых ответственных постов в Москве — участок правительственной

трассы, соединяющий Кремль с ЦК. Все его внимание сосредоточено на обеспечении правильного и безаварийного движения машин на обслуживаемой им территории, куда входит и Красная площадь. Естественно, что его показания представляют наибольшую ценность для решения вопроса о том, действительно ли демонстрация привела к нарушению нормальной работы транспорта.

В рапорте он пишет:

«Эта группа мешала движению транспорта, идущего из Спасских ворот Кремля на улицу Куйбышева и обратно».

В протоколе допроса об этом ни одного слова. И что особенно странно — следователь его об этом тоже не спрашивает. И не только при первом допросе, но и впоследствии. Не спрашивает его, была ли задержка в движении машин, а если была, то на какое время.

Все это могло бы вызвать у защиты серьезные недоумения и подозрения. Но они остались бы только подозрениями, если бы не небрежность, недосмотр следователя. Тот самый недосмотр, который всегда помогает обнаружить ложь и фальсификацию.

Допрашивали Куклина 27 августа, следователь записал с его слов:

«В этот же день (то есть 25 августа) после сдачи смены я написал рапорт».

А на приобщенном к делу рапорте стоит написанная Куклиным дата — «3 сентября».

Значит, это другой, новый рапорт, который написан взамен первого. Значит, содержание первого рапорта следствие не устраивало. И не устраивало настолько, что работник городской прокуратуры изъял его из дела, то есть совершил уголовное преступление. Конечно, следователю ничего не стоило договориться со свидетелем, чтобы тот датировал свой новый рапорт прежним числом, то есть 25 августа. Следователь, очевидно, просто не обратил на это внимание. Забыл, что в показаниях Куклина есть эта последняя — изобличающая — строчка:

«В этот же день я написал рапорт».

Многие, с кем мне приходилось разговаривать уже здесь, в Америке, спрашивали меня:

— А зачем вам, адвокатам, надо было выискивать все эти противоречия, разрабатывать планы допросов свидетелей, если действительно исход всех этих политических процессов предрешен заранее? Если вы твердо знали, что никакие аргументы защиты на приговор суда не повлияют?

Этот же вопрос, но в несколько иной редакции, задавали мне и в Советском Союзе. Там все сами понимали предрешенность этих дел. Там говорили просто:

— Ведь все равно известно, что их осудят, и осудят на тот срок, который определят КГБ и партийные инстанции. Зачем тратить столько сил и нервов на заведомо обреченную защиту?

В те годы один из известных московских бардов[1] написал песню «Юридический вальс». Он посвятил ее адвокатам, участвовавшим в политических процессах:

Судье заодно с прокурором
Плевать на детальный разбор.
Им лишь бы прикрыть разговором
Готовый уже приговор.

---

[1] Юлий Ким.



А дальше об адвокатах:

Скорей всего надобно просто
Просить представительный суд
Дать меньше по сто девяностой,
Чем то, что, конечно, дадут.

Откуда берется охота,
Азарт, неподдельная страсть
Машинам доказывать что-то,
Властям корректировать власть?..

Так откуда же, действительно, бралась охота и если не азарт (это слово мне не кажется правильным), то неподдельная страсть?

Наверное, разные адвокаты должны были по-разному ответить на этот вопрос. Для некоторых главной движущей силой было стремление разоблачить, сделать наглядным для всех тот трагический фарс, каким являлись все политические процессы, в которых нам приходилось участвовать. Но для меня разоблачение было следствием работы, результатом той тщательности, с которой готовилась к каждому делу, но не ее причиной. У меня никогда не возникала мысль, что обреченность дела может позволить работать хуже, чем я умею, и, следовательно, хуже, чем я обязана.

Лариса Богораз и Павел Литвинов изучали дело тоже очень внимательно. С каждым из них я подробно обсуждала показания свидетелей, разъясняла намеченную мною линию защиты, учила тому, как правильно ставить вопросы. Особенно детально я готовила к предстоящему суду Ларису, которая решила, что в суде откажется от адвоката и будет защищаться самостоятельно, чтобы получить право, помимо последнего слова, произнести и защитительную речь.

В Советском Союзе адвокат, участвующий в политическом процессе, поставлен перед необходимостью осудить политические взгляды своего подзащитного. Дать им «правильную», «партийную» оценку. Лишь очень ограниченный круг адвокатов, выступавших в таких делах, отказывался следовать этой традиции. Пойти на большее, то есть солидаризироваться с политическими воззрениями и оценками подзащитных и остаться после этого в адвокатуре, было невозможно. Вот почему мы должны были сознательно ограничивать себя чисто правовыми аспектами защиты.

Я знаю, что ни тогда, ни позднее никто из самых требовательных и бескомпромиссных диссидентов не осуждал нас за это. Но даже сейчас, когда вспоминаю тот свой разговор с Ларисой, вспоминаю и острое чувство стыда, когда услышала от нее:

— Я должна сама произнести защитительную речь. Ведь кто-то должен от имени всех подсудимых открыто выступить против оккупации Чехословакии. Я думаю, что я это сделаю лучше других.

Я знала, что Лариса справится с этой задачей. Она обладает прекрасной способностью четко формулировать мысли. Ход ее рассуждений всегда строго логичен. И все же я особенно тщательно и придирчиво старалась оценить каждое слово, которое Ларисе предстояло сказать в суде. Я настойчиво повторяла:

— Помни, тебе могут запретить говорить о твоих взглядах и убеждениях, но никто не может лишить тебя права рассказать о том, почему ты пришла на Красную площадь. По закону суд обязан установить мотивы тех действий, в которых обвиняется подсудимый.

Мы договорились с Ларисой, что о ее намерении защищаться в суде самостоятельно никто, кроме самых близких, знать не должен. Ей важно было сохранить право на встречи со мной до суда.

Договорились и о том, что после суда я вновь стану ее официальным защитником и буду представлять ее интересы в Верховном суде РСФСР в кассационной инстанции.

Так шли эти недолгие дни подготовки к делу. Каждое утро я ехала в Лефортово с чувством, что меня ждут, что я нужна. Какой тяжелой оказалась для

меня потеря этого чувства в нынешней уравновешенной и размеренной жизни в эмиграции!..

Следователь Галахов был достаточно снисходительным «надзирателем». Скучая от безделья, он часто отлучался из кабинета, чтобы, как он говорил, «потрепаться» с кем-нибудь из знакомых следователей. В эти свободные минуты наедине мы переставали говорить о деле. Я рассказывала Павлу и Ларисе об их друзьях, близких и родных им людях. Говорили о стихах, о любимых книгах, о кино.

С Ларисой больше всего говорила об ее сыне Саньке и о Толе Марченко. Рассказала ей и о том поразительном разговоре, который был у меня с народным судьей, судившим Марченко. Когда я первый раз, сразу после вынесения приговора по делу Анатолия Марченко, зашла в кабинет судьи, он весьма нелестно отозвался о Ларисе (она была свидетелем по делу), Павле и других друзьях Анатолия, которых он видел в суде.

Он считал, что все эти интеллигенты просто боялись подписывать открытые «чешские письма» своими именами. Что они воспользовались Анатолием — «простым русским рабочим парнем» (как он его называл) — как прикрытием. Именно они обрекли его на тюрьму, а сами остались в безопасности.

28 августа, уже после демонстрации и ареста Павла и Ларисы, я вновь пришла в тот суд, чтобы сдать кассационную жалобу по делу Анатолия.

Секретарь суда сказала, что народный судья просил меня обязательно зайти к нему. Я вошла в зал судебного заседания, когда там слушалось какое-то уголовное дело. За судейским столом сидели те же женщины — народные заседатели, которые участвовали в суде над Марченко. Одна из них увидела меня и, наклонившись к судье, что-то прошептала.

Неожиданно судья прервал свидетеля, объявив перерыв на 5 минут, и, обращаясь ко мне, попросил зайти с ним в совещательную комнату. А там, после небольшой паузы, он произнес следующие слова:

— Нам всем,— и он кивнул на заседателей, и они тоже согласно кивнули головами,— очень хотелось увидеть вас, чтобы сказать, что мы были несправедливы. Мы неправильно думали и говорили о тех людях. Если вам представится возможность увидеть их, скажите им об этом.

— Наверное, я их увижу и тогда обязательно передам ваши слова.

И хотя судья не назвал тогда ни одного имени, я считаю, что обещание выполнила, пересказав все это Павлу и Ларисе.

(Этот судья вскоре оставил свой пост. Как говорили, он сам отказался от выдвижения его кандидатуры на новых выборах.)

Много позже Павел и Лариса в письмах, которые я получала от них из далекой ссылки, вспоминали эти наши долгие разговоры в Лефортове.

> «А ведь честное слово, хорошее было времечко сентябрь — октябрь, да?.. А халва, увы, для меня теперь дорога больше как память: кажись, заработала в этапах какую-то хворобу...»
>
> «Диночка, пишу эту короткую записку пока. Мне просто захотелось поговорить с вами — просто так, ни о чем. Как тогда, в сентябре»,— писала Лариса.
>
> «Милая, дорогая моя адвокатка! (Это мой лефортовский сосед говорил: — Опять к тебе адвокатка пришла.) Большое спасибо за суд, за наши разговоры в Лефортове. Помните?»

Так начиналось первое письмо, полученное мною от Павла Литвинова. Помню. Грустное и смешное. Важное и незначительное. Помню до нелепых, никому, кроме меня, не нужных подробностей, плотно осевших в памяти.

* * *

20 сентября 1968 г. адвокаты и обвиняемые полностью закончили ознакомление с материалами дела.

В этот же день я заявила ходатайство об отмене постановления следователя о выделении дела в отношении Файнберга и об исключении из обвинения Ларисы Богораз эпизода, связанного с подачей ею заявлений об объявлении забастовки. В тот же день в удовлетворении ходатайства мне было отказано. Аналогичный отказ в ходатайстве, связанном с делом Файнберга, получили и остальные адвокаты. Нам было ясно, что КГБ ни при каких условиях не согласится на то, чтобы Файнберг появился в открытом судебном заседании с выбитыми при разгоне демонстрации зубами.



| | |
|---|---|
| «Утверждаю» | |
| Заместитель прокурора | Секретно |
| города Москвы | Экземпляр № 8 |
| 23 сентября 1968 г. | Отпечатано в 15 экземплярах |
| В. Колосков | Заказ № 333/531 |
| Составлено 20 сентября 1968 г. | 23 сентября 1968 г. |

Документ, первые и последние строчки которого я привела и о секретность которого со всей категоричностью свидетельствует специальный гриф в правом верхнем углу страницы и указание на количество отпечатанных экземпляров,— это обвинительное заключение по делу № 41074—68С о демонстрации на Красной площади. Буква «с» в конце номера — это тоже индекс секретности. Одна эта буква, стоящая на обложке каждого из томов, определяет особый путь, которым дело, минуя общие канцелярии, попадает прямо в «специальный отдел» Московского городского суда, регистрируется по особой картотеке «специальной канцелярии». И дальше дело пойдет особым, «специальным» путем, вплоть до Верховного суда. «Специальная» канцелярия, «специальная» регистрация, «специальный» состав судебной коллегии, который будет рассматривать дело.

Все, кто занимался делом о демонстрации, знают, что в его материалах нет ничего, что может быть признано секретным. Здесь гриф «Секретно» — это «уши», все время тщательно скрываемые, но все же вылезающие уши КГБ. Это его индекс, его «специальная» канцелярия, его «специальный» состав суда. Поэтому, когда советские власти во всеуслышание, для всего западного мира утверждали, что дело о демонстрации на Красной площади — это обычное уголовное дело, они лишь пытались скрыть значение, которое сами же этому делу придавали, вручив судьбу демонстрантов органу, охраняющему государственную безопасность Советского Союза.

Все те понятные советским юристам приметы участия КГБ в расследовании дела, о которых я уже писала (содержание арестованных в следственном изоляторе КГБ, необычно быстрое расследование дела), вновь нашли свое подтверждение.

Я уже не удивлялась молниеносности, с которой дело поступило в суд и было назначено к слушанию. Всего 9 рабочих дней оставалось до даты, на которую назначено было рассмотрение дела. За эти 9 дней должен быть назначен судья, вручены копии обвинительных заключений всем обвиняемым (не менее чем за трое суток до суда), разосланы повестки всем свидетелям, часть из которых живет в отдаленных от Москвы районах страны. Адвокаты должны иметь время для дополнительного изучения дела и свиданий со своими подзащитными.

Но главное — это судья. Судья, который еще не видел дела, которому предстоит изучить три больших тома следственных материалов; решить вопрос, достаточно ли собрано доказательств для предания обвиняемых суду, подготовиться к допросу более тридцати свидетелей.

Я могу твердо сказать, что девятидневный срок — это больше чем исключение. Это уникальный по своей краткости срок, требующий для его соблюдения уникальной слаженности во всех звеньях судебной системы...

Суд успел сделать все.

Уникальную заботу проявили и в отношении защитников.

Судьям народных судов, Городского суда и даже Верховного суда РСФСР было предложено снять со слушания и перенести на другие числа все дела,

в которых должны были участвовать в тот период времени адвокаты Каллистратова, Каминская, Монахов и Поздеев.

Все было подчинено одному — закончить рассмотрение дела в предельно сжатый, кем-то в очень высоких инстанциях установленный срок. (Мне тогда говорили, что это указание исходило от ЦК КПСС.)

Я рассталась с Павлом Литвиновым и Ларисой Богораз 20 сентября. И вот прошла всего неделя, и я вновь еду к ним знакомой дорогой в Лефортовскую тюрьму.

— Что случилось, Дина Исааковна? Я вас не ждал так скоро.— Мне кажется, именно так встретил меня Павел. И уже потом: — Простите, я даже не поздоровался.

В нашем кабинете полная тишина. Изредка обмениваемся какими-то невыразительными репликами. Все остальное время пишем. Павел прекрасно понимает, что наше свидание наедине прослушивается и записывается от начала до конца. Не сомневаюсь в этом и я.

В этот день я пришла в тюрьму очень рано. Специально спешила, чтобы не ждать в «адвокатской очереди», чтобы сразу получить кабинет. И действительно, в приемной, где мы, адвокаты, выписываем требования на свидания с подзащитными, я была одна.

И началось ожидание. Дежурный, у которого я время от времени спрашивала, когда же я получу кабинет, неизменно отвечал:

— Приходится подождать — все кабинеты заняты.

А потом мы шли с ним по коридору к освободившемуся наконец кабинету. Узкий коридор. С правой стороны окна, с левой — двери в кабинеты для свиданий. Все двери раскрыты нараспашку. Все кабинеты пусты. Я была единственным посетителем в эти ранние часы. Мне выделили для работы последний кабинет. Самый неудобный — в нем не было даже звонка для вызова дежурного. Когда кончается свидание, надо выходить в коридор и кричать в старинный рожок:

— Дежурный! Дежурный!!!

И опять ждать и гадать — услышал он твой крик или нет.

Я попросила разрешения занять любой другой кабинет — там и удобные столы, и специальные звонки. Мой сопровождающий ответил с полной категоричностью:

— Ничего не могу сделать, товарищ адвокат. Приказано предоставить вам именно этот кабинет.

Как я могла расценить и этот отказ, и долгое, на первый взгляд, бессмысленное ожидание? У меня на это только один ответ.

Я пришла слишком рано. К моему приходу кабинет не успели оборудовать специальной прослушивающей аппаратурой.

Вообще-то это было идиллическое время. Мы работали в этих старых кабинетах-клетушках, в которых обычно происходят в присутствии конвоя свидания осужденных с родственниками. Поэтому там не было постоянной звукозаписывающей аппаратуры. Позже нам стали предоставлять большие светлые кабинеты на втором этаже с хорошими письменными столами и непременным телевизором. Там даже переписываться с подзащитным стало опасно.

А почему опасно? Что криминального происходило во время свидания адвоката со своим подзащитным? Что незаконного приносили им или уносили от них?

Я приносила. Волнуясь, страшась разоблачения, но приносила. Курящим — сигареты, которые они курили во время свидания, а потом поштучно засовывали в специально принесенную пустую пачку от таких же сигарет, чтобы иметь возможность взять их с собой в камеру. Некурящим — шоколад, который тоже тайком, отламывая по кусочку, они съедали в моем присутствии, а обертку от которого я засовывала обратно в портфель.

Какие запрещенные темы обсуждали мы во время свиданий наедине, что нам приходилось опасаться подслушивания?



Я рассказывала Павлу и Ларисе о всех передачах западного радио о предстоящем над ними суде.

А это запрещено.

Я рассказывала о судьбе их друзей и товарищей, о том, что приговор по делу Анатолия Марченко оставлен в силе, а сам Толя уже в тюрьме в городе Соликамске.

Это тоже запрещено.

Я пересказывала им, а иногда давала читать письма от родителей, жен, невест, друзей. Письма, полные нежности, заботы о них, выражения гордости за них и восхищения их мужеством.

Если внимательно читать мое досье, то можно наткнуться на такие записи.

Том 2, лист дела 87. Показания свидетеля Веселова.

> «25 августа я пришел...
> «Милый мой бесценный друг! До сих пор не могу себе простить, что меня не было в Москве в тот трудный и великий ваш день. О вас мне много говорят и много пишут. Все отдают вам великую честь».

И дальше многочисленные приветы и выражения надежды на скорую встречу. «Куда бы ни занесла вас судьба».

Просто дать прочитать такое письмо Павлу (это ему оно было адресовано) я не могла, это запрещено. Вот и вынуждена была, переламывая свою природную дисциплинированность и законопослушность, идти на эту примитивную, но безотказно меня выручавшую конспирацию. Я делала это потому, что была уверена тогда, равно как и сейчас, что правосудие не пострадает от того, что обвиняемые будут знать, что они не забыты, что о них думают, что демонстрация не прошла бесследно.

Павел и Лариса, с точки зрения любого адвоката, «отличные» подзащитные. Умные, образованные, умеющие прекрасно формулировать свои мысли. Они ставили перед собой единственную задачу — рассказать правду о том, почему пришли на Красную площадь, какие мотивы руководили ими. Каждый из них независимо и самостоятельно определил и линию своего поведения в суде — не отвечать на вопросы о действиях других.

Мне не нужно было учить их, что говорить. Я должна была лишь корректировать форму их показаний в соответствии с процессуальными требованиями закона.

Это была совсем несложная задача. И все же...

Целые страницы, зачеркивая потом все написанное строчку за строчкой, посвящали мы разработке отдельных аспектов защиты. Тому, как надо отвечать на вопросы и как их ставить.

Это разрешенная для обсуждения тема. Но ведь мы вовсе не были заинтересованы в том, чтобы наша аргументация заранее становилась известна прокуратуре и КГБ, а значит, и тем свидетелям, изобличать которых во лжи нам предстояло в суде.

Так поступала не только я. Этим же способом пользовались многие адвокаты. Помню, как Каллистратова после свидания с Вадимом Делонэ говорила мне:

— Диночка, хорошо, что я уже вполне пожилая женщина. А то, что бы они (имелась в виду тюремная администрация.— *Д. К.*) должны были обо мне подумать! Я 3 часа провела на свидании с Вадимом и за все это время, кроме «Здравствуй, Вадим» и «До свидания, Вадим», ничего не сказала.

Нужно сказать, что сам факт прослушивания не представлял для меня чего-нибудь нового или необычного. Прослушивание стало бытовым явлением, прочно вошло в жизнь многих семей. Я знала, что не только телефонные разговоры, но и вообще каждый шорох в моей квартире прослушиваются круглосуточно. Знала и то, когда именно нашу квартиру к этому прослушиванию подключили.

Это случилось в конце октября 1967 г. Уже после суда над Владимиром Буковским и после того, как я заканчивала знакомиться с многотомным делом Юрия Галанскова, Александра Гинзбурга и других, обвинявшихся в антисоветской агитации и пропаганде. Судебный процесс над ними был еще впереди.

Как-то вечером у меня дома собрались гости. Наш разговор был прерван появлением моего сына Димитрия. Он вошел в комнату, как-то очень растерянно улыбаясь.

— Папа,— сказал он,— ты мне очень нужен, выйди ко мне на несколько минут.

Муж вернулся очень скоро. Он был растерян не меньше сына.

— Я должен сказать вам, что весь разговор, каждое слово, которое вы произносите в этой комнате, отчетливо слышно в комнате сына. Стоит только снять телефонную трубку.

Мы жили в трехкомнатной квартире с двумя коридорами. Комната сына — первая от входной двери, наша — последняя. Нас разделяли два коридора и большая комната, в которой тогда жила моя мать. В моей комнате не было ни телефонного аппарата, ни проводки для телефона.

Первой моей реакцией было:

— Не может быть!

Но вот я уже стою в комнате сына и, сняв телефонную трубку, слушаю... Долгий телефонный гудок и сквозь него...

Мне никогда до этого не приходилось с такой отчетливостью слышать человеческий голос и каждый звук — шум льющегося в бокал вина, легкий звон стекла...— все, как бы усиленное в громкости, доносится до меня из телефонной трубки.

Потом мои гости по очереди совершали этот путь от обеденного стола в комнату сына. Каждый хотел убедиться сам. Все единодушно считали, что прослушивающее устройство установлено не только в телефонном аппарате, но и непосредственно в моей комнате.

Если это действительно так, то я с очень большой степенью вероятности могу предположить, кто и когда это сделал.

Среди наших знакомых был человек, с которым в течение многих лет мы регулярно встречались на театральных премьерах, на просмотрах новых фильмов. Но он никогда не бывал в нашем доме, равно как и мы никогда не бывали у него.

За несколько дней до описываемого вечера он позвонил и сказал, что ему нужно срочно посоветоваться по какому-то юридическому вопросу. Я предложила ему прийти ко мне в консультацию, но он так настойчиво говорил, что хочет получить совет от нас обоих, что очень важно, чтобы в обсуждении принял участие и мой муж, что пришлось разрешить ему прийти к нам домой.

Когда он ушел, мы с мужем долго удивлялись — а зачем, собственно, он приходил? — настолько несерьезным оказался вопрос, ради которого он стремился встретиться с нами. За этим человеком в течение многих лет шла недобрая слава секретного осведомителя КГБ. Мы с мужем никогда не позволяли себе верить во многие порочащие человека слухи, лишенные реальных и бесспорных оснований. Но тогда он оказался единственным, кого я могла подозревать.

История с телефоном нас не напугала и даже не взволновала. Приняли ее как естественное развитие моей адвокатской деятельности и тогда же решили: для нас это не существует. В своем доме мы должны жить свободно, иначе жизнь станет просто невыносимой.

На следующий день после того, как мы узнали, что наша квартира прослушивается, раздался звонок в дверь. Передо мной стоял незнакомый мужчина в темном пальто и меховой шапке.

— Я с телефонной станции. Пришел проверить, как работает ваш телефон.

— Как это любезно,— сказала я.— Ведь мы мастера не вызывали.

— Это теперь у нас новая форма обслуживания — сами ходим проверяем свой участок. Имеются у вас жалобы на работу телефона?



Поверить в то, что это действительно обычный телефонный мастер и что советский сервис достиг такой небывалой высоты, я, естественно, не могла. Скрывать обнаруженный дефект в подслушивающем устройстве я не хотела. Выслушав мой рассказ о появившейся у нас счастливой возможности быть в курсе всего, что происходит в других комнатах моей квартиры, «телефонный мастер» быстро сказал:

— Это индукция.

И увидев недоумение на моем лице, вновь уверенно повторил:

— Это индукция.

Новый телефонный аппарат он предусмотрительно захватил с собой, чтобы заменить им наш старый. Прощаясь с мастером, я протянула ему рубль. Наш «мастер» от денег отказывался с негодованием. И все же рубль он взял. Очевидно, моя аргументация показалась ему убедительной. И что мог он возразить на мои слова:

— Если вы действительно мастер с телефонной станции, то и ведите себя соответственно. Они никогда от денег не отказываются.

После его ухода я решила позвонить в районное бюро ремонта и попытаться выяснить, кто же был этот человек. Я сказала, что хочу направить в их адрес благодарность мастеру за быстрый и качественный ремонт. Там долго проверяли заявки и наряды на ремонт, а потом ответили:

— Это какое-то недоразумение. Мы к вам мастера не посылали.

С тех пор в кругу моих друзей слово «индукция» полностью заменило длинное и неблагозвучное слово «прослушивание». Когда кто-нибудь говорил:

— У меня телефон с индукцией,— всем было понятно, о чем идет речь.

* * *

Хотя наше дело рассматривал по первой инстанции Московский городской суд, местом его слушания был избран народный суд Пролетарского района Москвы. Этот суд расположен в старинном здании, выходящем одной стороной на набережную реки Яузы, а всем своим фасадом — в небольшой переулок. Здесь всегда тихо — нет больших домов-новостроек, а переулок настолько узкий, что по нему нет сквозного движения транспорта. Процесс был назначен на 9 октября 1968 года в 9 часов утра — ровно на один час раньше установленного законом начала рабочего дня в народных судах и в Городском суде.

И место слушания, и это раннее необычное время — все для того, чтобы, по возможности, скрыть от «нежелательной» публики, где и когда будет слушаться дело. Чтобы все те, кого условно объединяют термином «либеральная интеллигенция», да еще иностранные корреспонденты не успели приехать до открытия судебного заседания.

Как только я показалась в переулке, меня плотно окружила толпа.

Знакомые и незнакомые, молодые и пожилые. Это те, кто, несмотря на старания властей, пришли сюда по доброй воле. Кто волнуется за исход дела. Кому дороги подсудимые. Кто хотя бы самим фактом присутствия хочет выразить солидарность с ними. Все они останутся стоять на улице — их в зал суда не впустят. Практически здание народного суда было полностью заблокировано. Не пускали не только посторонних, не только эту нежелательную публику, но даже и работников самого народного суда. Весь народный суд Пролетарского района полностью прекратил работу на время слушания дела о демонстрации.

С трудом пытаюсь пробиться к входной двери сквозь негодующее:

— Почему нас не пускают?

— Почему каких-то специально подобранных людей проводят через запасный ход?

— Мы требуем, чтобы нас пропустили!

— Вы должны заявить ходатайство!

Но вот уже кто-то крикнул:

— Пропустите адвоката!

Уже проверено мое адвокатское удостоверение, и я в здании.

На третьем этаже, где должно слушаться наше дело,— пусто. Закрыты двери в судебные залы, расположенные по одну сторону коридора. Напротив дверь канцелярии по уголовным делам. Из нее слышны голоса, и я захожу туда.

Я никогда не служила в армии, но в моем представлении примерно так должен выглядеть ее штаб перед ответственным наступлением. Председатель Московского городского суда Осетров, помощник прокурора Москвы Фунтов, какие-то неизвестные мне высокие чины из КГБ плотным кольцом окружили нашу судью Лубенцову. Несколько в стороне председатель Московской коллегии адвокатов Константин Апраксин.

Все руководство заинтересованных организаций — суда, прокуратуры, КГБ и адвокатуры — собралось здесь, чтобы осуществлять оперативное руководство работой «независимого» суда, прокурора и адвокатов. Мне в этом «штабе» делать нечего, и я возвращаюсь в коридор и наблюдаю, как Софью Васильевну Каллистратову так же, как и меня минуты назад, окружили взволнованные, что-то ей непрерывно говорящие люди. Вижу, как она согласно кивает им головой, как перед ней расступаются, уступают дорогу.

* * *

Валентину Федоровну Лубенцову, члена Московского городского суда, которой поручено рассматривать дело о демонстрации на Красной площади, я знала много лет и знала довольно хорошо. Настолько хорошо, насколько вообще в Советском Союзе адвокат может знать судью. Я встречалась с ней в суде и только по профессиональным делам. Лубенцова всегда была приветлива, в судебном заседании — неизменно корректна. Не отличаясь ни выдающейся образованностью, ни выдающимся умом, она была опытным судьей, разумно строгим и разумно либеральным.

Я часто выступала в уголовных процессах под ее председательством. Были дела, в которых она соглашалась с моими доводами, бывали и такие, когда она их отвергала. Но и в этих, последних, у меня не было оснований считать выносимый ею приговор вопиюще несправедливым.

По всему строю своей психологии Лубенцова вполне советский человек, принимающий эту власть и в основном ею довольный. Она жена офицера — полковника Советской Армии, причем полковника не строевого, а работающего в Москве в Министерстве обороны. Жили они в хорошей, благоустроенной квартире.

Думаю, что Лубенцова любила свою работу; во всяком случае, очень дорожила ею. Ее мировоззрение — это конформизм, причем конформизм искренний. Она верила в то, что ей говорила партия, и как бы ни менялись партийные установки, принимала каждую новую как единственно правильную.

В том, 1968 г., процесс демократизации в Чехословакии был предметом оживленных и достаточно откровенных споров в любой аудитории. Единственный слой городского общества, с которым я никогда не имела общения и о мнении которого, естественно, судить не могу,— это партийный аппарат во всех его звеньях.

Многие из тех, с кем говорила я тогда, действительно поддерживали курс советского правительства. Они верили, что в Чехословакии идет процесс реставрации капитализма, что существует реальная угроза вторжения в Чехословакию западногерманских войск. Кроме того, часто приходилось слышать и такие аргументы:

— Мы за них кровь проливали, они нам обязаны спасением от фашизма, а теперь они нас же и предают.

Но хотя людей, веривших в это, было много, я вовсе не уверена, что их было большинство. Не менее часто приходилось сталкиваться с теми, для кого процесс либерализации в Чехословакии перестал быть событием внешней политики. Они воспринимали Пражскую весну как пример, вселяющий надежду на более свободную жизнь и внутри нашей страны.



Чехам в то время завидовали, ими восхищались.

Либеральная интеллигенция восприняла вторжение советских войск в Чехословакию как национальную трагедию нашей страны и как ее национальный позор.

Судья Лубенцова была из тех, кто верил советской пропаганде и оправдывал вторжение советских войск, считая эту акцию советского правительства разумной и даже необходимой. В ее глазах демонстрация на Красной площади была преступной, даже если формально она ни под какую статью Уголовного кодекса не подпадала. Тут действовало то самое «социалистическое правосознание», руководствоваться которым закон обязывает судей (статья 16 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР). А правосознание советских судей — «это прежде всего отражение в их сознании партийных и государственных идей» (Комментарии к статье 16 Кодекса).

Лубенцова считала справедливым, что участников демонстрации на Красной площади судят; считала, что они заслуживают наказания. Но в то же время это ее убеждение носило несколько общий, абстрактный характер и не отражалось на личном отношении к подсудимым.

Как-то за несколько дней до начала нашего дела я была в одном из народных судов Москвы. О женщине-судье, с которой мне надо было встретиться, адвокаты говорили:

— Она такая жалостливая! Оправдывать она не любит, но зато и суровых приговоров не выносит.

Так вот эта «жалостливая» судья сказала мне:

— Если бы я была в то время на Красной площади, я собственными руками вырвала бы их бесстыжие глаза и сделала бы это с удовольствием!

Ее лицо при этом выражало такую неподдельную ненависть и жестокость, что заподозрить ее в неискренности было нельзя. Я ничего ей не возразила. Смолчала и тогда, когда присутствовавший при этом разговоре юноша-секретарь судебного заседания сказал:

— Как вы можете так говорить! Ведь даже слушать вас и то стыдно...

Я смолчала потому, что чувствовала — стоит мне заговорить, и я не смогу сдержать себя, удержаться в нужных рамках корректности. Да у меня и не могло быть с ней общего языка, не было надежды на взаимопонимание.

Уже после суда, когда Лариса, Павел и Константин Бабицкий были осуждены на долгие годы ссылки, некоторые судьи выражали недовольство неоправданной, на их взгляд, «мягкостью» приговора:

— Их не в ссылку надо было, а в лагерь, да еще строгого режима, вместе с отпетыми уголовниками. А ссылка — это разве наказание для таких негодяев?!

Уверена, что Лубенцова подобных чувств не испытывала. Во всяком случае, никогда — ни в разговорах с ней до суда, ни в ее поведении в судебном заседании, ни во время многих и достаточно откровенных с ней разговоров об этом деле уже после суда — я не почувствовала проявления пренебрежения или презрения к подсудимым, сожаления, что ей пришлось наказать их недостаточно сурово.

Насколько я знаю, дело о демонстрации на Красной площади было первым политическим процессом в судебной практике Лубенцовой. Поставленная в условия, при которых ничего не могла решать сама, когда ей заранее было указано и то, что нужно осудить всех подсудимых, и то, по каким статьям и к какому сроку наказания каждого из них, она приняла эти условия как естественные для такого необычного дела и ничем не унижающие ее судейского достоинства.

В своем неизменном скромном костюме она сидела за судейским столом, не проявляя волнения, недовольства или повышенного раздражения. Лубенцова исполняла отведенную ей роль руководителя судебной постановки с профессиональным умением, но, как мне кажется, безо всякого интереса. Судья, которую всегда интересовал вопрос: почему? — здесь не только избегала его задавать, но и весьма неохотно выслушивала объяснения подсудимых, как только они пе-

реходили к мотивам или причинам своих действий. Она отказывала адвокатам и подсудимым в удовлетворении всех существенных ходатайств с короткой, но вполне категорической формулировкой:

— Суд не видит в этом необходимости.

И она была права. В этом действительно не было необходимости. Каким бы ни оказалось содержание документов, об истребовании которых просила защита, какие бы показания ни дал в суде свидетель, о допросе которого ходатайствовали обвиняемые, все подсудимые все равно были бы осуждены с той формулировкой обвинения, которая была одобрена и утверждена еще до суда.

Каждый советский адвокат может привести не менее вопиющие примеры, когда судья отбрасывает как несущественное все то, что говорит в пользу обвиняемого, даже не пытаясь проверить обоснованность обвинения в той или иной его части. Но ведь Лубенцова не принадлежала к числу таких судей. Для нее эта тенденциозная манера ведения судебного следствия, когда все было подчинено заранее принятому решению, была исключением.

После дела о демонстрации на Красной площади Лубенцовой часто поручали рассматривать политические дела, но я уже в них не участвовала. Знаю только из рассказов моих коллег, что она из процесса в процесс игнорировала не только все спорное, но и все то, что, безусловно, свидетельствовало в пользу обвиняемых. Сначала это не отражалось на ее поведении в обычных уголовных делах. Но приобретенная при рассмотрении политических дел привычка к нарушению закона оказалась мстительной. Все чаще и все более четко стали проявляться не свойственные ей раньше черты бездушного чиновника.

— Лубенцова уже не та,— говорили не только адвокаты, но и прокуроры и даже секретари судебных заседаний.

Прошло несколько лет, и стали забывать о времени, когда участвовать в деле под ее председательством было удачей. Когда можно было сказать подсудимому:

— Вам повезло, ваше дело будет рассматривать хороший судья.

* * *

Но вот ровно в 9 часов в переполненном до отказа зале раздается:

— Подсудимая Богораз — доставлена.

— Подсудимый Литвинов — доставлен.

— Подсудимый Делонэ — доставлен.

— Подсудимый Бабицкий — доставлен.

— Подсудимый Дремлюга — доставлен.

Это судья Лубенцова называет каждого из подсудимых, а секретарь свидетельствует о том, что он доставлен в судебное заседание.

В первые минуты слушания дела я волнуюсь больше обычного. Сейчас я защитник Ларисы Богораз и Павла Литвинова. Пройдет несколько минут, и у меня останется один подзащитный — Лариса заявит суду, что будет защищаться сама. Первый раз в моей жизни подзащитный будет отказываться от моих услуг. И хотя я знаю, что Лариса заявит это ходатайство абсолютно корректно, все же не могу отделаться от неприятного чувства уязвленного самолюбия.

Остальные ходатайства общие у всех подсудимых и их адвокатов. Их несколько. Мы просили:

1. Включить в список лиц, подлежащих допросу в судебном заседании, дополнительно 6 свидетелей.

Советское право не знает понятий «свидетель обвинения» и «свидетель защиты». Закон обязывает следователей включать в список свидетелей для вызова в суд как тех, кто дает показания против обвиняемых, так и тех, кто свидетельствует в их пользу.

Свидетели Леман, Великанова, Медведовская, Баева, Русаковская, Панова были допрошены на предварительном следствии. Все они дали показания в пользу подсудимых. Ни одного из них следователь в список не включил.



2. Направить дело на доследование для объединения его с делом Виктора Файнберга. Это повторение того ходатайства, которое мы заявляли при ознакомлении с делом.

3. Направить дело на доследование для установления лиц, производивших задержание обвиняемых, и расследования правомерности их действий.

Суд удовлетворил ходатайство Ларисы и предоставил ей право защищаться самостоятельно. Частично удовлетворил наше ходатайство о вызове свидетелей. Из шести человек, о допросе которых мы просили, вызвали трех — Лемана, Великанову и Медведовскую. Во всех остальных ходатайствах нам было отказано.

Оглашается обвинительное заключение.

Потом начнутся допросы подсудимых и свидетелей. Наверное, сейчас последний момент, когда могу представить подсудимых читателю, пользуясь тем, что считал необходимым сообщить о них следователь, и тем, что сообщили они сами о себе.

Владимир Дремлюга. Ему 28 лет. Из тех сведений, которые он сообщил о себе, знаю, что в 1958 году он был исключен из комсомола за «разрушение советской семьи, неуплату членских взносов». Кроме того, он был исключен из Ленинградского университета с формулировкой: «За поведение, недостойное советского студента». Подлинной причиной исключения была следующая история.

Дремлюга жил в коммунальной квартире. Его соседом был бывший сотрудник КГБ, к которому, судя по всему, Владимир особых симпатий не испытывал. Дремлюга договорился со своим товарищем, и тот передал через соседа письмо, на конверте которого было написано: «Капитану КГБ Владимиру Дремлюге». Эта, на мой взгляд, не самая удачная шутка была расценена как дискредитация органов государственной безопасности и повлекла за собой исключение из университета.

Официальная характеристика Дремлюги дополняется тем, что он был судим за совершение уголовного преступления — перепродажу автомобильных покрышек, и тем, что во время обыска у него был изъят вполне внушительный по количеству имен «донжуанский» список.

Это все из материалов дела. А в памяти лицо Владимира, полное живого интереса ко всему окружающему, и его шутки во время перерывов, и никакого уныния, никакой растерянности. И то, как уже на второй день процесса Владимир говорит мне, показывая на сидящих в зале двух действительно очень красивых девушек:

— Не правда ли, эта особенно мила?.. Неужели вы находите ту более красивой? И знаете — я влюблен. Не смейтесь, Дина Исааковна! Я действительно влюблен...

Константин Бабицкий, 39 лет. Он окончил два высших учебных заведения, он математик и филолог. Научный работник, опубликовавший 12 работ. К моменту ареста еще три написанные им научные работы были приняты к печати. У Бабицкого жена и трое детей. Старшему 15 лет, младшему — 10.

Это тоже из материалов дела.

А в памяти выражение сосредоточенности и углубленности в себя. Интеллигентная и очень достойная манера, в которой он отвечает на вопросы и дает показания. И глубокая убежденность, звучащая в голосе, когда он, обращаясь к суду, говорит:

— Вы видите перед собой людей, взгляды которых в чем-то отличаются от общепринятых, но которые не меньше других любят свою родину и свой народ и потому имеют право на уважение и терпимость.

Вадим Делонэ, 21 год. «Холост, образование среднее, без определенных занятий, судим».

После первого судебного процесса Вадим уехал из Москвы и учился в Новосибирском университете. Писал стихи. Дважды был награжден за свое творчество премиями.

Летом 1968 г. решил вернуться в Москву. 12 августа он получил паспорт с временной московской пропиской. 25 августа он был арестован — в его распоряжении было 8 рабочих дней для трудоустройства. Он уже подыскал и место будущей работы, но оформить его там не успели. И следователь записал в его анкетных данных: «Без определенных занятий».

Я не видела Вадима с того самого дня — 1 сентября 1967 г., когда его освобождали из-под стражи в зале Московского городского суда. Тогда передо мной был мальчик, которого я жалела. Теперь серьезный, спокойный человек, обретший уверенность в правоте своего поступка.

Изменился стиль его показаний. Слова, которые он употреблял, стали строже, исчезли изысканность и артистичность — появились сдержанность и уверенность. То, что он говорил, звучало не менее искренне, чем тогда, когда слушала его впервые. Он не утратил, а приобрел. И этим приобретением было чувство собственного достоинства.

Павлу Литвинову 28 лет. «Образование высшее, по профессии физик, без определенных занятий, на иждивении сын восьми лет».

Литвинов — фамилия в Советском Союзе широко известная. Максим Литвинов был одним из самых активных деятелей еще старой, дореволюционной большевистской партии. Он был крупнейшим советским дипломатом, в течение долгих лет — Народным комиссаром иностранных дел, представлял Советский Союз в Лиге Наций, был послом в США.

Павел — его внук.

Жизнь Павла была вполне благополучной. Окончил университет, работал ассистентом на кафедре физики. Любил своих учеников, и они любили его. Так было до тех пор, пока он не стал активным участником правозащитного движения. В результате увольнение из института, где он преподавал, невозможность устроиться на работу. И все же его нельзя было назвать человеком «без определенных занятий». Он давал частные уроки физики, имел постоянный заработок, который обеспечивал ему скромное, но все же независимое существование.

Весь последний год до ареста Павел жил под постоянным наблюдением агентов КГБ, которые следовали за ним буквально неотлучно. Они не отрывались от него ни на минуту. Дежурили около его дома, ждали его выхода, сопровождали его на улице, в троллейбусах, метро. Следовали за ним в специальной оперативной машине, если он ехал на такси. Это не с чужих слов рассказываю — сама видела, когда Павел приходил ко мне в юридическую консультацию.

Ларисе 39 лет. Она кандидат наук, ученый.

Лариса мой друг. Я знаю ее не в пример лучше, чем других обвиняемых. Я люблю ее за мягкость и доброту, за верность в дружбе, за готовность помочь каждому, кто в ее помощи нуждается. Как-то один очень недоброжелательно относящийся к ней человек сказал мне:

— Я согласна с вами, что она мужественная женщина, но она плохая мать и плохая дочь. Разве не должна была она подумать о сыне и о старых родителях?

Я уверена, что этот упрек жесток и очень несправедлив.

> «Очень много думаю о Санюшке и не только думаю, а все время вспоминаю, каким он был тогда, каким вот тогда. Знаешь, всегда хорошим. Я его очень люблю. А сейчас — с особой нежностью и болью...»
> «У меня к тебе большая непрофессиональная просьба. Милая, звони время от времени моим родителям,— просто чтобы утешить их, развлечь, дать возможность поговорить обо мне. Не могу отвлечься от мысли о том, как им сейчас трудно».

Так писала мне Лариса из своей далекой ссылки, где мучительно тяжелый быт и полное одиночество.

Сколько нежных слов о Санюшке, о родителях пришлось мне услышать от Ларисы в часы наших с ней свиданий до и после суда! В них не



только любовь к ним, но и постоянная забота, беспокойство и подлинная боль из-за причиненного им горя.

Тогда, в первые часы судебного заседания, слушая скупые сведения, которые каждый из подсудимых сообщал о себе, я все время думала: «Какие они разные, ни в чем не похожие друг на друга...»

А теперь показания в суде (в том же порядке, который избрала, рассказывая о каждом из них).

Владимир Дремлюга:

> «Я решил принять участие в демонстрации уже давно, еще в начале августа. Решил, что, если в Чехословакию войдут войска, я буду протестовать...
> Всю свою сознательную жизнь я хотел быть человеком, который спокойно и гордо выражает свои мысли. Я знал, что мой голос прозвучит диссонансом на фоне общего молчания, имя которому «всенародная поддержка партии и правительства». Я рад, что нашлись люди, которые вместе со мной выразили протест. Если бы их не было, я вышел бы на площадь один...»

Константин Бабицкий:

> «Полагая, что ввод советских войск в Чехословакию наносит прежде всего вред престижу Советского Союза, я считал нужным донести это свое убеждение до сведения правительства и граждан. Для этого в 12 часов 25 августа я явился на Красную площадь...
> Я шел на Красную площадь с полным сознанием того, что я делаю, и с пониманием возможных последствий».

Вадим Делонэ:

> «21 августа я узнал о вводе советских войск в Чехословакию и был возмущен этой акцией правительства... Мне казалось, что если я не выражу своего протеста, то тем самым своим молчанием поддержу это действие... Я не стыдился и не стыжусь сейчас, стоя перед судом, своих действий, своего участия в протесте против ввода советских войск в Чехословакию».

Павел Литвинов:

> «21 августа советские войска перешли границы Чехословакии. Я считаю эти действия советского правительства грубым нарушением норм международного права... Мне очевиден ожидающий меня обвинительный приговор. Этот приговор я знал заранее — еще когда шел на Красную площадь. Тем не менее я вышел на площадь. Для меня не было вопроса — выйти или не выйти?»

Лариса Богораз:

> «Мой поступок не был импульсивным. Я действовала обдуманно, полностью отдавая себе отчет в последствиях своего поступка... Именно митинги, радио, сообщения в прессе о всеобщей поддержке побудили меня сказать:
> — Я против, я не согласна.
> Если бы я этого не сделала, я бы считала себя ответственной за действия правительства».

Мне кажется, более того — я почти уверена, что если бы написала эти выдержки из показаний единым потоком, то вряд ли кто-нибудь мог определить, какие слова из приведенных мною принадлежат исключенному из комсомола Дремлюге, а какие — серьезному ученому Константину Бабицкому. Что говорил начинающий жить студент Вадим Делонэ, а что — зрелый человек, кандидат наук Лариса Богораз. Общая нравственная основа их подвига как бы сравняла их, определив и общую позицию, и общий стиль поведения в суде.

Дело о демонстрации на Красной площади было третьим политическим процессом в моей практике. В первых двух КГБ удавалось противопоставить

одних обвиняемых другим. В этом же деле, хотя и были объединены очень разные люди с разным жизненным опытом и разной степенью образованности, я не могу выделить никого, ни за кем не могу признать преимущества в мужестве, стойкости и нравственности занятой позиции.

Среди подсудимых не было главных и второстепенных, не было организаторов и вовлеченных. Не было и сомневавшихся или раскаявшихся. Каждый из них был готов разделить судьбу остальных. В этом несомненная особенность судебного процесса о демонстрации на Красной площади.

* * *

Первый день судебного процесса мы работали с 9 часов утра до 7 часов 30 минут вечера. Второй день не легче — начали судебное заседание в 10 часов утра, а закончили в 10 часов 45 минут вечера — почти 13 часов напряженной работы в переполненном, непроветриваемом зале. Каждые 2—2 с половиной часа перерыв на 10 минут. Для меня и Каллистратовой вожделенный перекур. Но и на это времени хватает далеко не всегда. Перерыв — время, когда их родственники окружают нас с бесчисленным количеством одинаковых вопросов.

— Как прошел допрос?

— Какое впечатление от свидетеля?

Но если бы даже не это, передохнуть за эти 10 минут невозможно — просто негде. Небольшой коридор, плотно забитый людьми, грязно и шумно. Специальной комнаты для отдыха адвокатов в судах не бывает. Выйти на воздух тоже нельзя — такая толпа окружает здание.

В середине дня — обеденный перерыв. Состав суда, прокурор и все руководство уехали обедать в какую-то «закрытую» столовую. Их отвезли туда на черных «Волгах» — машинах КГБ. (На этих же машинах их вечером развозили по домам.)

Мы, адвокаты, во время обеденного перерыва остаемся в суде. Нам идти некуда. Поблизости ни кафе, ни ресторана.

После такого дня вернулась домой усталая и голодная. А дома — телефонные звонки. Сколько их было в тот первый вечер после суда, сосчитать невозможно. Друзья:

— Диночка! Я знаю, что ты очень устала, но хоть несколько слов — как там?

Знакомые:

— Дина Исааковна, простите, что отрываю вас, знаю, что очень устали. Но хоть несколько слов — как там?

И знакомые моих друзей, и друзья моих подзащитных — каждый со своим вопросом:

— Как там? Как прошел первый день суда?

А потом, уже ночью, когда все спят, я сижу в кухне, пью черный кофе, курю и, конечно, раскладываю пасьянс из материалов дела.

А перед глазами опять суд и лица свидетелей, и даже слышу их голоса. Как будто кто-то взялся специально для меня повторить эти, больше всего бьющие по нервам кадры, перемешав их порядок, нарушив последовательность.

— Свидетель, сообщите суду ваше место работы и занимаемую должность.

— Вопрос снимаю. Свидетель, можете не отвечать.

Это судья Лубенцова снимает вопрос, которым судьи во всех процессах сами начинают допросы свидетелей, но который именно этому свидетелю не был задан.

И уже следующему свидетелю:

— Сообщите суду место вашей работы и занимаемую должность.

— Вопрос снят. Можете не отвечать.

Так поочередно допрашиваем свидетелей Долгова и Иванова — «сотрудников» воинской части 1164.



— Свидетель Долгов, видели ли вы 25 августа на Красной площади своих знакомых или сослуживцев?

— Нет.

— Есть ли знакомые среди вызванных в суд свидетелей?

— Нет.

— Знаете ли вы Иванова?

— Нет.

— Знакомы ли вы с Веселовым, Богатыревым и Васильевым?

— Нет.

Он стоит перед судом, чуть повернув к нам голову. Он знает, что всем нам — судье, прокурору и адвокатам — ясно, что он лжет, но он нисколько не волнуется, не боится разоблачения. Когда Долгов произносит свое очередное «нет», он смотрит на нас и улыбается какой-то даже обезоруживщей своей наглостью улыбкой. Как бы говорит нам: «Не верите? Ну и не верьте. А все равно сделать вы ничего не можете».

И молчит судья Лубенцова, и не говорит ему: «Что вы, свидетель! Как можно поверить, что вы не знакомы ни с одним из ваших сослуживцев, которые 25 августа в 12 часов вместе с вами были у Лобного места?»

И прокурор тоже молчит. И мы должны подавлять в себе буквально захлестывающее нас чувство ненависти и отвращения и к этой лжи, и к тем, кто ее защищает.

— Свидетель Иванов, вы знакомы со свидетелем Долговым?

— Конечно, мы ведь вместе с ним работаем.

— Свидетель Долгов тоже знает вас?

— Ну как же! Я знаю его, и он знает меня.

— Свидетель Васильев вам тоже знаком?

— Да.

— А свидетель Богатырев?

— Да, и его знаю.

— Видели ли вы этих ваших знакомых 25 августа на Красной площади?

— Нет, никого не видел.

И опять у меня перед глазами лицо свидетеля Долгова и его улыбка, как будто он говорит нам: «Но вы ведь и без Иванова знали, что я вру. Но и он не говорит правды — ведь не сказал же он, что видел меня на площади. И не скажет. И другие не скажут. Так что волноваться нечего».

Лубенцова — судья, который прекрасно умеет вести перекрестный допрос. Она любит острые ситуации в судебном следствии, когда целой серией вопросов заставляет свидетеля отказаться от лжи и сказать правду. А здесь...

Спокойно слушает она эти взаимоисключающие друг друга ответы и не обращается к Долгову со своим обычным: «Как согласовать ваши показания с показаниями свидетеля Иванова?» Или: «Кто же из вас, свидетель, сказал суду правду? Кому из вас мы должны верить?»

Для адвокатов и подсудимых важно было доказать, что свидетели Долгов и Иванов лгут хотя бы в этой части, чтобы подорвать доверие к остальным их показаниям. Важно было иметь право сказать суду, что это недобросовестные свидетели и на их показаниях нельзя строить обвинения. Но та борьба, которую мы вели, имела и другие цели.

Чтобы понять их, нужно прежде всего ответить на вопросы: для чего защита стремилась доказать, что Долгов, Веселов, Иванов и другие являются сотрудниками КГБ или Министерства внутренних дел (милиции) и почему вопреки закону прокуратура и суд с невероятным рвением пытались это скрыть?

В советском суде тот факт, что свидетель является сотрудником КГБ или милиции, никак не обесценивает значимость его показаний. Приговоры по множеству уголовных дел основываются целиком или в основном на показаниях оперативных работников милиции и уголовного розыска.

Что мешало свидетелям просто сказать суду:

— Да, мы сотрудники КГБ. В нашу обязанность входило наблюдение за порядком на Красной площади. Мы считали, что сидячая демонстрация нарушает порядок, и задержали демонстрантов.

Или еще более правдиво:

— Мы провели задержание по прямому указанию руководивших нами сотрудников КГБ.

И назвать их имена. Имена тех лиц, об установлении которых защита ходатайствовала еще при изучении дела и вновь повторила это ходатайство в суде.

Но власти не хотели открыто признавать, что считают мирную демонстрацию преступлением. Им выгодно было перенести ответственность за разгон демонстрации и избиение демонстрантов на простых советских граждан. Они ограждали себя от надоевших упреков Запада в том, что Советское государство нарушает конституционные права своих граждан, и получали вместе с тем возможность использовать разгон демонстрации как наглядный пример «единодушного одобрения всем советским народом политики партии и правительства».

Власти требовали от суда осуждения демонстрантов. Но требовали сделать это таким образом, чтобы никто не вправе был сказать;

— Их осудили за демонстрацию.

Вся конструкция обвинения была подчинена этой задаче. Весь ход процесса преследовал эту цель. Противоречия в показаниях свидетелей Долгова и Иванова ослабляли эту конструкцию. Повторения подобного руководители процесса допустить не могли. И выход из положения, вполне примитивный, но зато абсолютно радикальный был найден незамедлительно.

По распорядку работы, который был принят судом, допрос остальных свидетелей — сотрудников воинской части — был назначен на 10 октября.

Весь этот день, допрашивая разных свидетелей, мы помнили, что впереди допрос Веселова, Васильева, Богатырева. Готовились к нему, обсуждали тактику постановки вопросов. И вот все свидетели уже допрошены, остались только эти трое.

Единым движением мы, адвокаты, перевернули страницы наших досье, чтобы иметь перед глазами протоколы допросов этих свидетелей на предварительном следствии. Но в тот же момент услышали спокойный голос Лубенцовой:

— Суд ставит стороны в известность: свидетели Веселов, Богатырев и Васильев неожиданно выехали из Москвы в служебную командировку. Суд ставит на обсуждение вопрос о возможности закончить дело в их отсутствие.

Ни один руководитель учреждения не вправе воспрепятствовать свидетелю явиться в суд. Никто не взял бы на себя ответственность отправить сразу трех свидетелей в командировку, не получив на это специального разрешения. Несомненно, что реализацию такого «выхода из положения» взяли на себя те работники КГБ, которые осуществляли оперативное руководство всем ходом нашего процесса. Но несомненно также и то, что решение это принималось согласованно с руководством суда. В противном случае Лубенцова поступила бы так, как этого требовал закон: она потребовала бы вызвать свидетелей из командировки, признала бы невозможным закончить рассмотрение дела в их отсутствие.

Все подсудимые, защита в полном составе настойчиво ходатайствовали, чтобы явка этих свидетелей была обеспечена. Если бы слушалось обычное дело, Лубенцова такое ходатайство, несомненно, удовлетворила бы. Ведь неполнота судебного следствия — основание для отмены приговора и направления дела на новое рассмотрение. В деле о демонстрации Лубенцова этого не боялась. Она знала, что Верховный суд РСФСР все равно утвердит обвинительный приговор, и в ходатайстве нам отказала.

Так же просто и молниеносно решились и другие спорные вопросы, возникавшие в ходе судебного следствия.

Показания работника милиции Стребкова, который 25 августа нес службу на патрульной машине на Красной площади, неопровержимо доказывали, что демонстрация не создавала препятствий нормальной работе транспорта.

Цитирую показания Стребкова в суде по официальному протоколу судебного заседания (листы дела 56—57).



> «25 августа нес патрульную службу на Красной площади на автомашине «Волга». В 12 часов получил распоряжение срочно подъехать к Лобному месту. В этот день был допуск граждан в мавзолей, и проезд через площадь обычных машин был полностью закрыт.
>
> Правительственные машины могут следовать через Красную площадь, но это в другом месте. Задержанные граждане и толпа, собравшаяся вокруг них, стояли в стороне. Если машины шли из Кремля, проезд для них был свободным. Толпа им не мешала».

Значение показаний Стребкова для защиты не только в том, что они опровергали сам факт нарушения работы транспорта. Такие показания на предварительном следствии давали многие свидетели. Но все они обычные граждане. Суду было просто отвергнуть их показания, сославшись на то, что внимание этих свидетелей было обращено на демонстрантов, а не на проезжавшие машины. Кроме того, рапорт сотрудника ОРУДа Куклина, безусловно, имел преимущество при оценке судом доказательств по этому вопросу. Но свидетель Стребков не простой свидетель. Он специалист, знающий по роду своей работы правила движения транспорта на Красной площади. Наиболее ценным в его показаниях было утверждение экспертного характера:

> «Нарушения работы транспорта не только не было, но и не могло быть».

Теперь нам надо было только ждать допроса Куклина, которого вызвали на следующий день — 10 октября, чтобы путем перекрестного допроса этих двух свидетелей (Куклина и Стребкова) полностью опровергнуть рапорт Куклина, то есть то единственное доказательство виновности подсудимых в нарушении работы транспорта, которое было в распоряжении суда.

Но ничего этого не произошло. Вновь «руководство» и суд нашли самый простой для них выход из этой опасной для обвинения ситуации.

Определением суда, несмотря на возражения подсудимых и защиты, Стребков был освобожден от дальнейшей явки в суд.

И вот на следующий день — 10 октября — допрашивается свидетель Куклин. Задают вопросы адвокаты и подсудимые. (Протокол судебного заседания, листы дела 72—74.)

Вопрос: — Когда вы написали и подали рапорт о событиях на Красной площади 25 августа?

Ответ: — В тот же день, 25 августа.

Вопрос: — Уточните время его написания.

Ответ: — Вечером, после того как сдал смену.

Вопрос: — Чем объяснить, что рапорт датирован 3 сентября, а не 25 августа?

Ответ: — Это второй рапорт.

Вопрос: — Чем объяснить, что вы писали два рапорта об одних и тех же событиях?

Ответ: — Первый рапорт был неполный.

Вопрос: — Где находится ваш первый рапорт?

Ответ: — Не знаю. Я его передавал своему начальству (начальнику четвертого отдела ОРУДа). Потом мне сказали, что его передали следователю.

Вопрос: — Вы писали второй рапорт по собственной инициативе или кто-нибудь предложил вам это сделать?

Ответ: — Начальство мне сказало, что первый рапорт нужно дополнить.

Вопрос: — Чем нужно было дополнить первый рапорт?

Ответ: — Что главная помеха в нашем деле — затор транспорта.

Вопрос: — Когда вам было дано указание о необходимости дополнить рапорт?

Ответ: — Я писал второй рапорт сразу после того, как мне начальник об этом сказал, значит, 3 сентября.

Далее в протоколе записано:

«По ходатайству защиты суд удостоверяет, что допрос свидетеля Куклина на предварительном следствии (том 1, лист дела 69) датирован 27 сентября 1968 года».

Даже самый далекий от работы правосудия человек не может не понять, что показания Куклина в суде полностью дискредитировали содержавшееся в его втором рапорте дописанное им по указанию руководства утверждение: «Эта группа мешала движению транспорта».

В этих условиях для того, чтобы исключить всякие сомнения и возможность судебной ошибки, защите и объективному суду было необходимо ознакомиться с подлинным документом — с тем рапортом, который Куклин писал по собственной инициативе, по собственному разумению и в самый день события.

По советскому закону вся первичная документация, относящаяся к событию преступления, обязательно приобщается к делу. Это гарантирует суду и сторонам возможность самостоятельно анализировать содержание этих документов. В нашем деле таким первичным документом был рапорт инспектора ОРУДа Куклина от 25 августа. Поэтому вся защита и все подсудимые заявили ходатайство об его истребовании. Такое ходатайство подлежало безусловному удовлетворению.

И вновь суд выносит определение:

«...в ходатайстве об истребовании рапорта инспектора ОРУДа Куклина от 25 августа отказать, так как суд не видит в этом необходимости».

Последовательно и целеустремленно охранял суд все то, что подкрепляло обвинение. У адвокатов оставалась только одна возможность, один метод защиты — критика собранного следователем обвинительного материала.

Самое важное для меня, когда анализирую показания уже допрошенных свидетелей, это «забыть». Забыть внешность свидетеля, интонацию, с которой он дает показания. Забыть все то, что создает эмоциональное воздействие свидетельских показаний, вызывает симпатию или антипатию. Чтобы не позволить себе слишком поспешно принять на веру показания благожелательного свидетеля либо так же поспешно отвергнуть как не заслуживающие доверия показания «недругов».

Так и в этот раз. Стоило мне заставить себя отрешиться от неприязни к свидетелям обвинения — Долгову, Иванову, Давидовичу и другим, забыть откровенно издевательский тон, которым Долгов отвечал на наши вопросы: «Нет, никого из знакомых на Красной площади не видел. С Ивановым не знаком. Веселова не знаю»; стоило забыть внешность Давидовича — его пересеченное шрамом лицо,— как я видела, что нет ничего страшного в тех показаниях, которые давали эти столпы обвинения.

Изобличающую, обвинительную силу их показаниям придавали не факты, а оценки. «Поведение этих лиц было безобразным», «они вели себя провокационно», «я, как и все граждане, был возмущен их наглым поведением». Но суд не вправе пользоваться оценкой события, которую дает свидетель. Обязанность суда — самостоятельно оценивать доказательства, то есть сообщенные свидетелями факты. И я должна, как потом обязан это сделать и суд, освободить показания свидетелей от всего второстепенного, оставляя в них только то, что прямо относится к ответу на вопросы, нарушили ли подсудимые общественный порядок, имело ли место нарушение нормальной работы транспорта.

Показания в суде свидетеля Долгова (лист дела 59 — оборот 60):

«Увидел всю эту группу. Они держали в руках плакаты. Собралась толпа. Люди, окружавшие их, возмущались, выкрикивали в их адрес оскорбления. Когда их задерживали, сопротивления с их стороны не видел. К Лобному месту подошли машины, в которые посадили задержанных».

Показания свидетеля Иванова в суде (лист дела 62—62 оборот):



«Увидел на Красной площади толпу. Подбежал к Лобному месту. Вокруг них собралась толпа человек 30. Народ возмущался. Я помог посадить Дремлюгу в машину. Он сопротивлялся, это выражалось в том, что не хотел идти, упирался».

Показания свидетеля Давидовича в суде (листы дела 64 оборот — 65):

«Они сидели у Лобного места и держали лозунги провокационного характера. В течение двух-трех минут они громко обращались к собравшимся с речами митингового характера. Один из сидящих сказал, что ему стыдно за наше правительство. Я помог посадить одного из них в машину — он сопротивлялся».

А вот показания еще одного свидетеля обвинения, на объективность которого, несомненно, будет ссылаться прокурор: он не сотрудник воинской части 1164, не работник милиции; он просто один из толпы. Один из тех, кто действительно был возмущен демонстрацией.

Показания свидетеля Федосеева в суде (листы дела 65—66):

«Они сидели у Лобного места с провокационными плакатами. Подошли машины, и их туда посадили. У одного из задержанных лицо было в крови (Файнберг). Когда его сажали в машину, он крикнул: «Долой правительство тиранов!»

Кроме того, один сказал, что ему стыдно за наше правительство. Больше ничего я не слышал. На все возмущение толпы сидящие ничего не говорили».

Так записаны в официальном протоколе судебного заседания показания самых агрессивных свидетелей обвинения в их наихудшем для подсудимых виде. В том виде, в каком будут лежать они перед составом суда в часы вынесения приговора.

Многое из того, что эти же свидетели отвечали на вопросы адвокатов, в протоколе не записано. Это тоже не случайность. Председательствующий не только следит за тем, как секретарь записывает показания, но и проверяет весь протокол, указывает, что нужно добавить, что, наоборот, убрать. Иногда по указанию судьи секретарь переписывает целые страницы протокола, иногда вставляет в него или вычеркивает целые фразы.

Так из протокола судебного заседания по делу о демонстрации на Красной площади были выброшены все упоминания о работниках КГБ, которые принимали участие в задержании демонстрантов.

Я, как и все адвокаты, веду во время судебного заседания свой, неофициальный протокол, в который записываю самое важное из показаний свидетелей. В моем протоколе записано:

Свидетель Стребков. «В отделении милиции, куда я доставил гражданина Бабицкого, я видел гражданина, который принес плакат «Руки прочь от Чехословакии». Он оказался сотрудником КГБ. Так он сам отрекомендовался. Этого гражданина я видел 25 августа на Красной площади».

Свидетель Давидович. «В задержании участвовали работники оперативной группы (КГБ). Все они были в штатском. Один из них предъявил свое удостоверение».

В официальном протоколе эти показания записаны не были. Но не только это. Официальный протокол по нашему делу искажал показания свидетелей.

Там, где свидетель уверенно говорил, что машины через Красную площадь не проходили, в протоколе записывалось:

«Я не видел, чтобы машины проходили, но было много народа, и я мог не заметить».

Или:

«Я не слышал, говорили ли они что-нибудь, но было шумно, и я мог не услышать».

Это вместо:

«Подсудимые ничего не говорили».

Записи в протоколе, сделанные по этому методу, обесценили такие важные для защиты доказательства, как показания свидетелей Ястребы и Лемана. Но несмотря на это, отбрасывая в сторону все, что говорилось в суде в пользу подсудимых, я с убежденностью пришла к выводу: показания всех свидетелей обвинения даже в том виде, как они записаны в официальном протоколе, не изобличали подсудимых в совершении уголовного преступления.

Описанный мною метод подготовки к защите — метод «отстранения», «взгляда со стороны»,— наверное, совсем не оригинален. Я таким методом пользовалась всегда, но это не научило меня быть равнодушной в суде. В каждом новом процессе я вновь с симпатией и доверием выслушивала благоприятные для моих подзащитных показания, вновь внутренне негодовала, слушая показания свидетелей обвинения, чтобы потом усилием воли на какое-то время забыть, кто «враг», а кто «друг», и выуживать из их показаний по крупицам факты, факты и только факты.

Этот нелегкий для меня процесс разделения того, что воспринимается слитно, как нечто целое, дает очень недолговечный результат. И эмоциональное восприятие возвращается вновь и так и оседает в памяти на годы, а многое даже навсегда. Я не верю, что наступит время, когда забуду и то, что говорила тогда в нашем процессе Татьяна Великанова, и то, как звучал ее голос:

«Они не реагировали даже на то, что их били. Сидели, не поднимая головы. Не сопротивлялись, когда их били ногами. Как будто это не их, как будто они на другом свете».

Помню, как я опустила голову, чтобы никто не заметил моего волнения, когда слушала ее рассказ — рассказ женщины, на глазах которой избивают мужа и которая сумела себя сдержать и не вмешаться, не защитить. Ведь она обязана была выполнить взятую на себя роль свидетеля-очевидца, чтобы потом в суде, неизбежность которого она понимала, иметь возможность рассказать правду о демонстрации.

Помню и то, как постепенно затихал враждебный гул «публики» и наступила тишина, в которую падали полные достоинства слова, сказанные в ответ на вопрос прокурора:

«Я не считала себя вправе его отговаривать. Он поступил так, как требовали его совесть и его убеждения».

(Лист дела 79.)

Эффект, произведенный ответом Татьяны, был для прокурора настолько неожиданным и непонятным, что он растерялся и замолчал. Только после того, как все адвокаты закончили допрашивать этого свидетеля, прокурор попросил у суда разрешения продолжить ее допрос.

Даже сейчас, когда заканчиваю воспоминания об этом необычном деле, мне почти нечего сказать моему читателю о прокуроре. Разве что он обладал резким, неприятным голосом и странной фамилией Дрель. Когда уже после вынесения приговора мои товарищи по консультации просили меня рассказать о судебном процессе, я рассказывала о подсудимых, о суде, об адвокатах, но никогда о прокуроре.

В ходе судебного разбирательства он не задал ни одного нового существенного вопроса, ограничиваясь повторением тех, которые раньше, до него, задавал следователь. Его обвинительная речь...

Но раньше нужно рассказать о том, в каких условиях начались судебные прения.

10 октября, в конце обеденного перерыва, когда публику еще не впустили в здание, я стояла одна в пустом коридоре. В это время из канцелярии вышел



председатель Московского городского суда Николай Осетров и направился в совещательную комнату. Увидев меня, он остановился в нерешительности, а потом подошел.

— Хорошо, что судебное заседание еще не началось,— сказал мне Осетров.— Я хочу предупредить вас и прошу передать остальным адвокатам, что принято решение заслушать речь прокурора и речи адвокатов сегодня.

И, как бы предвидя мои возражения, добавил:

— Перенести прения сторон на завтра мы не можем.

— Еще не закончено судебное следствие, еще не допрошен ряд свидетелей, после которых у защиты возникнут дополнительные ходатайства. Кроме того, нам всем требуется время для подготовки к речам...

— Судебное следствие будет закончено сегодня. Суд объявит небольшой перерыв и даст вам разумную возможность подготовиться к речи. Я думаю, одного часа адвокатам будет вполне достаточно. Не возражайте, товарищ адвокат,— добавил Осетров, видя, что я собираюсь спорить с ним.

А потом, уже не смущаясь тем, что при мне идет в совещательную комнату, Осетров направился передавать судье это новое распоряжение о порядке слушания дела.

Следующим человеком, который сообщил мне эту новость, был председатель президиума Московской коллегии адвокатов Константин Александрович Апраксин. Он вышел из канцелярии почти сразу после того, как Осетров зашел в кабинет к Лубенцовой, и потому не знал, что сообщаемая им «новость» уже не является для меня новостью.

А я слушала его рассказ и думала: «Неужто оба они не понимают, что это непристойно? Неужто привычка к вмешательству партийной власти в дела правосудия так велика, что они даже не пытаются скрыть, что там, «наверху», решают все вопросы, которые должен и вправе решать только суд?..»

От Апраксина я узнала, что речи адвокатов будут стенографироваться.

— Будьте осторожны,— сказал мне Константин Александрович,— обдумывайте каждое слово, каждую формулировку. На вас лежит ответственность перед всей коллегией.

А когда обдумывать?

Ни я, ни мои коллеги, которым я тут же передала весь разговор, не сомневались, что решение это было неожиданным не только для нас, но и для Лубенцовой, Осетрова и Апраксина. Апраксин этого и не скрывал. Когда я упрекнула его, что он не предупредил нас заранее, он откровенно сказал, что сам об этом узнал недавно и что возражать бессмысленно.

После этого разговора суд быстро отказал нам во всех ходатайствах, и судебное следствие объявили законченным.

Через два часа судебное заседание возобновится. Прения сторон откроются речью прокурора. А пока мы, адвокаты, расселись по разным углам зала. Кто сидит за столом и пишет, кто примостился в углу на скамейке, разложив на подоконнике свое досье. Я просто хожу по коридору вперед и назад и опять вперед и назад. В общем-то защитительные речи, их основной стержень, у всех нас готовы давно. Да и накануне каждый из нас дома, как я — за кухонным столом, или лежа без сна в постели, вновь проверял свою аргументацию и обдумывал основные формулировки, чтобы во время речи не «понесло», чтобы суметь удержать себя в рамках допустимого, дозволенного политической цензурой.

Государственному обвинителю, поддерживающему обвинение в таком деле, как наше, было предельно просто произнести демагогическую пропагандистскую речь. Но дать правовой анализ, не отказываясь при этом от обвинения, была задача не просто трудная, но, на мой взгляд, невыполнимая. Наш прокурор перед собой этой задачи не ставил.

Обвиняя подсудимых именем государства в нарушении общественного порядка и клевете, прокурор говорил о «подрывной деятельности международного империализма и в первую очередь США». О том, что «...международный империализм развернул кампанию антисоветской пропаганды по поводу ока-

вания Советским Союзом братской помощи Чехословакии», что «буржуазная пропаганда распространяет клевету против Советского Союза».

Значительная часть речи прокурора была посвящена тому, что Советская армия в годы Отечественной войны освободила Чехословакию от фашистских захватчиков и что плакаты «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия» или «За вашу и нашу свободу» — это надругательство над памятью погибших в тех боях советских воинов. Наш прокурор настолько увлекся политической частью своей речи, что не заметил, как в тех действиях, которые следствие рассматривало как клеветнические и квалифицировало по статье 190-1 Уголовного кодекса, он усмотрел нарушение общественного порядка (статья 190-3 Уголовного кодекса) и, наоборот, ту часть обвинения, которую следствие признавало «действиями, нарушающими общественный порядок», прокурор просил признать клеветой и квалифицировать по статье 190-1.

Свою обязанность доказать обвинение прокурор реализовал в двух фразах:

«Нет надобности доказывать, что эти плакаты носили явно клеветнический характер».

И:

«Наша печать разъяснила всем гражданам прогрессивный характер действий советского правительства, и не понимать это невозможно».

Прокурор решительно возражал против термина «демонстрация» применительно к нашему делу. Он признал, что конституция гарантирует советским гражданам право на свободу демонстраций, но утверждал (и в этом он был абсолютно прав), что партия и правительство признают демонстрацией только то, что организовано или санкционировано властью.

Весь этот набор демагогических фраз и политических лозунгов вполне привычен на митинге. В суде от прокурора, даже по политическим делам, ждут большего. Лубенцова была явно разочарована. С нескрываемой иронией слушала она «правовую» часть речи прокурора и, наверное, досадовала на то, что ей придется заново в приговоре решать вопросы квалификации, так безбожно перепутанные обвинителем.

Но вот наступают минуты, когда прокурор обращается к суду с предложением о наказании.

Все замерли, понимая, что именно сейчас решается судьба подсудимых, что в этом случае устами прокурора Дреля будет говорить государство, послушным рупором которого он является.

Уже перечислены все «нравственные пороки» подсудимых, которым советская власть дала «все», и которые, вместо того, чтобы доверять советским газетам и советскому радио, «черпали порочную информацию из мутных зарубежных источников»; и дальше:

«Учитывая, что Литвинов, Бабицкий и Богораз раньше к уголовной ответственности не привлекались... при избрании меры наказания прошу применить статью 43 Уголовного кодекса РСФСР...»

Чуть повернув голову, я вижу широко раскрытые удивленные глаза Ларисы, слышу чей-то глубокий вздох в зале.

Мы тоже растерянно смотрим друг на друга, когда в какие-то доли секунды каждый думает: «Что это значит? Почему статья 43 Уголовного кодекса, которая дает суду право избрать наказание ниже, чем то, которое предусмотрено в статье? Какое наказание может быть ниже, чем минимальная санкция статьи 190 — штраф до 100 рублей?..»

Но уже слышим:

«Литвинову Павлу Михайловичу — 5 лет, Богораз Ларисе Иосифовне — 4 года, Бабицкому Константину Иосифовичу — 3 года ссылки...



Дремлюге Владимиру Александровичу и Делонэ Вадиму Николаевичу, с учетом прежней судимости, по 3 года лишения свободы каждому».

У меня уже нет времени осознать это невероятное, ранее неизвестное советскому правосудию предложение, когда просьба о смягчении наказания сочетается с увеличением максимального срока, предусмотренного этой же статьей. Но даже в эти мгновения, когда слышу голос Лубенцовой:

— Слово для защиты подсудимого Литвинова предоставляется адвокату Каминской,— и пока встаю и медленно отодвигаю подготовленные и никогда не нужные мне во время произнесения речи тезисы, не перестаю думать: «...Для Ларисы, Павла и Кости ссылка — это почти счастье...»

Перечитывая сейчас стенограммы защитительных речей, я еще раз убеждаюсь, что пересказать судебную речь невозможно. А жаль! Это были действительно хорошие судебные речи. Мои товарищи по защите нашли убедительные аргументы, опровергающие обвинение, и я думаю, что вправе сказать, что общими усилиями всей защиты была доказана правовая несостоятельность обвинения по этому делу.

Мне кажется, что в нашем процессе адвокатов, как и подсудимых, объединяло прекрасное чувство солидарности, готовности помочь друг другу и безусловное уважение к мотивам, которыми руководствовались наши подзащитные. Объединяло нас и чувство ответственности, чувство профессионального долга, которое я, вслед за Константином Бабицким, не побоюсь назвать высоким.

Мне понравились речи всех моих коллег. И речь Софьи Васильевны Каллистратовой, и речи сравнительно молодых адвокатов Юрия Поздеева и Николая Монахова. Впрочем, речи Софьи Васильевны нравились мне всегда. Особенно ценила я безупречную «мужскую» логику ее аргументации и сдержанную страстность в манере изложения. Я любила ее хриплый, «прокуренный» голос, так богатый оттенками.

В каждом, даже самом безнадежном деле она умела найти свое оригинальное и убедительное решение. Недаром про нее говорили: «Каллистратова — адвокат Божьей милостью».

Мне очень понравилась речь молодого, впервые выступавшего в таком ответственном деле адвоката Николая Монахова. Они удивительно подходили друг к другу — адвокат Монахов и его подзащитный Владимир Дремлюга. И общая какая-то бесшабашность характера, и жизнелюбие, и манера шутить.

О своей речи рассказывать труднее всего. Хвалить себя — непристойно, ругать — неприятно. Наверное, в ней были и достоинства, и недостатки. Значительная часть моей речи была посвящена правовому анализу обвинения. Я говорила первой, и уже это одно обязывало меня сделать это от имени всей защиты. Когда-то я этой — чисто правовой — частью, этой новой аргументацией даже немного гордилась. Сейчас это ушло в воспоминания.

Самым трудным для меня тогда, во время произнесения речи, было — удержаться. В этом деле, как ни в одном другом, я полностью разделяла взгляды подсудимых; так же, как и они, считала вторжение в Чехословакию агрессией, оккупацией.

Когда я узнала о вторжении советских войск в Чехословакию, у меня тоже было чувство, что нельзя не крикнуть, не сказать: это позор! Они сумели это сделать, я — нет. Выступая в суде по этому делу, произнося защитительную речь, я испытывала почти непреодолимую (но все же преодоленную) потребность как-то выразить и свое отношение. Эту потребность, вернее, силу ее воздействия на меня, я не осознавала раньше. Готовясь к речи, я полностью исключала для себя возможность в любой, даже самой скрытой, самой замаскированной форме позволить себе его проявить.

Но непрерывное повторение в речи прокурора особенно ненавистного мне тезиса: «Мы за них кровь проливали, а они...», «мы принесли им свободу, а они...» — вызывало чувство протеста. Как будто платой за свободу может

быть рабство. Как будто формой благодарности за нее должно быть добровольное на это рабство согласие.

В своей речи я ответила прокурору так (цитирую по стенограмме):

«Я полностью присоединяюсь к той части речи прокурора, в которой он говорил о великой заслуге советского народа и советской армии. Тогда, в тяжелые годы Великой Отечественной войны, наши люди и наши воины с полным правом могли поднять лозунг «За вашу и нашу свободу»... Я лично считаю, что лозунг «За вашу и нашу свободу» никогда, ни при каких обстоятельствах не может считаться клеветническим.

Я всегда говорю «За вашу свободу и за нашу свободу» потому, что считаю самым большим счастьем для человека — счастье жить в свободном государстве».

Я решила процитировать этот небольшой кусок из моей речи, хотя понимаю, что он не может быть воспринят читателем так, как воспринимался моими слушателями.

То, что я не договорила тогда словами, звучало в долгой паузе, которая оборвала фразу: «Тогда, в тяжелые годы Великой Отечественной войны, наши люди и наши воины с полным правом могли поднять лозунг «За вашу свободу и нашу свободу»...»,— в паузе, неожиданной для меня самой. Я даже сейчас помню, как вдруг оборвался голос, такое внутреннее напряжение испытывала я в эти минуты.

Наверное, в этом секрет эмоционального воздействия, когда недоговоренное, несказанное стало понятно моим слушателям. А то, что это было именно так,— я знаю. Об этом мне сказали тогда мои товарищи по защите, говорили и подсудимые. Сказал мне об этом и представитель «публики».

Закончились речи защиты. Объявлен перерыв до утра.

Я стояла, облокотившись на барьер, отделяющий подсудимых от зала, и смотрела на выходящих. Этого человека я заметила еще издали. Он глядел на меня с такой ненавистью, которая была, наверное, не менее непреодолимой, чем чувства, только что испытанные мною. А потом, поравнявшись со мной, он остановился и отчетливо произнес:

— У, ты... падло.

Я помню крик Ларисы:

— Как вы смеете! Как вы можете так оскорблять адвоката!

Кто-то из подсудимых звал начальника конвоя, чтобы задержать этого человека. Кто-то требовал немедленно составить акт. Я же не испытывала ни огорчения, ни обиды. Было даже чувство удовлетворения. Мне было ясно, что он меня понял.

Но были и другие. В этот же вечер или, вернее, почти ночью — судебное заседание закончилось в 11 часов вечера — ко мне подошли два человека. Это были корреспонденты московских газет, специально командированные на этот процесс. Они назвали мне свои имена — я помню их и сейчас, как дословно запомнила и то, что они тогда мне сказали, настолько странно это было слышать от советских журналистов:

— Это не первый политический процесс, на котором мы присутствуем. Были мы и на всех политических делах с вашим участием. Вы, наверное, осуждаете нас за то, как мы писали о тех делах. Вот поэтому нам и захотелось сказать, что об этом деле мы писать не будем. Статей за нашими подписями в газетах вы не увидите. Мы понимаем, какие это люди.

Через много лет, когда мы с мужем покидали Советский Союз, один из этих журналистов неожиданно напомнил о себе. Случилось так, что во время тяжелой болезни сердца он оказался в одной больничной палате с адвокатом, хорошо знавшим меня. Так ему стало известно, что я уже отчислена из адвокатуры и собираюсь уехать из страны.

Вернувшись из больницы, мой коллега сразу позвонил мне:

— Он так настойчиво просил передать тебе слова признательности и уважения, что я делаю это в первый же день после возвращения домой.



Третий день процесса — последние слова подсудимых, и суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора.

В зале судебного заседания остаются только подсудимые, конвой и мы — адвокаты. Теперь конвой относится к нам значительно либеральнее, чем в первые дни процесса, и мы получаем возможность почти беспрепятственно разговаривать с нашими подзащитными. Это уже не профессиональный разговор — все профессиональные темы на сегодня позади. Они вернутся потом, когда наступит время кассации.

Но это еще будет.

А 11 октября мы сгрудились около деревянного барьера и смеемся вместе с ними, ставшими за эти три дня для нас такими близкими и нужными людьми. И я уже нежно улыбаюсь не только Ларисе и Павлу, но и Косте Бабицкому, которого до начала этого процесса никогда не видела и с которым продолжить наше знакомство мне так и не довелось. Почему-то особенно запомнилось, как мы оживленно обсуждали какой-то особый, мне неизвестный сорт пирожных и как Вадим Делонэ настойчиво советовал обязательно и, главное, незамедлительно их попробовать.

Но помню и то, как, не обращая внимания на ленивые замечания конвоя: «Товарищ адвокат, не разговаривайте с ним — это ведь не ваш подзащитный»,— я говорила Вадиму, что он молодец и как замечательно он сказал свое «последнее слово». И даже каким особенно красивым, даже сияюще красивым было его лицо, когда произносил:

— Я понимаю, что за пять минут свободы на Красной площади я могу расплатиться годами лишения свободы.

Последние слова всех подсудимых были прекрасны. В них больше, чем в цитированных мною раньше показаниях, отражалась индивидуальность каждого из них. Но ни тогда, ни сейчас я не знаю, кому отдать преимущество; не могу решить, кто из них сказал лучше, достойнее. Наверное, каждый слушатель мог выбрать из этих «последних слов» то, которое больше соответствовало его собственным взглядам, характеру и мировоззрению.

Для меня особенно близкими были обращенные к суду слова Бабицкого:

— Я уважаю закон и верю в воспитательную роль судебного решения. Я призываю вас подумать, какую воспитательную роль сыграет обвинительный приговор и какую — оправдательный. Какие нравы хотите воспитать вы: уважение и терпимость к другим взглядам или же ненависть и стремление подавить и унизить всякого человека, который мыслит иначе?

Во время этого же перерыва между мной и председателем президиума Коллегии адвокатов произошел разговор, который может служить забавной иллюстрацией того, какие неожиданные вопросы приходилось решать нашему «штабу».

Случилось так, что, когда Апраксин вошел в зал судебного заседания, кроме меня, никого из адвокатов не было. Он отозвал меня в сторону и тихо, так, чтобы подсудимым не было слышно, сказал:

— Обошлось благополучно. Речами вашими там,— и он поднял палец вверх,— не очень довольны, но неприятностей не будет. Считайте, что пронесло.

(Кстати, не свидетельствует ли такая молниеносная реакция «верхов» на наши речи, что они не только стенографировались, но и транслировались прямо в здание ЦК КПСС через замаскированные микрофоны?..)

А потом, уже более громким голосом, Апраксин продолжал:

— Не уходите сразу после того, как объявят приговор. Вас всех развезут по домам на машинах — мы ведь понимаем, как вы устали.

— Почему именно сегодня, а не вчера, когда закончили работу ночью? — спросила я.— И на каких это машинах нас собираются вывозить?

— Машины для каждого из вас уже обеспечены, так что даже ждать не придется.

Но мною решение уже было принято.

— Я на их машине не поеду.— И в ответ на удивление Апраксина добавила: — Мы — защитники, мы от них отдельно, и выезжать нам отсюда на машинах КГБ было бы просто непристойно.

Мои товарищи, которые к этому моменту вернулись в зал и узнали о сделанном нам предложении, тоже отказались воспользоваться этой «любезностью» КГБ.

Не прошло и нескольких минут, как Апраксин вернулся.

— Пожалуй, вы правы,— сказал он.— Может быть, действительно не стоит вам ехать на этих машинах. Но в здании суда вы задержитесь обязательно.— И опять тихо: — Выходите из суда поодиночке и через задний ход, так, чтобы иностранные корреспонденты вас не увидели. И никаких интервью, помните — никаких интервью.

«Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики... 11 октября 1968 года...»

Как нелепо, что эти слова звучат для меня торжественно! Как нелепо, что я чего-то жду от этого суда, который ничего не решал и решать не мог! Но я волнуюсь и жду, как ждут и волнуются мои товарищи, чтобы через несколько минут пережить всю полноту горечи разочарования. Так, как будто и вправду был суд, как будто могли на что-то надеяться.

Уже слышу: Литвинов — 5 лет ссылки. Богораз — 4, Бабицкий — 3. Дремлюге и Делонэ — лишение свободы. Все, как было известно заранее [1].

Приговор, вынесенный Лубенцовой, отвечал полностью тем требованиям, которые партийные органы ставили перед судом. Слово «демонстрация» ни разу в нем не упоминалось. Все то, что свидетельствовало в пользу подсудимых, все доводы защиты безмотивно были отброшены судом. И хотя Лубенцова употребила все свое умение, чтобы устранить путаницу в юридической квалификации, которая была в обвинительном заключении и особенно в речи прокурора, приговор от этого не стал ни более убедительным, ни более обоснованным, чем первоначальные формулировки обвинения.

В этом неудавшемся стремлении придать приговору хотя бы внешнюю правовую пристойность просто сказался свойственный Лубенцовой профессионализм, как сказался он и в ее отношении к нам, адвокатам, к той линии защиты, которую мы проводили в процессе.

В силу своего «социалистического правосознания» она считала инакомыслие преступлением, но понимала, что защитник должен защищать, и потому смотрела на нашу работу как на закономерное выполнение профессионального долга. В ее отношении к адвокатам не было ни раздражения, ни враждебности. Более того, уже после вынесения приговора она пригласила адвокатов в совещательную комнату специально, чтобы поблагодарить нас «за квалифицированное участие в этом трудном деле».

И вот мы выходим через главный вход в переулок, и нас окружают те самые люди, которые все три дня стояли с утра до вечера на улице, так и не получив разрешения даже войти в здание суда. И иностранные корреспонденты, которые тоже эти три дня стояли на улице и тоже не получили разрешения войти в суд.

Нам преподносят большие букеты цветов, и кто-то торопливо извиняется, что они не такие большие и не такие прекрасные, и объясняет, что какие-то — гораздо лучше — букеты у них украли.

Пожалуй, только мой первый политический процесс, когда защищала Владимира Буковского, не сопровождался большим скоплением народа вокруг здания суда.

Но уже начиная со второго дела — с дела Галанскова и Гинзбурга, приходить к зданию суда стало традицией не только для друзей и близких знакомых подсудимых, но и для очень широкого круга сочувствовавших. Цветы, кото-

---

[1] Виктор Файнберг во время процесса находился на стационарной судебно-психиатрической экспертизе, затем был направлен на принудительное психиатрическое лечение.

Наталия Горбаневская в результате судебно-психиатрической экспертизы была признана невменяемой и отдана под опеку матери. Горбаневская была одним из инициаторов и первым редактором «Хроники текущих событий» (с апреля 1968 года до декабря 1969 года). 24 декабря 1969 года была арестована.



рые приносили адвокатам, тоже стали традиционным знаком признательности. Но такого количества людей, которые пришли, чтобы стоять около здания в дни процесса над демонстрантами на Красной площади, я не видела ни до этого, ни после.

О том, что происходило там, на улице, в часы, когда шла работа суда, я узнала потом из рассказов многих очевидцев. Помимо работников КГБ в штатском и разного рода оперативных работников, многих из которых уже знали в лицо, в этот раз было много рабочих с какого-то из ближайших заводов. Им отводилась роль «возмущенного народа». И для того чтобы они с этой ролью могли справиться возможно успешнее, к их услугам были и бесплатное угощение, и бесплатная водка. Закуска и выпивка для них были приготовлены на специально для этого расставленных столах в соседнем дворе.

Пьяные разнузданные хулиганы — мужчины и женщины — сменяли друг друга и с одинаковой степенью наглости и агрессивности преследовали тех, кого безошибочно опознавали как сочувствующих подсудимым. А работники милиции и сотрудники КГБ спокойно слушали нецензурную брань, угрозы расправиться, антисемитские высказывания и никак не вмешивались, не пытались урезонить этот «народ» и прекратить бесчинство.

Цветы, которые на собранные деньги купили для адвокатов, украли тоже представители этого «народа». Они не остановились даже перед тем, чтобы на глазах у милиционеров взломать дверцы легковой машины, в которой эти цветы хранились в ожидании нашего появления. Как-то особенно четко осталось в памяти описание сцены, когда с ожесточенным удовольствием они топтали ногами эти выброшенные на асфальт цветы, чтобы ни одного живого цветка не осталось.

Полученные нами букеты были куплены в последний момент на вторично собранные деньги. С этими букетами нас сфотографировали те самые иностранные корреспонденты, от встречи с которыми нас предостерегало руководство.

Позже, через несколько дней, Апраксин специально вызывал меня для того, чтобы выразить недовольство:

— Я же просил вас, чтобы не выходили через главный вход. Вы обязаны были посчитаться с этой просьбой. А теперь в буржуазных газетах появятся ваши фотографии с цветами, и опять будут неприятности.

— А ты считаешь, что было бы более прилично, если бы появилась фотография убегающих адвокатов? — спросила я.— Меня такой снимок со спины не устраивает.

* * *

Быстро прошло время до того дня, когда Верховный суд утвердил приговор, до дня последнего свидания в Лефортовской тюрьме.

А потом начались письма из далеких Усуглей, где жил в ссылке Павел, и из далекой Чуны, где жила Лариса. И та связь, которая возникла между нами, верно, уже не может оборваться.

Тех, кто тогда, 25 августа 1968 г., вышел на Красную площадь, судьба разбросала по всему свету. Совсем молодым умер в Париже Вадим Делонэ. Наталья Горбаневская живет во Франции, Виктор Файнберг в Англии, Павел Литвинов и Владимир Дремлюга в Америке, Лариса Богораз и Константин Бабицкий остались в Советском Союзе.

Встречая их потом, уже после ссылки и возвращения из лагеря, кого в Москве, кого в Париже, а кого в Нью-Йорке, я вновь думаю о том, какие они разные люди, как по-разному подходят ко многим явлениям в жизни. И вновь одни из них становятся мне ближе и дороже, другие отдаляются. Мы можем о многом спорить и во многом не соглашаться.

Но даже в самые грустные минуты серьезных разногласий я говорю себе: «Помни, это тот человек, который вышел на площадь...»

Мое уважение к их подвигу не уменьшилось с годами и не стерлось в памяти.

---

*Публицистика*

Виктор Криворотов

# РУССКИЙ ПУТЬ

## Корни рабства и свободы. Логика особого пути России

«В обычные времена размышления о человеческой судьбе (откуда, куда, как, почему) в данном обществе являются, как правило, уделом крохотной группы мыслителей и ученых. Но во времена серьезных испытаний эти вопросы внезапно приобретают исключительную, не только теоретическую, но и практическую важность; они волнуют всех — и мыслителей и простонародье. Огромная часть населения чувствует себя оторванной от почвы, обескровленной, изуродованной и раздавленной кризисом.

...В такие времена даже самый заурядный человек с улицы не может отказаться от вопросов:

— Как это все произошло? Что все это значит? Кто ответит за это? В чем причины? Что может случиться со мною, с моей семьей, с моими друзьями, с моей Родиной?

В периоды серьезных кризисов эти вопросы с особой силой давят на мыслителей, руководителей и ученых. Многие из них взирают на окружающие их социальные условия как на какие-нибудь башмаки, не замечая их до тех пор, покуда они не начинают жать. Но если тяготы кризиса «жмут» невыносимо, эти люди волей-неволей вынуждены обдумывать навязываемые кризисом вопросы».

Так писал, размышляя на чужбине о судьбе Отечества, русский человек, переживший многое на своем веку,— социолог и философ Питирим Сорокин.

Писал, задаваясь теми же вопросами, которые ставим мы перед собою, пытаясь понять: что может случиться со мною, с моей семьей, с моими друзьями, с моей Родиной?

Из нашего сегодня, окрашенного повседневными реалиями крушения прежней монолитно единой империи, российская история обретает некую тревожную предопределенность, когда в силу какой-то закономерности неспешное течение исторического времени раз в несколько столетий вдруг убыстряет свой бег и вот уже подземный вулканический гул материализуется в ревущий камнепад и жизнь и смерть с этого момента подчиняются лишь закону свободного падения в бездну...

Так что же в самом деле происходит? Почему в послеоктябрьской истории России сбылись самые мрачные пророчества врагов революции, ее друзей, соратников, отколовшихся своих? Для тех же социал-демократов революция в России была странной смесью боли и проблесков надежды. О том, что может принести России революция, писали Плеханов, Богданов, Троцкий и многие другие. Писали, говорили, думали, предупреждали. И — все сбылось.



Пришествие нового цезаря — было. Диктатура бюрократии — была. Азиатское окостенение — было. И было неизбежное — перерождение революции.

В который раз мы оказались заложниками собственной истории.

Кто же мы наконец и доколе, как говорится, суждено нам блуждать по воле исторических волн?

Мы — страна столь же восточная, сколь и западная. Не по своей воле оказавшись на Востоке, мы веками пробивались в Европу и Мир.

По нынешним понятиям мы — страна третьего мира, и нам еще очень много придется сделать, чтобы хоть в каком-то обозримом будущем стать вровень с теми, кого мы еще недавно столь яростно клеймили.

А надо ли становиться рядом? Ведь мы великая держава. Разве это не так? Или это очередная иллюзия? В известной степени да, ведь ничем иным и не может быть величие, если зиждется оно на голой военной мощи, если не привлекает ни богатством жизни, ни глубиной идеалов, наконец.

Но величие России не иллюзия, хотя только в неопределенном и неясном будущем определится, способна ли одна из самых уникальных и блестящих мировых культур открыться наконец миру, чтобы занять там место, подобающее цивилизованной стране такого масштаба.

Цивилизованной? Несомненно. Однако для других наша цивилизованность носит оттенок некой снисходительности — именно так глядят на промотавшегося аристократа, который пустоту в желудке, потертость в одежде и голодный блеск в глазах пытается компенсировать ссылками на благородство происхождения.

И все же наша история и наша культура — это то, увы, единственное, что пока дает нам право, да и возможность, влиться в единую общемировую семью народов.

От этого мира нас отделяет не только проржавевший, полурухнувший железный занавес. От него нас отделяет пропасть, которую себе сами мы рыли долгие годы, а теперь сами должны ее засыпать, или хотя бы для начала навести над пропастью временные мосты. Работа эта тяжелейшая, она чревата неудачами и разочарованиями, для ее проведения потребуется не одно десятилетие. Чтобы обеспечить успех, необходима твердая решимость повернуть лицо к миру, отказавшись при этом от иллюзий, нелицеприятно и точно определить, кто мы есть.

Но такая постановка предполагает главное — понимание исторической судьбы России, тех самых механизмов, действие которых привело к тому, что декларированная свобода оказалась рабством, справедливость — беззаконием, богатство — нищетой. Мы же — бессловесными рабами своей истории, отданными на волю ее, порой недвижного, а временами слишком бурного и своевольного течения. Какой впереди берег, когда и как нас к нему принесет?

Мы — та страна, развитие которой происходило под действием отчужденных сил истории. Движущие ее силы были как бы вынесены за скобки самого исторического процесса развития страны, не были взаимосвязаны, а зачастую просто противоречили его внутренней логике. И, ломая эту логику, ломая само общество, приобретали характер внешних для общества реформ, осуществляемых государственной властью исключительно для того, чтобы выжить в условиях перманентного отставания страны, так называемого «догоняющего развития». Такими были «перестройки» Ивана Грозного, Петра, а коллективизация и индустриализация «по-сталински» стали просто государственным погромом.

Господство отчужденных сил в истории России приводило к тому, что течение и смысл исторических процессов временами обретали характер, противоположный нормальному. Усиление власти, необходимое исключительно для того, чтобы, подвергнув насилию социум, провести реформы, сохранялось и после проведения преобразований; общество же, принявшее на себя очередной удар, ничего не получало в компенсацию. В процессе реформ развитие производительных сил сопровождалось примитивизацией производственных отношений. Так «реформы» Сталина привели к абсолютному насилию практически во всех

сферах жизни. Процесс развития технико-технологической и военной базы страны, производимый во внешней, отчужденной, неприемлемой для общества насильственной форме, подавляя всю гамму человеческих отношений, приводил к регрессу, движению вспять — к более примитивным архаичным отношениям между людьми и в обществе, и в производстве. В результате процесс реформ сопровождался упадком культуры, одичанием всех слоев общества.

В каждом случае, однако, это происходило по-разному. Реформы Грозного в XVI веке сопровождались упадком институтов гражданского общества, исчезновением соответствующих культурных навыков в тот исторический период. (Так, эпистолярные источники, связанные с русской демократической сатирой XVI—XVII веков, прослеживают постепенное исчезновение развитых институтов судопроизводства, которые при разрешении конфликтов подменялись непосредственным насилием.)

На этом фоне реформы Петра представляли собой, несомненно, наиболее прогрессивный тип реформизма в России. Однако же массовое освоение западной культуры верхами общества сопровождалось утратой собственной культуры низами, что также носило массовый характер. Никакая культура, а особенно культура народа, не живет в вакууме, для ее развития необходимы и воля, и свобода, однако все большее закабаление крестьянства, попытки приструнить казачество привели к утере свободы и воли, что и объясняет массовый исход в леса Севера и Сибири носителей и хранителей этой культуры — раскольников, спасавшихся от «царя-антихриста».

Раскол русской церкви 1656 года приобрел по существу характер раскола общества, поскольку свое бегство в периферийные области Русской земли раскольники противопоставили дальнейшей централизации власти, закрепощению народных масс. Хранители и ревнители старинных прав и свобод, они увозили в леса старинный уклад, зародыш гражданского общества, который тем временем добивали сапоги самовластья.

Так в нашей истории линия насилия, временами переходящая в прямое рабство, обрела свою противоположность — линию свободы.

Вне всякого сомнения, раскольники были наиболее передовой частью русского общества, олицетворяя прогрессивный уровень общественных отношений. Н. Бердяев отмечает, что «раскольники были даже грамотнее православных». И что они «...обнаружили огромную способность к общинному устройству и самоуправлению». Лишь идеологическая предубежденность, перекочевавшая на страницы советских учебников из соответствующих дореволюционных представлений, препятствует признанию этих фактов. Однако нетрудно разглядеть, что дала России свобода: это и промышленный Урал, и казачество Донское, Сибирское, Семиреченское, многое другое.

Раскольники — эти своеобразные русские протестанты — выработали, подобно их западным собратьям, демократические структуры самоуправления, религиозные идеологические установки, в рамках которых основной ценностью был труд. Фактически речь идет о русском варианте известной протестантской этики, заложившей, по мнению многих исследователей Запада, идеологические основы развития капитализма. Материальной основой послужила совершенно иная организация общества. По сравнению с остальной Россией, примирившейся с крепостничеством, община раскольников базировалась на собственности, приближающейся к частной (отдельное подворье), и связана была — в отличие от основной территории России — с демократическим самоуправлением, а не с круговой порукой. По сути, община того же типа лежит в основе современного западного общества (свободные города, магдебургское право и т. д.)...

Петровская реформа, ставившая целью приблизиться к Западу, была бы невозможна без этих корней народной свободы. Под железной пятой самодержавия деревням уральских старообрядцев пришлось тянуть лямку казенной промышленности, но даже и в наши дни всенародного разложения, массовой утери трудовой этики под прессом самовластия и казенщины раскольничьи области Урала и Сибири (в какой-то своей части) сохранили моральный облик и трудовую закваску предков, столетья назад вкусивших от древа старинной русской свободы, ставшей сейчас почти реликтом.



Сталинский погром окончательно истребил ростки свободы, взошедшие на благодатной почве Петербургской империи. Вольнолюбивое казачество, в основной своей массе не приняв революции в ее военно-коммунистическом варианте, частью эмигрировало еще до сталинских репрессий, частью было истреблено, разбросано по территории страны позже, когда в процессе введения вожделенного единомыслия заработала тоталитарная мясорубка, перемалывая все лучшее, чем могла бы гордиться Россия. В то время как Урал, экспроприированный, закрепощенный, как и встарь, на казенных заводах, ковал, по своему обыкновению, военную мощь стране, культура раскольничьей, свободной Руси методически, варварски истреблялась. Разорялись церкви, сжигались книги, глумились над святынями... Делалось это намного безжалостнее, грязнее и подлее, чем в центре, благо тут глушь, да Север, да вотчина НКВД. В опустевших, населенных сегодня лишь стариками уральских деревнях по сей день рассказывают и перестанут рассказывать только тогда, когда перемрут внуки внуков, как в порыве такого верноподданнического глумления какой-то партийный секретарь повелел сколотить себе из икон кресло, ясно указав место духовной культуры аборигенов при новой народной власти...

(Все это рассказывают люди, которые при минимальном зачастую социальном статусе обладают фантастической традиционной образованностью, перед которой блекнут знания какого-нибудь заезжего московского светила.)

Другая Россия, Россия старины, которую равно третировали и цари, и генеральные секретари, превратившись в рабочую лошадь самовластья, была наконец безжалостно забита нерадивым и жестоким хозяином.

Новый хозяин, уничтожив старинный уклад, уничтожил и ростки новой русской свободы, родившейся уже на рубеже двадцатого века.

На наших глазах возникают сейчас совершенно новые оценки всех трех русских революций нынешнего столетия. Наконец-то, пусть и с опозданием на десятилетия, русский мужик — обездоленный, потесненный, уничтоженный — обретает свое законное место в отечественной истории. В этом критическом осмыслении многое для нас становится понятнее. Напор революции снизу, контрнапор сверху — с начала века по тридцатые годы — определялся глубинными тектоническими сдвигами континентальных плит, формирующих океаническое ложе безбрежного моря русского крестьянского мира. Гигантское давление, восходящее из его глубины, привело к тому, что основной движущей силой революции стало крестьянство, которое, приведя в движение другие социальные слои, быстро завоевывавшие роль политических флагманов, оказалось у разбитого корыта.

Подобно тому, как на Западе с X века, а может быть, и раньше в процессе формирования городских слоев и гражданского общества возникал новый уклад жизни, отвоевывая, например, во Франции, свободу у баронов, так и в России русское крестьянство формировало новый уклад жизни.

Новый уклад в России, как и на Западе, базировался на внутренних сдвигах крестьянской общины, в результате которых она становилась производящим хозяйством, которое свою продукцию реализовывало на рынке.

В результате этих преобразований традиционная территориальная община восточного типа заменялась общиной индивидуальной, в которой фактически закреплялась частная собственность на землю или по крайней мере частное владение землей.

Так корпоративное общество восточного типа перерождалось в общество гражданское. Крестьянские Советы представляли собой органы самоуправления новой общины независимых хозяев, подобно тому, как в западноевропейских городах органы самоуправления в конечном итоге превратились, скажем, в магистраты, действующие на основе права магдебургского типа. Движущими силами революции 17-го года были силы классической буржуазной революции. Контрсилы ее, прикрытые толстым слоем идеологического тумана и лишь легким деко-

ром современности, обретают облик контрреволюции, направленной назад, в прошлое, в архаику производственных и общественных отношеиий классических деспотий древности.

С этой точки зрения все происходящее в российской революции в конечном итоге определялось тем, с кем будет крестьянство. Тут важен только один факт: получили крестьяне землю или не получили? Итог этого движения известен — трагедия, уничтожение крестьянства в процессе коллективизации. Мы не задаемся тут вопросом, как это произошло, каким образом движущие силы крестьянской революции в процессе становления административной системы в нашей стране сработали на чуждые им, враждебные цели, однако констатируем: в конце концов крестьянин был обманут и земли он не получил. Если революция, начиная со времен нэпа, вопрос о земле решила в их пользу, то в 30-х все перерешила революция «сверху» Тут важно сказать другое — первый раз за много столетий внутреннее развитие страны принесло свои результаты раньше, чем произошла реформа сверху,— в политику вступил мощнейший социальный слой крестьян-середняков. Являясь основной опорой Советов в деревне во времена «триумфального шествия Советской власти», он был кровно заинтересован в свободе — сначала в экономической и самоуправленческой, а затем и в Свободе с большой буквы, во всей ее полноте.

Съезды Всероссийского Крестьянского Союза начала века показали удивительную зрелость крестьян, что выразилось и в том, что ими в недалеком будущем будут созданы демократические органы реального самоуправления — крестьянские Советы. Пороховой погреб крепостнического рабства тем самым разряжался, существенно усиливая линию свободы в русской истории.

Но одновременно с этим из того же подземелья оказались выпущены на свет божий и демоны. Маргинализованные слои деревни, не вписавшиеся в рамки новой жизни, связанной с умением хозяйствовать на собственной земле в условиях товарного рынка, оказались выкинуты в города. Подобно всяким маргиналам это был мобильный и взрывоопасный элемент, сформировавшийся в «плохо орабоченного» крестьянина, а часть не нашедшей себя крестьянской массы, оставшись в деревне, сформировала слой крестьян-бедняков. Как известно, именно они осуществили то, что названо социалистической революцией в деревне, когда в 1918 году власть Советов, просуществовав чуть больше года, была экспроприирована в пользу комбедов и попечительствующего аппарата (в те времена — Компрода). Они же — маргиналы — стали социальной опорой нарождающегося сталинизма. Что касается последнего, то для массы маргиналов он был не чем иным, как известным воплощением стремления такого рода людей получать блага. В данном случае, продвигаясь вверх по социальной лестнице. Свою внутреннюю задачу «новые люди» и их вожди решали простым и доступным средством — с помощью молота репрессий.

Заложенное в природе маргиналов стремление к уравниловке и социализации любой ценой вновь реализовывало линию рабства в русской истории. Непрерывная борьба линии рабства и свободы, странная диалектика их взаимопроникновения формировали постоянную духовную напряженность, «эсхатологическую обращенность к концу» (Н. Бердяев), тождественную русской идее. Русскую свободу отдавали на заклание реформам, но ее же, взнузданную и закабаленную, зачастую заставляли тащить их лямку. Правда, тотальный террор происходил далеко не во всех случаях. В том и величие времени Петра, что его реформы не уничтожили внутреннего развития допетровской Руси, скорее оседлали, ввели его в жесткие рамки самодержавия. Рамки эти со временем слабели, что способствовало вызреванию органов гражданского общества внутри самодержавной скорлупы. Вот почему только петровские реформы и могут считаться прогрессивными — их созидательная сторона определенно доминировала над разрушительной — в конечном итоге н и ч е г о из русской истории не было вычеркнуто окончательно.

В противоположность петровским реформы Грозного напоминали, скорее, государственный разбой, предпринятый исключительно ради укрепления его личной власти, для истребления врагов трона. Что касается сталинизма, то это вообще была тупиковая ветвь русской истории, поскольку тут преобладала разрушительная сторона. Построение более или менее современной промышленности за счет прямого уничтожения крестьянства и разрушения гражданского общества привело к созданию такой социальной структуры, в которой потенциал развития, связанный с формированием динамичных слоев населения страны, вполне возможно, не удастся воссоздать еще долгие десятилетия. В этом состоит историческая вина сталинизма. И в этом трагедия России.



Линия рабства, или, что однозначно, линия развития восточного общества в истории России, сформировалась еще в XIV веке во времена Ивана Калиты, породив в период Ивана Грозного и собственную основу — служилое дворянство. Еще ранее, до Калиты, в послебатыевские времена княжеская власть, в условиях одновременной экспансии немцев и монголов, без колебаний сориентировалась в сторону последних, поскольку немцы несли с собой усиление старинного врага княжеской власти — городов. Что касается монголов, они придали ей несвойственный дотоле первобытный динамизм восточного общества, выпестовав Московское царство в его новой роли. Именно монголы вручили ярлык на великое княжение московским князьям, считая их единственной политической силой, способной обеспечить бесперебойное поступление дани в Орду. Анализируя все это, яснее видишь, как историческая доминанта начинает выступать в виде какой-то безличной могучей силы, заставляя политиков делать, по существу, однозначный выбор. Русским князьям — предпочесть монголов немцам. Монголам — целенаправленно взращивать собственного могильщика, сперва передав русским князьям функции сборщиков дани, а Москве затем — ярлык на княжение. Во всем этом есть какая-то жесткая даже жестокая логика, и за исключением нескольких точек, когда линии свободы и рабства представляются равновозможными, в большинстве случаев общий вектор интересов людей, принимавших во времена оны судьбоносные для страны решения, определенно указывал в сторону Востока, восточного общества...

Факт в том, что линия восточного общества доминирует со времен Грозного по сей день. Причем не просто доминирует, но испытывает внутреннюю, вполне понятную эволюцию, в результате которой реформы становятся все разрушительней, власть сильнее, а общество, по крайней мере в какой-то своей части, все более монолитно-архаичным. Историю, по существу, просто удалось обратить вспять. В этом смысле прослеживается вполне определенная логика реформ. Грозный — это ослабление и подчинение себе свободы, Петр — обуздание ее, но и принуждение к работе на себя, и, наконец, Сталин — попытка разрушения линии свободы в русской истории. Конечный же итог — доминирование восточного уклада в истории России. Особенно это заметно в сфере государственного управления, где основой служила власть-собственность восточного общества, диктовавшая принципы функционирования хозяйства и всей базисной сферы. Со времен Грозного русская государственность была своеобразной оболочкой, в которую царская власть, пользуясь военной силой служилого дворянства, загнала еще феодальное в своей основе общество, чтобы за счет усиления крепостническо-рабских отношений в сфере производства обеспечить свое влияние в базовых структурах. В этом была заинтересована и феодальная знать. Надстроечные структуры общества царская власть обеспечивала деспотическими методами.

Уникальный феномен своеобразного «оболоченного» восточного общества в том и состоит, что феодализм остался как бы «внутри», что над феодальными отношениями в любой сфере доминировало государство. Иными словами, государственная собственность всегда управляла частной, вотчинной-наследуемой.

Доминирование государственной собственности, начавшееся во времена Грозного, выразилось в том, что была сформирована поместная система, где господство государства в сфере собственности на землю сопровождалось частным владением и общинным землепользованием. Вне системы, да и то лишь в небольшой степени, оставались вотчины, которые переходили по наследству.

Во времена Петра Восток полностью захватил базисную систему отношений, ужесточив крепостное право. В частности, вместо поземельного для государственных крестьян был введен уравнительный подушный налог, постепенно разрушивший систему частного владения землей (при доминировании, разумеется, госсобственности). Дело Петра закончила Екатерина II, которая одной рукой подписала указ о вольностях дворянства, как бы узаконив права частной собственности на землю, а другой окончательно отняла на казенных землях право частного владения, оставив крестьян лишь пользователями земли. Что касается надстройки, то начала феодальное и восточное сформировали промежуточный, компромиссный итог, образовав дворянство — привилегированный слой полноправных граждан, по своему статусу напоминающих жителей античного полиса. Это были прежние вотчинники и условные держатели земель, которые, примирившись со службой царю, отказавшись от феодальной вольницы, получили за это землю в наследственное владение в пределах воли государства.

Здесь мы наблюдаем своеобразный дуализм восточного и античного общества, когда буржуазная система непосредственного, прямого насилия над одними — лишенным прав крестьянством — резко меняется по отношению к полноправным — «управляющим», т. е. дворянству, формируя надстроечную структуру, которая становится воплощением самодержавия в сфере жизненных интересов правящего класса. «Оболочка» восточного общества уничтожила феодальную сердцевину, породив зато две социально-экономические формы — непосредственное насилие в производстве (по отношению к «низам») и законодательное регулирование в управлении — по отношению к полноправным («верхи»).

Что касается сталинизма, то на этом этапе своей эволюции дуализм форм восточного и античного общества был ликвидирован в пользу первого, когда во все сферы произошла экспансия базисных отношений. С этим мы сейчас и живем. Линия Востока в истории России закономерно завершилась, осуществив нечто дотоле невиданное в истории человечества — эволюцию назад, в глубь веков — от феодализма через античность к полноценному Древнему Востоку на новой, конечно же, технологической основе тоталитаризма.

Восток — это абсолютная власть государства или самовластье, в том числе и над человеком. По отношению к государству, его власти-собственности он абсолютно бесправен. Наиболее характерным проявлением бесправия в истории России было крепостничество — самодержавие. В своей тоталитарной сталинско-брежневской форме связка эта приобрела специфический, хотя в принципе подобный прежнему вид — «оброк-диктатура аппарата». Коль скоро первое общеизвестно, то второе, несомненно, требует объяснений.

В основе диктатуры такого рода, а точнее, новой формы самодержавия под флером диктатуры пролетариата, лежит постулат о долге гражданина государству (не обществу!). Последний, помимо налогов, естественных для каждой цивилизованной страны, обязан отдать государству и оброк, куда входят различные недифференцированные повинности, например, трудовая — обязанность непрерывно работать на государство. Если гражданин работает за границей, государство отчисляет у него часть заработной платы, а поскольку оно же монопольно представляет его интересы за рубежом, то это не что иное, как продажа рабсилы иностранному владельцу.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: общество, имеющее столь архаическую природу, никак не может называться социалистическим. Мы живем в сословном государстве древнейшего типа, известном каждому востоковеду. Увы, думая, что идем вперед, мы вернулись к заре человеческой истории, и бесклассовость нашего общества объясняется не тем, что классы уже исчезли, а тем, что они е щ е и не появились.

Не следует потому-то удивляться, если в один прекрасный день мы обнаружим характерную черту социальной жизни древности — корпоративную организацию общества...



## В каком обществе мы живем? Корпорации и реальная идеология

Итак, корпорации. Что это такое?

Корпорации — это замкнутые социальные группы с ограниченным доступом. Строятся они по производственной принадлежности и формируются, как правило, для борьбы за дефицитные блага того или иного рода. В древних общественных структурах, где дефицит благ являлся типичным состоянием, касты и корпорации формировали воины, жрецы и ремесленники (сюда можно отнести и цеховую организацию ремесла в Средневековье). Жизнь в них определялась жестким сводом правил поведения, главный принцип которых — выживание большинства членов корпорации.

Для понимания дальнейших рассуждений поясню, что существуют два базовых типа корпораций, связанных с двумя качественно различными видами производственных процессов. Первый — воспроизводство средств производства, материальное производство, отчуждение благ из природы. Это — корпорации в сфере материального производства, хозяйственной деятельности человека. Во втором случае мы имеем дело с кровно-родственными корпорациями, в рамках которых осуществляется формирование самого человека и его личности. Целью корпораций такого типа является поддержание жизни человеческих существ, связанное с системой их ролей в процессе воспроизводства человека.

Промежуточную позицию занимают корпорации, которые тем или иным образом задействованы на воспроизводство общественных отношений, воспроизводство общества как особой системы связей между людьми в процессе осуществления их совместной деятельности. Так выделяется третий тип — общественные корпорации, предметом деятельности которых является выполнение тех или иных функций в социальной и духовной сферах общества. Примерами такого рода являются корпорации чиновников, воинов и жрецов в древности, а в современности — политические партии, армия, полиция, органы безопасности.

Тоталитарная система, нуждаясь в прочной материальной опоре, одухотворяет возрождающуюся корпоративную структуру древних обществ, используя ее для своих целей.

Корпоративная структура достаточно характерна для классической азиатской древности. Человек в те времена не мыслил себя вне специфического замкнутого сообщества по профессии или роду занятий, поэтому корпоративная организация была характерна и для самых разнообразных объединений, включая религиозные. Именно эти корпорации и являлись субъектом общественной жизни, соперничали или сотрудничали между собой. В разных случаях были в большей или меньшей степени замкнуты. В Индии, например, они приняли форму каст, сопровождающих человека от рождения до смерти, а в средневековой Европе функционировали в виде городских ремесленных цехов.

Будучи формой организации общественной жизни, корпорация предоставляла возможности для самого существования и воспроизводства данной профессии в жесткой, жестокой среде — благодаря профессиональной солидарности и объединению ресурсов. В обмен на ограничение прав, подчинение корпоративной иерархии отдельному человеку при выполнении корпоративных правил и требований гарантировалось само существование. Помимо объединения ресурсов, главнейшим орудием корпорации в борьбе за выживание была монополия. Монополизация тех или иных сфер деятельности обеспечивала выживание, поскольку всесилие властей предержащих ограничивалось необходимостью считаться с монополией услуг данной корпорации из опасения проявлений групповой солидарности в такой, например, форме, как элементарный саботаж.

Монополия, являясь важнейшим и действенным орудием корпорации, стремилась к стандартизации своей продукции, не допуская сколь возможно (или ограничивая) внутреннюю конкуренцию, для нее разрушительную. Нивелировка, поддержка слабых наряду с ограничением сильных и талантливых — отсюда.

Корпорация, борясь за выживание, монолитной группой выступала против любого не члена, пытающегося с ней конкурировать.

Все вышесказанное характерно и для нашей страны, где корпоративная структура общества в ярчайшей форме проявилась в виде совокупности многих корпораций-ведомств. Это в хозяйственной области, но корпоративная структура с ее характерными законами жизни проникла и в искусство (творческие союзы), в науку (академия вместе с отраслевыми институтами, имеющими монополию в различных областях деятельности), в политику, в профсоюзы и т. д.

Надо ли говорить, что корпоративные институты, чья деятельность направлена исключительно на поддержание собственного существования, на защиту своих интересов, являются антиподом гражданских институтов общества, ведь те, в противоположность первым, по своей природе открыты и добровольны и не разделяют людей по критериям социального происхождения или профессии. Если в корпорации доминируют иерархические властные структуры, то, например, в гражданских организациях или ассоциациях господствует принцип увязки интересов всех членов в рамках демократического процесса.

От того, какие структуры распространены в обществе — гражданские или корпоративные,— резко меняется общественная атмосфера и климат, формируется особый тип общества. Если корпоративные структуры ютятся, что называется, в нишах на обочине, то в таком обществе субъектом интереса является личность, а не группы и не коллективы. В интересах обществ такого типа создание развитых социальных отношений, которые гарантировали бы нормативно-ненасильственное разрешение конфликтов между его членами, защищали права каждой отдельной личности, а следовательно — меньшинства. Надстройкой над гражданским обществом было и будет развитое правовое государство.

Если же общество организовано по корпоративному принципу, то субъект интереса — вся корпорация. Интересы отдельных ее членов могут идти вразрез с интересами всей корпорации, однако последние способны в этом случае на самопожертвование ради коллектива, поскольку отождествляют его с собой. В ущерб меньшинству главенствует тут большинство, что достигается согласованием интересов корпораций их лидерами, которые становятся полномочными представителями всего коллектива. Они же распределяют дефицитные блага в соответствии со значимостью той или иной корпорации. От верховной власти тут требуется одно — умение балансировать различные интересы в условиях дефицита. Тот, в свою очередь, обостряется, поскольку, порождая корпоративное общество как способ выживания, дефицит этим обществом поддерживается постоянно, поскольку в этом — главное условие существования корпорации вообще.

Государственная монополия на ресурсы обеспечивает жизнедеятельность корпорации тем, что осуществляет их фондирование. Точно так же — через отдельные корпорации — происходит централизация производственных благ для последующего распределения. Тут надо различать две вещи: при отсутствии монополий на ресурсы их централизация (сбор дани, налога и другие фискальные функции), может стать основной сферой деятельности госаппарата. В этом случае государство осуществляет монопольное право и обязанность защиты производителей благ (государства древности и средневековья). Если же существует государственная монополия на ресурсы, то аппарат осуществляет их распределение по фондам. Всё это приводит к возникновению административно-командной системы. Ее более архаичные прототипы, которые связаны с сугубо фискальной функцией, наблюдаются в деспотиях древности. Власть-надстройка собирает корпорации воедино, обеспечивая их взаимодействие, и потому-то проблема власти в корпоративном обществе всегда ставится во главу угла.

Неполноправие граждан в нашей стране — это следствие существования корпоративного общества и тоталитарного государства. Узурпация прав индивида, система неполноправия порождают особый принцип социального расслоения общества, вследствие чего идет размежевание по принципу доступа к дефицитным благам.



В чем же выражается неполноправие? Во-первых, каждый человек экономически зависим от государства, которое ставит под контроль его доходы. Отдельный же индивид не имеет возможности контролировать государство, ибо, в отличие от него самого государство суверенно и третьего здесь не дано: либо суверенно государство, либо индивид. С типом суверенности связана, очевидно, и система собственности. Тип собственности (частная или государственная) определяет и тип суверенитета — личность или государство,— поскольку связано это со свободой первого или второго.

Сословный суверенитет личности — это завоевание феодализма. Что касается суверенитета в собственном смысле этого слова, суверенитета личности как таковой, включая ее природные естественные права,— все это обозначилось лишь во времена Просвещения, уже в XVIII веке. Наша страна только на подходе к освоению понятий, связанных с разделением властей, с созданием правового государства и выделением собственной области права из сферы законодательного принуждения. Мы только вступаем на тот путь, который Европа проделала с X века по XVIII. Понятно, что общественные отношения, обнаруживающиеся за сегодняшней системой неполноправия в СССР, могут иметь аналоги в весьма далеком прошлом.

Начальную ступень этой системы совсем недавно занимал монолит ГУЛАГа. Его узники по своему статусу ничем не отличались от плантационных рабов (личностная рента). Вторая ступень существовала одновременно с первой — беспаспортные крестьяне, приписанные к земле (личностно-земельная рента). Подобное положение в системе производственных отношений тождественно статусу крепостного крестьянина. Все прочие являлись абстрактной рабочей силой, трудовыми ресурсами, которые использовались в порядке трудовой повинности (труд обязателен). Их статус становится яснее, когда тот или иной советский гражданин работает на иностранных предприятиях и часть своей заработной платы, как уже говорилось выше, по обязанности сдает государству. Подобная форма эксплуатации, широко распространенная в древности, связана с несвободой работника, который всегда платил хозяину оброк (оброчное невольничество). Вспомним, что еще совсем недавно, в первом варианте постановления о кооперации, человек не имел права работать только в кооперативе,— от него требовалось выполнять оброк и на государственном предприятии. Что это, если не продолжение системы неполноправия?

Заметим, что аналогии с древностью не просто метафоры. Изучая докапиталистические и дофеодальные общества азиатского типа с разветвленной системой неполноправия (такие, как, к примеру, третья династия Ура), можно найти и другие разительные аналогии.

Общества подобного типа называют сословно-классовыми, подразумевая, что классы в явной форме тут еще не выделились, хотя уже идет социальное размежевание, возникают зачатки сословий различного типа, социальных групп — то есть все то, что связано с теми или иными степенями неполноправия. Спектр широк. От «кадров» ГУЛАГа, статус которых, повторимся, идентичен статусу классических плантационных или даже азиатских рабов, от рабочих команд, организация которых характерна для Египта Древнего Царства или уже упоминаемой третьей династии Ура (т. н. «гуруши» — молодцы и молодицы), и беспаспортных колхозников (российские государственные крестьяне — «черносошные») до относительно независимых и в принципе имеющих огромную, даже деспотическую власть членов правящей администрации. Всех их объединяет тем не менее одна фундаментально общая черта, характерная для азиатских деспотий: люди в государстве — это государственная собственность.

Системы неполноправия были весьма характерны для таких классических деспотий древности, как, например, ахеменидский Иран, существовавший одновременно с античной домакедонской Грецией. Весьма знаменательно, что свободный эллин-гражданин, даже будучи нищим, ни перед кем не ломал шапку (вот он, зародыш европейской свободы!), испытывая в своей массе глубокое презрение к персидскому вельможе, падающему ниц перед царем, считая по этой

причине, что Персия — страна рабов... Как тут не вспомнить примеры массового, унизительного, практически обязательного публичного лизоблюдства могущественных членов правящей советской элиты перед Генсеками...

Демонтаж системы, при которой каждый является собственностью государства, у нас начался только сейчас, после подписания СССР ряда международных договоров о правах человека. Проходит он далеко не гладко. Дело, однако, не только и не столько в проблеме въезда и выезда. Эта проблема — скорее символ существующей системы неполноправия. Гарантировать права человека в СССР требует международное цивилизованное сообщество, барометр его очень чувствителен к неправовой практике, к существованию системы неполноправия в целом. Именно поэтому наши шаги в этом направлении трудно переоценить. Однако у айсберга прав человека оказывается подводная часть — выясняется, что права человека, жизненная необходимость соблюдения которых утвердилась в умах Европы еще со времен Просвещения, узурпированы у нас не столько государством, сколько могущественными корпорациями, господствующими, как я уже говорил, во всех сферах общественной жизни. Такие корпорации, как Госконцерт и Госкомспорт, взимают гигантский оброк, третируя в случае непослушания артистов и спортсменов, а в особенно примитивно бесстыдной форме тех, кто, имея известность за границей, зарабатывает валюту. Всеобъемлющая система могущественных корпораций просто поглотила общество, превратив его в специфическое образование, которое — по аналогии с гражданским — можно без опасения ошибиться назвать обществом корпоративным.

Корпорации спортсменов, музыкантов, аппаратчиков, корпорации возрастных групп (ВЛКСМ, пионерская организация), реализуя ту или иную функцию государственной монополии, сопровождают советского человека от рождения до смерти. На общественной периферии правят бал корпорации теневой экономики и уголовного мира — мафиозные структуры.

Присваивая интересы индивида, корпорация вместе с тем выполняет и функцию социальной защиты своих членов от внешней среды и конкуренции. Оберегая их от более талантливых собратьев, она создает уникальнейший симбиоз социальной защищенности с произволом, за что наше общество заслужило репутацию богадельни. Подчиняя свои интересы интересам корпорации, отдельный человек постепенно отождествляет себя с нею.

Жизнь людей в корпоративном обществе происходит преимущественно внутри своего сословия, своей корпорации. Их реальные общественные интересы лишь в ничтожной своей части выходят за этот предел и достаточно строго ограничиваются узкокорпоративными. Опыт политической борьбы 1985—1989 годов показал, что на индивидуальном, некорпоративном уровне в ней принимают участие исключительно интеллектуалы, еще несоциализированная молодежь и лишь незначительная часть рабочего класса (забастовки шахтеров). Остальное же население по большей части пребывает и реализует свою политическую активность в традиционных рамках старых или вновь создаваемых корпораций, проявляя чисто негативистские настроения (голосуя скорее не «за», но «против»), радикализм и даже сверхрадикализм, идущий от доверчивости, и слишком оптимистичных ожиданий, связанных с деятельностью новых политических структур. Все это странным образом соединено, с одной стороны, со всеобщим унынием, убеждением, что ничего сделать нельзя, с разочарованностью, покорностью и фатализмом, а с другой — с агрессивностью на уровне корпораций, в том числе и новых, с послушностью и включенностью в их деятельность. Можно сказать, что перестройка с ее выяснением отношений, постоянной угрозой всевозможных неприятностей, консолидировала все без исключения существующие корпорации. Что же касается новых инициатив, то и они приобретают корпоративные формы.

Отсутствие классовой структуры, оброчно-рентный тип эксплуатации, государство и бюрократия как верховные собственники, реализующие свою монополию через систему корпораций,— все это позволяет причислить наше общество к так называемым сословно-классовым.

В чем же состоит его материальная база, единство и целостность, несколько поколебленные во время перестройки? Прежде всего в том, что, помимо отдельных корпораций, скорее раздробляющих, чем соединяющих общество, все хозяйство страны представляет собой суперкорпорацию, фундаментальная цель которой — стабильность. Политическое средство для достижения этой стабильности — блок управленцев и основной массы управляемых. Первые осуществляют патерналистскую политику, которая направлена на защиту интересов выживания основной массы рядовых членов корпораций вне зависимости от результатов их труда и квалификации. Разумеется, в разной степени это относится к разным корпорациям, хотя прежде всего эта политика затрагивает массы относительно малооплачиваемых работников, для которых, однако, стимул более высокой заработной платы не оправдывает повышения интенсивности труда. Основной ценностью для этого наиболее массового слоя является социальная защищенность, а не собственно доход. Вполне естественно, что основные установки представителей этого слоя — установки той или иной формы уравнительности, а само появление этого слоя общества — специфический феномен тоталитаризма, его реальная социальная основа. Конечно, в тех же восточных обществах целостность любой корпорации базировалась на блоке консервативно-усредняющей массы рядовых членов и руководства корпорации, однако объединение всех корпораций в одну гигантскую — государственную, вбирающую в себя все хозяйство страны — привело к формированию интеркорпоративной базы, состоящей из наиболее слабых членов, всегда ждущих чего-то от государства, фактически утративших свой профессиональный статус. Для таких людей в случае конфликта с начальством существует реальная угроза потерять социальный статус.

Подобный слой маргинализованных в той или иной степени людей не только питательная среда цезаристских настроений. Из него, по сложившейся традиции, рекрутируются кадры для административной карьеры, поскольку для этих людей, более, чем средних в профессиональном отношении, путь профессиональной карьеры практически закрыт.

Опора власти на маргинальные слои имеет давние традиции. Еще во времена гражданской войны их представители (плохо орабоченные крестьяне) главенствовали в городе и в деревне. Тип отношений, складывающийся между ними и управляющей элитой, уже нами описан (патриархальная эксплуатация, соединенная с социальной защищенностью), и он же характерен для древних восточных обществ, где в системе воспроизводства профессионалов мастер патронирует подмастерьев.

Однако главная фигура классической корпорации не маргинальные элементы, а крепкие мастера-профессионалы среднего уровня. Патронаж не свойствен общественным образованиям, имеющим государственность, и представляет собой древнейший пласт отношений в догосударственных образованиях, что подтверждает нашу мысль о движении тоталитаризма в глубь истории.

Корпорация — древнейшая форма человеческого объединения. Такими были охотничьи коллективы до образования парной семьи. Своего рода корпорациями являлись семья и род, обеспечивавшие процесс воспроизводства людей.

Корпоративное общество, в котором интересы производства подавляют интерес воспроизводства самого человека, создает условия, в которых работающий во все большей степени не способен обеспечить нормальное воспитание детей, испытывает глубокий кризис, проявляющийся в резком падении статуса работающих вне дома и семьи,— прежде всего мужчин. Мужская часть населения, утрачивая традиционные роли отцов семейства, обеспечивающих хлебом насущным семью и детей, ощущая неполноценность, проявляет агрессивность, страдает неврозами. Отсюда — алкоголизм и, как следствие, распад семей, ослабление связей с корпорацией, дающей социальный статус, прогрессирующая маргинализация населения и снижение престижности всякой работы вообще.

Эти грозные процессы на протяжении четверти века набирают все более опасные обороты в советском обществе. Годы массовых репрессий сформировали уголовную романтику «зоны», «паханов», «авторитетов», «воров в законе», создали своего рода контркультуру, которая захватила не только молодежь (подростковые банды), но и значительную часть взрослого населения.

В условиях массированного разрушения семейно-родовых структур общество возвращается к примитивнейшей форме человеческой организации — к корпорациям в форме банд современных первобытных охотников («люберы», «моталки»), обладающих характерным, давно известным, как сказали бы этнографы, «узнаваемым» видом... В промышленных городах СССР определенная социализация маргиналов обеспечивается порой элементарной связью с местом работы, где лишь в течение рабочего дня они не представляют угрозы для общества. Но что же грядет завтра, когда поток этих людей, занимающихся, по сути, малопродуктивной, а во многих случаях просто и ненужной обществу деятельностью, вольется в ряды безработных?

На этом фоне особое место занимают управляющие. Управленцы-бюрократы являются в этой системе отдельным правящим сословием, и естественна их неудовлетворенность тем, что происходит сегодня, когда недовольство, осознанное или неосознанное, связанное с ослаблением их влияния, потребностью пересмотреть отношения между бюрократией и маргинализующимися слоями, вырывается наружу. На наш взгляд, это главный дестабилизирующий фактор перестройки, чреватый самыми непредсказуемыми последствиями для общества.

Корпоративному государству соответствует и особая идеология. Неверно представлять идеологию в виде тех или иных теоретических схем и догм. Функция идеологии предельно прагматична — научить человека видеть мир, ориентируясь в нем, направить его и, что самое главное, придать его жизни смысл. Смысл этот возникает тогда и только тогда, когда человек, делая то, что и он сам, и другие считают важным и нужным, знает, что эту важность и нужность его деятельности непрерывно подтверждают жизнь, реальность. Последняя же, как известно, ставит очень неприятные вопросы перед идеологией, что и составляет, собственно говоря, стержневой для человеческой личности процесс смыслообразования и осмысливания. Принцип тут прост: моя деятельность реализует ценности, а ценности, реализуемые мной, подтверждаются, в свою очередь, жизнью. Толстой и Достоевский блестяще доказали, что смысл в жизни не просто наличествует, а что он обретается в практической деятельности, направленной на воспроизводство самой жизни. Человеческая патология обессмысливает жизнь. Деятельность ради поисков смысла жизни приводит к распаду личности и даже к самоубийству.

В просторечии внутреннюю деидеологизацию называют «утратой ориентиров», и это ассоциируется с глубоко несчастным сознанием, которое «не знает, зачем оно», не знает, что ему делать, и вследствие этого деградирует. Наиболее разрушительный характер этот процесс приобретает для личности примитивной, архаичной. В такой ситуации неординарная личность еще как-то способна выжить, постепенно «прибиваясь» к новым ценностям, творчески переосмысливая их. Она даже способна растянуть этот процесс до исхода жизни, бесконечно обманывая себя в целях самосохранения. Что же касается натур, скажем так, простых, то если им не протянуть руку, они практически обречены и погибают, убивая себя алкоголем, наркотиками. Самоубийство — последствия того же ряда.

Характер бедствия приобретает эта ситуация для племен примитивных, которые волею судеб выброшены в современную цивилизацию, где традиционные ценности немедленно обессмысливаются, а новые не могут образоваться, ибо требуют «встраивания» в реальную жизнь современного общества. Представители этих племен просто вымирают, спиваются, убивая себя в кратчайший исторический срок.

Способность создавать собственную внутреннюю идеологию дана не многим и, в основном, только высокоразвитым натурам, хотя им тоже приходится чрезвычайно трудно. Потому-то развитое общество тиражирует и предлагает те ценности, стандарты, формы понимания и видения мира, которые, с одной стороны, пригодны для всех, а с другой — восходят к какой-то одной базовой модели, гарантирующей их стыковку и неантагонистичность. Именно это служит взаимопониманию всех членов общества, прививает способность к совместной деятельности.



Одной из базовых идеологических систем современности является то, что мы называем буржуазной идеологией. В целом она представляет собой идеологическую конструкцию, направленную на жизнь в том мире, в котором существуют, развиваясь, правовое общество и товарный рынок. Два этих фактора определяют общую систему ценностей для всех членов общества. Среди этих ценностей — возможность отстаивать свои права и одновременно уважение к правам другого, уважение к закону, правовое разрешение конфликтных ситуаций. Доведенное до рефлекса уважение к собственности (чужой и своей), представление о природных правах человека, включая право на собственность, право на демократическое избрание власть имущих — все это, как показывает исторический опыт многих столетий, придавало смысл жизни индивидууму правового общества, а значит, подталкивало его на необходимые для жизни этого общества действия, формируя соответствующие интересы и установки. Нетрудно понять, что именно право неотчуждаемой собственности, передачи ее по наследству, сакраментальное «частная собственность священна и неприкосновенна» играют в этой системе ключевую роль с точки зрения мотиваций, обеспечивающих функционирование и развитие товарного рынка.

В нашей же стране веками существовала иная идеологическая система, сформированная для жизни в обществе в рамках общинной собственности и всевластия государства во всех сферах. Главная ценность этой системы — палладизм («жертвенность»), то есть установка личности на действия не ради себя, а ради других, вплоть до принесения в жертву обществу и своих интересов, и даже самой жизни. При этом, безусловно, превалировали интересы групповые над личными, а государственные — над групповыми. Слово «интерес» здесь существенно дезориентирует, поскольку в классическом варианте такой психологии личность о своих интересах просто и не подозревает, ибо отождествляет себя с коллективом или даже с государством. Что касается интереса государственного, то им автоматически является то, что в облатке государственной воли навязывается сверху.

Существует и непримитивный вариант подобной жертвенной психологии, когда личность, осознавая свой интерес, бескорыстно, из любви к себе подобным действительно отказывается от него в пользу других. Однако идеологическая система в большинстве случаев создает такую форму психологии, в которой личный интерес постоянно подавляется как соответствующими нравственно-моральными ограничениями, так и боязнью общественного осуждения, а во многих случаях и просто уголовным законодательством. Естественно, такая идеологическая система абсолютно не приспособлена к существованию в рамках правового общества и товарного рынка, ведь общественная мораль в лучшем случае лишь допускает неравенство, но никогда не будет его поощрять. Выравнивание доходов, а в крайних случаях элементарная уравниловка — прямое следствие подобной установки. Раз наживаться безнравственно и никто нигде не утверждает обратное, раз мораль в глазах архаичного сознания всегда выше права и закона, то для него же правовое общество не что иное, как поощрение преступности и безнравственности, иезуитское изобретение уголовных и других групп, которые, апеллируя к закону, обеспечивают себе свободу деятельности, а попросту развязывают руки. Примерам несть числа: тут и представление, что все кооператоры «воруют», «отмывают» награбленные у государства деньги, что за всем этим стоят интересы мафии и так далее...

В общественных структурах, в которых доминирует корпорация, мы обнаружим идеологию корпоративной лояльности, послушания, исполнительности и в конечном счете безответственности. Корпоративному обществу соответствуют корпоративная идеология и мораль.

Сегодня мы на таком переломе, когда корпоративная идеология и мораль, существовавшие в строго очерченных общественных ячейках, узурпирующие права и интересы личности, разваливаются на наших глазах. Не потому, конечно, что «плохие» начальники не «обеспечили» коммунизм, где все дадут без всяких прав и интересов, нет. Реальность в том и состоит, что превращение

России в индустриальную державу, потребовавшее столь резкого повышения уровня образования народа, создало новую личность, которая с большим трудом удерживается в рамках корпоративной идеологии. Удерживается во многом из-за боязни общественного порицания и отсутствия реальной альтернативы. Отсюда и двойная мораль, которая совершенно естественно совмещается в одном человеке,— мораль индивидуалистическая и мораль корпоративная.

Загнать народ назад в корпорацию возможно лишь в том случае, если его окончательно лишить альтернативы и вновь пропустить через концлагеря.

Опасность двойной морали велика, поскольку в рамках идеологических установок корпоративизма расцветают пышным цветом пещерный индивидуализм и шкурничество, совершенно немыслимые ни в одной цивилизованной западной стране. Многие наши соотечественники — эмигранты последнего времени, сформировали на Западе достаточно нелестный образ «советских» — тех, кто не выполняет своих обязательств (возможно, они и неспособны их выполнить), не уважает законы, склонен к насилию, мошенничеству. В известной степени это, конечно, преувеличение, которое связано с возникновением обычных в таких случаях этнокультурных противоречий, однако же какое-то рациональное зерно здесь есть. Недаром, как известно, некоторые наши зарубежные соотечественники уже завоевали себе всеобщее уважение той же американской мафии тем, что, став неотъемлемой ее частью, полностью игнорируют все и всяческие моральные нормы, а также, что немаловажно,— и законы.

Странный этот феномен можно объяснить тем, что индивидуализм в рамках корпоративной идеологии не имеет праа на существование, а, значит, никак не регламентируется и как бы «не замечается». Корпоративная мораль действует только в случаях, когда есть заинтересованные — например, когда кооператоры больше зарабатывают, а прочие завидио. Однако же все эти «прочие» тихо разворовывают все, что есть в колхозах, на заводах, покрывая при этом друг друга, обеспечивая всеобщее ничегонеделание, то есть занимаются тем, за что в рамках «растленной и безнравственной» буржуазной идеологии полагается сидеть за решеткой.

Из вышесказанного можно сделать вывод: буржуазная идеология — это одна из форм негрупповой или некорпоративной идеологии, которая направлена на личность. В этом смысле ее уместно назвать персоналистической идеологией, помогающей социализации личности, сочетающей интересы отдельного человека с интересами общества. У нас же на пути к товарному рынку подобное осуществится, видимо, не очень скоро...

Установки коммунизма, официальные идеологические уствновки за последние 70 лет вполне удобно вписались в корпоративную мораль, очистив ее от позднейших наслоений, и придав ей новый и м п у л ь с р а з в и т и я. Эта же мораль, дополненная адекватным видением мира, его пониманием (в рамках официальной доктрины), и соответствующими ценностями, стала весьма эффективной общественной идеологией, поскольку заменила обветшавшую прежнюю, базирующуюся на скомпрометировавших себя принципах самодержавия, православия и традиционно-монархически понимаемой народности.

Заметим, что эта идеология осознавалась как коммунистическая, а не как корпоративная и национальная, то есть как идеология общечеловеческая, универсальная, а не частная, отражающая интересы корпоративного государства, вооруженного русской национальной идеей. Это позволяло не только тиражировать ее за рубеж, но и прежде всего активно способствовать процессу консолидации внутри страны в полном соответствии с классическим мессианством Москвы — Третьего Рима, почти ликвидировав — на какое-то время — раскол между государством и обществом, который начиная с XVI века зиждется, по словам Н. Бердяева, на подозрениях народа, что под личиной мессианских интересов Третьего Рима все более и более явственно выступают интересы государства.



## Социальные силы советского общества. Национальное согласие или новый тоталитаризм?

В существующей расстановке политических сил достаточно четко прослеживается линия «Восток» и «Запад».

Если в прибалтийских республиках и в Закавказье доминируют леворадикальные настроения, связанные с представлениями об экономической свободе, то в России ощутима праворадикальная тенденция, предусматривающая закрытие кооперативов, контроль за ценами и доходами, переход к чисто директивным методам, вплоть до возможного возвращения старых принципов планирования и управления. Ставку на поддержку праворадикальной тенденции делает партийно-бюрократический аппарат.

Сложившийся зыбкий баланс социальных сил общества во многом поддерживается лишь авторитетом Президента СССР. Однако этого уже недостаточно для того, чтобы предотвратить столкновения возникших национальных группировок. Пока что эти столкновения идут в русле насущных проблем перестройки: во что верить, куда идти и что делать. Возникновение же народных фронтов в крупнейших славянских республиках грозит дестабилизацией ситуации.

Ожидать согласия по меньшей мере наивно, а Великая Дружба есть не что иное, как очередная фигура самоодурманивания, изобретенная штатными идеологами. Развитие событий, однако, показывает, что общие интересы есть, и состоят они в том, что, даже раскачивая лодку, никто тем не менее не хочет, чтобы она опрокинулась.

Взаимное согласие такого рода можно назвать н е г а т и в н ы м к о м п р о м и с с о м, и в определенных условиях оно может привести к политической стабильности, подобно тому как под угрозой ядерной конфронтации мир удерживала стратегия взаимно гарантированного уничтожения.

Стабильность негативного компромисса в условиях сегодняшних проблем может обеспечить только продуманная политика сильного центра, играющего роль балансира интересов как «левых», так и «правых» национальных группировок. Да, но какие силы могут помочь консолидации сильного центра, если сегодня все достаточно неопределенно? Думается, что роль системообразующего элемента сильного центра в настоящее время может играть просвещенная часть партии и аппарата, способная завоевать доверие не только национальных группировок «левого» или «правого» толка, но и таких крупных общественных институтов, как армия, МВД, КГБ. Кроме всего прочего, нельзя упускать из виду и тот факт, что в сознании масс степень законности нынешних властных структур по-прежнему намного выше, чем любой из возникших ныне группировок и образований. Объясняется это тем, что тот же партийно-государственный аппарат, отождествляя себя в течение 70 лет с политической системой нашей страны, сформировал подобное о себе представление и у советского народа.

Демократические выборы, переход реформаторов из аппарата в Советы создают условия для того, чтобы опорой политической системой общества стали выборные органы. Однако идея создания сильного центра может разбиться об опасные рифы двух противостоящих тенденций: негативного эгалитаризма и негативного реформизма. Первый грозит развалить или по крайней мере сильно дестабилизировать центр, поскольку сегодня часть аппарата блокируется с представителями праворадикальной тенденции соответствующих народных фронтов. В этой ситуации существует реальная опасность поглощения центра праворадикальными силами.

Негативизм же части «левых» (по отношению к существующей в стране системе власти) — это старая и, судя по историческому опыту, трудноизлечимая болезнь русской интеллигенции вообще. Однако, если учитывать исторический опыт, из которого следует, что само существование интеллигенции в России в этом веке было поставлено под вопрос, то тут представляется единственное:

русская интеллигенция способна выжить лишь при наличии сильного центра, под определенной опекой такой власти, которая способна создать стабильность в обществе.

Вспомним, какую бурю возмущения у русской прогрессивной интеллигенции вызвала позиция «Вех», высказавших в начале века мысль о том, что интеллигенции следует молиться на самодержавие, ибо оно своими штыками оберегает ее от народного гнева.

Как известно, пророчество это осуществилось в середине XX столетия, когда русская интеллигенция из-за отсутствия в стране сильного центра относительно либеральной и одновременно консолидированной власти, попала под репрессивный молот политического радикализма народных низов, исповедующих идеи уравниловки. На этом фоне царское самодержавие предстает совершенно в ином свете. При всей своей авторитарности Петербургская империя сохраняла ту степень социального размежевания, при которой вообще только и возможно существование и процветание полноценной культуры в стране бедной, а во многом, пользуясь нынешней терминологией, принадлежащей «третьему миру». После отмены крепостного права в начале XX века начался бурный промышленный рост страны. Заложено было основание гражданского общества. Россия после долгих лет изоляционизма обращала свое лицо к миру. И все это оказалось разрушено в одночасье, поскольку нарастало нетерпение масс, а с другой стороны, выявилась полная неспособность правящей элиты управлять надвигающимся событиями. Идея равенства, сработав затем на потребности той же индустриализации, могла лишь уравнять всех в нищете, уничтожив интеллектуальную элиту, а вместе с ней и культуру...

Итак, история замкнула свой круг. Возвращение к «Вехам» начала столетия, к классическим рассуждениям о роли и месте интеллигенции, а также и к классическому противостоянию «славянофилы — западники», «Россия — Восток — Запад» это доказывает убедительно.

И все-таки, как и когда-то, обе точки зрения, несмотря на их сильнейшую эволюцию, не дают целостного представления о путях развития нашего общества.

Западническая точка зрения связана с позицией тех, кто в большей степени делает упор на экономику, а в меньшей — на идеологию. Казалось бы, чего еще, надо им дать возможность вывести страну из кризиса — уж они-то знают, как это делать. Позиция профессионалов, однако, обладает известными плюсами и минусами. В числе последних фигурирует черта, до некоторой степени утрированно названная «профессиональным идиотизмом», то есть малая способность воспринимать что-либо за пределами профессиональных интересов в своей области. Таким невоспринимаемым и тем самым как бы несуществующим для западников является сфера субъекта. Сюда относятся вопросы, связанные с формированием потенциала человеческого действия, производящего изменения в себе и в окружающей действительности.

Как уже отмечалось, такую работу в человеческом обществе осуществляет идеология — комплекс воззрений, позволяющий видеть мир и себя в нем так, а не иначе, понимая его определенным образом, и, исходя из этого, в нем ориентироваться. Западничество же, исповедуя традиции классического позитивизма, зачастую вообще отрицает идеологию как нечто необходимое (а уж тем более ту идеологию, которая у всех у нас давно навязла в зубах), попадая тем самым в сложное, а в политической перспективе и в весьма опасное положение.

Проблема в том, что реально существующая идеология западничества сколь тривиальна, столь и малопродуктивна в реальных условиях нашей действительности.

Тривиальность ее состоит в том, что де факто перспективы человеческой жизни она сводит к достижению материального благополучия — к так называемой «идеологии колбасы», сомнительной с точки зрения традиционных ценностей. Некоторую романтичность всему этому придает демократическая направленность идеологии западничества, что, однако, не выходит за пределы представлений о парламентарной демократии. Отметим, что эта идеология существенно обеднена именно в наших условиях, ибо, скажем, современная индивидуалистическая идеология Запада, которая связана с такими ценностями, как владение собственностью, правовое государство, человеческая свобода и, наконец, товарный рынок, разумеется, несопоставимо богаче, чем «идеология колбасы». Вспомним, что именно под флагом этих ценностей стронулись баррикады Великой французской революции.



Западничество, например, полностью игнорирует фундаментальные идеологические понятия нашей жизни, не задаваясь вопросом о будущей роли России как сверхдержавы, о классическом мессианстве русского народа и т. п. Что касается национальных целей — ближайших или перспективных,— то западничество их просто не учитывает.

С другой стороны, осмысливая историю России, узнавая страшную правду о нашем прошлом и настоящем, вполне реально предположить, что прошлые ценности ложны и они должны быть отвергнуты.

Явное отсутствие новой идеологии, массированное разрушение старой приводит к массовой деидеологизации страны. Под этими знаменами процветают как элементарное шкурничество и пещерный индивидуализм «войны всех против всех», невиданной в цивилизованном обществе, так и мощные национальные идеологии, постепенно монополизирующие идеологический рынок нашей страны.

В такой ситуации славянофилы-«правые» имеют реальную возможность стать монопольными держателями идеологических акций в России, поскольку возникает явная угроза, что демократия (а это, несомненно, одна из главных ценностей западников) по мере возникновения неизбежных в нынешних условиях трудностей станет восприниматься все с большим равнодушием, а затем — с раздражением и озлобленностью: «Раньше был порядок и продукты, а сейчас?..» «Левая» волна может иссякнуть, и тогда маятник общественных направлений резко качнется вправо. «Левые» же в условиях переходного периода экономической реформы, связанного с трудностями, имеют в долгосрочной перспективе шансы многое потерять.

В стане «правых» — другая крайность: за плотным туманом идеологизации не скрыть беспомощности и дилетантизма их экономической и социальной программы. Скорее речь идет даже об отсутствии оной, поскольку варианты ее колеблются в диапазоне от возврата к командно-административной системе до абстрактных «самостоятельности» и «хозрасчета», которые кто-то куда-то должен внедрить. А может, и не должен?

Все явственней слышны требования обособить Россию от остального мира, и при известном стечении обстоятельств дело в «правом» стане вполне может к тому склониться. Упор программы «правых» на «ценности-завоевания» и вторичность (как бы автоматическую достижимость) экономического прогресса, радикализм в требованиях воплотить эти ценности, следствием чего непременно должно стать улучшение экономического положения страны, собирает под их знамена всех недовольных, которым в экономическом смысле терять нечего. Можно предположить, что при ухудшении экономического положения страны «правые» подпадут под давление маргинализующихся групп населения, резко выступающих против социальной дифференциации и склонных к насилию. Думаю, тут все понятно, ведь никаких других средств для воплощения ценностей «сверху», кроме насилия, история пока не изобрела.

Добавим, что экономическая реформа рыночного типа в подобной ситуации практически обречена.

Дальнейшее ухудшение экономического положения в этих условиях увеличит популярность наиболее экстремистских групп правого толка, выход которых на политическую арену со всеми вытекающими отсюда последствиями представляет немалую опасность демократическим преобразованиям.

С другой стороны, «правые» делают упор на русскую историческую традицию, проявляют внимание к достижениям русской религиозной философии. И все это, а также принципиальная готовность их к новому прочтению марк-

сизма, позволяет делать прогноз о появлении новой идеологии-синтеза, способной вывести нас из беспамятства, по-новому осветить современный мир, определить цели, связанные с национальным возрождением. Парадокс в том, что появление такого идеологического синтеза возможно лишь на базе консервативных и охранительных социально-культурных установок «правых».

Парадокс ли? Думается, что нет, поскольку перестройка может свершиться только как консервативная революция, ибо, как ни странно, в закономерности революции-реформы заложен принцип: только консервативная революция имеет шанс стать радикальной. Радикальная же политическая революция несет в себе зародыш нового консерватизма, поскольку, резко продвигая вперед те или иные сферы общественных отношений с помощью насилия, государство не может не сузить сферу свободы в обществе, ведь оно же и формирует репрессивный аппарат, который лишь в случае благоприятного исхода может быть подвергнут постепенному демонтажу. Как показывает богатая практика революций, процесс демонтажа может затянуться на десятки лет, он чреват политической нестабильностью и даже кровопролитием.

Все так, но лишь достаточно радикальный поворот может стать революцией, и, если внешняя или внутренняя силы толкают страну на радикальные сдвиги, приводящие в конечном итоге к свержению правящей элиты,— судьба этой страны находится только в руках божьих. Десятки лет политической нестабильности, повторные перевороты и контрперевороты — все это или надолго растянет становление нового, или приведет к запаздыванию и необходимости повторения пройденного.

В том и состоит суть дела, что именно наличие старой, все более заинтересованной в реформах элиты, с одной стороны, позволяет расширять сферу свободы в обществе, с другой же, именно эта элита, сохраняя свою власть, должна опереться на новое, блокируя контрреволюцию, опасность которой исходит от оголтелых консерваторов.

Увы, консервативная революция — слишком тонкий процесс, ибо предполагает, что сила прогрессистов и состоит в соединении противоположностей старого и нового. Тут требуется очень сильная спайка интересов, которая может осуществиться лишь в рамках сильной идеологии, обладающей мощной научной подкладкой. Так, в основе консервативной революции Рузвельта лежали идеи кейнсианского типа, провозглашавшие синтез интересов потребителя (широкие массы народа) и производителя (капитал) в рамках формирования того, что мы называем экономикой потребления.

Новый идеологический синтез должен прояснить общность интересов и перспективы совместного развития ни много ни мало — четырех базовых общественных групп населения.

Первая — это западники вообще и западнически мыслящие национальные группы (прежде всего Балтия).

Вторая — широкие массы русского населения страны, среди которых достаточно сильны традиционные эгалитаристские настроения равенства вплоть до уравниловки. Русская философия конца прошлого — начала нынешнего века, ее идеологические посылы во многом адекватны этим настроениям. К этой группе со своими специфическими идеологиями могут примыкать и незападники.

Третья группа — прогрессисты в аппарате. Их идеология — те или иные формы марксизма.

И наконец, четвертая, важнейшая группа — это интеллектуализированная научная и производственная элита, которая находится на передовых позициях общемирового научно-технического прогресса. Эта достаточно малочисленная, но важнейшая для дальнейших судеб страны группа населения реализует свои интересы в рамках идеологии развития, которая так или иначе связана со все более усиливающимся технологическим рынком современного мира.

Сама возможность синтеза этих четырех групп зависит от одного важнейшего фактора: по какому пути пойдет Россия? Двинется ли она в сторону автаркии, закрытости, к дальнейшему отрицанию всего западного, предпримет ли очередную попытку пройти этот путь в одиночку, соревнуясь, как и прежде, со всем остальным миром? Или все же перестройка возьмет курс на открытие страны, основой которого будет общенациональный консенсус в том, что этот шаг — единственная возможность выжить.



Развал Союза, а в перспективе и возврат к режиму сталинского типа на новой идеологической основе — к таким результатам может привести шаг в сторону автаркии. Западнические группы в составе СССР удержит только сила. (Надолго ли?) Партия будет поглощена национальными фронтами. Научно-техническое отставание, которое резко усилится из-за экономической блокады со стороны Запада (а это неизбежно), плюс идеологическая нетерпимость (следствие подавления инакомыслия) в короткий срок превратят страну в евразийскую Албанию с невеселой перспективой вести постоянную борьбу с внутренней дестабилизацией, которая будет активно стимулироваться извне. Такой может быть радикальная революция, в результате чего произойдет смена сегодняшней либеральной партийной элиты, на место которой придут крайние консерваторы национального толка в марксистской обертке.

Вариант второй, позволяющий рассчитывать на то, что сохранится стабильность,— это усиление авторитарной власти центра, базирующейся на реальной роли посредника между отдельными группами населения, держателя акций научно-технического прогресса. Новым идеологическим синтезом, открывающим дорогу в современный мир, учитывающим особую роль и функцию страны в современном мире, явится, на наш взгляд, обновленный марксизм, очищенный от идеологических догм и конъюнктурных напластований.

Особый путь России, ее миссия спасения мира, а также упадничество западной цивилизации — суть консервативных моделей развития страны.

Вопросы особого пути (особой роли) России и упадка Запада должны быть как-то прояснены, ибо, как известно, оба эти тезиса выдвинули еще славянофилы. Правда, предполагаемые кризис и упадничество капитализма длятся практически столько же лет, сколько лет самому капитализму. Если учесть, что в основе особого (истинного) пути России и «неистинного» Запада лежит теория Москвы как третьего Рима (четвертому — не бывать), то Запад, оказывается, порочен был всегда...

Тезисы о кризисе западного общества и об особом пути России в известном смысле увязаны с представлениями о русском мессианстве, о русской национальной идее — государственной по форме, но мессианской — по содержанию.

Попытаться бы взглянуть на это здраво. Без слюнявого восторга шестнадцатилетнего школьника, у которого, помимо того что он русский, украинский или еще каковский, пока нет ничего за душой, а с пониманием того уникального и особого вклада, который внесла, а главное, может внести в мировую цивилизацию Россия. Неужели России для утверждения ее уникальности непременно нужно «подмять» под себя Запад, что делает она пока без особого успеха, зато с заметным для себя ущербом? Почему бы не предположить, что и у других есть особые роли и что это благотворно влияет на весь мир и индивидуальность отдельных стран?

Откуда эта паническая, почти ритуальная боязнь западной «порчи»? Странное для современной науки убеждение, что развитие может быть обособлено? Откуда патологическое неприятие чужого и одновременно страстное желание им обладать, желание, доведенное до христианского искуса? Откуда боязнь реальной борьбы ценностей, убеждение в том, что мы слабенькие? И что если отсидимся за забором, то оттуда, из-за этого забора, всем потом и зададим? В этом национальном комплексе есть что-то мелкое, не соответствующее уникальной, великой культуре, представители которой (как правило, предварительно оплеванные и изгнанные за рубеж) являли миру чудеса русского гения.

Кем же вколочен в нас нутряной страх идти вперед? Или, если и идти, то только всем миром, как в последнюю атаку под Сталинградом... Ставшая чуть ли не добродетелью боязнь личной ответственности (особенно широко распро-

странилось это в годы застоя) — не что иное, как обратная сторона массового героизма, бескорыстия и самоотречения — лишь бы кто-то указал, вдохновил.

Саморазоблачения становятся обратной стороной самовосхвалений. Одно и то же обращается то в порок, то в добродетель. Так, великая русская душа становится великой рабой, ибо уравнительный коллективизм является сущим рабством. Но он же с точки зрения ревнителей традиционных ценностей, которые на том же Западе сейчас находят все больше и больше сторонников,— несомненное благо, добродетель, ведь это коллективная жизнь «на миру» и «миром», это «совет да любовь» и т. д.

Думается, что уравнительная общность двух таких ипостасей, как великая душа и великая раба,— по крайней мере неполная правда. Потому что не верится, что великая культура России создана народом-рабом под палкой царей.

Не верится, ибо была и другая Россия, которая, покоряя «безмерные пространства», уподобляла русских пионеров американским. И тут ни о каком рабстве нет речи. На восток двигались люди сильные, свободные, зачастую даже, как говаривали, «лихие», да и не все ведь были крепостными — крепостное сословие России никогда не превышало половины населения. Если же разбираться в том, кто реально и строил, и построил империю, то надо констатировать, что прежде всего это были вольные люди — в основном казаки, бежавшие от царского произвола, раскольники, часть которых позже была закрепощена, дворяне и разночинцы.

Другая Россия, Россия вольных людей, обогнувших евразийский материк, дошедших до самой Америки и колонизировавших Аляску, по существу, сотворила страну и империю, но странным образом осталась в нашем сознании как бы на периферии русской культуры. Конечно, за вольными людьми шли администрация, армия, но на новых землях, однако, реальным освоителем и держателем всегда оставался крепкий и вольный казачий народ, да еще вольные крестьяне-поселенцы. Другая Россия, даже закованная в цепи рабства, была промышленным мотором петровских реформ, руками раскольников ковала знаменитый булат, а трудолюбие, предприимчивость и сметка уральских и сибирских промышленников больше, чем на век обеспечили промышленное развитие страны.

Не будь великого раскола государства и общества, благодаря которому и образовался мощный костяк вольных строителей империи, не было бы и самой империи. Небольшое Московское царство могло распространить свое влияние на районы этнического проживания русских, но удержать свои национальные окраины (коль скоро они вообще бы были) ему бы не удалось. Консервативное Московское царство фактически воспользовалось плодами деятельности вольных людей, выступив в роли координатора, держателя ресурсов.

Другая Россия родилась в огне раскола, семена которого вызревали в течение полутора веков от нестяжателей и иосифлян начала XVI века до протопопа Аввакума. В этом раннем конфликте зримо проявились две тенденции. Первая — ориентация на человека, на личность, на упорный труд и личный диалог с богом. Вторая — служение государству, «благолепие», крупное церковное землевладение. Семена вызревали, а вызрев, проросли расколом — сперва раскольничьими скитами, затем широкой волной во времена Петра. В раскол, как мы уже писали, уходила другая Россия, Россия старины и свободы, не до конца еще отравленная ядом закрепощения. Так были заложены основы нашей страны-симбиоза, так линии свободы и несвободы переплетались в ее истории. Свобода обеспечила строительство империи, распространившись в «безмерные просторы». Несвобода же, рабство стали средством поддержания существующих порядков.

В рамках управления страной стал доминировать принцип несвободы, воплощенный в тотальном закрепощении всех управляемых, подтверждая, что Россия, таким образом, вступила на восточный путь.

Суть истории России — это непрерывная череда реформ-закрепощений и своего рода размягчений, либерализаций, постоянная борьба линии рабства и линии свободы. Первая усиливалась во времена реформ, вторая — во времена либерализаций. Главное же состояло в том, что, хотя инструментом реформ было усиление власти, а значит, и несвободы, конструктивный процесс строительства империи был невозможен, повторимся, без мощных слоев вольных людей.



Диалектикой борьбы свободы и рабства в русской истории можно объяснить и самую суть особого пути России: очередная реформа, усиливая власть, уничтожая очаги сопротивления, уничтожала то новое, что могло бы обеспечить внутреннее развитие России. Гнет же сильной власти, осуществлявшей реформы, замедлял развитие русского общества, и потому-то всегда в такие времена в России насаждалось иностранное, современное, более передовое.

Вступление на восточный путь развития, начавшееся после Батыева погрома, завершилось, пожалуй, только во времена Грозного. Фактической силой этого развития стало государство. Отставая от соседей, оно становилось на путь реформ. Свобода и самоуправленческие начала в условиях постоянного властного давления существенно ограничивались, и поэтому никто, кроме государства, не способен был ответить на исторический вызов соседних стран. Модернизации и перевороты, имевшие место в России, проходили в рамках самодержавия, и лейтмотивом этих трансформаций становится бердяевский псевдоморфоз, то есть, образно говоря, вливание нового вина в старые мехи. По мере же развития производства на Западе осуществление реформ в России шло все с большими трудностями, требуя усиления машины власти. В конечном итоге прогресс производительных сил, который достигался во времена реформ, осуществлялся за счет все большего регресса общественных отношений. В этом смысле третья по счету российская реформа — реформа Сталина, став вершиной русского самодержавия, превратила общество в плоскую безлесную равнину...

Восточный путь России был и в том, что под тяжестью монопольной власти правящей верхушки невозможно было включить в дело политическую инициативу «низов». Возникал порочный круг: то есть р а з в и т и е свободы и прав оказалось невозможным потому, что «низы» были лишены этих свобод и прав. Но ведь именно н а л и ч и е и того, и другого — предпосылка их же р а з в и т и я. И если в Европе был создан механизм саморазвития, в основе которого были противоречия различных социальных слоев, то в России ничего подобного так и не произошло...

Более того, развитие естественных основ народного демократизма оказалось направлено в совершенно иное русло. Экономически и политически активные городские слои Московского государства становились его дойной коровой, объектом безудержной, разорительной эксплуатации, фактического закрепощения. В еще большей степени это касалось сельского населения. Соборным уложением 1647 года было зафиксировано рождение чиновничьего государства, закрепощение представителей всех прочих сословий.

Боярство и бюрократия, а особенно ее средние и высшие слои («сильные люди») стали отныне злейшими врагами для постоянно разоряемых, маргинализуемых городских слоев. Перед реформами Петра очаг притеснения («чиновные» и «сильные», то есть воеводы, стрелецкие головы, приказные чины, бояре) был обозначен вне зависимости от того, чинили ли они собственный произвол или исполняли государеву волю.

В преддверии петровских реформ процесс деградации гражданского общества продвинулся достаточно далеко. Посадские люди консолидировались теперь уже не на основе сословных прав, а, скорее, одинакового бесправия перед лицом «сильных». Перерождение правового сословия в сословие «тяглецов»-просителей знаменует не просто усиление гнета. Налицо коренное изменение не только социальной природы городских сословий, но и самого общества.

Подвергаясь непрерывному гнету «верхов», городские слои во все большей степени превращались в своеобразный античный пролетариат, объединенный в собственном бесправии, для которого единственным спасением от власти «сильных» является более «сильный» — царь. (Точно так же в античном полисе лишенные собственности городские пролетарии («чернь») призывали на трон тирана, чтобы он экспроприировал «сильных».)

Царь был высшим судией не только в представлении «городской черни»

нли люмпен-маргиналов, лишенных имущества и прав, но и в значительной степени в представлениях более обеспеченных городских слоев вплоть до купцов и мелкого дворянства. Царь-судия, являясь источником деспотизма, как бы выводился из-под удара, закрепляя этот образ в общественном сознании и тем самым укрепляя свою деспотическую власть: «Нынеча государь милостив, сильных из царства выводит, сильных побивают ослопьем да каменьем».

Петровские реформы стали революцией против крупных боярских родов, против «сильных», окопавшихся в администрации, перераспределив власть в пользу мелкого служилого дворянства, преданного царю и от него зависимого. Фактически это было завершение реформ Грозного, своеобразная «вторая опричнина», которая наконец-то вывела служилое дворянство на первые роли в государстве. История самодержавия в собственном смысле слова и началась после того, как произошел отказ от союза с сильным родовитым боярством первого периода правления Романовых. Правящая элита, начиная с Петра, получив полноту прав в начале XVIII века, приобрела окончательный статус замкнутого сословия по отношению к тем, кто этих прав был лишен в той или иной степени. В этом смысле история самодержавия в России — не что иное, как история русского дворянства, которое вышло на историческую арену. История русского дворянства — это и история превращения творческого меньшинства строителей империи петровского времени в консолидированное господствующее сословие при Екатерине и далее, вплоть до его упадка и развала в конце XIX века.

Деспотическое государство, основанное на власти служивой дворянской знати, было ответом России на исторический вызов Востока после Батыева погрома. Полутатарское, полувосточное дворянство эпохи Грозного, сформировавшееся в эпоху противостояния-сотрудничества с монголами, отвечая уже на вызов Запада, в кратчайшие сроки после Петра освоило рафинированную форму европейского благородного сословия.

Этот путь развития или особый путь России «в состоянии ответа на исторический вызов», сначала с Востока, в затем с Запада, реализуется и по сей день. Во-первых, это процесс периодических реформ, начиная с Грозного, которые связаны с перенесением на нашу русскую почву западных форм организации и технологии, и прежде всего в военной сфере. Но одновременно это сопровождалось социальными сдвигами разной степени интенсивности, ибо, отвечая на исторический вызов, Россия формировала творческое меньшинство, контрэлиту, способствовало выходу ее на поверхность общественной жизни.

Реформы Грозного и реформы Петра, связанные со становлением русского дворянства, были консервативными революциями, поскольку происходили внутри элиты, не нарушая преемственности культуры.

В этом смысле интересно исследовать *третью по счету реформу* в России — реформу Сталина. Поскольку ко времени Октября творческий потенциал старой элиты, ставшей господствующим меньшинством, был исчерпан, из гущи народа должна была возникнуть контрэлита. Придя к власти в результате «восстания масс», новая элита — теперь уже партийно-аппаратная — закрепила свою господствующую роль 6-й статьей Конституции СССР.

Что касается сталинизма, то здесь чисто русская линия развития (самодержавие) потребовала на современном этапе соединения со специфической технологией власти, идентичной понятию «тоталитаризм». Тоталитаризм, взяв на вооружение помимо идеологии такую тенденцию развития товарного хозяйства, как производство ради производства, породил гибрид из восточной деспотии и позднего капитализма государственно-монополистического образца. Произошло то, о чем, следом за Шпенглером, говорил Н. Бердяев и о чем мы уже упоминали выше — новое проникло в старую структуру. Все оказалось в сохранности — и «помазанничество», и русское мессианство. Сталинизм, таким образом, обрел вид тех деспотий, которые базируются на современном развитии «технологии власти», технологии тоталитаризма, подчиняя себе и лишая свободы все общественные структуры.



Это была тупиковая линия развития, попытка достичь современного уровня хозяйства и высокой степени интеграции общества за счет несвободы.

Командно-административная система разрушается не потому, что ее не принял народ — народу было все равно, он был подавлен. Не потому, что экономическая система не способна к функционированию — в рамках нищенских потребностей и низкого жизненного уровня она к этому способна. И уж, разумеется, не по причине отсутствия демократии (протесты против нехватки, а то и отсутствия колбасы в магазинах, разумеется, не в счет...).

Причина разрушения режима административно-законодательного насилия и тотального контроля только в одном — ему не угнаться за мировым развитием, он не в состоянии это сделать. Ввязавшись в соревнование с Западом, где наивысшая эффективность экономики и непрерывное развитие общества как бы спаяны, поскольку это единственная форма существования товарного хозяйства, режим просто проиграл, и он вынужден проводить реформы, чтобы не потерять былого влияния в мире. Не ввязаться же в это соревнование он не мог, ибо тогда не гарантировалась безопасность страны. Впрочем, не мог он не ввязаться и в соревнование уровней жизни, поскольку разрушался сталинский режим непрерывного террора, который оправдывал нужду и лишения.

Отход от сталинщины был неизбежным и обусловливался интересами самой бюрократии, уставшей от репрессий и стремившейся к стабилизации ради получения всей полноты власти. В результате этого после смерти Сталина возникло соперничество удельных царьков в аппарате и на местах. Для поддержания стабильности режима им приходилось учитывать интересы народа и, поднимая жизненный уровень, гваться за передовыми странами. А это уже было началом конца. «Серая» аппаратная масса, выросшая в условиях стабильности, становилась все менее восприимчивой к новому, она теряла способность использовать интеллектуальный потенциал страны и, в конечном итоге одурманенная собственной пропагандой, вообще перестала принимать разумные решения.

Исчислено, взвешено, предрешено... Режим был обречен.

Скажем, к слову, что, например, в тысячелетнем Киеве подобный кризис был бы лишь рябью на поверхности неспешно текущего времени. Простым концом династического цикла. Последний император династии, впав в пороки, утрачивал мандат неба, а в силу этого закономерно утрачивал и власть. На смену ему непременно приходил достойный, получая мандат даже в том случае, если смена власти была результатом больших беспорядков в Поднебесной. Другими словами, в результате радикальной революции происходила смена элиты, которая приходила к власти порой просто из среды народа. Если смена династии происходила в результате крестьянского восстания, новый император-крестьянин успешно восстанавливал линию непрерывности развития империи.

Возможно ли восстановление тоталитарного режима в нашей стране после «больших беспорядков в Поднебесной»? Такая возможность всегда присутствует, поскольку существуют и широкие слои маргинализующегося населения, основное требование которых — распределительная, уравнительная справедливость (негативный эгалитаризм). Не стоит питать иллюзий — появление тоталитарного общества Хаксли — Оруэлла сегодня реальнее, чем вчера, поскольку обеспечивается технологическим развитием (генная инженерия, компьютерная информационная техника). Шанс для сторонников тоталитаризма как раз предоставляет межимперский период, когда начнет осуществляться очередное «культурное подтягивание» к Западу.

Подобное может быть следствием логики автаркического развития изоляционизма, попытки совершить технологический прыжок, не меняя существующей в нашем обществе системы отношений. Опасность состоит в том, что подобный прыжок лет через десять может и совершиться — если за это время мы накопим «жирок» в результате полурыночного или даже рыночного развития. И снова, как во времена нэпа, презрев экономические рамки первоначального накопления, мы бросимся в технологическую авантюру, разорив общество ради попытки принести новый свет с Востока. Все это имеет шанс стать реальностью,

если дальнейшее развитие нашего общества опять будет воплощением в жизнь ценностей, идеологических установок, а не экономическим соревнованием, не попыткой достичь максимальной производительности труда.

Пора наконец понять: то, что мы делали 70 лет, имеет отношение не к марксизму, а к идеализму. Основа любой цивилизованной идеологии (не только марксистской) — непрерывное и органическое развитие человека и общества, но никак не навязывание ценностей. Дай нам, Боже, удержаться не только от абсолютно антимарксистского, но и антиразумного в наши дни представления о том, что идеология и политика должны доминировать над экономикой. Идеология сегодня должна ориентироваться на ценности жизни, а не на диктатуру абстракций, на максимальный экономический рост, повышение экономической эффективности. Конечный итог — рост доходов, постоянное улучшение общественных отношений.

Искушение тоталитаризма опасно притягательно в периоды общественных кризисов. Формируются новые общественные отношения, новый общественный порядок и все это ставит под вопрос существование огромных людских масс, которые или не способны, или не желают к этим изменениям приспособиться. Но и из этой ситуации есть выход — надо включать на полную мощность механизмы социальной справедливости, не допуская массовой маргинализации людей, которые в противном случае будут стремиться отстоять силой и свой статус, и свое материальное положение.

В такие моменты тоталитаризм выступает желанной остановкой движения для той части общества, которая ратует за распределительную справедливость.

Феномен тоталитаризма сродни происходящему в животном мире, когда на вилке развития тенденциям перехода на следующий эволюционный уровень противостоит тупиковая его ветвь — сверхприспособление к среде посредством специализации. Сверхспециализированные же виды теряют способность к развитию. В условиях изменения среды этот организм просто погибает.

Тень тоталитаризма постоянно напоминает о том проклятии, которое ложится на общество, если развитие сопровождается разрушением ткани его органической справедливости. И тогда общество тормозит движение, обращаясь лицом к своему прошлому, своей нечеловеческой звериной природе... И застывает так. Арнольд Тойнби называл такие общества «застрявшими», ибо совершили они, обернувшись назад, «непростительный грех жены Лота».

И «...жестокая природа заворожила их взгляд, они как бы остолбенели на пути; но отсутствие движения по пути человеческого развития волей-неволей навязывало им перспективу человеческого озверения...»

И да минует нас в очередной раз чаша сия.

Окончание следует



*Лев Троцкий*

# ССЫЛКА. ВЫСЫЛКА, СКИТАНИЯ, СМЕРТЬ

## ИЗ ДНЕВНИКА 1935 ГОДА

7 февраля

Дневник — не тот род литературы, к которому я питаю склонность: я предпочел бы ныне ежедневную газету. Но ее нет... Отрезанность от активной политической жизни заставляет прибегать к таким суррогатам публицистики, как личный дневник. В начале войны, запертый в Швейцарии, я вел дневник в течение нескольких недель... Затем короткое время в Испании, в 1916 г., после высылки из Франции. Это, кажется, и все. Приходится прибегнуть к политическому дневнику снова. Надолго ли? Может быть, на месяцы. Во всяком случае, не на годы. События должны разрешиться в ту или другую сторону и — прикрыть дневник. Если его еще раньше не прикроет выстрел из-за угла, направленный агентом... Сталина, Гитлера или их французских друзей-врагов.

Лассаль писал когда-то, что охотно оставил бы ненаписанным то, что знает, только бы осуществить на деле хоть часть того, что умеет. Такое пожелание слишком понятно для всякого революционера. Но надо брать обстановку, как она есть. Именно потому, что мне дано было участвовать в больших событиях, мое прошлое закрывает мне ныне возможность действия. Остается истолковывать события и пытаться предвидеть их дальнейший ход. Это занятие способно во всяком случае дать более высокое удовлетворение, чем пассивное чтение.

С жизнью я сталкивался здесь почти только через газеты, отчасти через письма. Немудрено, если мой дневник будет походить по форме на обзор периодической печати. Но не мир газетчиков сам по себе интересует меня, а работа более глубоких социальных сил, как она отражается в кривом зеркале прессы. Однако я, разумеется, не ограничиваю себя заранее этой формой. Преимущество дневника — увы, единственное — в том и состоит, что он позволяет не связывать себя никакими литературными обязательствами или правилами.

12 февраля

Перевод Чубаря из Харькова в Москву прошел в свое время как-то незаметно, и я сейчас затрудняюсь даже вспомнить, когда, собственно, это произошло. Но перевод этот имеет политический смысл. Чубарь есть «заместитель» Молотова в том смысле, что должен раньше или позже вытеснить его. Рудзутак и Межлаук, два других заместителя, для этого не годятся: первый опустился и обленился, второй политически слишком незначителен. Во всяком случае, Молотов живет под конвоем трех заместителей и размышляет о смертном часе.

Нет существа более отвратительного, чем накопляющий мелкий буржуа; никогда не приходилось мне наблюдать этот тип так близко, как теперь.

---

Окончание. Начало см. «Знамя» № 7 за 1990 год.

13 февраля

Энгельс, несомненно, одна из лучших, наиболее цельных и благородных по складу натур в галерее больших людей. Воссоздать его образ — благородная задача и в то же время исторический долг. На Принкипо я работал над книгой о Марксе — Энгельсе,— предварительные материалы сгорели. Вряд ли придется снова вернуться к этой теме. Хорошо бы закончить книгу о Ленине,— чтоб перейти к более актуальной работе — о капитализме распада.

Христианство создало образ Христа, чтоб очеловечить неуловимого господа сил и приблизить его к смертным. Рядом с олимпийцем Марксом Энгельс «человечнее», ближе; как они дополняют друг друга; вернее: как сознательно Энгельс дополняет собою Маркса, расходует себя на дополнение Маркса всю свою жизнь, видит в этом свое назначение, находит в этом удовлетворение,— без тени жертвы, всегда сам по себе, всегда жизнерадостный, всегда выше своей среды и эпохи, с необъятными умственными интересами, с подлинным огнем гениальности в неостывающем очаге мысли. В аспекте повседневности Энгельс чрезвычайно выигрывает рядом с Марксом (причем Маркс ничего не теряет). Помню, я после чтения переписки Маркса — Энгельса в своем военном поезде высказал Ленину свое восхищение фигурой Энгельса, и именно в том смысле, что на фоне отношений с титаном Марксом верный Фред ничего не теряет, наоборот, выигрывает. Ленин с живостью, я бы сказал, с наслаждением, присоединился к этой мысли: он горячо любил Энгельса, именно за его органичность и всестороннюю человечность. Помню, мы не без волнения разглядывали вместе портрет юноши Энгельса, открывая в нем те черты, которые так развернулись в течение его дальнейшей жизни.

Когда начитаешься прозы Блюмов, Поль-Форов, Кашенов, Торезов — наглотаешься микробов мелочности и наглости, пресмыкательства и невежества, нельзя лучше освежить легкие, чем за чтением переписки Маркса и Энгельса, друг с другом и с другими. В эпиграмматической форме намеков и личных характеристик, иногда парадоксальных, но всегда глубоко продуманных и метких — сколько поучительности, умственной свежести и горного воздуха. Они всегда жили на высотах.

14 февраля

Прогнозы Энгельса всегда оптимистичны. Они нередко опережают действительный ход дальнейшего развития. Мыслимы ли, однако, вообще исторические прогнозы, которые, по французскому выражению, не сжигали бы некоторые посредствующие этапы?

В последнем счете Энгельс всегда прав. То, что он в письмах к Вишневецкой говорит о развитии Англии и Соед. Штатов, полностью подтвердилось только в послевоенную эпоху, 40—50 лет спустя, но зато как подтвердилось! Кто из великих людей буржуазии хоть немного предвидел нынешнее положение англосаксонских стран? Ллойд-Джорджи, Болдвины, Рузвельты, не говоря уже о Макдональдах, кажутся и сегодня еще (сегодня даже больше, чем вчера) слепыми щенками рядом со старым, зрячим, дальновидным Энгельсом. Какой нужно иметь медный лоб всем этим Кейнсам, чтоб объявлять прогнозы марксизма опровергнутыми. <...>

Час ночи. Давно я не писал в такой поздний час. Я пробовал уже несколько раз ложиться, но негодование снова поднимало меня.

Во время холерных эпидемий темные, запуганные и ожесточенные русские крестьяне убивали врачей, уничтожали лекарства, громили холерные бараки. Разве травля «троцкистов», изгнания, исключения, доносы — при поддержке части рабочих — не напоминают бессмысленные конвульсии отчаявшихся крестьян? Но на этот раз дело идет о пролетариате передовых наций. Подстрекателями выступают «вожди» рабочих партий. Громилами — небольшие отряды. Массы растерянно глядят, как избивают врачей, единственных, которые знают болезнь и знают лекарство.



15 февраля

«Temps» печатает очень сочувственную телеграмму своего московского корреспондента о новых льготах колхозникам, особенно в области обзаведения собственным крупным и мелким скотом. Подготовляются, видимо, и дальнейшие уступки мелкобуржуазным тенденциям крестьянина. На какой линии удастся удержаться нынешнему отступлению, предсказать пока трудно. Самое отступление, вызванное крупнейшими бюрократическими иллюзиями предшествующего периода, не трудно было предвидеть заранее. С осени 1929 года Бюллетень русской оппозиции забил тревогу по поводу авантюристских методов коллективизации. «В ажиотаже несогласованных темпов заложен элемент неизбежного кризиса в ближайшем будущем». Дальнейшее известно: истребление скота, голод 1933 года, несчетное количество жертв, серия политических кризисов. Сейчас отступление идет полным ходом. Именно поэтому Сталин снова вынужден рубить все и всех, кто слева от него.

Революция по самой природе своей вынуждена бывает захватывать большую область, чем способна удержать: отступления тогда возможны, когда есть откуда отступать. Но этот общий закон вовсе не оправдывает сплошной коллективизации. Ее несообразности были результатом не стихийного напора масс, а ложного расчета бюрократии. Вместо регулирования коллективизации в соответствии с производственно-техническими ресурсами; вместо расширения радиуса коллективизации — вширь и вглубь, в соответствии с показаниями опыта,— испуганная бюрократия стала гнать испуганного мужика кнутом в колхоз. Эмпиризм и ограниченность Сталина откровеннее всего обнаружились в его комментариях к сплошной коллективизации. Зато отступление совершается ныне без комментариев.

«Temps», 16 февраля: «Наши парламентарии собираются похоронить экономический либерализм. Неужели они не видят, что этим готовят и свои собственные похороны, и что если суждено умереть экономическим свободам, парламенту непременно придется последовать за ними в могилу?»

Замечательные слова! Не догадываясь о том, «идеалисты» из «Temps» подписываются под одним из важнейших положений марксизма: парламентская демократия есть не что иное, как надстройка над режимом буржуазной конкуренции, стоит и падает вместе с нею. Но это вынужденное заимствование у марксизма делает политическую позицию «Temps» неизмеримо более сильной, чем позиция социалистов и радикал-социалистов, которые хотят сохранить демократию, дав ей «другое» экономическое содержание. Эти фразеры не понимают, что между политическим режимом и хозяйством отношения такие же, как между консервами и жестяной упаковкой.

Вывод: парламентская демократия так же обречена, как и свободная конкуренция. Вопрос лишь в том, кто станет наследником.

17 февраля

Представим себе старого, не лишенного образования и опыта врача, который изо дня в день наблюдает, как знахари и шарлатаны залечивают насмерть близкого ему, старому врачу, человека, которого можно наверняка вылечить при соблюдении элементарных правил медицинской науки. Это и будет приблизительно то состояние, в каком я наблюдаю ныне преступную работу «вождей» французского пролетариата. Самомнение? Нет. Глубокая и несокрушимая уверенность!

Жизнь наша здесь очень немногим отличается от тюремного заключения: заперты в доме и во дворе, и встречаем людей не чаще, чем на тюремных свиданиях. За последние месяцы завели, правда, радиоаппарат TSF, но это теперь имеется, кажись, и в некоторых тюрьмах, по крайней мере в Америке (во Франции, конечно, нет). Слушаем почти исключительно концерты, которые занимают ныне довольно заметное место в нашем жизненном обиходе. Я слушаю музыку

чаще всего поверхностно, за работой (иногда музыка помогает, иногда мешает писать — в общем, можно сказать, помогает набрасывать мысли, мешает их обрабатывать). Наталья слушает, как всегда, углубленно и сосредоточенно. Сейчас слушает Римского-Корсакова.

TSF напоминает, как широка и разнообразна жизнь, и в то же время придает этому разнообразию крайне экономное и портативное выражение. Одним словом, аппарат, как нельзя лучше пригодный для тюрьмы.

Тюремная обстановка.

18 февраля

В 1926 г., когда Зиновьев и Каменев, после трех с лишним лет совместного со Сталиным заговора против меня, присоединились к оппозиции, они сделали мне ряд нелишних предостережений.

— Вы думаете, Сталин размышляет сейчас над тем, как возразить вам? — говорил, примерно, Каменев по поводу моей критики политики Сталина — Бухарина — Молотова в Китае, в Англии и пр.— Вы ошибаетесь. Он думает о том, как вас уничтожить.

— ?

— Морально, а если возможно, то и физически. Оклеветать, подкинуть военный заговор, а затем, когда почва будет подготовлена, подстроить террористический акт. Сталин ведет войну в другой плоскости, чем вы. Ваше оружие против него недействительно.

В другой раз тот же Каменев говорил мне: Я его (Сталина) слишком хорошо знаю по старой работе, по совместной ссылке, по сотрудничеству в «тройке». Как только мы порвали со Сталиным, мы составили с Зиновьевым нечто вроде завещания, где предупреждаем, что в случае нашей «нечаянной» гибели виновным в ней надлежит считать Сталина. Документ этот хранится в надежном месте. Советую вам сделать то же самое.

Зиновьев говорил мне не без смущения: «Вы думаете, что Сталин не обсуждал вопроса о вашем физическом устранении? Обдумывал и обсуждал. Его останавливала одна и та же мысль: молодежь возложит ответственность лично на него и ответит террористическими актами. Он считал поэтому необходимым рассеять кадры оппозиционной молодежи. Но что отложено, то не потеряно... Примите необходимые меры».

Каменев был, несомненно, прав, когда говорил, что Сталин (как, впрочем, и он сам с Зиновьевым в предшествующий период) вел борьбу в другой плоскости и другим оружием. Но самая возможность такой борьбы была создана тем, что успела сложиться совершенно особая и самостоятельная среда советской бюрократии. Сталин вел борьбу за сосредоточение власти в руках бюрократии и за вытеснение из ее рядов оппозиции; мы же вели борьбу за интересы международной революции, противопоставляя себя этим консерватизму бюрократии и стремлению к покою, довольству, комфорту. При длительном упадке международной революции победа бюрократии, а следовательно, и Сталина, была предопределена. Тот результат, который зеваки и глупцы приписывают личной силе Сталина, по крайней мере его необыкновенной хитрости, был заложен глубоко в динамику исторических сил. Сталин явился лишь полубессознательным выражением второй главы революции, ее похмелья.

Во время нашей жизни в Алма-Ате (Центральная Азия) ко мне явился однажды какой-то советский инженер, якобы по собственной инициативе, якобы лично мне сочувствующий. Он расспрашивал об условиях жизни, огорчался и мимоходом очень осторожно спросил: «Не думаете ли вы, что возможны какие-либо шаги для примирения?» Ясно, что инженер был подослан для того, чтобы пощупать пульс. Я ответил ему в том смысле, что о примирении сейчас не может быть и речи: не потому, что я его не хочу, а потому, что Сталин не может мириться, он вынужден идти до конца по тому пути, на который его поставила бюрократия.



— Чем это может закончиться?

— Мокрым делом,— ответил я,— ничем иным Сталин кончить не сможет.

Моего посетителя передернуло, он явно не ожидал такого ответа и скоро ушел.

Я думаю, что эта беседа сыграла большую роль в отношении решения о высылке меня за границу. Возможно, что Сталин и раньше намечал такой путь, но встречал оппозицию в Политбюро. Теперь у него был сильный аргумент: Троцкий сам заявил, что конфликт дойдет до кровавой развязки. Высылка за границу — единственный выход!

Те доводы, которые Сталин приводил в пользу высылки, были мною в свое время опубликованы в Бюллетене русской оппозиции.

Но как же Сталина не остановила забота о Коминтерне? Несомненно, он недооценил этой опасности. Представление о силе связано для него неразрывно с представлением об аппарате. Он начал полемизировать открыто только тогда, когда последнее слово было обеспечено за ним заранее. Каменев сказал правду: он ведет борьбу в другой плоскости. Именно поэтому он недооценил опасности чисто идейной борьбы.

20 февраля

В течение 1924—1928 гг. возраставшая деятельность Сталина и его помощников направлялась против моего секретариата. Им казалось, что мой маленький «аппарат» является источником всякого зла. Я не скоро понял причины почти суеверного страха по отношению к небольшой (пять-шесть человек) группе моих сотрудников. Высокие сановники, которым их секретари составляли речи и статьи, всерьез воображали, что могут разоружить противника, лишив его «канцелярии». О трагической судьбе своих сотрудников я рассказал в свое время в печати: Глазман доведен до самоубийства, Бутов умер в тюрьме ГПУ, Блюмкин расстрелян, Сермукс и Познанский — в ссылке.

Сталин не предвидел, что я смогу без «секретариата» вести систематическую литературную работу, которая, в свою очередь, может оказать содействие созданию нового «аппарата». Даже и очень умные бюрократы отличаются в известных вопросах невероятной ограниченностью!

Годы новой эмиграции, заполненные литературной работой и перепиской, создали тысячи сознательных и активных единомышленников в разных странах и частях света. Борьба за Четвертый Интернационал бьет рикошетом по советской бюрократии. Отсюда — новая полоса длительного перерыва — кампания против троцкизма. Сталин сейчас дорого бы дал, чтобы повернуть назад решение о высылке меня за границу: как заманчиво было бы поставить «показательный» процесс. Но прошлого не возвратишь. Приходится искать путей... помимо процесса. Разумеется, Сталин ищет их (в духе предупреждений Каменева — Зиновьева). Но опасность разоблачения слишком велика: недоверие рабочих Запада к махинациям Сталина могло только усилиться со времени дела Кирова. К террористическому акту (вернее всего, при содействии белых организаций, где у ГПУ много своих агентов, или при помощи французских фашистов, к которым дорогу найти не трудно) Сталин наверняка прибегнет в двух случаях: если надвинется война или если его собственное положение крайне ухудшится. Может, конечно, найтись и третий случай, и четвертый... Затрудняюсь сказать, насколько сильный удар нанес бы такого рода террористический акт Четвертому Интернационалу; но на Третьем он, во всяком случае, поставил бы крест...

Поживем — увидим. Не мы, так другие. <...>

7 марта

В протоколах объединенного июль-августовского пленума ЦК и ЦКК за 1927 г. (кажется, именно в этих протоколах) можно прочитать (кому эти секретные протоколы доступны) особое заявление М. Ульяновой в защиту Сталина.

Суть заявления такова: 1) Ленин порвал незадолго до второго удара личные отношения со Сталиным по чисто личному поводу; 2) если б Ленин не ценил Сталина как революционера, он не обратился бы к нему с просьбой о такой услуге, какой можно ждать только от настоящего революционера. В заявлении есть сознательная недосказанность, связанная с одним очень острым эпизодом. Я хочу его здесь записать. <...>

В моей автобиографии рассказано, как Сталин старался изолировать Ленина во второй период его болезни (до второго удара). Он рассчитывал на то, что Ленин уже не поднимется, и стремился изо всех сил помешать ему подать свой голос письменно. (Так, он пытался помешать напечатанию статьи Ленина об организации Центральной Контрольной Комиссии для борьбы с бюрократизмом, т. е. прежде всего с фракцией Сталина.) Крупская являлась для больного Ленина главным источником информации. Сталин стал преследовать Крупскую, притом в самой грубой форме. Именно на этой почве и произошел конфликт. В начале марта (кажись, 5-го) 1923 года Ленин написал (продиктовал) Сталину письмо о разрыве с ним всяких личных и товарищеских отношений. Основа конфликта имела, таким образом, совершенно не личный характер, да у Ленина и не могла быть личной...

Какую же просьбу Ленина имела в виду Ульянова в своем письменном заявлении? Когда Ленин почувствовал себя снова хуже, в феврале или в самые первые дни марта, он вызвал Сталина и обратился к нему с настойчивой просьбой: доставить ему яду. Боясь снова лишиться речи и стать игрушкой в руках врачей, Ленин хотел сам остаться хозяином своей дальнейшей судьбы. Недаром он в свое время одобрял Лафарга, который предпочел добровольно «join the majority», чем жить инвалидом.

М. Ульянова писала: «с такой просьбой можно было обратиться только к революционеру»... Что Ленин считал Сталина твердым революционером, это совершенно неоспоримо. Но одного этого было бы недостаточно для обращения к нему с такой исключительной просьбой. Ленин, очевидно, должен был считать, что Сталин есть тот из руководящих революционеров, который не откажет ему в яде. Нельзя забывать, что обращение с этой просьбой произошло за несколько дней до окончательного разрыва. Ленин знал Сталина, его замыслы и планы, его обращение с Крупской, все его действия, рассчитанные на то, что Ленину не удастся подняться. В этих условиях Ленин обратился к Сталину за ядом. Возможно, что в этом <...> — помимо главной цели — была и проверка Сталина, и проверка натянутого оптимизма врачей. Так или иначе, Сталин не выполнил просьбы, а передал о ней в Политбюро. Все запротестовали (врачи еще продолжали обнадеживать), Сталин отмалчивался...

В 1926 г. Крупская передала мне отзыв Ленина о Сталине: «у него нет самой элементарной человеческой честности». В завещании выражена, в сущности, та же самая мысль, только осторожнее. То, что было тогда в зародыше, только теперь развернулось полностью. Ложь, фальсификация, подделка, судебная амальгама приняли небывалые еще в истории размеры и, как показывает дело Кирова, непосредственно угрожают сталинскому режиму.

9 марта

Роман Алексея Толстого «Петр Первый» есть произведение замечательное — по непосредственности ощущения русской старины. Это, конечно, не «пролетарская литература»,— А. Толстой целиком взращен на старой русской литературе, да и на мировой, разумеется. Но несомненно, что именно революция — по закону контраста — научила его (не его одного) с особой остротой чувствовать русскую старину, с ее своеобычностью, неподвижной, дикой, неумытой. Она научила его чему-то большему: за идеологическими представлениями, фантазиями, суевериями находить простые жизненные интересы отдельных социальных групп и их социальных представителей. А. Толстой с большой художественной проницательностью раскрывает материальную подоплеку идейных конфликтов



петровской России. Реализм индивидуальной психологии возвышается благодаря этому до социального реализма. Это несомненное завоевание революции как непосредственного опыта и марксизма как доктрины.

Mauriac — французский романист, которого я не знаю, «академик», что его плохо рекомендует,— писал или говорил недавно: мы признаем СССР, когда он создаст новый роман, стоящий на уровне Толстого и Достоевского. Mauriac, видимо, противопоставлял этот художественный идеалистический критерий — марксистскому, производственному, материалистическому. На самом деле противоречия тут нет. В предисловии к своей книге «Литература и революция» я писал лет 12 тому назад:

«Успешное разрешение элементарных...

В этом смысле развитие искусства есть высшая проверка жизненности и значительности каждой эпохи».

Роман А. Толстого ни в каком случае нельзя, однако, еще выставить как «цветок» новой эпохи. Выше уже сказано, почему. Те же романы, которые официально причисляются к «пролетарскому искусству» (в период полной ликвидации классов!), совершенно еще лишены художественного значения. В этом, конечно, нет ничего «пугающего». Для того, чтоб полный переворот всех социальных основ, нравов и понятий привел к художественной кристаллизации по новым осям, нужно время. Искусство всегда идет в обозе новой эпохи. А большое искусство — роман — особенно тяжеловесно.

Что нового большого искусства еще нет, это факт вполне естественный, пугать он, как сказано, не должен и не может. Но могут испугать отвратительные подделки под новое искусство, по приказу бюрократии. Противоречие, фальшь и невежество нынешнего «советского» бонапартизма, пытающегося безвозбранно командовать над искусством, исключают возможность какого бы то ни было художественного творчества, первым условием которого является искренность. Старый инженер может еще нехотя строить турбину — она будет не первоклассной, именно потому, что сделана нехотя, но свою службу сослужит. Нельзя, однако, нехотя написать поэму.

А. Толстой не случайно отступил к концу XVII — началу XVIII века, чтоб иметь необходимую художественную свободу.

10 марта

Просмотрел внимательно документы экономического плана CGT[1]. Какое убожество мысли, прикрытое спешной бюрократической напыщенностью! И какая унизительная трусость перед хозяевами. Эти реформаторы обращаются не к рабочим, с целью поднять их на ноги для осуществления своего плана, а к хозяевам, с целью убедить их, что план имеет, в сущности, консервативный характер.

На деле никакого «плана» нет, ибо хозяйственный план, в серьезном смысле слова, предполагает не алгебраические формулы, а определенные арифметические величины. Об этом нет, конечно, и речи: чтоб составить такой план, надо быть хозяином, т. е. иметь в своих руках все основные элементы хозяйства: это доступно только победоносному пролетариату, создавшему свое государство.

Но и алгебраические формулы Жуо и К° должны бы прямо-таки поражать своей бессодержательностью и двусмысленностью, если б не знать заранее, что эти господа озабочены одним: отвлечь внимание рабочих от банкротства синдикального реформизма.

21 марта

Весна, солнце жжет, уже дней десять, как высыпали фиалки, крестьяне возятся в виноградниках. Вчера до полуночи слушали Валькирию из Бордо. Двух-

[1] Французские профсоюзы.

летний срок военной службы. Вооружение Германии. Подготовка новой «последней» войны. Крестьяне мирно срезают виноградную лозу, унаваживают полосы между линиями винограда. Все в порядке.

Социалисты и коммунисты пишут статьи против двух лет и, для внушительности, пускают в оборот самый крупный шрифт. В глубине сердец «вожди» надеются: как-нибудь обойдется. Здесь тоже все в порядке...

И все-таки этот порядок подкопал себя безнадежно. Он рухнет со смрадом...

22 марта

В Норвегии у власти в течение нескольких дней Рабочая партия. В ходе европейской истории это мало что изменит. Но в ходе моей жизни.. Во всяком случае, встает вопрос о *визе*.

В Норвегии были только проездом в 1917 г., по дороге из Нью-Йорка в Петербург,— я не сохранил о стране никаких воспоминаний. Ибсена помню лучше: в молодости писал о нем.

23 марта

Федин в романе «Завоевание Европы» — роман написал литературно не глубоко, часто претенциозно, показывает одно — революция научила (или заставила) русских писателей внимательнее приглядываться к фактам, в которых выражается социальная зависимость одного человека от другого. Нормальный буржуазный роман имеет два этажа: ощущения переживают только в бельэтаже (Пруст!); люди подвального этажа чистят сапоги и выносят ночные горшки. Об этом в самом романе редко говорится, это предполагается как нечто естественное; герой вздыхает, героиня дышит, следовательно, они отправляют и другие функции: должен же кто-то подтирать за ними следы.

Помнится, я читал роман Luis'a «Амур и Психея» (необыкновенно фальшивая и пошлая стряпня, законченная, если не ошибаюсь, невыносимым Claude Farrére'ом). Luis помещает слуг где-то в преисподней, так что его влюбленные герои никогда не видят их. Идеальный социальный строй для влюбленных бездельников и их художников.

В сущности, внимание Федина тоже направлено на людей бельэтажа (в Голландии), но он старается — хоть мимоходом — подметить психологию отношений шофера и финансового магната, матроса и судовладельца. Никаких откровений у него нет, но все же освещаются уголки тех человеческих отношений, на которых покоится современное общество. Влияние Октябрьской революции на литературу еще целиком впереди! <...>

25 марта

Только после записи <...> о Н. я отдал себе отчет в том, что на предшествующих страницах я вел скорее политический и литературный дневник, чем личный. Да и могло ли, в сущности, быть иначе? Политика и литература и составляют, в сущности, содержание моей личной жизни. Стоит взять в руки перо, как мысли сами собою настраиваются на *публичное* изложение... Этого не переделаешь, особенно в 55 лет.

Кстати, Ленин (повторяя Тургенева) спрашивал однажды Кржижановского: «Знаете, какой самый большой порок?» Кржижановский не знал.— «Быть старше 55 лет». Сам Ленин до этого «порока» не дожил... <...>

Раковский был, в сущности, моей последней связью со старым революционым поколением. После его капитуляции не осталось никого. Хотя переписка с Раковским прекратилась — по цензурным причинам — со времени моей высылки за границу, тем не менее фигура Раковского оставалась как бы символической связью со старыми соратниками. Теперь не осталось никого. Потребность обменяться мыслями, обсудить вопрос сообща давно уж не находит удовлетворения. Приходится вести диалог с газетами, т. е. через газеты с фактами и мнениями. И все же я думаю, что работа, которую я сейчас выполняю — несмотря на ее крайне недостаточный фрагментарный характер,— является самой важной работой моей жизни, важнее 1917 г., важнее эпохи гражданской войны и пр.



Для ясности я бы сказал так. Не будь меня в 1917 г. в Петербурге, Октябрьская революция произошла бы — *при условии наличности и руководства Ленина*. Если б в Петербурге не было ни Ленина, ни меня, не было бы и Октябрьской революции: руководство большевистской партии помешало бы ей совершиться (в этом для меня нет ни малейшего сомнения!). Если б в Петербурге не было Ленина, я вряд ли справился бы с сопротивлением большевистских верхов, борьба с «троцкизмом» (т. е. с пролетарской революцией) открылась бы уже с мая 1917 г., исход революции оказался бы под знаком вопроса. Но, повторяю, при наличии Ленина Октябрьская революция все равно привела бы к победе. То же можно сказать в общем и целом о гражданской войне (хотя в первый ее период, особенно в момент утраты Симбирска и Казани, Ленин дрогнул, усомнился, но это было, несомненно, переходящее настроение, в котором он едва ли даже кому признался, кроме меня).

Таким образом, я не могу говорить о незаменимости моей работы даже по отношению к периоду 1917—1921 гг. Но сейчас моя работа в полном смысле слова «незаменима». В этом смысле нет никакого высокомерия. Крушение двух Интернационалов поставило проблему, для работы над которой никто из вождей этих Интернационалов абсолютно не пригоден. Особенности моей личной судьбы поставили меня лицом к лицу с этой проблемой во всеоружии серьезного опыта. Вооружить революционным методом новое поколение через голову вождей Второго и Третьего Интернационалов — этой задачи сейчас, кроме меня, некому выполнить. И я вполне согласен с Лениным (собственно, с Тургеневым), что самый большой порок — быть старше 55 лет. Мне нужно еще, по меньшей мере, лет 5 непрерывной работы, чтобы обеспечить преемственность.

27 марта

В 1903 г. в Париже в пользу «Искры» ставился спектакль: «На дне» Горького. Пытались поручить роль Наталье,— чуть не по моей инициативе: мне казалось, что она хорошо, «искренне» сыграет свою роль. Но ничего не вышло, роль переуступили другой. Я был удивлен и огорчен. Только позже я понял, что Н. не может ни в одной области «играть». Она всегда и при всех условиях — всю жизнь — во всех обстановках (а мы их пережили немало) оставалась сама собою, не дозволяя обстановке влиять на свою внутреннюю жизнь.

Сегодня гуляли — поднимались в гору... Н. устала и неожиданно села, побледневшая, на сухие листья (земля еще сыровата). Она прекрасно ходит и сейчас еще,— не уставая, и походка у нее совсем молодая, как и вся фигура. Но за последние месяцы сердце иногда дает себя знать,— она слишком много работает, со страстью (как все, что она делает),— и сегодня это сказалось при крутом подъеме в гору. Н. села сразу, видно, что дальше *не могла*, и улыбнулась виноватой улыбкой. Как мне стало жаль молодости, *ее* молодости... Из Парижской оперы ночью мы бежали, держась за руки, к себе, на rue Gassendi, 46, au pas gymnastique... это было в 1903 году... нам было вдвоем 46 лет,— Н. была, пожалуй, неутомимее. Однажды мы целой группой гуляли где-то на окраине Парижа, подошли к мосту. Крутой цементный бык спускался с большой высоты. Два небольших мальчика перелезли на бык через парапет моста и смотрели сверху на прохожих. Н. неожиданно подошла к ним по крутому и гладкому скату быка. Я обомлел. Мне казалось, что подняться невозможно. Но она шла на высоких каблуках своей гармоничной походкой, с улыбкой на лице, обращенном к мальчикам. Те с интересом ждали ее. Мы все остановились в волнении. Не глядя на нас, Н. поднялась вверх, поговорила с детьми и так же спустилась, не

сделав, на вид, ни одного лишнего усилия и ни одного неверного движения... Была весна, и так же ярко светило солнце, как и сегодня, когда Н. неожиданно села в траву...

«Против этого нет сейчас никаких средств», писал Энгельс о старости и смерти. По этой неумолимой дуге, меж рождением и могилой, располагаются все события и переживания жизни. Эта дуга и составляет жизнь. Без этой дуги не было бы не только старости, но и юности. Старость «нужна», потому что в ней опыт и мудрость. Молодость в конце концов потому так и прекрасна, что есть старость и смерть. Может быть, все эти мысли оттого, что TSF передает Götterdämmerung Вагнера.

29 марта

Надо будет рассказать, как ГПУ воровало у меня из архива документы. Но это не к спеху...

30 марта

«Смердящие подонки троцкистов, зиновьевцев, бывших князей, графов, жандармов, все это отребье, действующее заодно, пытается подточить стены нашего государства».

Это, конечно, из «Правды». Ни кадеты, ни меньшевики, ни эсеры не помянуты: действуют «заодно» лишь троцкисты и князья! Есть в этом сообщении нечто непроходимо глупое, а в глупости — нечто фатальное. Так выродиться и поглупеть может только исторически обреченная клика!

В то же время вызывающий характер этой глупости свидетельствует о двух взаимно связанных обстоятельствах: 1) что-то у них не в порядке, и притом в большом непорядке; «непорядок» сидит где-то глубоко внутри самой бюрократии, вернее, даже внутри правящей верхушки; амальгама из подонков и отребьев направлена против кого-то третьего, не принадлежащего ни к троцкистам, ни к князьям, вернее всего, против «либеральных» тенденций в рядах правящей бюрократии; 2) готовятся какие-то новые практические шаги против «троцкистов», как подготовка удара по каким-то более близким и интимным врагам сталинского бонапартизма. Можно бы предположить, что готовится какой-нибудь новый coup d'etat [1] с целью юридического закрепления личной власти. Но в чем этот coup d'etat мог бы состоять? Не в короне же! В пожизненном звании «вождя»? Но это слишком напоминало бы Führer'a! Вопросы «техники» бонапартизма должны, видимо, представлять все большие и большие политические трудности. Подготовляется какой-то новый этап, по отношению к которому убийство Кирова было лишь зловещим предзнаменованием.

31 марта

Курьез!.. Советский историк В. И. Невский не хуже и не лучше многих других советских историков: неряшлив, небрежен, догматичен, но с примесью некоторой наивности, которая на общем фоне «целевых» фальсификаций выглядит подчас как добросовестность. Ни в каких оппозициях Невский не состоит. Тем не менее его подвергают систематической травле. Почему? Вот одно из объяснений. В своей «Истории РКП», вышедшей в 1924 г. (в обзоре литературы), Невский замечает:

«Книжки, вроде брошюрки Конст. Молотова «К истории партии», пожалуй, не только ничего не дают, а приносят прямой вред, такая масса ошибок в них: только на 39 страницах этой книжки мы насчитали 19 ошибок!..» В 1924 г. Невский не мог знать, что звезда Молотова вознесется высоко и что «19 ошибок» брошюры не помешают автору ее стать Предсовнаркомом. Молотов и организовал, очевидно, через Оргбюро, где он одно время (давно уже!) хозяйничал, травлю против бедняги Невского... Но времена переменчивы: звезда Молотова померкла н — кто знает — слова Невского о безграмотности Предсовнаркома могут еще послужить к вящей славе злополучного историка. Поистине, курьез!..

[1] Переворот (франц.).



2 апреля

Переговоры Eden'a в Москве закончились довольно широковещательным дипломатическим сообщением, в которое входит взаимное обязательство не вредить интересам и благосостоянию другой стороны. По дороге в Варшаву Eden немедленно подчеркнул, что это не только обязательства Великобритании по отношению к СССР, но и обязательства СССР по отношению к Великобритании. Дело идет о Китае и Индии, о Коминтерне, о «Советском» Китае. Какие обязательства на этот счет даны Москвой? Проверить характер обязательств Кремля можно будет на вопросе о созыве Конгресса Коминтерна в Москве. Конгресс без китайцев, индусов и англичан невозможен. Но возможен ли он с китайцами, индусами и англичанами после московских переговоров?

В конце концов, если б Сталин обязался потихоньку ликвидировать Коминтерн, для дела социалистической революции был бы громадный плюс. Но такого рода обязательство явилось бы вместе с тем безошибочным доказательством того, что советская бюрократия окончательно порвала с мировым пролетариатом.

* * *

У меня снова открылся вчера болезненный период. Слабость, легкое лихорадочное состояние, чрезвычайный шум в ушах. Прошлый раз во время подобного состояния Henri Molinier был у местного префекта. Тот справился обо мне и, узнав, что я болен, воскликнул с неподдельной тревогой: «Это крайне неприятно, крайне неприятно... Если он умрет здесь, мы ведь не сможем хоронить его под вымышленным именем!» У каждого своя забота!

* * *

Только что получил письмо из Парижа. Ал. Львовна Соколовская, первая жена моя, жившая в Ленинграде со внуками, сослана в Сибирь. От нее уже получена открытка за границей из Тобольска, где она находилась на пути в более далекие части Сибири. От младшего сына, Сережи, профессора в Технологическом институте, прекратились письма. В последнем он писал, что вокруг него сгущаются какие-то тревожные слухи. Очевидно, и его выслали из Москвы.— Не думаю, чтоб Ал. Львовна Соколовская проявляла за последние годы какую-либо политическую активность: и годы, и трое детей на руках. В «Правде» несколько недель тому назад, в статье, посвященной борьбе с «остатками» и «подонками», упоминалось — в обычной хулиганской форме — и имя А. Л., но лишь попутно, причем ей вменялось в вину вредное воздействие — 1931 г.! — на группу студентов, кажется, Лесного института. Никаких более поздних преступлений «Правда» открыть не могла. Но одно уж упоминание имени означало безошибочно, что следует ждать удара и по этой линии.

Платона Волкова, мужа покойной Зинушки, арестовали снова в ссылке и отправили далее. Севушка (внук), сынок Платона и Зины, 8-ми лет, недавно только перебрался из Вены в Париж. Он находился при матери в Берлине в последний период ее жизни. Она покончила с собой, когда Сева находился в школе. Он поселился на короткое время у старшего сына и невестки. Но им пришлось спешно покидать Германию ввиду явного приближения фашистского режима. Севушку отвезли в Вену, чтоб не было лишней ломки в языке. Там его устроили в школу наши старые друзья. После нашего переезда во Францию и начала контрреволюционных потрясений в Австрии мы решили перевезти мальчика в Париж, к старшему сыну и невестке. Но семилетнему Севушке упорно не давали визы.

Долгий ряд месяцев прошел в хлопотах. Только недавно удалось перевезти его. За время в Вене Сева забыл совершенно русский и французский язык. А как прекрасно он говорил по-русски, с московским напевом, когда пятилеткой впервые приехал к нам с мамой на Принкипо! Там, в детском саду, он быстро усваивал французский и отчасти турецкий. В Берлине перешел на немецкий, в Вене стал совсем немцем, а теперь в парижской школе снова переходит на французский язык. О смерти матери он знает и время от времени справляется о «Платоше» (отце), который стал для него мифом.

Младший сын, Сережа, в противоположность старшему и, отчасти, из прямой оппозиции к нему, повернулся спиной к политике лет с 12-ти: занимался гимнастикой, увлекался цирком, хотел даже стать цирковым артистом, потом занялся техническими дисциплинами, много работал, стал профессором, выпустил недавно, совместно с другими инженерами, книгу о двигателях. Если его действительно выслали, то исключительно по мотивам личной мести: политических оснований не могло быть!

Для характеристики бытовых условий Москвы: Сережа рано женился; жили они с женой несколько лет в одной комнате, оставшейся им от последней нашей квартиры, после нашего выезда из Кремля. Года полтора тому назад Сережа с женой разошелся; но за отсутствием свободной комнаты они продолжали жить вместе до последних дней. Вероятно, теперь только ГПУ развело их в разные стороны... Может быть, и Лелю сослали? Это не исключено!

### 3 апреля

Я явно недооценил непосредственный практический смысл заявления о «подонках троцкистов» (см. 30 марта); острие «акции» снова направлено на этот раз против лично близких мне людей. Когда я вчера вечером передал письмо от старшего сына из Парижа Наталье, она сказала: «Они его [Сергея] ни в каком случае не выпустят, они будут пытать его, чтоб добиться чего-нибудь, а затем уничтожат...»

По-видимому, высылка 1074 человек была намеренно предпослана новой акции против оппозиции. «Графы, жандармы и князья» представляют первую половину амальгамы, ее базу. Но лучше привести более полную выдержку из «Правды».

«Против происков врагов надо принять вполне реальные мероприятия. Вследствие обломовщины, доверчивости, вследствие оппортунистического благодушия к антипартийным элементам и врагам, действующим по указанию иностранных разведок, удается иногда проникнуть в наш аппарат.

Подонки зиновьевцев, троцкистов, бывших князей, графов, жандармов, все это отребье, действующее заодно, пытается подточить стены нашего государства...

Разоблачение антипартийных элементов за последнее время, недавнее сообщение наркомвнутотдела об аресте, высылке и привлечении к ответственности бывших царских сановников в Ленинграде показывают, что есть политическое и уголовное жулье, которое лезет в любую щель.

Недавно в Москве судили афериста Шапошника, который объезжал города и везде выдавал себя за инженера. Дурачки принимали его на работу, доверяли государственное имущество, и потребовалось значительное время, пока его разоблачили и посадили в тюрьму. Или другой аферист и враг — Красовский, он же Загородний, выдавал себя за кандидата в члены ЦИК'а. Глупцы поверили на слово, и он проник в члены избирательной комиссии и совершил там преступление. В Саратовском крае шпион, пользуясь смехотворной фальшивкой, пробрался на ответственную работу и лишь через некоторое время был пойман и расстрелян». («Правда», 25 марта)

К кому относятся слова насчет «иностранных разведок», к князьям или к троцкистам? «Правда» прибавляет, что они действуют «заодно». Смысл амальгамы, во всяком случае, в том, чтобы дать ГПУ возможность привлекать «троцкистов» и «зиновьевцев» как агентов иностранных разведок. Это совершенно очевидно.



Вот первоначальное сообщение насчет 1074:

«За последние дни в Ленинграде арестована и высылается в восточные области СССР за нарушение правил проживания и закона о паспортной системе группа граждан из бывшей аристократии, царских сановников, крупных капиталистов, помещиков, жандармов, полицейских и других. Среди них бывших князей — 41 чел., бывших графов — 33 чел., бывших баронов — 76 чел., бывших крупных фабрикантов — 35 чел., бывших крупных помещиков — 68 чел., бывших крупных торговцев — 19 чел., бывших высших царских сановников из царских министерств — 142 чел., бывших генералов и высших офицеров царской и белой армии — 547 чел., бывших высших чинов жандармерии, полиции и охранки — 113 чел.

Часть из высланных привлечена к ответственности органами надзора за деятельность против сов. государства и в пользу иностранных государств». («Правда», 20 марта).

Здесь о троцкистах еще ни слова, обвинение о деятельности «в пользу иностранных государств» выдвинуто пока только против бывших «князей и жандармов». Только через 5 дней «Правда» сообщает нам, что троцкисты и зиновьевцы действовали с ними «заодно»! Такова грубая механика амальгамы.

### 4 апреля

Все текущие «мизерии» личной жизни отступили на второй план перед тревогой за Сережу, А. Л., детей. Вчера я сказал Н.: «Теперь наша жизнь до получения последнего письма от Левы кажется почти прекрасной и безмятежной...» Н. держится очень мужественно, ради меня, но переживает все это несравненно глубже меня.

В репрессивную политику Сталина мотивы *личной мести* всегда входили серьезной величиной. Каменев рассказывал мне, как они втроем — Сталин, Каменев, Дзержинский — в Зубалове вечером 1923 (или 1924?) года провели день в «задушевной» беседе за вином (связала их открытая ими борьба против меня). После вина на балконе заговорили на сентиментальную тему: о личных вкусах и пристрастиях, что-то в этом роде. Сталин сказал: «Самое лучшее наслаждение — наметить врага, подготовиться, отомстить как следует, а потом пойти спать».

Его чувство мести в отношении меня совершенно не удовлетворено: есть, так сказать, физические удары, но морально не достигнуто ничего: нет ни отказа от работы, ни «покаяния», ни изоляции; наоборот, взят новый исторический разбег, которого уже нельзя приостановить. Здесь источник чрезвычайных опасений для Сталина: этот дикарь боится идей, зная их взрывчатую силу и зная свою слабость перед ними. Он достаточно умен в то же время, чтобы понимать, что я и сегодня не поменялся бы с ним местами: отсюда эта психология ужаленного. Но если месть в более высокой плоскости не удалась и уже явно не удастся, то остается вознаградить себя полицейским ударом по близким мне людям. Разумеется, Сталин не остановился бы ни на минуту перед организацией покушения против меня, но он боится политических последствий: обвинение падет неизбежно на него. Удары по близким людям в России не могут дать ему необходимого «удовлетворения» и в то же время представляют серьезные политические неудобства. Объявить, что Сережа работал «по указанию иностранных разведок»? Слишком нелепо, слишком непосредственно обнаруживается мотив личной мести, слишком сильна была бы личная компрометация Сталина.

* * *

### «СССР ОБЯЗАЛСЯ ПРЕКРАТИТЬ КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПРОПАГАНДУ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ДОМИНИОНАХ [1]

Лондон, 3 апреля. Во время недавних переговоров с г. Иденом г. Литвинов, советский комиссар иностранных дел, заявил, что он известил лорда хранителя

[1] Вырезка из французской газеты, вклеенная в дневник.

печати о решении правительства Москвы прекратить коммунистическую пропаганду в Великобритании и доминионах.

Создается впечатление, что средства, предназначенные для этой пропаганды, в последние месяцы изымались во все возрастающем количестве».

Это очень похоже на правду. Литвинов — надо отдать ему справедливость — давно уже считал Коминтерн нерентабельным и вредным учреждением. В глубине души Сталин был с ним согласен. Подробность насчет прогрессивного уменьшения субсидий из месяца в месяц очень выразительна: Кремль наметил для каждой партии определенный «ликвидационный» период. Разумеется, секции Коминтерна не исчезнут и после этого периода, но сильно свернутся и приведут свой образ жизни в соответствие с новым бюджетом. Надо вместе с тем ждать и личных перегруппировок, отходов, дезертирств и разоблачений. Значительное число «вождей», журналистов, пропагандистов Коминтерна представляет чистый тип fromagiste'а, бутербродного человека: раз нет платы, то нет больше и верности.

Поворот вправо в области внешней и внутренней политики заставляет Сталина наносить удар изо всех сил влево: это страховка против оппозиции. Но страховка абсолютно ненадежная. Изменение всего социально-бытового режима в СССР неизбежно должно вызвать новую острую политическую конвульсию.

* * *

Трудно сейчас работать над книгой о Ленине. Мысли не хотят никак сосредоточиться на 1893 годе. Погода резко переменилась за последние дни. Хотя сады в цвету, но сегодня идет снег, с самого утра, все покрыл белой пеленой, потом растаял, сейчас опять падает, но тут же тает. Небо серо, с гор ползут в долину туманы, в доме холодновато и сыро. Н. возится по хозяйству с тяжелым грузом на душе.

Жизнь не легкая штука... Нельзя прожить ее, не впадая в прострацию или цинизм, если не иметь над собою большой идеи, которая поднимает над личной мизерией, над слабостью, всякого рода вероломством и глупостью...

5 апреля

Почты мы здесь не получаем. Большая почта доставляется с оказией из Парижа (раза два в месяц), совершенно спешные письма идут через посредствующий адрес и приходят с некоторым опозданием. Сейчас мы ждем вестей о Сереже,— ждет особенно Н., ее внутренняя жизнь проходит в этом ожидании. Но получить достоверное известие не просто. Переписка с Сережей и в более благополучные времена была лотереей. Я не писал ему вовсе, чтоб не дать властям никакого повода придраться к нему. Только Н., и притом только о личных делах. Так же отвечал и Сережа. Были долгие периоды, когда письма переставали доходить вовсе. Затем внезапно прорывалась открытка, и переписка восстанавливалась на некоторое время. После последних событий (убийство Кирова и пр.) цензура иностранной корреспонденции должна была стать еще свирепее. Если Сережа в тюрьме, то ему, конечно, не дадут писать за границу. Если он уже в ссылке, то положение несколько более благоприятно, однако все зависит от конкретных условий. За несколько последних месяцев ссылки Раковские были совершенно изолированы от внешнего мира: ни одного письма, даже от близких родных, не доходило. Об аресте Сережи мог бы написать кто-нибудь из близких. Но кто? Не осталось, видимо, никого... А если кто и остался из дружественно настроенных, то не знает адреса.

* * *

Дождь прекратился. Мы гуляли с Н. от 16—17 ч. Тихая и сравнительно мягкая погода, небо обложено, по горам завеса тумана, запах навозного удобрения в воздухе. «Март выглядел апрелем, а теперь апрель стал мартом»,— это слова Н., я прохожу как-то мимо таких наблюдений, если Н. не повернет моего внимания. Ее голос ударил меня в сердце. У нее грудной голос, чуть сиплый.



В страдании голос уходит еще глубже, как будто непосредственно говорит душа. Как я знаю этот голос нежности и страдания! Н. заговорила (после большого перерыва) снова о Сереже. «Чего они могут потребовать от него? Чтоб он покаялся? Но ему не в чем каяться. Чтоб он «отказался» от отца?.. В каком смысле? Но именно потому, что ему не в чем каяться, у него нет и перспективы. До каких пор его будут держать?»

Н. вспомнила, как после заседания Политбюро (это было в 1926 г.) у нас на квартире сидел кое-кто из тогдашних друзей в ожидании результата. Я вернулся с Пятаковым (как член ЦК, Пятаков имел право присутствовать на заседаниях Политбюро). Пятаков, очень взволнованный, передавал ход «событий». Я сказал на заседании, что Сталин окончательно поставил свою кандидатуру на роль могильщика партии и революции. Сталин, в виде протеста, ушел с заседания. Мне, по предложению растерявшегося Рыкова и Рудзутака, было вынесено «порицание». Рассказывая об этом, Пятаков повернулся в мою сторону и сказал с силой: «Он вам этого никогда не забудет, ни вам, ни детям, ни внукам вашим». Тогда слова о детях и внуках — вспоминала Н.— казались далекими, скорее просто формой выражения; но вот дошло до детей и даже до внуков: они оторваны от А. Л., что станется с ними? А старшему, Левушке, уже 15 лет...

* * *

Человеческая натура, ее глубина, ее сила, определяются ее нравственными резервами. Люди раскрываются до конца, когда они выбиты из привычных условий жизни, ибо именно тогда приходится прибегать к резервам. Мы с Н. связаны уже 33 года (треть столетия!), и я всегда в трагические часы поражаюсь резервам ее натуры... Потому ли, что силы идут под уклон или по иной причине, но мне очень хотелось бы хоть отчасти запечатлеть образ Н. на бумаге.

* * *

Лева переслал открытку А. Львовны уже с места ссылки. Тот же отчетливый, слегка детский почерк, и то же отсутствие жалоб...

9 апреля

Белая печать когда-то очень горячо дебатировала вопрос, по чьему решению была предана казни царская семья... Либералы склонялись как будто к тому, что уральский исполком, отрезанный от Москвы, действовал самостоятельно. Это неверно. Постановление вынесено было в Москве. Дело происходило в критический период гражданской войны, когда я почти все время проводил на фронте, и мои воспоминания о деле царской семьи имеют отрывочный характер. Расскажу здесь, что помню.

В один из коротких наездов в Москву — думаю, что за несколько недель до казни Романовых,— я мимоходом заметил в Политбюро, что, ввиду плохого положения на Урале, следовало бы ускорить процесс царя. Я предлагал открытый судебный процесс, который должен был развернуть картину всего царствования (крестьянская политика, рабочая, национальная, культурная, две войны и пр.); по радио (?) ход процесса должен был передаваться по всей стране; в волостях отчеты о процессе должны были читаться и комментироваться каждый день. Ленин откликнулся в том смысле, что это было бы очень хорошо, если б было осуществимо. Но... времени может не хватить... Прений никаких не вышло, так [как] я на своем предложении не настаивал, поглощенный другими делами. Да и в Политбюро нас, помнится, было трое-четверо: Ленин, я, Свердлов... Каменева как будто не было. Ленин в тот период был настроен довольно сумрачно, не очень верил тому, что удастся построить армию... Следующий мой приезд в Москву выпал уже после падения Екатеринбурга. В разговоре со Свердловым я спросил мимоходом:

— Да, а где царь?

— Кончено,— ответил он,— расстреляли.

— А семья где?
— И семья с ним.
— Все? — спросил я, по-видимому, с оттенком удивления.
— Все! — ответил Свердлов,— а что?
Он ждал моей реакции. Я ничего не ответил.
— А кто решал? — спросил я.
— Мы здесь решали. Ильич считал, что нельзя оставлять нам им живого знамени, особенно в нынешних трудных условиях[1].

Больше я никаких вопросов не задавал, поставив на деле крест. По существу, решение было не только целесообразно, но и необходимо. Суровость расправы показывала всем, что мы будем вести борьбу беспощадно, не останавливаясь ни перед чем. Казнь царской семьи нужна была не просто для того, чтоб запугать, ужаснуть, лишить надежды врага, но и для того, чтобы встряхнуть собственные ряды, показать, что отступления нет, что впереди полная победа или полная гибель. В интеллигентских кругах партии, вероятно, были сомнения и покачивания головами. Но массы рабочих и солдат не сомневались ни минуты: никакого другого решения они не поняли бы и не приняли бы. *Это* Ленин хорошо чувствовал: способность думать и чувствовать за массу и с массой была ему в высшей мере свойственна, особенно на великих политических поворотах...

В «Последних новостях» я читал, уже будучи за границей, описание расстрела, сожжения тел и пр. Что во всем этом верно, что вымышлено, не имею ни малейшего представления, так как никогда не интересовался тем, *как* произведена была казнь и, признаться, не понимаю этого интереса. <...>

10 апреля

Сегодня во время прогулки в горы с Наташей (день почти летний) я обдумывал разговор с Лениным по поводу суда над царем. Возможно, что у Ленина, помимо соображения о времени («не успеем» довести большой процесс до конца, решающие события на фронте могут наступить раньше), было и другое соображение, касавшееся царской семьи. В судебном порядке расправа над семьей была бы, конечно, невозможна. Царская семья была жертвой того принципа, который составляет ось монархии: династической наследственности.

* * *

О Сереже никаких вестей и, может быть, не скоро придут. Долгое ожидание притупило тревогу первых дней.

* * *

Когда я в первый раз собирался на фронт между падением Симбирска и Казани, Ленин был мрачно настроен. «Русский человек добёр», «русский человек рохля, тютя...», «У нас каша, а не диктатура...» Я говорил ему: «в основу частей положить крепкие революционные ядра, которые поддержат железную дисциплину *изнутри*; создать надежные заградительные отряды, которые будут действовать извне заодно с внутренним революционным ядром частей, не останавливаясь перед расстрелом бегущих; обеспечить компетентное командование, поставив над спецом комиссара с револьвером; учредить военно-революционные трибуналы и орден за личное мужество в бою». Ленин отвечал примерно: «все верно, абсолютно верно,— но времени слишком мало: если повести дело круто (что абсолютно необходимо),— собственная партия помешает: будут хныкать, звонить по всем телефонам, уцепятся за факты, помешают. Конечно, революция закаливает, но времени слишком мало...» Когда Ленин убедился из бесед, что я верю в успех, он всецело поддержал мою поездку, хлопотал, заботился, спрашивал десять раз на день по телефону, как идет подготовка, не взять ли в поезд самолет и пр.

---

[1] Несколько позже, ссылаясь на мемуары некоего Беседовского, Троцкий возлагал вину за цареубийство на Свердлова и Сталина.



Казань пала. Ленина ранила с-р. Каплан. Казань мы взяли обратно. Вернули также Симбирск. Я завернул в Москву. Ленин на положении выздоравливающего жил в Горках. Свердлов сказал мне: «Ильич просит вас приехать к нему. Хотите вместе?» Мы поехали. По тому, как меня встретили Мария Ильинична [Ульянова] и Надежда Константиновна [Крупская], я понял, как нетерпеливо и горячо ждали меня. Ленин был в прекрасном настроении, физически выглядел хорошо. Мне показалось, что он смотрит на меня какими-то другими глазами. Он умел *влюбляться* в людей, когда они поворачивались к нему известной стороной. В его возбужденном внимании был этот оттенок «влюбленности». Он с жадностью слушал рассказы про фронт и вздыхал с удовлетворением, почти блаженно. «Партия, игра выиграна,— говорил он, вдруг переходя на серьезный, твердый тон,— раз сумели навести порядок в армии, значит, и везде наведем. А революция с порядком будет непобедима».

Когда мы со Свердловым садились в автомобиль, Ленин с Н. К. стояли на балконе, как раз над подъездом,— и опять я почувствовал на себе тот же, слегка застенчивый, обволакивающий взгляд Ильича. Ему что-то, видимо, еще хотелось сказать, но он не находился. Вдруг кто-то из охраны стал носить горшки с цветами и ставить в автомобиль. Лицо Ленина омрачилось тревогой.— Вам неудобно будет? — спросил он. Я не обратил внимания на цветы и не понял причины тревоги. Только подъезжая к Москве, голодной, грязной Москве осенних месяцев 1918 г., я почувствовал острую неловкость: уместно ли теперь ездить с цветами? И тут же понял тревогу Ленина: он именно эту неловкость предвидел. Он умел предвидеть.

При следующем свидании я сказал ему: «Вы давеча о цветах спрашивали, а я не сообразил в горячке свидания, какое именно неудобство вы имели в виду. Только при въезде в город спохватился...» — Мешочнический вид? — живо спросил Ильич и мягко засмеялся. Опять я уловил у него особенно дружественный взгляд, как бы отражающий его удовольствие по поводу того, что я понял его... Как хорошо, отчетливо, неизгладимо врезались в память все черты и черточки свидания в Горках!

У нас бывали с Лениным острые столкновения, ибо в тех случаях, когда я расходился с ним по серьезному вопросу, я вел борьбу до конца. Такие случаи, естественно, врезывались в память всех, и о них много говорили и писали впоследствии эпигоны. Но стократно более многочисленны те случаи, когда мы с Лениным понимали друг друга с полуслова, причем наша солидарность обеспечивала прохождение вопроса в Политбюро без трений. Эту солидарность Ленин очень ценил.

11 апреля

Перед последним лейбористским правительством, во время самых выборов, к нам на Принкипо приезжали Веббы, Сидней и Беатриса. Эти «социалисты» очень охотно признавали для России сталинский социализм в одной стране. В Соед. Штатах они не без злорадства ждали жестокой гражданской войны. Но для Англии (и Скандинавии) они сохраняли привилегию мирного, эволюционного социализма. Чтоб дать место неприятным фактам (Октябрьская революция, взрывы классовой борьбы, фашизм) и в то же время сохранить свои фабианские предрассудки и пристрастия, Веббы создали для своего англосаксонского эмпиризма теорию «типов» социального развития,— и для Англии выторговали у истории мирный тип. С. Вебб как раз готовился в те дни получить от своего короля титул Лорда Пасфильда, чтоб в качестве министра его величества мирно перестраивать общество. Конечно, Веббы ближе к Болдвину, чем к Ленину. Я слушал Веббов, как выходцев с того света, хотя это очень образованные люди. Они, правда, хвалились тем, что не принадлежат к церкви.

14 апреля

В Stresa три социалистических перебежчика: Муссолини, Лаваль и Макдональд представляют «национальные» интересы своих стран. Наиболее ничтожным

и бездарным является Макдональд. В нем есть нечто насквозь лакейское, даже в фигуре его, когда он разговаривает с Муссолини (см. газетные клише). Как характерно для этого человека, что в своем первом министерстве он поспешил дать место Mosley, аристократическому хлыщу, только накануне примкнувшему к Labour party, чтоб проложить себе более короткий путь к карьере. Теперь этот Mosley пытается превратить старую разумную Англию в простое отделение европейского сумасшедшего дома. И если не он, то кто-нибудь другой вполне преуспеет в этом, стоит только фашизму победить во Франции. Возможное пришествие лейбористов к власти даст на этот раз могущественный толчок развитию британского фашизма и вообще откроет в истории Англии бурную главу наперекор историко-философским концепциям Болдвинов и Веббов.

27 апреля (1935 г.)

О судьбе Сережи все еще никаких вестей.

* * *

«Le Temps», в телеграмме из Москвы, отмечает, что первомайские лозунги этого года говорят только о борьбе с троцкистами и зиновьевцами, но совершенно не упоминают правой оппозиции. На этот раз поворот вправо зайдет дальше, чем когда-либо, гораздо дальше, чем предвидит Сталин.

* * *

На последнем (43-м) номере издаваемого мною Бюллетеня русской оппозиции я не без удивления увидел пометку: 7-ой год издания. Это значит: 7-ой год третьей эмиграции. Первая длилась два с половиной года (1902—1905), вторая — десять лет (1907—1917), третья... сколько продлится третья?

Во время первой и второй эмиграции (до начала войны) я свободно разъезжал по Европе и беспрепятственно читал доклады о близости социальной революции. Только в Пруссии нужны были меры предосторожности; в остальной Германии царило полицейское благодушие. О других странах Европы, в том числе и Балканах, нечего и говорить. Я ездил с каким-то сомнительным болгарским паспортом, который у меня спросили, кажись, один-единственный раз: на прусской границе. То-то были блаженные времена! В Париже на открытых митингах разные фракции русской эмиграции сражались до полуночи и заполночь по вопросу о терроре и вооруженном восстании... Два ажана стояли на улице (Avenue Choisy, 110, кажется), в зал никогда не входили и входящих никогда не проверяли. Только хозяин café после полуночи тушил иногда электричество, чтоб унять разошедшиеся страсти,— иного контроля разрушительная деятельность эмиграции не знала.

Насколько сильнее и увереннее чувствовал себя в те годы капиталистический режим!

29 апреля

По последним телеграммам конгресс Коминтерна как будто все же состоится в Москве в мае! Очевидно, Сталин не смог уже больше отменить или отложить конгресс: слишком было бы скандально. Возможно и то, что безрезультатность визита Eden'a и затруднения переговоров с Францией подсказали мысль: «припугнуть» контрагентов конгрессом. Увы, этот конгресс никого не испугает!..

4 мая

Франко-советское соглашение подписано. Все комментарии французской прессы, несмотря на различие оттенков, сходятся в одном: значение договора в том, что он связывает СССР, не позволяет ему заигрывать с Германией; действительные же наши «друзья» по-прежнему Италия и Англия плюс Малая Антанта и Польша. СССР рассматривается скорее как заложник, чем как союзник. «Temps» дает увлекательную картину московского военного парада 1-го мая, но прибавляет многозначительно: о действительной силе армии судят не по парадам, а по промышленной мощи, коэффициентам транспорта, снабжения и прочее.



Потемкин обменялся телеграммами с Herriot, «другом моей страны...». В начале гражданской войны Потемкин попал на фронт, очевидно, по одной из бесчисленных мобилизаций. На Южном фронте сидел тогда Сталин, который назначил Потемкина начальником политотдела одной из армий (дивизий?). Во время объезда я посетил этот политотдел. Потемкин, которого я видел впервые, встретил меня необыкновенно низкопоклонной и фальшивой речью. Рабочие-большевики, комиссары были явно смущены. Я почти оттолкнул Потемкина от стола и, не отвечая на приветствие, стал говорить о положении фронта... Через известное время Политбюро, с участием Сталина, перебирало состав работников Южного фронта. Дошла очередь до Потемкина. «Несносный тип,— сказал я,— совсем, видимо, чужой человек». Сталин вступился за него: он, мол, какую-то дивизию на Южном фронте «привел в православную веру» (т. е. дисциплинировал). Зиновьев, немного знавший Потемкина по Питеру, поддержал меня: «Потемкин похож на профессора Рейснера,— сказал он,— только еще хуже». Тут, кажется, я и узнал впервые, что Потемкин тоже бывший профессор.— Да чем же он, собственно, плох? — спросил Ленин.— Царедворец! — ответил я. Ленин, видимо, понял так, что я намекаю на сервильное отношение Потемкина к Сталину. Но мне этот вопрос и в голову не приходил. Я имел просто в виду неприличную приветственную речь Потемкина по моему адресу. Не помню, разъяснил ли я недоразумение...

5 мая

TSF передает «Мадам Баттерфляй». Воскресенье, мы одни в доме: хозяева уехали либо в гости, либо выполнять свой гражданский долг, подавать голос... По улице проезжала группа велосипедистов, передний напевал «Интернационал»: видимо, рабочий избирательный пикет. Две рабочие партии и две синдикальные организации, политически насквозь опустошенные, обладают в то же время еще огромной силой исторической инерции. Органический характер социальных, в том числе и политических, процессов обнаруживается особенно непосредственно в критические эпохи, когда у старых «революционных» организаций оказываются свинцовые зады, не позволяющие им своевременно совершить необходимый поворот. Как нелепы теории M. Eastman'a и пр. насчет революционеров-«инженеров», которые строят будто бы по своим чертежам новые материальные формы из наличных материалов. И этот американский механизм пытается выдать себя за шаг вперед по сравнению с диалектическим материализмом. Социальные процессы гораздо ближе к органическим (в широком смысле), чем к механическим. Революционер, опирающийся на научную теорию общественного развития, гораздо ближе по типу мысли и забот к врачу, в частности к хирургу, чем к инженеру (хотя и о строительстве мостов у американца Eastman'a поистине детские представления!). Как врачу, революционеру-марксисту приходится опираться на автономный режим жизненных процессов... В нынешних условиях Франции марксист выглядит сектантом, историческая инерция, в том числе и инерция рабочих организаций, против него. Правота марксистского прогноза должна обнаружиться, но она может обнаружиться двояко: посредством своевременного поворота масс на путь марксистской политики или посредством разгрома пролетариата (такова альтернатива нынешней эпохи).

В 1926 г.— мы были с Н. в это время в Берлине — Веймарская демократия стояла еще в полном цвету. Политика германской компартии давно уже сошла с марксистских рельс (поскольку она вообще когда-либо полностью на них стояла), но сама партия представляла еще внушительную силу. Инкогнито мы посетили первомайскую манифестацию на Alexanderplatz. Огромная масса народу,

множество знамен, уверенные речи. Чувство было такое: трудно будет повернуть эту махину...

Тем более удручающее впечатление произвело на меня Политбюро в первый четверг по моем возвращении в Москву. Молотов руководил тогда Коминтерном. Это человек не глупый, с характером, но ограниченный, тупой, без воображения. Европы он не знает, на иностранных языках не читает. Чувствуя свою слабость, он тем упорнее отстаивает свою «независимость». Остальные просто поддерживали его. Помню, Рудзутак, оспаривая меня, пытался поправить мой перевод из «L'Humanite», как «тенденциозный»: взяв у меня газету, он водил пальцем по строкам, сбивался, путал и прикрывался наглостью как щитом. Остальные снова «поддерживали». Круговая порука была установлена в качестве незыблемого закона (особым секретным постановлением 1924 г. члены Политбюро обязывались никогда не полемизировать открыто друг с другом и неизменно поддерживать друг друга в полемике со мною). Я стоял перед этими людьми, как перед глухой стеной. Но не это было, конечно, главное. За невежеством, ограниченностью, упрямством, враждебностью отдельных лиц можно было пальцами нащупать социальные черты привилегированной касты, весьма чуткой, весьма проницательной, весьма инициативной во всем, что касалось ее **собственных** интересов. От этой касты германская компартия зависела целиком. В этом был исторический трагизм обстановки. Развязка пришла в 1933 году, когда огромная компартия Германии, внутренне подточенная ложью и фальшью, рассыпалась прахом при наступлении фашизма. Этого Молотовы с Рудзутаками не предвидели. Между тем это можно было предвидеть. <...>

* * *

Хворал после двухнедельной напряженной работы и прочитал несколько романов. <...>

Русский рассказ «Колхида» Паустовского. Автор, видимо, моряк старой школы, участвовавший в гражданской войне. Даровитый человек, по технике стоящий выше так называемых «пролетарских писателей». Хорошо пишет природу. Виден острый глаз моряка. В изображении советской жизни (в Закавказье) похож местами на хорошего гимнаста со связанными локтями. Но есть волнующие картины работы, жертв, энтузиазма. Лучше всего ему удался, как это ни странно, матрос-англичанин, застрявший на Кавказе и втянувшийся в общую работу.

Третий прочитанный роман — «Большой конвейер» Якова Ильина. Это уже чистый образец того, что называется «пролетарской литературой»,— и не худший образец. Автор дает «роман» тракторного завода — его постройки и пуска. Множество технических вопросов и деталей, еще больше дискуссий по поводу них. Написано сравнительно живо, хотя все же по-ученически. В этом «пролетарском» произведении пролетариат стоит где-то глубоко на втором плане,— первое место занимают организаторы, администраторы, техники, руководители и — станки. Разрыв между верхним слоем и массой проходит через всю эпопею американского конвейера на Волге. Автор чрезвычайно благочестив в смысле генеральной линии, его отношение к вождям пропитано официальным преклонением. Определить степень искренности этих чувств трудно, так как они имеют общеобязательный и принудительный характер, равно как и чувство вражды к оппозиции. В романе известное, хотя все же второстепенное, место занимают троцкисты, которым автор старательно приписывает взгляды, заимствованные из обличительных передовиц «Правды». И все же, несмотря на этот строго благонамеренный характер, роман звучит местами как сатира на сталинский режим. Грандиозный завод пущен незаконченным: станки есть, но рабочим негде жить, работа не организована, не хватает воды, всюду анархия. Необходимо приостановить завод и подготовиться. Приостановить завод? А что скажет Сталин?! Ведь обещали съезду и пр. Отвратительный византизм вместо деловых соображений. В результате — чудовищное расхищение человеческих сил и плохие тракторы. Автор передает речь Сталина на собрании хозяйственников: «Снизить темпы? Невозможно. А Запад?» (В апреле 1927 г. Сталин доказывал, что вопрос о темпах не имеет никакого отношения к вопросу о построении социализма в капиталистическом окружении: темп есть наше «внутреннее дело».) Итак: снизить заказанные сверху темпы «нельзя». Но почему же дан коэффициент 25, а не 40 или 75? Заданный коэффициент все равно не достигается, а приближение к нему оплачивается низким качеством, износом рабочих жизней и оборудования. Все это видно у Ильина, несмотря на официальное благочестие автора...



Поражают некоторые детали. Орджоникидзе говорит (в романе) рабочему **ты**, а тот отвечает ему на **вы**. В таком духе ведется весь диалог, который самому автору кажется вполне в порядке вещей.

Но самая мрачная сторона в романе конвейера — это политическое бесправие и безличие рабочих, особенно пролетарской молодежи, которую учат только повиноваться. Молодому инженеру, который восстает против преувеличенных заданий, партийный комитет напоминает о его недавнем «троцкизме» и грозит исключением. Молодые партийцы спорят на тему: почему никто в молодом поколении не сделал ничего выдающегося ни в одной из областей? Собеседники утешают себя довольно сбивчивыми соображениями. Не потому ли, что мы придушены? — проскальзывает нота у одного из них. На него набрасываются: нам не надо свободы дискуссий, у нас есть руководство партией, «указания Сталина». Руководство партией — без дискуссий — это и есть «указания Сталина», которые, в свою очередь, лишь эмпирически подытоживают опыт бюрократии. Догмат бюрократической непогрешимости душит молодежь, пропитывая ее нравы прислужничеством, византийщиной, фальшивой «мудростью». Где-нибудь, притаившись, и работают, вероятно, большие люди. Но на тех, которые дают официальную окраску молодому поколению, неизгладимая печать недоросля.

8 мая

Старость есть самая неожиданная из всех вещей, которые случаются с человеком.

* * *

Норвежское рабочее правительство как будто твердо обещало визу. Придется, видимо, ею воспользоваться. Дальнейшее пребывание во Франции будет связано со все большими трудностями, притом в обоих варьянтах: в случае непрерывного продвижения реакции, как и в случае успешного развития революционного движения. Не имея возможности выслать меня в другую страну, правительство, теоретически «выславшее» меня из Франции, не решается направить меня в одну из колоний, ибо это вызвало бы слишком большой шум и создало бы повод для постоянной агитации. Но с обострением внутренних отношений эти атростепенные соображения отойдут назад,— и мы с Н. можем оказаться в одной из колоний. Конечно, не в сравнительно благоприятных условиях северной Африки, а где-нибудь очень далеко... Это означало бы политическую изоляцию, неизмеримо более полную, чем на Принкипо. В этих условиях разумнее покинуть Францию вовремя. <...>

Норвегия, конечно, не Франция: неизвестный язык, маленькая страна, в стороне от большой дороги, запоздание с почтой и пр. Но все же гораздо лучше, чем Мадагаскар. С языком можно будет скоро справиться настолько, чтоб понимать газеты. Опыт норвежской Рабочей партии представляет большой интерес и сам по себе, и особенно накануне прихода к власти Labour Party в Великобритании.

Конечно, в случае победы фашизма во Франции скандинавская «траншея» демократии продержится недолго. Но ведь при нынешнем положении дело вообще может идти только о «передышке»...

В последнем письме, которое Н. от него получила, Сережа как бы вскользь писал: «общая ситуация оказывается крайне тяжелой, значительно более тяжелой, чем можно себе представить...». Сперва могло казаться, что эти слова носят чисто личный характер. Но теперь совершенно ясно, что дело идет о политической ситуации, как она сложилась для Сережи после убийства Кирова, и связанной с этим новой волны травли (письмо написано 9 декабря 1934 г.). Не трудно себе действительно представить, что приходится ему переживать — не только на собраниях и при чтении прессы, но и при личных встречах, беседах и (несомненно!) бесчисленных провокациях со стороны мелких карьеристов и прохвостов. Будь у Сережи активный политический интерес, дух фракции — все эти тяжелые переживания оправдывались бы. Но этой внутренней пружины у него нет совершенно. Тем тяжелее ему приходится. <...>

13 мая

Умер Пилсудский... Лично я его никогда не встречал. Но уже во время первой ссылки в Сибири (1900—1902) слышал о нем горячие отзывы от ссыльных поляков. Тогда Пилсудский был одним из молодых вождей PPS (Польской социалистической партии), следовательно, в широком смысле, «товарищем». Товарищем был Муссолини, также и Макдональд, и Лаваль... Какая галерея изменников! <...>

14 мая

Пилсудский вызывался в качестве свидетеля по делу Александра Ульянова, старшего брата Ленина. Младший брат Пилсудского привлекался по тому же делу (покушение на Александра III 1 марта 1887 г.) в качестве обвиняемого...

За последние десятилетия история работала быстро. А между тем какими бесконечными казались некоторые периоды реакции, особенно 1907—1912... В Праге на днях чествовали 80-летие со дня рождения Лазарева, старого народника... В Москве еще жива Вера Фигнер и ряд других стариков. Люди, которые делали первые шаги массовой революционной работы в царской России, еще не все сошли со сцены... И в то же время мы стоим перед проблемами бюрократического перерождения рабочего государства... Нет, современная нам история работает на третьей скорости. Жаль только, что разрушающие организм микробы работают еще быстрее. Если они меня свалят раньше, чем мировая революция сделает новый большой шаг вперед,— а на то похоже,— я все же перейду в небытие с несокрушимой уверенностью в победе того дела, которому служил всю свою жизнь. <...>

17 мая

Вчера газеты опубликовали официальное сообщение по поводу переговоров Лаваля в Москве. Вот наиболее существенное, единственно существенное место:

«Они полностью согласились в том, что в нынешней международной ситуации правительства, искренне преданные делу мира, обязаны продемонстрировать свое желание жить в мире участием в поисках взаимных гарантий для обеспечения этого мира. Это прежде всего обязывает их ни в коем случае не ослаблять их национальной обороны. В этой связи господин Сталин понимает и полностью одобряет политику национальной обороны, которую ведет Франция для того, чтобы ее вооруженные силы находились на должном уровне».

Хотя я достаточно хорошо знаю политический цинизм Сталина, его презрение к принципам, его близорукий практицизм, но я все же не верил глазам, прочитав эти строки. Хитрый Лаваль сумел подойти к тщеславному и ограниченному бюрократу. Сталин, несомненно, чувствовал себя польщенным просьбой французского министра высказать свое суждение о вооружении Франции: он не постеснялся даже отделить в этом вопросе свое имя от имени Молотова и Литвинова. Нарком по иностранным делам был, конечно, в восторге от такого открытого и



непоправимого пинка Коминтерну. Молотов, может быть, смущался слегка, но что значит Молотов? За его спиною стоит уже смена в лице Чубаря. А Бухарин с Радеком, официальные газетчики, все истолкуют как полагается, для «народа»...

Однако сообщение от 15 мая не пройдет безнаказанно. Слишком остер вопрос и слишком обнажена измена. Именно измена!.. После капитуляции германской компартии перед Гитлером я писал: это «4 августа» (1914 г.) Третьего Интернационала[1]. Некоторые друзья возражали: 4-ое августа было изменой, а здесь «только» капитуляция. В том-то и дело, что капитуляция без боя разоблачала внутреннюю гниль, из которой неизбежно вытекало дальнейшее падение. Коммюнике 15 мая есть уже в полном смысле слова нотариальный акт измены.

Французская компартия получает смертельную рану. Жалкие «вожди» уклонялись от открытой платформы социал-патриотизма: они хотели подвести массы к капитуляции постепенно и незаметно. Теперь их вероломный маневр обнажен. Пролетариат от этого только выиграет. Дело нового Интернационала продвигается вперед. <...>

25 мая

Сегодня пришло письмо от Левы. Написано оно, как всегда, условным языком.

Это значит, что норвежское правительство дало визу и что нужно готовиться к отъезду. «Crux» это я. «Праздник вечного новоселья», как говорил старик-рабочий в Алма-Ате. <...>

1 июня

Дни тянутся тягостной чередой. Три дня тому назад получили письмо от сына: Сережа сидит в тюрьме, теперь это уже не догадка, почти достоверная, а прямое сообщение из Москвы... Он был арестован, очевидно, около того времени, когда прекратилась переписка, т. е. в конце декабря — начале января. С этого времени прошло уже почти полгода... Бедный мальчик... И бедная, бедная моя Наташа... <...>

8 июня

Получил от группы студентов Эдинбургского университета, представителей «всех оттенков политической мысли», предложение выставить свою кандидатуру в ректоры. Должность часто «почетная»,— ректор избирается каждые три года, публикует какой-то адрес и совершает еще какие-то символические действия. В числе прочих ректоров названы: Гладстон, Smuts, Нансен, Маркони... Только в Англии, пожалуй, сейчас уже только в Шотландии, возможна такая экстравагантная идея, как выдвижение моей кандидатуры в качестве ректора университета. Я ответил, разумеется, дружественным отказом:

«Я вам очень признателен за ваше неожиданное и лестное для меня предложение: выставить мою кандидатуру в качестве ректора Эдинбургского университета. Сказавшаяся в этом предложении свобода от соображений национализма делает высокую честь духу эдинбургских студентов. Я тем выше ценю ваше доверие, что вас, по вашим собственным словам, не останавливает отказ британского правительства в выдаче мне визы. И все же я не считаю себя вправе принять ваше предложение. Выборы ректора происходят, как пишете вы, на *неполитической* базе, и под вашим письмом подписались представители всех оттенков политической мысли. Но я лично занимаю слишком определенную политическую позицию: вся моя деятельность с юных лет посвящена революционному

[1] 4 августа 1914 года германская социал-демократическая партия проголосовала в Рейхстаге за предоставление правительству военных кредитов. За ней последовали и все другие социал-демократические партии Европы.

освобождению пролетариата от ига капитала. Никаких других заслуг у меня нет для занятия ответственного поста. Я считал бы поэтому вероломным по отношению к рабочему классу и нелояльным по отношению к вам выступить на какое бы то ни было публичное поприще не под большевистским знаменем. Я не сомневаюсь, что вы найдете кандидатуру, гораздо более отвечающую традиции вашего университета.

От всей души желаю вам успеха в ваших работах и остаюсь благодарен».

По поводу ударов, которые выпали на нашу долю, я как-то на днях напоминал Наташе жизнеописание протопопа Аввакума. Брели они вместе по Сибири, мятежный протопоп и его верная протопопица, увязали в снегу, падала бедная измаявшаяся женщина в сугробы. Аввакум рассказывает: «Я пришел,— на меня, бедная, пеняет, говоря: «Долго ли муки сия, протопоп, будет?» И я говорю: «Марковна, до самыя смерти». Она же, вздохня, отвещала: «добро, Петрович, еще побредем».

Одно могу сказать: никогда Наташа не «пеняла» на меня, никогда, в самые трудные часы; не пеняет и теперь, в тягчайшие дни нашей жизни, когда все сговорились против нас...

9 июня

Вчера приехал Ван [John van Heijenoort], привез весть о том, что норвежское рабочее правительство дало визу. Отъезд отсюда назначен на завтра, но я не думаю, что за два дня удастся получить транзитную визу через Бельгию: пароход отходит из Антверпена. В ожидании визы мы все же укладываемся. Спешка невероятная... Наташа готовит обед и укладывает вещи, помогает мне собирать книги и рукописи, ухаживает за мной. По крайней мере это отвлекает ее несколько от мыслей о Сереже и о будущем. Надо еще прибавить ко всему прочему, что мы остались без денег: я слишком много времени отдавал партийным делам, а последние два месяца болел и вообще плохо работал. В Норвегию мы приедем совершенно без средств... Но это все же наименьшая из забот. <...>

20 июня

Правительство выразило желание, чтобы мы поселились вне Осло, часах в двух пути, в деревне. Газеты без труда раскрыли наше убежище. Сенсация получилась, в общем, нарядная. Но все как будто обещает обойтись благополучно. Консерваторы, конечно, «возмущены», но возмущение свое выражают сравнительно сдержанно. Бульварная печать держит себя нейтрально. Крестьянская партия, от которой — в парламентской плоскости — зависит самое существование правительства, не нашла возражений против выдачи визы. Рабочая печать довольно твердо взяла если не меня, то право убежища под защиту. Консерваторы хотели внести в стортинг запрос, но, натолкнувшись на несочувствие других партий, воздержались. Только фашисты устроили митинг протеста под лозунгом: «Чего глава мировой революции хочет в Осло?» Одновременно сталинцы объявили меня в 1001-ый раз главой мировой контрреволюции. <...>

26 июня

Продолжаю хворать...

Этой ночью, вернее уж утром, снился мне разговор с Лениным. Если судить по обстановке,— на пароходе, на палубе 3-го класса. Ленин лежал на нарах, я не то стоял, не то сидел возле него. Он озабоченно расспрашивал о болезни. «У вас, видимо, нервная усталость накопленная, надо отдохнуть...» Я ответил, что от усталости я всегда быстро поправлялся благодаря свойственному мне Schwungkraft[1], но что на этот раз дело идет о более глубоких процессах... «Тогда

[1] Энергия (немецк.).



надо серьезно (он подчеркнул) посоветоваться с врачами (несколько фамилий)...» Я ответил, что уже много советовался, и начал рассказывать о поездке в Берлин, но, глядя на Ленина, вспомнил, что он уже умер, и тут же стал отгонять эту мысль, чтоб довести беседу до конца. Когда закончил рассказ о лечебной поездке в Берлин, в 1926 г., я хотел прибавить: это было уже после вашей смерти, но остановил себя и сказал после вашего заболевания.

Н. устраивает наше жилье. В который раз! Шкафов здесь нет, многого не хватает. Она сама вбивает гвозди, натягивает веревочки, вешает, меняет, веревочки срываются, она вздыхает про себя и начинает сначала... Две заботы руководят ею при этом: о чистоте и о приглядности. Помню, с каким сердечным участием, почти умилением она рассказывала мне в 1905 г. об одной уголовной арестантке, которая «понимала» чистоту и помогала Наташе наводить чистоту в камере.— Сколько «обстановок» мы переменили за 33 года совместной жизни: и женевская мансарда, и рабочие квартиры в Вене и Париже, и Кремль, и Архангельское, и крестьянская изба под Алма-Атой, и вилла на Принкипо, и гораздо более скромные виллы во Франции... Н. никогда не была безразлична к обстановке, но всегда независима от нее. Я легко «опускаюсь» в трудных условиях, т. е. мирюсь с грязью и беспорядком вокруг.— Н. никогда. Она всякую обстановку поднимет на известный уровень чистоты и упорядоченности и не позволит ей с этого уровня спускаться. Но сколько это требует энергии, изобретательности, жизненных сил!.. <...>

13 июля

Все дни лежал на открытом воздухе, читал, диктовал Яну [Френкелю] письма. Газеты и письма стали приходить непосредственно сюда и во все возрастающем количестве.

На днях у нашего хозяина были гости, тоже партийные редакторы: приезжали познакомиться. «Фашизма в Норвегии не может быть». «Мы старая демократия». «У нас все грамотны». «Кроме того, мы многому научились: мы ограничили наш капитализм».— «А если фашизм победит во Франции, в Англии?» — «Будем держаться».— «Почему же вы не удержали вашей валюты, когда она пала в Англии?»

Ничему не научились. По сути дела, эти люди не подозревают, что на свете жили Маркс, Энгельс, Ленин... Война, Октябрьская революция, потрясения фашизма прошли для них бесследно... Будущее готовит им холодный и горячий душ. <...>

29 сентября

Вот уже десять дней, как я в госпитале в Осло... Почти двадцать лет тому назад, улегшись на кровать в мадридской тюрьме, я спрашивал себя с изумлением: почему я оказался здесь? и неудержимо смеялся... пока не заснул. И сейчас я спрашиваю себя подчас с изумлением: каким образом я оказался в больнице в Осло? Так уж вышло...

## ПОКАЗАНИЯ ТРОЦКОГО ОБ ОТБЫТИИ ИЗ НОРВЕГИИ[1]

Мы с женой выехали из Норвегии, после 4-месячного интернирования, на танкере «Руфь». Организация поездки принадлежала норвежским властям. Подготовка была произведена в совершенной тайне. Норвежское правительство, насколько я понимаю, опасалось, как бы танкер не стал жертвой моих политических противников. Путешествие продолжалось почти 20 дней. Танкер шел безо всякого груза, если не считать 2 000 тонн морской воды. Погода нам чрезвычайно благоприятствовала. Со стороны капитана танкера и всего вообще экипажа мы не встречали ничего, кроме внимания и доброжелательности. Им всем моя

[1] Показания приготовлены для комиссии по расследованию обвинений, выдвинутых на московском процессе.

жена и я выражаем здесь искреннюю благодарность. Во время пути я получил от американских агентств и газет радиограммы с просьбой ответить на ряд вопросов. Я не мог, к сожалению, выполнить этой просьбы, так как норвежское правительство, считая себя призванным охранять Соединенные Штаты и другие страны от моих идей, отказало мне в праве пользоваться радио танкера. Я не мог даже снестись с американскими друзьями по чисто практическим вопросам самой поездки. Для контроля нас сопровождал старший полицейский офицер. Из Норвегии мы увезли чувства искренней симпатии и уважения к норвежскому народу. Что касается так называемого социалистического норвежского правительства, то единственным объяснением его поведения является дипломатическое и коммерческое давление извне. Является ли этот факт оправданным, я здесь говорить не буду. Я надеюсь высказаться по этому вопросу вскоре с необходимой подробностью. Официальным мотивом моего интернирования явилась моя открытая литературная деятельность за пределами Норвегии, в частности и в особенности моя статья о французских делах в нью-йоркском еженедельнике «Nation». Как это ни невероятно, но это так! Что касается моей жены, то она была интернирована даже без попытки объяснения.

Во время нашего заключения я особым исключительным законом лишен был права привлекать клеветников к судебной ответственности и вообще предпринимать какие бы то ни было шаги для опровержения чудовищных обвинений. К счастью, сын мой, Leon Sedoff, проживающий в Париже, успел выпустить за это время «Livre rouge sur proces de Moscou». На стр. 125 этой книжки собраны совершенно неопровержимые материалы для раскрытия московских фальсификаций.

Готовность мексиканского правительства предоставить нам право убежища мы встретили с тем большей благодарностью, что беспримерный образ действий норвежского правительства чрезвычайно затруднял получение визы в какой-либо другой стране. Мексиканское правительство может не сомневаться, что я ни в чем решительно не нарушу тех условий, которые мне поставлены и которые вполне совпадают с моими собственными намерениями: полное и абсолютное невмешательство в мексиканскую политику и столь же полное воздержание от каких бы то ни было актов, способных нарушить дружественные отношения Мексики с другими странами. Что касается моей литературной деятельности в мировой печати, всегда за моей подписью и ответственностью, то она нигде до сих пор не вызывала каких бы то ни было легальных преследований. Не будет вызывать, надеюсь, и впредь.

За двадцать дней путешествия я привел в порядок те показания, какие я давал в течение четырех часов перед норвежским судом в качестве свидетеля по делу о ночном нападении группы норвежских фашистов на мои архивы (5 августа 1936 г.). Мои показания касались не только самого нападения, не только моей политической деятельности и причин и условий моего интернирования, но и московского процесса 16-ти (Зиновьев и др.) и выдвинутого против меня лично чудовищного обвинения в организации террористических актов в союзе с гестапо. Я присоединил к этим показаниям, данным мною под судебной присягой, обширный комментарий, характеризующий подготовку последних московских процессов, личность главных подсудимых, методы извлечения добровольных признаний и т. д. Эта книжка[1], которая выйдет вскоре на разных языках, облегчит, как я надеюсь, широким кругам читателей понимание того, где именно следует искать преступников, на скамьях обвиняемых или на скамьях обвинителей. Я всемерно подчеркиваю выдвинутое выдающимися и безупречными деятелями политики, науки и искусства разных стран требование о создании международной следственной комиссии для рассмотрения всех материалов и данных относительно последних советских процессов. В распоряжение такой комиссии я охотно предоставлю свои обширные архивные материалы.

Что касается моих дальнейших планов, то пока я могу сказать о них немно-

---

[1] Речь идет о книжке Троцкого «Преступления Сталина».



гое. Я хочу ближе познакомиться с Мексикой, вообще с Латинской Америкой, так как в этой области мои познания особенно недостаточны. Я намерен возобновить свои занятия испанским языком, прерванные свыше 20 лет тому назад. Из литературных задач на первом месте стоит окончание биографии Ленина: болезнь, затем интернирование прервали эту работу на полтора года. В нынешнем году я надеюсь закончить ее.

Я покинул Европу, раздираемую ужасающими противоречиями и потрясаемую предчувствием новой войны. Этой всеобщей тревожностью объясняется возникновение бесчисленных панических и ложных слухов, распространяющихся по разным поводам, в том числе и по поводу меня. Мои враги искусно пользуются против меня этой атмосферой общей тревоги. Они продолжат, несомненно, свои усилия и в Новом Свете. На этот счет я не делаю себе никаких иллюзий. Моей защитой остается моя постоянная готовность представить общественному мнению открытый отчет о моих взглядах, планах и действиях. Я твердо надеюсь на беспристрастие и объективность лучшей части печати Нового Света.

## ПО ПОВОДУ СМЕРТИ ЛЬВА СЕДОВА

Рана еще слишком свежа, и мне трудно еще говорить, как о мертвом, о Льве Седове, который был мне не только сыном, но и лучшим другом. Но есть один вопрос, на который я обязан откликнуться немедленно: это вопрос о причинах его смерти. Должен сказать с самого начала, что в моем распоряжении нет никаких прямых данных, которые позволяли бы утверждать, что смерть Л. Седова есть дело рук ГПУ. В телеграммах, полученных моей женой и мною из Парижа от друзей, нет ничего больше того, что заключается в сообщениях телеграфных агентств. Но я хочу дать некоторые косвенные сведения, которые могут, однако, иметь серьезное значение для судебного следствия в Париже.

1) Неверно, будто сын страдал хронической болезнью кишечника. Сообщение об этой болезни явилось для матери и для меня полной неожиданностью.

2) Неверно, будто он тяжело болел в течение нескольких последних недель. В моих руках — последнее полученное мною от него письмо, от 4 февраля. В письме, очень оптимистическом по тону, ни слова не говорится о болезни. Из письма видно, наоборот, что Л. Седов развивал в те дни очень большую активность, особенно в связи с предстоящим процессом убийц Рейсса в Швейцарии, и собирался продолжать ее.

3) Смерть Л. Седова последовала, видимо, в ночь с 15 на 16. Между письмом и смертью протекло, таким образом, всего 11 дней. Другими словами, заболевание имело полностью характер внезапности.

4) Нет, разумеется, основания сомневаться в беспристрастности судебно-медицинской экспертизы, каковы бы ни были ее заключения. Не будучи специалистом, я позволю себе, однако, указать на одно важное обстоятельство: если допустить отравление, то нужно помнить, что дело идет не об обыкновенных отравителях. В распоряжении ГПУ имеются столь исключительные научные и технические средства, что задача судебно-медицинской экспертизы может оказаться более чем трудной.

5) Каким образом ГПУ могло найти доступ к сыну? И здесь я могу ответить только гипотетически. За последний период было несколько случаев разрыва агентов ГПУ с Москвой. Все порывавшие, естественно, искали связи с сыном, и он — с тем мужеством, которое отличало его во всех его действиях, — всегда шел таким свиданиям навстречу. Не было ли в связи с этими разрывами какой-либо западни? Я могу только выдвинуть это предположение. Проверить его должны другие.

6) Французская коммунистическая печать уделяла Льву Седову много внимания, разумеется, враждебного. Однако о смерти его ни одна из коммунистических газет не поместила ни строки (см. телеграммы из Парижа). Совершенно

так же было после убийства Игнатия Рейсса в Лозанне. Такого рода «осторожность» становится особенно многозначительной, если принять во внимание, что в острых для Москвы вопросах французская печать Коминтерна получает непосредственные инструкции от ГПУ, через старого агента ГПУ Жака Дюкло и других.

Я ничего не утверждаю. Я только сообщаю факты и ставлю вопросы.

Л. Троцкий

18 февраля, 1 час пополудни, 1938
Койоакан

## ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ 1937 ГОДА

**7 января**

Что бы ни говорили святоши чистого идеализма, мораль есть функция социальных интересов, следовательно, функция политики. Большевизм мог быть жесток и свиреп по отношению к врагам, но он всегда называл вещи своими именами. Все знали, чего большевики хотят. Нам нечего было утаивать от масс. Именно в этом центральном пункте мораль правящей ныне в СССР касты радикально отличается от морали большевизма. Сталин и его сотрудники не только не смеют говорить вслух, что думают; они не смеют даже додумывать до конца, что делают. Свою власть и свое благополучие бюрократия вынуждена выдавать за власть и благополучие народа. Все мышление правящей касты насквозь проникнуто лицемерием. Чтоб залепить открывающиеся на каждом шагу противоречия между словом и делом, между программой и действительностью, между настоящим и прошлым, бюрократия создала гигантскую фабрику фальсификаций. Чувствуя шаткость своих моральных позиций, питая острый страх перед массами, она со звериной ненавистью относится ко всякому, кто пытается прожектор критики направить на устои ее привилегий. Травлю и клевету против инакомыслящих сталинская олигархия сделала важнейшим орудием самосохранения. При помощи систематической клеветы, охватывающей все: политические идеи, служебные обязанности, семейные отношения и личные связи, люди доводятся до самоубийства, до безумия, до прострации, до предательства. В области клеветы и травли аппараты ВКП, ГПУ и Коминтерна работают рука об руку. Центром этой системы является рабочий кабинет Сталина. Отсюда методически подготовлялся московский процесс.

Старый норвежский социалист Ш., долгие годы входивший в ряды Коминтерна, рассказывал мне, как во время его пребывания в Москве (или, может быть, в Крыму) пресса Коминтерна открыла против него кампанию личной клеветы, о политических мотивах которой он мог лишь строить догадки. «Первая моя реакция,— говорил Ш.,— имела чисто физиологический характер: со мной приключился припадок рвоты, который длился не менее получаса... После этого я порвал с Коминтерном». Норвежец уехал в Норвегию. Но опальному советскому гражданину уехать некуда. В таком же положении находятся многочисленные эмигранты из фашистских стран. ГПУ рассматривает их просто как сырой материал для своих комбинаций.

На Западе не имеют и приблизительного представления о том количестве литературы, которое издано в СССР за последние 13 лет против левой оппозиции вообще, автора этих строк в частности и в особенности. Десятки тысяч газетных статей в десятках миллионов экземпляров, стенографические отчеты бесчисленных обвинительных речей, популярные брошюры в миллионных тиражах, толстые книги разносили и разносят изо дня в день самую отвратительную ложь, какую способны изготовить тысячи наемных литераторов без совести, без идей и без воображения. Во время нашего интернирования мы наталкивались несколько раз у радиоприемника на речи из Москвы (после некоторых колебаний и проволочек социалистическое правительство великодушно разрешило нам иметь радиоприемник в нашей тюремной квартире) на тему о том, что Троцкий хочет опрокинуть правительство народного фронта в Испании и Франции и истребить советских вождей, чтоб таким образом обеспечить победу Гитлера в будущей войне против СССР и его союзников. Монотонный, безразличный и вместе [с тем] наглый голос «оратора» отравлял в течение нескольких минут атмосферу нашей комнаты. Я взглянул на жену: на лице ее было непреодолимое отвращение; не «ненависть», нет, а именно отвращение. Я повернул штифт и закрыл оратору глотку. В Sandby можно было позволить себе такую роскошь. А в СССР? Иностранная печать Коминтерна настраивается по камертону московской «Правды» и, если силы позволяют, пытается превзойти ее. После первого кировского процесса (январь 1935 г.), где в обвинительном акте упоминалось мимоходом, без выводов, что некий консул просил у Николаева письма к Троцкому, «L'Humanité», главный орган Сталина на Западе, заявила: «Руки Троцкого в крови Кирова». Автором статьи был Duclos, нынешний вице-президент палаты депутатов и давний литературный агент ГПУ. «Правда» в те дни оставалась значительно осторожнее: тема о латышском консуле жгла пальцы... После набега норвежских наци на мою квартиру та же «L'Humanité» сообщала, под видом телеграммы из Осло, что норвежское правительство открыло против меня расследование, так как установлена моя связь с фашистами, которые н а н е с л и м н е н о ч ь ю в и з и т. Я беру первые попавшиеся примеры и, наверное, не самые яркие. Грязный поток лжи извергался свыше 12 лет, прежде чем принял форму московского судебного процесса, самого вероломного, самого подлого из всех процессов, какие бесчестили нашу планету.

Французская «Лига прав человека» решила высказать авторитетное слово по поводу московского процесса. Она создала комиссию почти исключительно из буржуазных «друзей СССР». Комиссия поручила представить доклад адвокату Розенмарку. Какие у него данные для этого, не знаю. Мне написали, что это крупный адвокат по гражданским делам. Его доклад представляет второе издание доклада D. N.Pritt'a. Лига поспешила доклад Розенмарка (высокий образчик юридического кретинизма и политической недобросовестности!) напечатать в своем официальном издании. О, конечно, лишь в качестве личного мнения докладчика, но с какими комплиментами по его адресу. Расследование еще только предстоит. Как оно поведется, в каких рамках и какими темпами, неизвестно. А пока что в порядке «дружбы» с СССР пущен в оборот постыдный документ. Розенмарк прямо пишет, что во всякой другой стране Троцкий был бы приговорен к смерти par contumace[1], московский же суд постановил «только» арестовать Троцкого в случае его появления на советской территории... Этот буржуазный делец считает, таким образом, доказанной мою «террористическую» деятельность в союзе с гестапо. Нужно ли дивиться? Если порыться во французских изданиях 1917 и следующего годов, то нетрудно убедиться, что все эти Розенмарки считали тогда Ленина и Троцкого агентами немецкого генерального штаба. Французские демократические патриоты остаются, таким образом, в традиции; только в 1917 г. они были против нас в союзе с царскими дипломатами, с Милюковым и Керенским, а теперь они выступают в качестве официальных «друзей» Сталина, Ягоды и Вышинского...

«Лига прав человека» примыкает, конечно (справа), к народному фронту и его правительству. С этой стороны небесполезно напомнить, что когда правительство Даладье предоставило мне в 1933 году право убежища, вся печать Коминтерна, являющаяся в то же время печатью ГПУ, трубила, что я прибыл во Францию с целью помогать Даладье и Блюму осуществить наконец военную интервенцию против СССР. Что Леон Блюм является одним из активных организаторов военного похода против советского государства, считалось в то время вполне доказанным: Леон Блюм был тогда не союзником, не другом, не «дорогим товарищем» («L'Humanité»), а просто-напросто социал-фашистом. Но времена меняются, и подлоги ГПУ меняются вместе с ними.

[1] Заочно (франц.).

* * *

Неряшливо монтируя процесс, ГПУ явно переоценило свои силы и, во всяком случае, упустило из виду, что я и мой сын можем успеть нанести сокрушительный удар по крайней мере той части московской амальгамы, которая касается нашей жизни и деятельности за границей. Уже во время самого процесса мне удалось через норвежское телеграфное бюро опровергнуть показания двух важнейших свидетелей: Гольцмана и Ольберга. После того работа не прекращалась ни на один день. Перед самым отъездом из Норвегии я получил из Парижа сообщение, что в результате долгих усилий удалось разыскать в министерских архивах телеграмму моей жены тогдашнему министерству Эррио и телеграфное распоряжение Эррио французскому консулу в Берлине о выдаче нашему сыну визы на въезд во Францию для свидания с нами во время нашего возвращения из Дании в декабре 1932 г. Эти две телеграммы в сочетании с визами на паспорте сына — даже независимо от показаний нескольких десятков свидетелей — полностью, окончательно и бесследно опровергают показания Гольцмана о том, как мой сын встречал его в копенгагенском отеле «Бристоль» (несуществующем с 1917 г.) и отводил на свидание со мною.

Пример Гольцмана особенно ярко, отчетливо, неопровержимо показывает, как подсудимые в угоду ГПУ лгали сами на себя — только затем, чтоб втянуть в дело меня. Если так обстоит дело с показаниями Гольцмана, почему оно должно обстоять лучше с показаниями других обвиняемых?

И оно действительно обстоит не лучше. Признания Ольберга, взрывающиеся собственными противоречиями, опровергаются сверх того аутентичными документами и безупречными показаниями. Десятки свидетелей, неотступно охранявших меня в течение моего недельного пребывания в Копенгагене, уже дали показания под присягой о том, что среди моих посетителей (список их точно установлен) не было ни Бермана, ни Фрица Давида. Элементарный анализ показаний этих двух агентов Коминтерна обнаруживает, как несчастливо, несмотря на осторожность, они лгут. Десятки побочных обстоятельств, точно установленных и документированных, присоединяются к тому, чтоб от всей «копенгагенской» главы, имеющей решающее значение для процесса, не оставить камня на камне. Показания Мрачковского и Дрейцера (история с химическим письмом) не выдерживают прикосновения «технической» критики и находятся к тому же в прямом противоречии с показаниями других подсудимых. «Признания» Смирнова, несмотря на то, что они нагло сокращены и лживо «резюмированы» в официальном отчете, дают достаточно яркую картину трагической борьбы этого честного и искреннего старого революционера с самим собою и со всеми инквизиторами. Менее уязвимы на первый взгляд признания Зиновьева и Каменева: фактического содержания в них нет совершенно; это агитационные речи и дипломатические ноты, а не живые человеческие документы. Но именно этим они выдают себя. И не только этим. Нужно сопоставить признания Зиновьева и Каменева в августе 1936 г. с их же признаниями в январе 1935 г. и со всеми их предшествующими признаниями и покаяниями начиная с декабря 1927 года, чтоб установить на протяжении девяти лет своеобразную геометрическую прогрессию капитуляций, унижения, прострации. Если вооружиться математическим коэффициентом этой трагической прогрессии, то признания на процессе 16-ти предстанут перед нами как математически необходимое заключительное звено длинного ряда...

Вся эта работа анализа и критики фактической стороны судебного отчета уже произведена, отчасти опубликована (брошюры Л. Седова, В. Сержа, ряд статей и пр.). Всего этого материала более чем достаточно для того, чтоб требовать организации контрпроцесса. Авторитетная и беспристрастная следственная комиссия, действующая в обстановке полной независимости, способна будет, несмотря на противодействие ГПУ и Коминтерна, взвесить и оценить по достоинству все составные части московского процесса, т. е. все ингредиенты сталинской амальгамы. Создания международной такой комиссии мы добьемся. Уже сейчас над этой задачей работают в разных странах многие тысячи людей, в том числе видные деятели с безупречными именами. Пред лицом этой будущей



комиссии мы предстанем не с пустыми руками. Мы вовсе не хотим недооценивать силы ГПУ. Дело идет для московских «вождей» о слишком большой ставке, и они не остановятся перед самыми сильнодействующими средствами (грабеж [моих] архивов в Париже — только скромное начало!), чтоб помешать нам раскрыть правду. Тому или другому из нас могут физически помешать довести работу до конца. На этот счет техника ГПУ вполне стоит на высоте его злой воли. Но и физическая ликвидация еще оставшихся в живых «обвиняемых» не поможет московским Борджиа. Вопрос поставлен открыто перед мировым форумом. Одно-два дополнительных убийства из-за угла лишь еще глубже всколыхнули бы общественное мнение рабочих организаций и совесть всех честных людей. Выпав из одних рук, расследование было бы подхвачено другими руками. Процесс Сталина и К° будет доведен до конца!

Этими страницами дорожного дневника я не пытаюсь заменить расследование, а хочу лишь дать к нему политическое и психологическое введение. Все, что я пишу на этих беглых, может быть, слишком беглых страницах, настолько связано со всей моей жизнью, с мыслями и чувствами каждого дня, что мне самому очень нелегко судить, насколько убедительно то или другое соображение для читателя. Во всяком случае, я стараюсь дать ему хотя бы важнейшие нити для самостоятельного анализа.

## ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ МЕКСИКИ

Г. Президент!

В конце 1936 г., в минуту крайней опасности не только для моей жизни, но и для моей политической чести, я обратился к Вам из далекой Норвегии, и Вы оказали мне великодушие, гостеприимство. Сейчас, в критическую минуту, когда полицейские власти Мексики совершают явную ошибку и явную несправедливость по отношению к моим сотрудникам и ко мне, я вынужден снова апеллировать непосредственно к Вам. Мой дом подвергся атаке банды ГПУ. Генерал Нунез объявил мне от Вашего имени, что полиция сделает все для раскрытия преступления. Ничего другого я, разумеется, и не мог ожидать от руководимых Вами властей. Однако я должен с огорчением констатировать, что отношение полиции к делу резко изменилось за последние три дня. То обстоятельство, что нападавшим, несмотря на приведенную ими в движение огромную машину убийства, не удалось убить меня, косвенно как бы ставится мне в вину. Банда из 20-ти человек напала ночью на мой дом, связала полицейских, сломала двери моего кабинета, бросила в доме и во дворе зажигательные снаряды, ранила моего внука и увела, видимо, одного из членов моей охраны. Раскрыты ли преступники? Я не знаю. Однако два моих близких сотрудника, бывшие вместе со мною жертвами атаки, подверглись аресту по...— и я говорю заранее — заведомо ложным подозрениям. Отто Шюслер сопровождает меня в моих скитаниях на протяжении 11 лет. Чарли Каронель живет в моем доме около года. Если бы полиция спросила меня об этих двух моих сотрудниках прежде, чем арестовать их, я, несомненно, рассеял бы ложные подозрения, так как я знаю обоих как безукоризненно честных людей, безусловно лояльных по отношению к Мексике, преданных мне лично и верных своим принципам. Однако я ни разу и никем не был спрошен об обстоятельствах, которые послужили поводом к их аресту и которые я, конечно, должен знать лучше, чем кто-либо другой.

Объективно за эти дни ничего не изменилось: мой дом еще полон следов произведенного разгрома, мой внук ежедневно ездит на перевязку. Не изменилось, разумеется, и мое стремление оказать властям полное содействие в раскрытии преступления. Но резко изменилось отношение следственных властей к населению моего дома: жертвы нападения все больше превращаются в обвиняемых.

Г. Президент, этот образ действий не нов. Когда банда норвежских фашистов совершила в 1936 году нападение на мой дом, чтобы похитить мои архивы и, если возможно, меня самого, норвежские власти начали с ареста преступников, но затем пошли по линии наименьшего сопротивления: объявили атаку фашистов

«шуткой» и арестовали меня и мою жену. Несколько месяцев назад авторы «шутки» помогли Гитлеру овладеть Норвегией.

Следствие вступило на ложный путь. Я не боюсь сделать это заявление, ибо каждый новый день будет опровергать постыдную гипотезу самопокушения и компрометировать ее прямых и косвенных защитников.

Г. Президент! Я не могу лучше выразить свое глубокое уважение к Вашей личности, как сказав Вам открыто правду. Я готов по первому Вашему требованию дать все необходимые разъяснения.

[после 24 мая 1940 г.]

## ЗАВЕЩАНИЕ

Высокое (и все повышающееся) давление крови обманывает окружающих насчет моего действительного состояния. Я активен и работоспособен, но развязка, видимо, близка. Эти строки будут опубликованы после моей смерти.

Мне незачем здесь еще раз опровергать глупую и подлую клевету Сталина и его агентуры: на моей революционной чести нет ни одного пятна. Ни прямо, ни косвенно я никогда не входил ни в какие закулисные соглашения или хотя бы переговоры с врагами рабочего класса. Тысячи противников Сталина погибли жертвами подобных же ложных обвинений. Новые революционные поколения восстановят их политическую честь и воздадут палачам Кремля по заслугам.

Я горячо благодарю друзей, которые оставались верны мне в самые трудные часы моей жизни. Я не называю никого в отдельности, потому что не могу назвать всех.

Я считаю себя, однако, вправе сделать исключение для своей подруги, Натальи Ивановны Седовой. Рядом со счастьем быть борцом за дело социализма судьба дала мне счастье быть ее мужем. В течение почти сорока лет нашей совместной жизни она оставалась неистощимым источником любви, великодушия и нежности. Она прошла через большие страдания, особенно в последний период нашей жизни. Но я нахожу утешение в том, что она знала также и дни счастья.

Сорок три года своей сознательной жизни я оставался революционером, из них сорок два года я боролся под знаменем марксизма. Если б мне пришлось начать сначала, я постарался бы, разумеется, избежать тех или других ошибок, но общее направление моей жизни осталось бы неизменным. Я умру пролетарским революционером, марксистом, диалектическим материалистом и, следовательно, непримиримым атеистом. Моя вера в коммунистическое будущее человечества сейчас не менее горяча, но более крепка, чем в дни моей юности.

Наташа подошла сейчас со двора к окну и раскрыла его шире, чтоб воздух свободнее проходил в мою комнату. Я вижу ярко-зеленую полосу травы под стеной, чистое голубое небо над стеной и солнечный свет везде. Жизнь прекрасна. Пусть грядущие поколения очистят ее от зла, гнета, насилия и наслаждаются ею вполне.

27 февраля 1940 г. Койоакан.

Л. Троцкий.

Все имущество, какое останется после моей смерти, все мои литературные права (доходы от моих книг, статей и пр.) должны поступить в распоряжение моей жены Натальи Ивановны Седовой.

27 февр. 1940 г.

Л. Троцкий.

В случае смерти нас обоих...

3 марта 1940 г.

Характер моей болезни (высокое и повышающееся давление крови) таков, что — насколько я понимаю — конец должен наступить сразу, вернее всего — опять таки, по моей личной гипотезе — путем кровоизлияния в мозг. Это самый лучший конец, какого я могу желать. Возможно, однако, что я ошибаюсь (читать на эту тему специальные книги у меня нет желания, а врачи, естественно, не скажут правды). Если склероз примет затяжной характер и мне будет грозить длительная инвалидность (сейчас, наоборот, благодаря высокому давлению крови я чувствую скорее прилив духовных сил, но долго это не продлится),— то я сохраняю за собою право самому определить срок своей смерти. «Самоубийство» (если здесь это выражение уместно) не будет ни в коем случае выражением отчаяния или безнадежности. Мы не раз говорили с Наташей, что может наступить такое физическое состояние, когда лучше самому сократить свою жизнь, вернее, свое слишком медленное умирание...

Каковы бы, однако, ни были обстоятельства моей смерти, я умру с непоколебимой верой в коммунистическое будущее. Эта вера в человека и его будущее дает мне и сейчас такую силу сопротивления, какого не может дать никакая религия.

Л. Тр.



---

## «СМЕРТЬ ТРОЦКОГО

Лондон, 22 августа (ТАСС). Лондонское радио сегодня сообщило:

В Мексике в больнице умер Троцкий от пролома черепа, полученного во время покушения на него одним из лиц его ближайшего окружения».

«Правда», 24 августа 1940 г.

## «СМЕРТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ШПИОНА

Телеграф принес известие о смерти Троцкого. По сообщению американских газет, на Троцкого, проживавшего последние годы в Мексике, было совершено покушение. Покушавшийся — Жак Мортан Вандендрайш [1] — один из ближайших людей и последователей Троцкого.

В могилу сошел человек, чье имя с презрением и проклятием произносят трудящиеся во всем мире, человек, который на протяжении многих лет боролся против дела рабочего класса и его авангарда — большевистской партии. Господствующие классы капиталистических стран потеряли верного своего слугу. Иностранные разведки лишились долголетнего, матерого агента, организатора убийц, не брезгавшего никакими средствами для достижения своих контрреволюционных целей.

Троцкий прошел длинный путь предательства и измены, политического двурушничества и лицемерия. Недаром Ленин еще в 1911 году окрестил Троцкого кличкой «Иудушка». И эта заслуженная кличка навсегда осталась за Троцким.

Троцкий начал свою политическую деятельность как меньшевик-антиреволюционер. Уже в 1903 году, на втором съезде РСДРП, он яростно выступает против Ленина, отстаивая и поддерживая взгляды Мартова и других антиреволюционных меньшевистских лидеров. Вскоре, к началу русско-японской войны, Троцкий еще откровеннее показывает свое лицо отступника и антиреволюционера. Он скатывается на позиции махрового оборончества, то есть защиты «отечества», царя, помещиков и капиталистов.

Революцию 1905 года Троцкий встретил пресловутой теорией «перманентной» революции. Это была теория разоружения пролетариата, демобилизации его сил. После поражения революции 1905 года Троцкий поддерживает меньшевиков-ликвидаторов. Владимир Ильич Ленин так писал тогда о Троцком:

«Троцкий повел себя, как подлейший карьерист и фракционер... Болтает о партии, а ведет себя хуже всех прочих фракционеров».

Троцкий явился, как известно, организатором августовского антиреволюционного меньшевистского блока всех групп и течений, выступавших против Ленина.

---

[1] Один из псевдонимов Рамона Меркадера.

Начавшуюся в августе 1914 года империалистическую войну Троцкий встретил, как и следовало ожидать, на той стороне баррикад — в стане защитников империалистической бойни. Он прикрывал свою измену пролетариату «левыми» фразами о борьбе с войной, фразами, рассчитанными на обман рабочего класса. По всем важнейшим вопросам войны и социализма Троцкий выступал против Ленина, против большевистской партии.

Все возрастающую силу влияния большевиков на рабочий класс, на солдатские массы после февральской буржуазно-демократической революции, огромную популярность лозунгов Ленина в народных массах меньшевик Троцкий расценил по-своему. Он вступил в нашу партию в июле 1917 года вместе с группой своих единомышленников, заявив, что он «разоружился» до конца.

Последующие события показали, однако, что меньшевик Троцкий не разоружился, ни на минуту не прекратил борьбы против Ленина и вошел в нашу партию для того, чтобы взорвать ее изнутри.

Уже через несколько месяцев после Великой Октябрьской революции, весной 1918 года, Троцкий вместе с группой так называемых «левых» коммунистов и левых эсеров организует злодейский заговор против Ленина, стремясь арестовать и физически уничтожить вождей пролетариата Ленина, Сталина и Свердлова. Как и всегда, сам Троцкий — провокатор, организатор убийц, интриган и авантюрист — остается в тени. Его руководящая роль в подготовке этого злодеяния, к счастью неудавшегося, полностью вскрывается лишь через два десятилетия на процессе антисоветского «право-троцкистского блока» в марте 1938 г. Только через двадцать лет грязный клубок преступлений Троцкого и его приспешников был окончательно распутан.

В годы гражданской войны, когда страна Советов отражала натиск многочисленных полчищ белогвардейцев и интервентов, Троцкий своими предательскими действиями и вредительскими приказами всячески ослаблял силу сопротивления Красной Армии, ввиду чего ему было воспрещено Лениным посещать Восточный и Южный фронты. Общеизвестен факт, когда Троцкий, в силу своего враждебного отношения к старым большевистским кадрам, пытался расстрелять целый ряд неугодных ему ответственных коммунистов-фронтовиков, действуя этим на руку врагу.

На том же процессе антисоветского «право-троцкистского блока» был перед всем миром вскрыт весь предательский, изменнический путь Троцкого: подсудимые на этом процессе, ближайшие сподвижники Троцкого, признались, что и они, и вместе с ними и их шеф Троцкий уже с 1921 года были агентами иностранных разведок, были международными шпионами. Они во главе с Троцким ревностно служили разведкам и генеральным штабам Англии, Франции, Германии, Японии.

Когда в 1929 году советское правительство выслало из пределов нашей родины контрреволюционера, изменника Троцкого, капиталистические круги Европы и Америки приняли его в свои объятья. Это было не случайно. Это было закономерно. Ибо Троцкий уже давным-давно перешел на службу эксплуататорам рабочего класса.

Троцкий запутался в своих собственных сетях, дойдя до предела человеческого падения. Его убили его же сторонники. С ним покончили те самые террористы, которых он учил убийству из-за угла, предательству и злодеяниям против рабочего класса, против страны Советов. Троцкий, организовавший злодейское убийство Кирова, Куйбышева, М. Горького, стал жертвой своих же собственных интриг, предательств, измен, злодеяний.

Так бесславно кончил свою жизнь этот презренный человек, сойдя в могилу с печатью международного шпиона и убийцы на челе».

«Правда», 24.8.40

Публикация Ю. Г. Фельштинского

---

*Наталья Думова*

# ДРУЗЬЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА

## САВВА

Нам сейчас даже трудно себе представить, чем был для российской интеллигенции на рубеже веков Московский Художественный театр. Образец высокого искусства? Да. Учитель жизни? Да. И еще — мерило нравственных ценностей, хранитель светлых идеалов.

Основателями МХТ (в советское время он получил статус академического театра и стал именоваться МХАТ) были известный в Москве руководитель любительского Общества искусства и литературы, актер и режиссер К. С. Алексеев-Станиславский и популярный драматург, преподаватель драматических классов Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества В. И. Немирович-Данченко. На фоне тогдашнего состояния театрального искусства их программа была подлинно революционной.

Были прекрасные замыслы, талант и энергия руководителей, воодушевление и увлеченность актеров — энтузиастов, единомышленников. Но чтобы мечты о новом театре стали явью, нужны были деньги. Их дали меценаты. И самым щедрым из них, самым целеустремленным и энергичным в помощи театру был Савва Тимофеевич Морозов.

В последние годы имя С. Т. Морозова постепенно выплывает из долгого небытия: двумя изданиями вышла в Москве книга его внука и полного тезки — «Дед умер молодым», появляются статьи и очерки о судьбе Морозова, о его предпринимательской и общественной деятельности, о его помощи большевикам. И о роли в истории МХАТ — тоже. Но многим ли известно, как непросто складывались отношения Морозова с театром и почему незадолго до его смерти между ними произошел болезненный разрыв?

Савва Тимофеевич был внуком основателя морозовской династии Саввы Васильевича. О своем деде он, по воспоминаниям писателя А. Н. Сереброва-Тихонова, отзывался без особого почтения:

— Фигура! Родился крепостным, а умер фабрикантом. В молодости бегал пешком с товаром из Орехова в Москву, а в старости ездил в атласной карете... Печатал фальшивые деньги, а на них строил часовни да фабрики.

Младший сын Саввы Васильевича, Тимофей, получил в наследство крупнейшее семейное предприятие — Никольскую мануфактуру (теперь Хлопчатобумажный комбинат имени К. И. Николаевой в Орехово-Зуеве). Человек скупой и жесткий, Тимофей Морозов сумел вдесятеро увеличить унаследованный капитал. Был нещадным эксплуататором, замучил рабочих штрафами. В январе 1885 года разразилась знаменитая Морозовская стачка.

Когда зачинщики предстали перед судом, Тимофей Саввич был вызван для дачи свидетельских показаний. При его появлении в зале начался страшный шум. «Изверг! Кровосос!» — кричали из публики. Морозов растерялся, споткнулся на ровном месте и упал навзничь прямо перед скамьей подсудимых.

Месяц Тимофей Саввич провалялся в горячке. А когда выздоровел, не хотел и слышать о фабрике, решил ее продать. Но жена — властная, деспотичная Мария Федоровна — уговорила Тимофея Саввича составить из родственников паевое

Из цикла «Московские меценаты».

товарищество, а директором назначить сына Савву. После окончания Московского университета тот уехал в Англию, работал на текстильной фабрике в Манчестере, готовился к защите диссертации в Кембридже. Специализировался в области красителей, имел патенты на изобретения, вообще был способным инженером.

Большую часть паев Тимофей Морозов завещал жене. После его смерти Савва остался директором мануфактуры, но подлинной хозяйкой была мать — косио-консервативная, ханжески-религиозная, окруженная в своем богатом особняке в Большом Трехсвятительском переулке нахлебниками и приживалками.

Несчастливым было детство Саввы: воспитывали по уставу древнего благочиния, за отставание в учебе драли старообрядческой лестовкой (кожаные четки). Любимчиком матери был младший, печальный и послушный сын Сергей. Савву, прозванного в семье за крутой нрав Бизоном, она не жаловала.

И в конце жизни Морозов ощущал себя в семье одиноким. Хотя он женился по пылкому увлечению (со скандалом увел красивую и своенравную жену у двоюродного племянника Сергея Викуловича Морозова), хотя Зинаида Григорьевна родила ему четверых детей, счастья и лада между супругами не было. Каждый жил своей жизнью.

— Одинок я очень, нет у меня никого,— жаловался Савва Тимофеевич Горькому.

В роскошном особняке на Спиридоновке, построенном Ф. О. Шехтелем, Морозову было неуютно. Две его комнаты — спальня и кабинет — отличались простотой и скромностью обстановки. В кабинете стены обшиты дубовой панелью, солидная дубовая мебель, обитая красной кожей. У огромного, стилизованного под средневековье окна — массивный письменный стол, заставленный семейными фотографиями. Единственное украшение — бронзовая голова Иоанна Грозного работы Антокольского на книжном шкафу.

А все остальные помещения — и обширный вестибюль, и расписанная Врубелем гостиная, и зал с колоннами розового мрамора, и огромная столовая — ломились, по описанию Горького, от массы ценнейших фарфоровых безделушек, от обилия дорогих, изысканных вещей, имевших единственное назначение — «мешать человеку свободно двигаться».

Как горьковский Егор Булычов (многие черты которого списаны с Морозова), Савва Тимофеевич томился, тосковал, чувствовал себя живущим «не на той улице». А человек он был интереснейший, личность незаурядная. Один из современников — известный московский журналист Н. Рокшанин — писал в 1895 году: «С. Т. Морозов — тип московского крупного дельца. Небольшой, коренастый, плотно скроенный, подвижный, без суетливости, с быстро бегающими и постоянно точно смеющимися глазами, то «рубаха-парень», способный даже на шалость, то осторожный, деловитый коммерсант-политик «себе на уме», который линию свою твердо знает и из нормы не выйдет — ни боже мой!.. Образованный, энергичный, решительный, с большим запасом той чисто русской смекалки, которой щеголяют почти все даровитые русские дельцы». Рокшанин подчеркивал широту натуры Морозова, ненасытную жажду деятельности, избыток энергии. «В С. Т. Морозове чувствуется сила,— писал он.— И не сила денег только — нет! От Морозова миллионами не пахнет. Это просто даровитый русский делец с непомерной нравственной силищей».

Савва Тимофеевич ворочал большими деньгами: в конце 90-х годов на фабриках товарищества Никольской мануфактуры «Саввы Морозова сына и К°» было занято 13,5 тысячи рабочих. Здесь ежегодно производилось около 440 тысяч пудов пряжи, 26,5 тысячи пудов ваты и до 1800 тысяч кусков тканей. Историки подсчитали, что только личные доходы директора мануфактуры составляли 250 тысяч рублей в год — в десять раз больше, чем годовое содержание высших царских сановников.

Однако богатство не радовало Савву Тимофеевича. Его влекла другая жизнь, другие люди — творческие, одержимые высокой целью.

Станиславский и Немирович-Данченко с их фанатичной преданностью искусству, огромным интеллектуальным потенциалом, смелым художественным новаторством поразили воображение Морозова. Но случилось это не сразу. Поначалу



Морозов просто откликнулся на просьбу о благотворительном пожертвовании. Таких пожертвований он делал очень много. К нему легко было обращаться за помощью. «С Саввой говорить можно просто, ясно, очень удобно»,— писал Максим Горький писателю Леониду Андрееву, советуя попросить у Морозова денег на очередное издательское предприятие.

— Мне нравится идея нового театра, хотя я мало верю в возможность ее осуществления,— сказал Савва Тимофеевич Станиславскому и Немировичу. Но не поскупился. Самые крупные вклады в собранный для нового театра капитал (всего 28 тысяч рублей) были сделаны Морозовым (10 тысяч рублей) и Станиславским. Остальные члены «Товарищества для учреждения в Москве Общедоступного театра» внесли гораздо меньшие суммы.

На средства Товарищества в Каретном ряду был арендован театр «Эрмитаж», где в октябре 1898 года состоялся первый спектакль — «Царь Федор Иоаннович» по пьесе Алексея Константиновича Толстого. К постановке готовились тщательно: в поисках старинных нарядов, головных уборов, вышивок, предметов быта ездили в Ярославль, Ростов-Ярославский, Сергиев Посад, добирались до глухих деревень и поселков. Достоверность костюмов и сценического интерьера помогала в создании той атмосферы исторической реальности происходящего на сцене, которая достигалась талантом режиссера, правдивостью, искренностью актерского исполнения.

Савва Тимофеевич не присутствовал на премьере «Царя Федора». Но как-то заехал вечером в театр и был покорен.

— Я помню ваше лицо, с напряженным вниманием следившее за спектаклем «Царя Федора»,— говорил впоследствии, обращаясь к Морозову, Станиславский.— Казалось, что вы в первый раз уверились в возможности симпатичной вам идеи.

С тех пор Савва Тимофеевич сделался горячим поклонником Художественного театра, считал его «единственным в мире». «Этому замечательному человеку,— писал Станиславский,— суждено было сыграть в нашем театре важную и прекрасную роль мецената, умеющего не только приносить материальные жертвы искусству, но и служить ему со всей преданностью, без самолюбия, без ложной амбиции и личной выгоды».

Несмотря на шумный успех первых представлений «Царя Федора», финансовое положение театра оставалось трудным. Роскошная постановка поглотила большую часть собранного капитала. Другие спектакли — «Потонувший колокол», «Венецианский купец», «Трактирщица» — полных сборов не давали, а вскоре затих и интерес к «Федору». Театр все больше увязал в долгах. И хотя состоявшаяся в декабре премьера чеховской «Чайки» стала подлинным триумфом, итогом первого сезона был дефицит в 46 тысяч рублей.

«С Морозовым я обедал, но ни одного звука не сказал о том, что денег у нас нет,— писал Немирович 26 июля 1899 года Станиславскому.— Правда, он так много вложил уже, что... было бы бессовестно претендовать. Но очень может быть, что без него не обойтись». Немирович собирался предпринять различного рода шаги для избежания финансового краха, но в успехе их далеко не был уверен. «А затем, волей-неволей,— заключал он,— обращусь за советом к Морозову». И Морозов помог.

Поскольку собранный капитал был истрачен, пришлось созвать членов Товарищества, чтобы просить их повторить свои взносы. Большинство отказалось. По словам Станиславского, «момент был почти катастрофический для дела». И тут на заседание пайщиков неожиданно приехал Савва Тимофеевич и предложил продать ему их паи. Соглашение состоялось, и фактическими владельцами театра стали трое — Морозов, Станиславский и Немирович.

Савва Тимофеевич взял на себя не только финансовую сторону дела (уже в первый год его затраты составили 60 тысяч рублей), но и всю хозяйственную часть. Он вникал в мельчайшие детали жизни театра, отдавал ему все свое свободное время. Человек энергичный, предприимчиво-инициативный, Морозов чувствовал потребность самому участвовать в общей работе и просил доверить ему заведование электрическим освещением сцены.

Изобретению осветительных эффектов Савва Тимофеевич отдался со всей присущей ему страстью. В летние месяцы 1899 года, когда его семья была в загородном имении, а артисты Художественного театра разъехались на отдых, он превратил свой дом и сад при нем в экспериментальную мастерскую. В зале производились опыты со светом. Ванная комната стала химической лабораторией. Здесь хозяин, вспоминая свои кембриджские патенты, изготовлял лаки разных цветов для покрытия ламп и стекол. Так достигалось огромное разнообразие оттенков, создавалась особая техника освещения сцены. Осветительные эффекты, для которых требовалось большое расстояние, пробовались в саду. Работа кипела, и сам Морозов в рабочей блузе трудился наравне со слесарями, электросварщиками, осветителями. Мастера, специалисты поражались его знаниям не только в лакокрасочном, но и в электрическом деле.

С наступлением сезона результаты домашних опытов были успешно перенесены на сцену. Морозову удалось достичь немалого совершенства в осветительной технике, а в старом, изношенном помещении «Эрмитажа» с его допотопной машинной частью сделать это было ох как трудно!

Несмотря на занятость делами Никольской мануфактуры, ее директор ни на день не забывал о Художественном театре, хоть ненадолго заезжал почти на каждый спектакль, а когда не мог, звонил по телефону, спрашивал, как идет представление, все ли в порядке по постановочной части.

«Савва Тимофеевич был трогателен своей бескорыстной преданностью искусству и желанием посильно помогать общему делу»,— писал Станиславский. Он вспоминал такой случай. В спектакле по пьесе Немировича-Данченко «В мечтах» не ладилась декорация. Времени на переделку не было, пришлось в самый последний момент общими усилиями исправлять дело. Впопыхах разыскивали какие-то вещи из театрального реквизита, чтобы обставить выгороженную на сцене комнату. Савва Тимофеевич работал рядом с другими в поте лица. «Мы любовались,— вспоминал Станиславский,— как он, солидный, немолодой человек, лазил по лестнице, вешал драпировки, картины или носил мебель, вещи и расстилал ковры. С трогательным увлечением он отдавался этой работе, и я еще нежнее любил его в эти минуты».

Один из крупнейших в стране капиталистов, обладатель высокого звания мануфактур-советник, не гнушался никакого черного труда в театре — был то бутафором, то электриком, то костюмером и даже плотником. Иногда актеры, расходясь после спектакля, сталкивались с ним у входа в «Эрмитаж» — он торопился монтировать ночью декорации и освещение к следующему спектаклю.

Действенная натура Морозова не удовлетворялась одними хозяйственными заботами, требовала всеобъемлющего участия в общем деле. С Саввой Тимофеевичем согласовывались все вопросы, связанные с пополнением труппы, выбором вновь приглашаемых актеров; он горячо вникал в репертуарные проблемы, в распределение ролей, стремился внести свою лепту в обсуждение недостатков спектаклей, режиссуры, актерского исполнения.

Перечисляя основные вехи истории МХАТ, Станиславский отмечал: «Когда театр истощился материально,— явился С. Т. Морозов и принес с собой не только материальную обеспеченность, но и труд, бодрость и доверие».

Не забудем, однако, что свои мемуары Станиславский писал через много лет после смерти Морозова и в благодарной памяти Константина Сергеевича образ покойного друга и окружавшая его в театре обстановка возникали в светлой, отретушированной временем дымке.

На самом же деле ситуация была не слишком идиллическая. В отношениях между тремя директорами назревали сложности. Все более тесная причастность Морозова к жизни театра, его хозяйские привычки, стремление активно вмешиваться во все, категоричность решений вели к конфликту с не менее властным, самолюбивым Немировичем-Данченко. Дружеское сближение между ними в 1898—1899 годах сменилось к зиме 1900-го явным охлаждением и даже неприязнью. В письме Чехову Немирович досадовал на необходимость вступать в «особые соглашения» с Морозовым, «который настолько богат», что желает «влиять». Тогда же он с нескрываемым раздражением писал Станиславскому: «...Начинал с Вами наше дело не для того, чтобы потом пришел капиталист, который вздумает из меня сделать... как бы сказать? — секретаря, что ли?»



Константин Сергеевич пытался успокоить Немировича, напоминал о достоинствах Саввы. «Без Морозова... я в этом деле оставаться не могу,— категорически заявлял он в ответном письме,— н и в к о е м с л у ч а е. Почему? Потому что ценю хорошие стороны Морозова. Не сомневаюсь в том, что такого помощника и деятеля баловница судьба посылает раз в жизни. Наконец потому, что такого именно человека я жду с самого начала моей театральной деятельности (как ждал и Вас)».

Станиславский писал, что в порядочность Морозова верит слепо, а потому не хочет заключать с ним никаких письменных условий (на которых настаивал Немирович), ибо считает их лишними: «Не советую и Вам делать это, так как знаю по практике, что такие условия ведут только к ссоре. Если два лица, движимые одной общей целью, не могут столковаться на словах, то чему же может помочь тут бумага. Я не буду также, на будущее время, играть в двойную игру: потихоньку от Вас мирить Морозова с Немировичем и наоборот. Если ссора неизбежна, пусть она произойдет поскорее, пусть падает дело тогда, когда о нем будут сожалеть...»

Резко осуждая позицию, занятую Немировичем, Станиславский видел в ней проявление «личного и мелкого самолюбия», которое «разрушает всякие благие начинания».

Обострение противоречий совпало с постановкой пьесы А. Н. Островского «Снегурочка». Может быть, ни в какой другой спектакль не вложил Савва Тимофеевич столько души, столько сил. В этой пьесе Станиславский увидел сказку, мечту, национальное предание. Замыслы режиссера требовали новых, необычных постановочных средств. И здесь Морозов оказался незаменим. Именно в этом феерическом спектакле так важны были разработанные им световые эффекты, искусная бутафория, художественное оформление.

Фонари и стекла для изображения облаков и восходящей луны Савва Тимофеевич выписывал из-за границы. Обувь для действующих лиц он вначале предполагал привезти из Пермской губернии (где находилось его имение), но затем поручил купить ее в Архангельске — стиль русского Севера казался самым подходящим для задуманного Станиславским сказочного действа.

По словам второго режиссера спектакля А. А. Санина, Морозов вместе с художником Ю. А. Симовым «ретиво занимались» постройкой декораций, изготовлением специального занавеса-подзора, сложнейшим реквизитом.

Накануне премьеры Морозов по мере сил пытался как-то обновить запущенное помещение «Эрмитажа». Санин писал Станиславскому, что Савва Тимофеевич «совершенно детски увлекается окраской театра, опущением пола сцены, переделкой рампы и оркестра, размещением стульев. Все это симпатично и трогательно».

Может быть, Немирович оценил по достоинству усилия Морозова. А может быть, Владимиром Ивановичем руководило стремление сгладить конфликтную ситуацию, когда 14 августа 1900 года он писал Станиславскому: «...Я только теперь чувствую, до чего меня (и главным образом меня) облегчает Савва Тимофеевич. Ведь если бы не он, я бы должен был сойти с ума. Я уже не говорю об отсутствии материальных тревог. Но он так настойчиво и энергично хлопочет обо всей хозяйственной, декоративной и бутафорской частях, что любо-дорого смотреть». Есть в письме и такие слова: «тон у него иногда (с актерами, с конторой...) неловкий, иногда немножко смешной». Видимо, подразумеваются хозяйские нотки, безапелляционность деловых указаний. Однако общий вывод Немировича однозначный: «Тем не менее он приносит сейчас так много пользы, что это дает мне и время для более внимательной работы, и отдых. Очень я ему благодарен».

Театр завоевывал все большую популярность. К осени 1901 года значительно улучшилось его финансовое положение. Удалось погасить дефицит, избавиться от долгов. После того как с помощью Морозова дело стало крепким и начало давать некоторую прибыль, вспоминал Станиславский, было решено передать его, со всем имуществом и поставленным на сцене репертуаром, во владение группе лиц, со-

ставлявших творческое ядро театра. Морозов разработал проект устава создаваемого на три года паевого Товарищества с капиталом в 50 тысяч рублей. В число пайщиков вошли шестнадцать человек: сам Савва Тимофеевич, Станиславский, Немирович-Данченко, ведущие артисты театра (Лужский, Москвин, Лилина, Качалов, Книппер, Андреева, Вишневский, Артем, Александров, Самарова), а также Чехов, художник Симов, близкий друг Станиславского А. А. Стахович (впоследствии ставший актером МХТ). Пайщики называли себя сосьетерами — от французского société (общество, товарищество).

Морозов внес около 15 тысяч рублей и открыл большинству сосьетеров кредит на три года под векселя в счет будущих прибылей. От возмещения своих прежних затрат на театр Савва Тимофеевич отказался и весь доход передал Товариществу. В составленном им проекте устава было записано: «Товарищество обязуется перед С. Т. Морозовым не повышать платы за место выше 1700 рублей полного сбора.., чтобы театр сохранил характер общедоступности». Определялся и характер репертуара: театр не должен был ставить пьесы, не имеющие общественного интереса, даже если они сулили кассовый успех.

Председателем правления Товарищества стал С. Т. Морозов (за ним же оставалось заведование всей хозяйственной частью). В правление вошли также К. С. Станиславский (главный режиссер), В. В. Лужский (зав. труппой и текущим репертуаром), В. И. Немирович-Данченко (художественный директор и председатель репертуарного совета). Характерно, что Морозов включил в проект устава параграф 17-й следующего содержания: «Порядок и распределение занятий среди членов правления и равно управление хозяйственной частью могут быть изменены только по постановлению собрания большинством голосов, но с непременного согласия на сей предмет С. Т. Морозова. Если же С. Т. Морозов не найдет возможным изменить существующего порядка, то таковой должен оставаться в силе даже вопреки постановлению собрания».

На общем собрании сосьетеров в начале февраля 1902 года, где утверждался устав, этот параграф вызвал горячие споры. Немирович яростно возражал против диктаторской позиции Морозова. С его доводами соглашались — правда, гораздо сдержаннее — и все остальные. Однако Савва Тимофеевич был тверд в намерении сохранить за собой решающий голос в правлении и полную хозяйственную самостоятельность. Он заявил, что рассматривает параграф 17-й как непременное условие создания Товарищества, а иначе отказывается от участия в нем.

Когда вопрос поставили на голосование, Немирович был единственным, кто высказался против 17-го параграфа. Он тут же заявил, что не войдет в состав Товарищества. Однако Савва поставил участие Немировича непременным условием. Пришлось смириться, хотя и через много лет Владимир Иванович не забыл обиды: «...Морозов хотел поставить меня на второе, третье или десятое место, отказываясь, однако, вести дело без меня».— писал он в 1927 году театральному критику Н. Е. Эфросу. Так или иначе, в феврале 1902 года устав будущего Товарищества был утвержден.

Наладив организационную основу дела, поставив его как коммерческое предприятие, Савва Тимофеевич приступил к осуществлению нового замысла. Он решил помочь театру обрести собственное постоянное пристанище.

Здание для театра Морозов выбрал сам. Это был дом с оборудованным в нем театральным залом в Камергерском переулке. Домовладелец — нефтепромышленник-миллионер Г. М. Лианозов — сдавал его внаем. В 1891 году француз Шарль Омон, роскошно отделав помещение, открыл здесь «Кабаре-буфф» с рестораном, где нравы были более чем легкими.

Особняк в Камергерском привлек внимание Морозова прекрасным расположением — в самом центре города. Савва Тимофеевич заключил с Лианозовым арендный договор сроком на двенадцать лет. Он же финансировал все строительные и отделочные работы.

Перестройка здания была поручена Федору Осиповичу Шехтелю. Он тоже был поклонником молодого театра и тоже готов был выступить как его друг-меценат. Денежными средствами для этого Шехтель не располагал, но нашел другой способ помочь: безвозмездно выполнил проект перестройки здания и провел



всю связанную с его осуществлением архитектурно-инженерно-художественную работу. Она была завершена в короткий срок — с апреля по октябрь 1902 года.

«Морозов принялся за стройку с необыкновенной энергией,— писал Немирович-Данченко О. Л. Книппер в мае 1902 года.— В субботу там еще был спектакль, а когда я пришел в среду, то сцены уже не существовало, крыша была разобрана, часть стен также, рвы для фундамента вырыты и т. д.».

Реконструкция здания велась столь быстро, что Шехтелю зачастую приходилось изменять и дополнять проектные задания прямо на стройплощадке,— эскизы он чертил углем на стене.

Морозов сам, никому не передоверяя, наблюдал за ходом работ. Он вновь отказался от отдыха, на все лето переехал в Камергерский на стройку, жил там в маленькой комнатке рядом с конторой среди стука, грома и пыли, погруженный в строительные заботы. О своей встрече с ним в те дни через много лет вспоминал А. Н. Серебров-Тихонов, которого направила к Морозову близкая к революционному студенчеству актриса М. Ф. Андреева (с просьбой укрыть его от преследования полиции).

Савва Тимофеевич назначил студенту свидание ночью в перестраивавшемся лианозовском доме. Там шла спешная работа. В поисках Морозова пришлось облазить четыре этажа большого каменного корпуса, заставленного внутри лесами, пахнущего сырой известкой, угаром и гудящего от стука молотков и топоров. На самом верху, под потолком, Тихонов увидел похожего на татарина приземистого маляра в грязном холщовом халате, с кистью в руках. Короткая шея, круглая, с челкой на лбу, коротко остриженная седеющая голова, редепькая бородка, хитрые монгольские глазки с припухшими веками... Это и был Савва Тимофеевич (по матери он происходил из крещеных татар).

— Берите халат... Помогайте... О деле поговорим после,— сказал Морозов отрывистой скороговоркой, слегка захлебываясь словами. Красил он с увлечением. Время от времени, прищурившись, любовался своей работой, как художник удачным мазком на картине.

«Савва Тимофеевич горит с постройкой театра,— писал Станиславский О. Л. Книппер в августе 1902 года,— а Вы знаете его в такие моменты. Он не дает передохнуть. Я так умилен его энергией и старанием, так уже влюблен в наш будущий театр и сцену... Не поспеваю отвечать на все запросы Морозова. Бог даст — театр будет на славу. Прост, строг и серьезен».

За несколько месяцев Морозов и Шехтель превратили, по словам Станиславского, «вертеп разврата в изящный храм искусства», разрешив «такие технические трудности, о которых не задумывались даже в лучших театрах Запада». «Только близко знакомый с тонкостями театрального дела,— подчеркивал Константин Сергеевич,— оценит план размещения отдельных частей здания и удобства, которые они представляют. Только те, кто знает строительное искусство, оценят энергию, с которой оно выполнено».

Гордостью МХТ стала сконструированная Шехтелем сцена. Обычно в театральных зданиях (да и то лишь в лучших) вращался только один пол. Здесь же — целый этаж под сценой со сложными механическими приспособлениями. В самой сцене был устроен огромный люк. С помощью электрического двигателя он опускался, и тогда перед зрителем возникала декорация пропасти, реки, или поднимался, изображая горный склон. Обычную рампу дополняла контррампа. Нововведением была и значительно усовершенствованная вентиляция зрительного зала.

А с каким искусством была оборудована осветительная система! Тут уж вовсю развернулся инженерный талант Морозова. Освещением сцены и театра управляли с помощью созданного по последнему слову техники электрического рояля. Морозов выписал из-за границы и заказал в России еще много других электрических и технических усовершенствований.

Актеры получили комфортабельные, уютные гримуборные, в каждой кушетка для отдыха, письменный стол, гримировальный столик с зеркалом, гардероб, мраморный умывальник. Гримуборные обставлялись сообразно вкусам и привычкам их обитателей, несли на себе отпечаток личности артиста, его индивидуальности.

Элегантный зрительный зал на 1100 мест (партер, амфитеатр и два яруса), вы-

держанный в зеленовато-оливковой гамме; знаменитый занавес с распростершей широкие крылья белой чайкой, бледно-розовые матовые электрические фонарики по бортам лож и в виде круга на потолке, темная дубовая мебель. Темным деревом обшито изящно отделанное фойе, вдоль стен деревянные скамьи. Единственное украшение — портреты писателей, близких театру по духу.

«В отделке театра,— писал Станиславский,— не было допущено ни одного яркого или золотого пятна, чтобы без нужды не утомлять глаз зрителей и приберечь эффект ярких красок исключительно для декораций и обстановки сцены».

Фасад здания почти не подвергся переделке. Новое оформление получили лишь театральные подъезды. Над ними горели фонари-светильники с дуговыми лампами — таких в Москве еще не видели. Правый подъезд был украшен горельефом «Волна» работы молодого скульптора Анны Семеновны Голубкиной. Пловец, борющийся с волнами, и летящая над ним чайка были как бы символом искусства Художественного театра.

Здание обошлось Морозову в 300 тысяч рублей. Общие же расходы Саввы Тимофеевича на Художественный театр составили, по подсчетам автора биографического очерка о нем А. Н. Боханова, приблизительно 500 тысяч рублей. Но не только деньги вложил Морозов в любимое дело — он отдал ему душу.

Новое здание театра было торжественно открыто 25 октября 1902 года. Во время парадного обеда в центральном фойе Станиславский обратился к Морозову со словами сердечной благодарности:

— Понесенный вами труд мне представляется подвигом, а изящное здание, выросшее на развалинах притона, кажется мне сбывшимся наяву сном.

В тот радостный день ученики школы МХТ впервые встретились с Саввой Тимофеевичем. Он произвел на них впечатление очень скромного человека. «Увидев его в театре,— вспоминала позже одна из тогдашних учениц В. П. Веригина,— никто бы не подумал, что именно он помог этому театру жить».

Но представителей старшего поколения актеров раздражало поведение в театре супруги Морозова, Зинаиды Григорьевны,— «кривлячки», как называл ее Немирович. Роскошно одетая, она часто появлялась здесь со своими великосветскими друзьями (по просьбе Морозова была выделена постоянная ложа для его родни). Зинаида Григорьевна держала себя хозяйкой, пыталась даже вмешиваться в репертуарную политику: настаивала на привлечении «модных» авторов, имевших успех у высшего общества.

В этот период Савва Тимофеевич еще больше отдалился от жены. В его жизнь вошло новое чувство — глубокое, очень серьезное. Чувство к одной из ведущих актрис МХТ — Марии Федоровне Андреевой.

Жена высокопоставленного чиновника А. А. Желябужского, принявшая сценический псевдоним Андреевой, не была счастлива в браке. Несколько лет назад произошел фактический разрыв ее с мужем (он полюбил другую). Однако внешне все оставалось по-прежнему: супруги решили жить одним домом ради своих двух детей. «Об этом знали мои родные и догадывалось большинство знакомых: шила в мешке не утаишь»,— вспоминала впоследствии Мария Федоровна в письме-исповеди о своей жизни старому другу Н. Е. Буренину.

Андреева исполняла ведущие роли в любительских спектаклях, поставленных Станиславским в Обществе искусства и литературы. В 1897 году через студента — учителя своего сына, познакомилась с членами студенческого марксистского кружка и стала его участницей. Ко времени вступления в труппу Художественного театра Андреева была убежденной марксисткой, тесно связанной с РСДРП, и выполняла различные поручения партии.

Вскоре после того, как Морозов появился в Художественном тевтре, он стал преданным другом Марии Федоровны, частым гостем в ее доме. Не скрывал своего восхищения ее редкой красотой, преклонения перед ее талантом, рад был выполнить любое ее желание. Именно Андреева познакомила Савву Тимофеевича со своими друзьями из РСДРП, через нее они обращались к нему за помощью, в том числе и материальной.



Не следует, видимо, особенно преувеличивать, как это делают иные авторы, революционность воззрений Морозова, его интерес к марксизму. Напомню хотя бы высказывание на этот счет известного эмигрантского писателя Марка Алданова: «Савва Морозов субсидировал большевиков оттого, что ему чрезвычайно опротивели люди вообще, а люди его круга в особенности».

К людям Художественного театра Морозов относился совсем по-другому. К большинству из них он питал душевное расположение, а к некоторым — в первую очередь к Станиславскому — искреннюю сердечную привязанность. Здесь же, в Художественном театре, Савва Тимофеевич обрел друга — Максима Горького, которого любил и глубоко уважал. Пьесы Горького «Мещане» и «На дне» были поставлены на сцене МХТ в 1902 году.

Андреева и Горький стали связующими звеньями в отношениях между Морозовым и большевиками, которым он щедро помогал. Только на издание «Искры» Савва давал 24 тысячи рублей в год, на его средства в 1905 году были учреждены легальные большевистские газеты «Борьба» в Москве и «Новая жизнь» в Петербурге (официально издательницей «Новой жизни» была Андреева). Много денег Морозов жертвовал политическому «Красному Кресту» на устройство побегов из ссылки, на литературу для местных партийных организаций и в помощь отдельным лицам.

По просьбе Марии Федоровны Морозов закупал меховые куртки для студентов, отправляемых в сибирскую ссылку. По ее просьбе прятал у себя большевиков — Красина, Баумана. И когда давал деньги на издания РСДРП, понимал, что это важно для нее, для Горького. Кто знает, такой ли значительной оказалась бы помощь Саввы Тимофеевича революционерам, если бы не было среди них дорогих ему людей...

С Андреевой Морозову было очень непросто. Об этом можно судить по горько-откровенному письму, которое написал ей Станиславский в феврале 1902 года: «Отношения Саввы Тимофеевича к Вам — исключительные. Это те отношения, ради которых ломают жизнь, приносят себя в жертву, и Вы это знаете и относитесь к ним бережно, почтительно. Но знаете ли, до какого святотатства Вы доходите?.. Вы хвастаетесь публично перед почти посторонними тем, что мучительно ревнующая Вас Зинаида Григорьевна ищет Вашего влияния над мужем. Вы ради актерского тщеславия рассказываете направо и налево о том, что Савва Тимофеевич, по Вашему настоянию, вносит целый капитал... ради спасения кого-то. Если бы Вы увидели себя со стороны в эту минуту, Вы бы согласились со мной...».

Андреева принадлежала к числу людей, суждения о которых расходятся полярно. Очень редко современники отзывались о ней безразлично, равнодушно. «Ее или порицали или восхваляли, любили или ненавидели, превозносили до небес или клеймили»,— вспоминала хорошо знавшая Марию Федоровну Н. А. Розенель, жена Луначарского.

Объяснялось это характером Андреевой, в котором сочетались привлекательные и неприятные черты. «Я люблю Ваш ум, Ваши взгляды, которые с годами становятся все глубже и интереснее,— писал ей Станиславский в том же письме.—...И совсем не люблю Вас актеркой в жизни, на сцене и за кулисами. Эта актерка — Ваш главный враг, резкий диссонанс Вашей общей гармонии. Эту актерку в Вас (не сердитесь) — я ненавижу... Она убивает в Вас все лучшее. Вы начинаете говорить неправду, Вы перестаете быть доброй и умной, становитесь резкой, бестактной, неискренней и на сцене, и в жизни».

Андреевой было присуще актерское тщеславие, честолюбие. Ситуация в театре заставляла ее страдать. На самые выигрышные, эффектные роли назначалась, как правило, другая актриса — Ольга Леонардовна Книппер. На этом особенно настаивал Немирович-Данченко. Да и Станиславский был с ним согласен. Однажды он сформулировал свои оценки так: Андреева — актриса «полезная», Книппер — «до зарезу необходимая».

Нелегко было Андреевой это переносить. Ее популярность у публики была велика: Лев Толстой говорил, что такой артистки он в жизни своей не встречал, московские студенты ее обожали. Многие считали Марию Федоровну красивейшей актрисой русского театра; сама великая княгиня Елизавета Федоровна писала

ее портрет! Но в признанной красавице Андреевой не было того, что так ценили в Книппер создатели МХТ и что соответствовало самой сущности этого театра: обаяния глубинной интеллигентности, отточенной филигранности актерского мастерства.

Признать первенство Книппер оказалось Марии Федоровне не по силам. Резко испортились ее отношения с Немировичем-Данченко, и он, по его собственным словам, занял «непримиримую» к Андреевой позицию «и как к актрисе, и как к личности». Это не могло не отразиться на настроениях всецело поддерживавшего и сочувствовавшего ей Морозова. Раздражение против человека, служившего причиной расстройств и огорчений любимой им женщины, все больше обостряло конфликт между ним и Немировичем. В конце 1902 — начале 1903 года, писал Владимир Иванович Н. Е. Эфросу, «Морозов уже находился под влиянием моего исконного недоброжелателя Марии Федоровны Андреевой» и быстро начал «переходить к отношению определенно враждебному... Он почти уже не здоровался со мной».

Страсти выплеснулись наружу в начале марта 1903 года, на заседании правления Товарищества. Обсуждалась репертуарная политика театра. Немирович, выступив с большой речью, призывал не гнаться за современными пьесами, не подстраиваться к низким вкусам публики, утверждал, что произведения таких писателей, как Леонид Андреев, Скиталец, не соответствуют необходимому уровню драматургии. Неожиданно председательствовавший Морозов прервал его:

— Это к делу не относится,— сказал он резко.— Вы отклоняетесь от темы-с.

Когда Морозов сердился, он всегда добавлял по-купечески словоерсы.

— Я сам знаю, что относится к делу,— отрубил Немирович и тут же ушел с заседания.

Наступила неловкая пауза. Не выдержав, взорвалась Книппер.

— Вы не имеете права обрывать Владимира Ивановича, раз он говорит о деле,— бросила она Морозову.

«Вспылила я оттого, что вообще у Саввы невозможный тон с Владимиром Ивановичем...— писала Книппер мужу — А. П. Чехову.— Большинство высказалось, что всем делается не по себе, когда Морозов разговаривает с В. И... Конечно, все были на стороне В. И., исключая М. Ф. [Андрееву]».

Морозов тяжело поднялся со стула, попросил освободить его от председательства и вышел.

Долго обсуждали, что делать, и приняли решение всем составом ехать к обоим и просить их объясниться между собой. Так и поступили. Книппер извинилась перед Саввой Тимофеевичем; по ее словам, «поговорили и расстались дружно». В конце концов инцидент был улажен. «Очень хорошо, что так вышло,— писала Ольга Леонардовна Чехову,— и что осадили Морозова, пока он не усилил свой тон».

Пока с весны по осень 1903 года готовили новые спектакли — «Власть тьмы» Л. Н. Толстого и «Юлия Цезаря» Шекспира,— в театре держался худой мир. Но в конце октября состоялся серьезный разговор между тремя руководителями театра, и Станиславский высказал ряд серьезных претензий по поводу этих спектаклей, поставленных Немировичем. Его волновало, что в них не была раскрыта философская сущность пьес Толстого и Шекспира, что вместо «интуиции и чувства» преобладала внешняя историко-бытовая линия. Константин Сергеевич думал о будущем театра, был поглощен поисками новых творческих путей. Немирович же воспринял слова Станиславского как личный выпад. Самолюбие его было особенно задето тем, что при неприятном разговоре присутствовал Морозов, который поддержал Константина Сергеевича.

Немирович ничего не ответил Станиславскому, но в тот же вечер отправил ему возмущенное, разгневанное письмо и на следующий день — еще одно. «Значит, я должен поверить Вам и Морозову, что не могу выжать из себя ничего, что было бы достойно того какого-то удивительного театра, который подсказывают фантазии Ваша и (вероятно, рикошетом от Вашей) Морозова. ...Если бы разговор шел не в присутствии Морозова и не в то время, когда малейшие между нами пререкания могут сыграть в руку его некрасивых замыслов,— я бы многое ответил Вам... Я сдержался и промолчал, потому что не хочу дать Морозову сильный козырь — споры между мною и Вами... Во мне все задрожало, когда пошли разговоры ему в руку».



Вражда вспыхнула с новой силой. Большинство артистов было на стороне Немировича. Книппер так описывала Чехову этот конфликт: «К. С. все время говорил ему (Немировичу.— **Авт.**) об упадке театра, Морозов поддакивал. Это было страшно гадко, т. к. купец только и ждет, чтобы поссорились Алексеев с Немировичем. Если К. С. что-нибудь имеет против Вл. Ив., то пусть говорит это с глазу на глаз, а не при купце...».

Жаловался Чехову и сам Немирович: «Морозовщина за кулисами портит нервы, но надо терпеть. Во всяком театре кто-нибудь должен портить нервы. В казенных — чиновники, министр, здесь — Морозов. Последнего легче обезвредить. Самолюбие иногда сильно страдает...».

Суждение Чехова на этот счет было вполне определенное: «Морозов хороший человек,— писал он жене,— но не следует подпускать его близко к существу дела. Об игре, о пьесах, об актерах он может судить как публика, а не как хозяин или режиссер».

По обыкновению собираясь друг у друга дома, актеры с жаром обсуждали разлад между руководителями театра. Василий Васильевич Лужский великолепно копировал Савву и, как писала Чехову Книппер, «смешил адски».

А Морозову было не до смеха. Ведь всего год назад он растроганно принимал пылкие слова благодарности за сказочно щедрый подарок театру, слушал хвалебные речи, тосты в свою честь. Теперь же, проходя в отстроенное им с такой любовью здание, кожей ощущал недружелюбие многих, угадывал недобрый шепот за спиной, ловил враждебные взгляды...

Еще больнее было другое. Любимая женщина и лучший друг (которому он был предан, которому служил «добровольной нянькой» во всех финансовых делах) замыкались в свой особый мир, где Савве не было места. А. Н. Тихонов вспоминал о встрече нового, 1904 года в Художественном театре, на которую были приглашены Горький и Морозов.

«Обнаженная до плеча женская рука в белой бальной перчатке тронула меня за рукав.

— Тихоныч, милый, спрячьте это пока у себя... Мне некуда положить».

Андреева, очень красивая, в открытом белом платье, протянула Тихонову подаренную ей Горьким рукопись поэмы «Человек». В конце была сделана дарственная приписка — о том, что у автора поэмы крепкое сердце, из которого Мария Федоровна может сделать каблучки для своих туфель.

Стоявший рядом Морозов взял рукопись, прочел последнюю страницу и поднял глаза на счастливое лицо актрисы:

— Так... так... новогодний подарок! Влюбились?

«Он выхватил из кармана фрачных брюк тонкий золотой портсигар и стал закуривать папиросу, но не с того конца. Андреева внимательно смотрела на его трясущиеся веснушчатые пальцы.

— Сейчас начнется кабаре! Идемте! — сказала она, взяв его под руку».

В эту ночь в театре разыгрывался новогодний капустник. Публика хохотала без удержу, но Савве Тимофеевичу вряд ли было весело...

Конфликт Морозова и Андреевой с театром продолжал углубляться. Мария Федоровна чувствовала все большую неудовлетворенность своим положением в труппе, недостатком ролей. В феврале 1904 года она подала заявление об уходе из театра. Объясняя причины своего решения в письме к Станиславскому, Андреева подчеркивала, что дело в театре идет не так, как ей кажется «достойным и хорошим», что «театр только имеет вид храма искусства, но внутри него пусто».

Немирович-Данченко и Лужский поехали к ней, чтобы объясниться в неофициальной обстановке. «Крупно говорили,— писала с их слов Книппер в письме Чехову,— она выставила причину, что нет ей ролей, но говорит, что главная причина — скверное отношение к ней труппы, выругала всех, в том числе и меня».

Правление решило предоставить Андреевой официальный отпуск на год. Было важно не допустить разрыва театра с «ее свитой» — так назвала Книппер

в письме к Чехову Горького и Морозова. Оба они в этот период испытывали разочарование в МХТ. «Видел Савву,— писал Горький жене Е. П. Пешковой (с которой они только что разъехались, но остались на всю жизнь большими друзьями),— плохо он говорит о театральном деле, видимо, наша публика вообще не способна работать дружно и уважая друг друга. Умрет этот театр, кажется мне».

Немирович-Данченко пытался сгладить противоречия, чтобы МХТ не потерял этих двух столь нужных ему людей. Когда театр приехал на гастроли в Петербург, он встретился с Горьким в Сестрорецке, где писатель отдыхал в то время, вел с ним долгие беседы, пытаясь объяснить истоки своих конфликтов с Марией Федоровной, с Морозовым, потом написал и Савве, предлагая встретиться в Петербурге и так же откровенно поговорить. Получив это письмо, Морозов, по свидетельству Андреевой, «сразу встал на дыбы».

«...Мне стоило большого труда убедить Савву Тимофеевича не сердиться, отнестись к Немировичу спокойнее и беспристрастнее,— писала Мария Федоровна Горькому 18 марта 1904 года.— Прочла ему все, что ты мне писал о ваших разговорах, и мало-помалу он утишился». А в итоге разговора с горечью сказал ей:

— Счастливый Алексей Максимович, он может заступиться за вас.

В ответ на свое письмо Морозову Немирович, по его словам, ждал назначения дня и часа встречи. Но получил записку, почти текстуально такую: «Из Вашего письма я понял только то, что Вы хотите зачем-то меня видеть. Я в Петербурге буду тогда-то, всего несколько часов и могу уделить Вам не более... (кажется, получаса)». Рассказывая об этом в письме Горькому, Немирович заключал: «Так как я ни одной минуты не сомневался, что из моего письма Савва Тимофеевич понял гораздо больше, то, конечно, не воспользовался свиданием с ним».

Напряжение не спадало. Судя по сохранившимся письмам Немировича, он не оставлял попыток улучшить отношения с Горьким и Морозовым, старался выяснить причины их враждебности. «Ваше недружелюбие как-то слилось с резким охлаждением Саввы Тимофеевича,— писал он Горькому в конце июня 1904 года.— Откуда пошло все это — от Вас ли, от него ли, или от неудовлетворенности Марьи Федоровны,— разобрать нет возможности». В том же письме Немирович сообщал: «В последней беседе с Саввой Тимофеевичем я несколько раз чуть не с воплем поднимал этот вопрос — за что?»

Договоренности достичь не удавалось. Требуя в качестве председателя правления Товарищества, чтобы театр давал не менее пяти премьер в год, Морозов в то же время возражал против новых пьес, предлагаемых Немировичем, в том числе и против «Росмерсхольма» Ибсена, и против чеховского «Иванова». Может быть, столь непримиримую позицию он занял потому, что Немирович только что отверг пьесу Горького «Дачники»?

В результате ожесточенных споров между Немировичем и Морозовым с полной очевидностью для обоих выявилось: в одной берлоге им не ужиться. Всегдашнего арбитра и миротворца Станиславского не было в Москве, он лечился за границей. Там и узнал, что Морозов вышел из состава пайщиков МХТ и снял с себя должность директора театра (правда, осенью 1904 года он изменил решение, согласился оставить свой паевой взнос, но при этом отказался от дальнейших денежных обязательств и от права решающего голоса в делах театра).

Константин Сергеевич горько сожалел о потере «Саввушки» (так любовно он назвал его тогда в письме к Немировичу). «Морозов покинул нас,— писал он другому адресату.— Словом, осиротели».

Не будем гадать, как отразился на душевном состоянии Саввы Тимофеевича отход от дела, которое он безмерно любил, в которое вложил столько сил и средств. Морозов был занят уже новыми планами, он намеревался финансировать театр, который задумали организовать Андреева и Горький, летом 1904 года поселившиеся — уже одной семьей — в Старой Руссе. В состав театра должны были войти артисты петербургской труппы В. Ф. Комиссаржевской и рижской труппы К. Н. Незлобина. В августе Савва Тимофеевич ездил для переговоров по этому поводу в Старую Руссу. Еще раньше, в июле, он предложил перейти во вновь создающийся театр незаменимому для МХТ артисту Качалову и его жене Н. Н. Литовцевой, обещая им очень выгодные условия. Но Качалов не мог изменить Художественному театру в кризисный момент.



Для будущего театра был выбран юсуповский особняк в Петербурге, который предполагалось перестроить. Однако, когда проект архитектора А. А. Галецкого был готов, начались тревожные дни 1905 года.

В сезоне 1904/1905 годов Андреева решила вступить в труппу рижского театра антрепренера и режиссера Незлобина. Приехав в Ригу в начале января 1905 года, она попала в больницу с перитонитом, была на грани смерти. Случилось так, что в это время Алексей Максимович отлучился в Петербург и из-за отсутствия поезда не смог выехать в Ригу.

В мемуарном очерке о С. Т. Морозове Горький рассказал, как они с Саввой Тимофеевичем оказались свидетелями кровавого воскресенья, как Морозов стриг бороду попу Гапону и помогал ему скрыться от полиции. Но что-то тут не стыкуется с письмом Горького Е. П. Пешковой от 9 января (где он сообщает, что о состоянии Марии Федоровны ему «телеграфируют доктор и Савва»). Если судить по этому письму, Морозов тогда был рядом с Андреевой в Риге.

Через несколько дней Алексея Максимовича арестовали. Морозов принялся энергично хлопотать о его освобождении. 14 февраля Горького выпустили из тюрьмы и выслали из Петербурга в Ригу. 15 февраля Морозов телеграфировал ему туда: «Нездоров, несколько дней пробуду Москве». Андреева и Горький решили, что в связи с революционными событиями Савву подвергли домашнему аресту.

Но дело было в другом. На Никольской мануфактуре вспыхнула забастовка. Рабочие добивались установления восьмичасового рабочего дня, повышения зарплаты. Морозов попал в трудное положение. Чтобы достичь договоренности с рабочими, он потребовал у матери права единолично распоряжаться делами фабрики. Но та в ответ отстранила его от управления мануфактурой и пригрозила учредить над ним опеку как над душевнобольным. «Его пугали неизбежностью безумия,— писал Горький,— и, может быть, некоторые были действительно убеждены, что он сошел с ума».

13 апреля 1905 года Станиславский сообщал жене из Петербурга: «Сегодня напечатано в газетах и ходит слух по городу о том, что Савва Тимофеевич сошел с ума. Кажется, это неверно...». В тот же день Андреева писала в частном письме: «Мать и Зинаида Григорьевна объявят его сумасшедшим и запрячут в больницу. Думала поехать к нему, но уверена, что это будет для него бесполезно». И назавтра: «Вон ведь какой дуб с корнем выворачивать начинает — Савву Тимофеевича. До чего жаль его, и как чертовски досадно за полное бессилие помочь ему: сунься только — ему навредишь, и тебя оплюют и грязью обольют без всякой пользы для него. Хотя еще подумаем, может быть, что-нибудь и придумаем».

Придумать ничего не удалось. 15 апреля собрался медицинский консилиум, поставивший диагноз: «тяжелое нервное расстройство, выражавшееся то в чрезмерном возбуждении, беспокойстве, бессоннице, то в подавленном состоянии, приступах тоски и прочее». По рекомендации консилиума больной в сопровождении жены и личного врача был отправлен на лечение за границу.

Через две недели пришли известия о том, что Савва Тимофеевич чувствует себя лучше. А 13 мая он застрелился в номере каннского «Ройяль-Отеля». В архиве сохранилась коротенькая безличная записка: «В моей смерти прошу никого не винить». Он прожил на свете всего 43 года.

Можно представить себе, в каком состоянии был Савва Тимофеевич накануне гибели. Все, что составляло смысл его жизни, ушло: фабрика, театр, любимая женщина...

В смерти Морозова «есть нечто таинственное...,— писал Горький Е. П. Пешковой, еще не зная, что это было самоубийство.— Мне почему-то думается, что он застрелился. Во всяком случае есть что-то темное в этой истории». Непосредственно после этих слов в публикации письма обозначен пропуск текста. Станет ли когда-либо известно, что скрыли публикаторы за тремя точками в квадратных скобках?

Причину самоубийства Морозова современники объясняли по-разному. Власти — тем, что он «попал в сети революционеров», родственники — психической болезнью. Некоторые, как художник Игорь Грабарь, считали, что он застрелился из-за несчастной любви к Андреевой. А Горький писал: «Затравили его, как медведя, маленькие, злые и жадные собаки». И еще: «Жалко этого человека — славный он был и умник большой и — вообще — ценный человек».

Незадолго перед смертью Морозов застраховал свою жизнь на 100 тысяч рублей. Страховой полис отдал Андреевой. Родственники опротестовали ее право на эти деньги, был судебный процесс, окончившийся в ее пользу. Большую часть полученной суммы Андреева передала в фонд большевистской партии. Этот факт свидетельствует, по мнению некоторых авторов, что Морозов «до конца оставался верен делу революционного переустройства своей родины». Но вот как объяснила историю полиса сама Мария Федоровна спустя много лет в письме к Буренину:

«...С. Т. Морозов считал меня «нелепой бессребреницей» и нередко высказывал опасение, что с моей любовью все отдавать я умру когда-нибудь под забором нищей, что обдерут меня как липку «и чужие и родные». Вот поэтому-то, будучи уверен, что его не минует семейный недуг — психическое расстройство,— он и застраховал свою жизнь в 100 000 р. на предъявителя, отдав полис мне. Я предупреждала его, что деньги себе я не возьму, а отдам, на это он ответил мне, что ему так легче, с деньгами же пусть я делаю что хочу,— он «этого не увидит». Никаких завещаний, само собой разумеется, он не делал, но, когда он умер, мне хотелось, чтобы люди думали о нем как можно лучше, так же думал и Алекс. Макс., прекрасно знавший всю историю полиса.

Когда... удалось все-таки получить по полису деньги, я распорядилась: 60 000 р. отдать в ЦК нашей фракции большевиков, а 40 000 распределить между многочисленными стипендиатами С. Т., оставшимися сразу без всякой помощи, так как вдова Морозова сразу прекратила выдачу каких-либо стипендий. Сколько-то еще из этих денег ушло на расходы по процессу».

Опубликованы письма Андреевой к сестре — Е. Ф. Крит, у которой жили в то время дети Марии Федоровны и муж которой за родственную связь с ней был уволен со службы (возможно, Савва Тимофеевич до своей смерти оказывал семье Крит материальную помощь). Судя по этим письмам, немалую часть морозовской страховки — приблизительно 28 тысяч рублей — Андреева отдала на уплату долгов и расходы этой семьи. Нет никаких сомнений, что Мария Федоровна была щепетильна в денежных делах. Она распоряжалась полученной суммой по своему усмотрению потому, что считала ее своей собственностью.

К тому же возникает вопрос: если Морозов имел в виду завещать деньги большевистской партии, почему он не отдал полис Горькому или Красину, оградив тем самым Марию Федоровну от неизбежных оскорбительных кривотолков?

Обдумывая эти обстоятельства, невольно приходишь к крамольной мысли о том, что забота о любимой женщине, может быть, все же значила для Саввы Тимофеевича больше, чем тревоги о революционном переустройстве России...

Болезнь, а впоследствии смерть Морозова, по словам Станиславского, оторвали от театра кусок сердца. Прежние раздоры вскоре забылись. И в юбилейные даты и по другим поводам Савву Тимофеевича вспоминали с глубокой благодарностью как «бескорыстного друга искусства». Когда в 1923 году МХТ гастролировал в США, Станиславский рассказывал американцам о роли Морозова в судьбе театра, о его «меценатстве с чисто русской широтой». Американские богачи, субсидировавшие театральные предприятия, не могли, по словам Константина Сергеевича, «понять этого человека. Они убеждены, что меценатство должно приносить доходы».

Морозову меценатство давало многое — интерес в жизни, приближение к искусству, общение с творческими людьми, возможность дарить им радость. Но оно не принесло ему ни доходов (напротив, огромные расходы!), ни душевного покоя. И, конечно, разрыв с Художественным театром был одним из звеньев в той депрессивной цепи неудач и разочарований, из которых Морозов не нашел в себе сил выбраться весной 1905 года.



## «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

«...Со смертью милого и незабвенного Саввы Тимофеевича,— писал Станиславский Горькому в июле 1905 года,— материальные условия театра резко изменились к худшему». Для поправки дел решили организовать первую в истории МХТ гастрольную поездку за рубеж, заняв для этого значительную сумму. Намечалось поехать в Берлин, потом в Дрезден, Прагу, Париж.

Спектакли в Берлине проходили с успехом, вызвали восторженный отклик прессы. Однако зал во время представлений был далеко не полон. «Немцы шли в театр очень туго»,— вспоминал Немирович-Данченко. Вскоре стало ясно, что спектакли на чужом языке привлечь массового зрителя не могут, как бы ни хвалили их театральные критики.

А расходы театра становились все более разорительными. О том, чтобы отложить деньги на продолжение гастролей, не говоря уж о возвращении долга, нечего было и думать. «Мы истощились материально,— вспоминал Станиславский,— и готовы были возвращаться по шпалам из-за границы».

И вдруг... Москвин и Вишневский передали Немировичу, что о встрече с ним просят два молодых армянина — горячие поклонники Художественного театра. Оба живут в Москве, и, когда стало известно, что МХТ уезжает за границу, решили: «Поедем за ними. Так и будем ездить — куда Художественный театр, туда и мы». Это были Николай Лазаревич Тарасов — выходец из известной в Москве семьи богачей, только что получивший после смерти отца трехмиллионное состояние, и его неразлучный друг Никита Федорович Балиев.

В первый раз к Немировичу в контору Берлинертеатра пришел один Балиев — полноватый, с круглым веселым лицом и плутовским выражением смеющихся глаз. Побеседовали, и, почувствовав приветливое расположение хозяина, гость осторожно заговорил о материальной стороне гастрольной поездки. Видимо, об этом уже заходил разговор с Москвиным и Вишневским, и Тарасов уполномочил своего бойкого друга предложить театру помощь.

Немирович откровенно рассказал гостю о том, что труппе — увы! — предстоит тоскливое возвращение домой раньше времени и без заработанной на уплату долгов суммы.

— А сколько нужно, чтобы театр спокойно продолжал поездку? — спросил Балиев.

— Для того чтобы в случае неудачи не очутиться в скверном положении? Тысяч тридцать.

— А если бы вам их предложили? Тарасов и я?

«Это было так неожиданно,— вспоминал Немирович,— повеяло такой сказкой», что он не сразу ответил:

— На каких условиях?

— Ни на каких.

— В долг, без процентов?

— Да нет, какие там проценты? И не в долг. Потеряете — пропадут, а нет — останутся у вас в деле.

На следующий день Балиев представил Немировичу Тарасова. Двадцатичетырехлетний красавец с матовой кожей и черными бархатными глазами, Николай Лазаревич стоял рядом со своим разговорчивым другом и молча улыбался. Трудно было представить, что именно ему принадлежали деньги, которые с такой беззаботной щедростью предложил театру Балиев. «Когда при встрече с Тарасовым,— вспоминал впоследствии Немирович,— я начал благодарить его, он с деликатным беспокойством не дал мне договорить».

«Около тридцати лет прошло со времени этого свидания...— писал Немирович-Данченко в своих мемуарах,— Художественный театр перешел через все стадии революции, и для него теперь эти два фланирующих богатых москвича — классовые враги,— и все-таки вспоминается то чувство бодрости и жизнерадостности, какое охватило всех нас тогда, в дни молодости Художественного театра».

В отношении материальных возможностей Балиева Немирович ошибался — Никита Федорович никаких капиталов не имел. Когда МХТ вернулся в Москву, Балиев был принят в его труппу и сразу же стал своим человеком на Камергерском.

Деньги, которые Тарасов передал МХТ, остались целы. Незадолго до окончания гастролей в Берлине германский кайзер Вильгельм выразил желание посмотреть «Царя Федора». Весь город запестрел афишами, поперек которых красными буквами было напечатано: «По желанию Его величества». Император приехал с императрицей и наследным принцем. Зал ломился от публики, и все дальнейшие спектакли в Германии стали давать полные сборы. Театр не только смог выплатить долги, но и получил средства для продолжения дела.

После возвращения из поездки руководители МХТ хотели вернуть Тарасову долг, но он категорически отказался. Тогда его выбрали в число пайщиков (паевой взнос составили подаренные театру 30 тысяч) и сделали членом дирекции. «Это было номинально,— вспоминал один из корифеев МХТ Л. М. Леонидов.— Он был настолько тактичен, что ни во что не вмешивался».

Покойный отец и дядя Тарасова были мультимиллионерами. Свое огромное состояние они нажили на нефти. Старожилы из купцов помнили, как братья Тарасовы, необразованные, провинциалы, наезжали в Москву из родного Екатеринодара в допотопных шубах, чуть ли не с мешками в руках. Потом стали хозяевами роскошного дома поблизости от морозовского особняка — на углу Спиридоновки и Большого Патриаршего переулка. Массивное темно-серое здание, построенное архитектором И. В. Жолтовским, сохранилось до наших дней. По желанию хозяев оно представляло собой копию дворца, возведенного великим Палладио в итальянском городе Виченца.

В семье Тарасовых царил патриархальный дух, строго соблюдались обычаи предков. Об этом рассказал в одном из своих романов ее потомок — французский писатель, известный под псевдонимом Анри Труайя (его родители эмигрировали из России после Октябрьской революции).

И как же далек был от своих старших родственников Николай Тарасов! «Трудно встретить более законченный тип изящного, привлекательного, в меру скромного и в меру дерзкого денди,— писал о нем Немирович.— Вовсе не подделывается под героев Оскара Уайльда, но заставляет вспомнить о них. Вообще не подделывается ни под какой тип, сам по себе: прост, искренен, мягок, нежен, даже нежен, но смел».

Обитал он отдельно от своего семейства — в просторной, хорошо оборудованной квартире, которую снимал в огромном по тем временам доме, облицованном голубовато-зелеными и белыми глазурованными плитками, в фешенебельном районе — на Большой Дмитровке. Свое холостяцкое жилье Тарасов делил с Никитой Балиевым. Когда Балиев устраивал пирушки для приятелей, Николай Лазаревич запирался в своей спальне с томиком Пушкина. «Пушкин — мой самый близкий друг»,— как-то заметил он.

Судьба щедро одарила Тарасова. Хозяин нефтеносных земель, член правления «Товарищества мануфактур братьев Тарасовых», совладелец большого торгового дома в Екатеринодаре, пайщик многих акционерных компаний и предприятий. Красивый, элегантный, необычайно эрудированный, наделенный изысканным вкусом.

Разнообразно и ярко талантливый, Тарасов с одинаковой легкостью писал стихи, сочинял скетчи и пьесы, рисовал карикатуры и эскизы костюмов. Свободно владея стихом, Николай Лазаревич, однако, не увлекался оригинальным творчеством. Он предпочитал тонкие поэтические стилизации, подделки под того или иного поэта. Особенно хороши были его блестящие, едко остроумные пародии и шутки.

Так же относился Тарасов и к своему живописному дару. Василию Ивановичу Качалову он подарил написанный маслом этюд «под Коровина» с мастерски подделанной подписью художника. Сын Качалова, В. В. Шверубович, вспоминал, что отец повесил этот этюд в своей гримуборной. Все бывавшие там знатоки и ценители живописи, складывая ладони в трубочки, любовались произведением мастера, ничуть не сомневаясь в его подлинности. Только Александр Бенуа сразу же разгадал подлог.



Николай Лазаревич обладал счастливой способностью быть каждому симпатичным. Но не только поэтому его любили в Художественном театре. Многосторонняя талантливость Тарасова заставляла людей искусства считать его «своим». В нем никогда не видели купца, мецената с повадками хозяина. Да он и не давал для этого повода: держался скромно, всегда в тени своего шумного, общительного друга.

«Он любил те места, где звенел смех, где порхала шутка,— вспоминал театральный критик Н. Е. Эфрос,— но сам лишь едва улыбался и редко ронял слова. Любил ярко освещенные залы, но выбирал в них уголок потемнее. Любил шум споров, но сам всегда был очень скуп на слова».

О застенчивости, замкнутости Тарасова, о каком-то присущем ему — посреди общего, вызываемого им же веселья — сдержанно-печальном ореоле вспоминали все, кто его знал. Эту необычность Тарасова выразил тот же Эфрос: «Феи, стоявшие у его колыбели, забыли положить туда один подарок — способность радоваться жизни... Тарасов носил в себе жажду этой радости — и никогда не мог ее утолить. Он понимал эту радость и не мог ее испытать». Даже когда Николай Лазаревич смеялся, глаза его оставались грустными.

Богатство губило Тарасова тем, что он ничего не должен был делать. Оно рождало в нем, по словам В. В. Шверубовича, комплекс неполноценности: ему мешало отсутствие настоящей профессии, права на самоуважение. Богатство отравляло для него отношения с людьми. Тарасов никому до конца не верил — ни друзьям, ни женщинам. Всегда подозревал, что доброе отношение к нему вызвано лишь одним — его миллионами. Если бы Николай не был так богат, часто говорил любивший Тарасова и друживший с ним Василий Иванович Качалов, он был бы гораздо жизнеспособнее и счастливее.

С именами Тарасова и Балиева связано создание артистического кабаре МХТ «Летучая мышь», пользовавшегося огромной популярностью в Москве. Кабаре выросло из традиционных капустников. С приходом в театр двух друзей этот жанр достиг невиданного раньше совершенства, но подлинный его расцвет связан с «Летучей мышью».

Многие, кто не знал кулис «Летучей мыши», думали, что Тарасов — только ее «золотой мешок». Но он был и ее творцом. «По складу души, строю вкусов,— писал Н. Е. Эфрос,— Н. Л. Тарасову были особенно близки именно «малые искусства», с их недоговоренностью, тесными, сжатыми формами, сосредоточенной силою, сгущенною красочностью и пикантной заостренностью. Ему была близка эта стихия юмора, сарказма, элегической нежности и грусти. Он любил пародию и вздох, пряный намек, застенчивую недосказанность. Эстет, он особенно любил выдержанный стиль, любил игру красок».

Талант Тарасова смог раскрыться в «Летучей мыши» благодаря сплаву с редкостным даром его друга Никиты Балиева, ставшего первым в России конферансье. Этот дар раскрылся не сразу: несколько лет Балиев исполнял маленькие роли в МХТ (например, Хлеба в «Синей птице») и проваливал их одну за другой. Как отмечал заведующий труппой Василий Васильевич Лужский, в этих ролях Балиев обнаружил «полное отсутствие драматического таланта».

Лицо Балиева не поддавалось никакому гриму. Сквозь любой слой белил и румян проступали лукавые глазки-щелочки, круглая хитроватая физиономия. А мимика... Едва взглянув на него, зрители начинали хохотать, независимо от того, что происходило на сцене. Автор очерка о «Летучей мыши» Л. Тихвинская приводит отчаянное письмо Балиева Немировичу-Данченко (1907 год). «Мое лицо — это моя трагедия,— писал артист, достигший в будущем мировой славы.— Идет комедия — говорят, Балиеву нельзя дать, он уложит весь театр, идет драма — тоже. И я начинаю трагически задумываться, за что меня так наказал бог...». Балиев горько сетовал на свое «слишком комическое лицо», на южный акцент ростовского армянина (настоящее его имя было Мкртич Балян). «Что же делать? — спрашивал он Немировича.— Стреляться? В особенности, если любишь театр... Поверьте раз в жизни, дорогой Владимир Иванович,— иначе, ей-

богу, ведь мое положение трагическое... Я верю, Владимир Иванович, что в этом году Вы дадите мне роль. Ей-богу, это нужно. Я Вас не осрамлю, дорогой, милый Владимир Иванович!»

Хорошей роли в спектаклях МХТ Балиев так и не получил. Зато счастливо нашел себя в другом амплуа. Оказалось, что этот человек родился гением конферанса. По словам Л. Тихвинской, «он по природе был актер-солист, «единоличник», здесь, на месте, на глазах у публики творящий свой, ни от кого не зависящий, ни с кем не связанный спектакль... Спектакль-импровизацию». Вот эту возможность творить собственный спектакль Балиев и обрел в кабаре «Летучая мышь».

Все началось с того, что вместе с Тарасовым и несколькими друзьями-актерами они решили подыскать и обустроить уютное местечко «для часов досуга и отдыха», для взаимного увеселения и забавы артистов Художественного театра. На средства Тарасова сняли и приспособили для этого подвал в доме Перцова в Курсовом переулке напротив храма Христа-спасителя.

В убранстве стремились придерживаться только одного правила — чтобы все выглядело не так, как в обыденной жизни. Никакой роскоши, просто, но необычно, по-своему. Что-то отдаленно напоминавшее мастерскую художника. Скромность объяснялась не бедностью (Тарасов не скупился на необходимые траты), а соблюдением единого, со вкусом выдержанного стиля.

Стены тесного, слабо освещенного зальчика от пола до потолка были разрисованы сказочными птицами, переплетавшимися в изящном орнаменте. Во всю длину подвальчика тянулся тяжелый некрашеный стол и возле него крепко сколоченные скамьи, на которых — в тесноте, да не в обиде — с трудом умещались хозяева и гости. В правом углу, боком — крохотная сцена с раздвижным занавесом. Она служила как бы продолжением зрительного зала, находившегося с ней в живом общении.

На стенах висели шуточные плакаты и карикатуры на актеров (автором некоторых из них был Тарасов). На видном месте красовался плакат: «Все входящие должны быть знакомы друг с другом». С серого сводчатого потолка свисал символ кабаре — матерчатая летучая мышь.

Торжественно был принят устав «Летучей мыши». Его подписали Книппер, Качалов, Лужский, Москвин, Тарасов, Балиев и другие — всего 25 членов-учредителей. Главное правило — не обижаться. Шутки были остроумные и меткие; тот, над кем шутили, смеялся первым и больше всех. Здесь не было казенной официальности, унылой чопорности, светской благопристойности. Вольный юмор, естественность и непринужденность общения отличали кабаре «художников» (так называли в Москве артистов и сотрудников МХТ).

Впервые «Летучая мышь» распахнула свою узенькую дверь 29 февраля 1908 года — в тот вечер была показана пародия на спектакль МХТ «Синяя птица», премьера которого состоялась всего неделю назад. Тогда же в первый раз прозвучал гимн артистического кабаре:

Кружась летучей мышью
Среди ночных огней,
Узор мы пестрый вышьем
На фоне тусклых дней.

Может быть, этот гимн сочинил Тарасов? Ему принадлежали идеи большинства номеров, он был автором многих звучавших со сцены шуток, как правило, очень талантливых. Однако Николай Лазаревич предпочитал держаться в тени.

Главным персонажем «Летучей мыши» с первого же представления стал Никита Балиев. Вот когда пригодилось его свойство вызывать смех одним лишь своим видом! Да и не только оно. «Его неистощимое веселье,— вспоминал Станиславский,— находчивость, остроумие — и в самой сути, и в форме сценической подачи своих шуток, смелость, часто доходившая до дерзости, умение держать аудиторию в своих руках, чувство меры, уменье балансировать на границе дерзкого и веселого, оскорбительного и шутливого, уменье вовремя остановиться и дать шутке совсем иное, добродушное направление — все это делало из него интересную артистическую фигуру нового у нас жанра».



Балиев обладал удивительным даром делать публику непосредственным участником происходившего на подмостках, втягивать ее в живой диалог. Уютный, кругленький, живая смесь добродушия и юмора, он был идеальным посредником между актерами и зрителями. Шутки летели со сцены в зал и обратно. Балиев подхватывал реплики, искусно обыгрывал и с блеском на них отвечал. Он не только вел программу, но и выступал с сольными, очень остроумными номерами.

По Москве мгновенно распространился слух об открытии кабаре. Среди околотеатральной публики начался ажиотаж: каждому хотелось повеселиться в перцовском подвальчике. Но туда получали доступ только актеры, художники, писатели; лишь иногда допускались просто друзья театра и его завсегдатаи. Один из них впоследствии писал: «Буро-зеленая карточка с распластанным изображением «летучей мыши» и со словами: «Летучая мышь» разрешает вам тогда-то ее посетить» — стала предметом зависти, пламенного желания и усерднейших хлопот».

Каждый приглашенный подвергался обряду посвящения в «кабаретьеры». Дежурный член-учредитель водружал на его голову бумажный шутовской колпак (не было ли в этом шутливого намека на таинственные масонские ритуалы?). Тот же посетитель кабаре вспоминал, как раскованно чувствовали и вели себя там: «Лица, которые мы привыкли видеть важными и деловитыми, стокали от спазм неудержимого хохота. Всех охватило какое-то беззаботное безумие смеха: профессор живописи кричал петухом, художественный критик хрюкал свиньей. Такое можно встретить только на кипучем карнавале в Италии или веселой Франции».

Представления в ночном актерском кабачке отличались неповторимым своеобразием. Почти все их программы в первые два года были придуманы Тарасовым. Он изобретал темы номеров, сочинял тексты, подбирал музыку, рисовал эскизы... И все это с редким остроумием и изяществом, артистизмом. Если бы Тарасов прожил дольше и остался в России, утверждал в своих мемуарах В. В. Шверубович, «это был бы интереснейший деятель театра. Кто знает, что еще таилось в его талантливой и умной голове».

Репертуар «Летучей мыши» был очень разнообразен. Шутки, пародии, танцы, пантомимы, комедийные сценки... Их с огромным увлечением и молодым озорством разыгрывали корифеи МХТ. Станиславский в роли фокусника демонстрировал чудеса белой и черной магии: на глазах у публики снимал «с любого желающего» сорочку, не расстегивая ни жилета, ни пиджака. Книппер покоряла зрителей вызывающе-дерзким шармом парижской шансонетной «этуали». Выходил на сцену Москвин, загримированный под «балаганное чудо» — знаменитую в те годы женщину с бородой Юлию Пастрану...

Возможно ли описать театральное действо, бесконечно веселое, легкое, игристое, словно шампанское, если оно происходило много-много лет назад и не только читателю, но и автору ничего подобного никогда не довелось увидеть... Да и читать такое описание — все равно что пить шампанское «вприглядку», не вдыхая его аромата, не чувствуя вкуса. И все-таки нужно бережно собрать сохранившиеся рассказы о «Летучей мыши». Ведь попытка погрузиться в праздничную, дружески-интимную атмосферу «театрика в театре» — единственная возможность заглянуть в творческий мир Тарасова, понять природу его так и не расцветшего в полной мере таланта.

Тарасов обладал богатейшей фантазией, но, как замечал Н. Е. Эфрос, «не то застенчивость, не то какая-то необоримая лень вязали ей крылья при первом взлете, и она упадала, не воспарив. У него рождались счастливые выдумки, но он почти ни одной не довел до осуществления, она ему начинала казаться скучной и пошлой прежде, чем он доводил ее до какого-нибудь воплощения». Однако окружавшие Тарасова друзья-единомышленники с жаром подхватывали его идею, развивали и превращали в «прекрасные перлы маленького искусства».

В то же время влияние Николая Лазаревича на друзей, партнеров по «Ле-

тучей мыши» было очень велико. «Его тонкими вкусами,— писал Эфрос,— его чувствами художественного такта умерялись ошибочные увлечения других, удерживались на пути благородства и тонкой изысканности». То же качество ценил в Тарасове Немирович: «Ко всему, на каждом шагу он подходит со вкусом, точно пуще всего боится вульгарности».

В подвальчике Тарасова и Балиева всегда было много театральной молодежи. Станиславский поощрял ее выступления в «Летучей мыши», считая, что танцы, пантомима, вообще эстрада раскрывают темперамент, расковывают движения.

Среди признанных «премьерш» кабаре была Алиса Коонен — впоследствии большая трагическая актриса, а тогда ученица школы МХТ. Она участвовала во многих забавных и веселых номерах: то в комедийной сценке молниеносно преображалась из юной цветочницы в старуху, то в миниатюре «Английские прачки» распевала на мотив популярной британской песенки бессмысленный набор «английских» слов, то в «народном квартете балалаечников» бойко бренчала на балалайке вальс «Ожидание» и «Эх, полным-полна коробочка». Алиса была и прекрасной танцовщицей. Зрители наслаждались, глядя на величественного Немировича, управлявшего (не умея даже держать дирижерскую палочку) маленьким оркестром, под музыку которого в польке или огневой мазурке неслись Алиса Коонен и влюбленный в нее тогда Качалов.

Одно выступление Коонен стало событием. В то время только-только вошел в моду танец апашей. Коонен и актер Георгий Асланов решили подготовить этот почти акробатический танец для «Летучей мыши». Перед премьерой долго репетировали. Как-то во время репетиции в темный зал неслышно вошел композитор Сергей Васильевич Рахманинов и с удовольствием следил за работой танцоров. Каково же было их изумление, когда на следующий день Балиев таинственно сообщил им, что Рахманинов вызвался дирижировать танцем апашей на премьере.

«Зазвучал оркестр. Я вышла на сцену как в бреду,— вспоминала Коонен.— Музыка показалась мне неузнаваемой. Она приобрела совсем новое, трагическое звучание: то замирала в томительном пиано, то обрушивалась на нас зловещим форте, в оркестре звучали инструменты, которых раньше и слышно не было. Музыка подчиняла себе, и наши движения, намеченные на репетиции почти пародийно, невольно наполнялись новым, тоже трагическим содержанием. Невозможно описать триумф этого номера на премьере и наше чувство восторга и благодарности великому музыканту, который одним взмахом своей дирижерской палочки превратил эстрадную безделушку в произведение искусства».

Между Коонен и Тарасовым установились очень добрые отношения. Юную актрису подкупал искренний интерес Николая Лазаревича к ее творческим поискам, планам на будущее. Он приходил на первый или последний акты «Синей птицы» (она играла Митиль) и потом обязательно рассказывал ей о своих впечатлениях. Иногда в свободные дни они ездили на любимые им Воробьевы горы, бродили по Нескучному саду и о многом разговаривали. «Внимание, с которым он слушал,— вспоминала Коонен,— было поистине вдохновляющим».

Как-то во время прогулки Тарасов сказал:

— Мне думается, что со временем вы будете играть не только веселых девушек, но и драматические роли с большими сложными переживаниями.

Он оказался провидцем... По инициативе Тарасова и в репертуар «Летучей мыши» иногда вставлялись номера более серьезного свойства, чем непременные пародии и комедийные сценки. Так с большим вкусом была поставлена сделанная им инсценировка стихотворений в прозе Тургенева.

Программа кабаре пополнялась разными путями. После празднования десятилетия со дня основания МХТ в нее были включены фрагменты юбилейного капустника, главными организаторами которого были Тарасов и Балиев.

Гвоздем программы стал «цирковой балаган».

Изображая сеанс модной тогда борьбы, навстречу друг другу выбегали Качалов — грациозный, щупленький французик в трогательных дамских панталонах и актер МХТ В. Ф. Грибунин — дюжий ямщик в рубахе, с засученными пор-



тами. Их схватка, с уморительными жестами и приемами борьбы, была пародией на подкупленных борцов и жюри. Оба то и дело норовили сплутовать, но их плутни выдавал по глупости слуга при балагане — И. М. Москвин, старательный дурак вроде рыжего в цирке, который то подымал, то опускал занавес, при этом всегда не вовремя.

Сенсацию произвел и хитроумный технический трюк. В середине вмонтированного в пол сцены вращающегося круга укреплена и движется вместе с ним, будто резво скачет, деревянная лошадь. Слуги в униформе, стоя по краям на неподвижном полу, держат обтянутые бумагой обручи, которые лихо прорывает танцующая на спине лошади «юная наездница» в короткой пышной юбочке — почтенный и респектабельный артист МХТ Г. С. Бурджалов.

И еще один «конный» номер. «Униформисты» в красных ливреях выстроились шпалерами, музыка играла торжественный марш. На сцену вышел Станиславский в цилиндре набекрень, с огромным наклеенным носом и широкой бородой. Картинно раскланявшись с публикой, он эффектно щелкнул бичом над головой (этому искусству Константин Сергеевич учился всю предыдущую неделю в свободное от спектаклей время), и на сцену, хрипя и косся горящим глазом, вылетел дрессированный жеребец — А. Л. Вишневский.

Под конец вся труппа во главе с Книппер, Качаловым, Москвиным, Лужским, Грибуниным «выехала» на сцену на игрушечных лошадках, отплясывая развеселую кадриль.

И все это перемежалось колкими репризами Балиева, доводившими публику до исступления. Автор большей части шуток и пародийных номеров наблюдал за ходом капустника из-за кулис. Николай Лазаревич не гнался за лаврами. Распевая сразу же входившие в моду его песенки из программ «Летучей мыши», со смехом повторяя сочиненные им куплеты и эпиграммы, москвичи обычно не ведали имени автора. Далеко не все знали, что его перу принадлежат популярные в Москве буффонада о Наполеоне и его пропавшем шофере (она продержалась в «Летучей мыши» десять лет!) или меткая пародия на спектакль Малого театра «Мария Стюарт».

Особым успехом пользовались номера на политическую злобу дня. Сбоку сцены был поставлен придуманный Тарасовым громадный бутафорский телефон, который то и дело звонил, Балиев поднимал трубку и в разговоре с невидимым собеседником остроумно комментировал актуальные новости. Один из таких номеров (в подготовке которого тоже участвовал Тарасов) был навеян происходившими тогда выборами председателя III Государственной думы. Главным претендентом был Александр Иванович Гучков. Москва жадно ждала известий из столицы.

И вот на сцене звонил телефон. Балиев подносил к уху огромную трубку: «Откуда говорят? Из Петербурга? Из Государственной думы?».

Вдруг фигура Балиева приобретала явный оттенок подобострастия. Он отвешивал поклоны персоне «на проводе»: «Здравствуйте! Очень счастлив... Спасибо, что позвонили». Затем, после паузы, Балиев вежливо, но решительно говорил: «Нет!».

Заинтересованный зал, затаив дыхание, следил за разговором. Балиев все нервнее, все энергичнее отнекивался, отрицательно вертел головой, отмахивался руками... И в конце концов, решившись, резко и твердо обрывал разговор:

— Извините, не могу, никак не могу...

С раздражением вешал трубку и, быстрыми шагами направляясь за кулисы, на ходу недовольным голосом бросал в публику:

— Гучков спрашивает, не нужен ли на нашем капустнике председатель.

Зал взрывался хохотом...

«Летучая мышь» дарила людям театра радость, скрашивала и оживляла актерские будни с их изматывающими репетициями, высоким нервным напряжением спектаклей, завистью и соперничеством, сомнениями в собственном таланте, страхом скорого увядания, старения, утраты артистической формы. Поздние вечера в кабаре были для хозяев и гостей «праздником души».

Тарасов всегда казался немного чужим на этом празднике. Изящный, с цветком в петлице, он обычно сидел за столом в зале, неизменно на одном и том же месте. И всегда грустный. «Что старательно скрывалось изысканною оболочкою дендизма, под слегка пренебрежительною, точно деланно усталою улыбкою? — писал о нем Эфрос.— А крылась тоска, большая, глубокая, непобедимая, крылось глубокое разочарование... И этим Тарасов был типичен для многих».

После представления Николай Лазаревич терпеливо ждал, пока из-за кулис, разгримировавшись и переодевшись, выбежит разгоряченный Балиев. Вдвоем они шли домой по ночным московским бульварам. Один не умолкал ни на минуту, переживая удачи и промахи сегодняшнего представления. Другой молча слушал. Эти двое неразлучных чем-то напоминали — не по внешности, а по темпераменту — Арлекина и Пьеро: подвижный, энергичный, полный жизни Балиев и глубокий меланхолик Тарасов. Они шагали по дорожкам бульваров, вдыхая запах снега, а за оградой медленно катил с притушенными фарами сопровождавший их огромный тарасовский автомобиль...

Слава «Летучей мыши» росла, тем или иным путем туда просачивалось все больше посетителей, и через два года после открытия кабаре в нем уже бывала вся театральная Москва. Здесь всегда было интересно, шумно, весело. Номера программы и остроты конферансье постоянно обновлялись, и тут большая заслуга по-прежнему принадлежала Тарасову. В 1910 году он участвовал в подготовке нового капустника Художественного театра. Об этом капустнике Станиславский писал Айседоре Дункан: «...Наш театр готовил грандиозный вечер с множеством всяких актерских шуток, примерно пятьдесят номеров. Показывали пародию на «Прекрасную Елену», где главную роль играла Книппер; были и другие пародии: на кафешантан, на глупый балет, на цирк... Представление продолжалось всю ночь — до девяти часов утра». Работа над капустником отняла у Тарасова и его друзей много сил: в те дни он буквально дневал и ночевал в театре. Всегда был рад выполнить любую просьбу «художников».

Николай Лазаревич даже породнился с Художественным театром. Его старшая сестра вышла замуж за одного из актеров — Николая Афанасьевича Подгорного. Ольга Лазаревна прочно вошла в актерскую семью МХТ. Ее любили, считали добрым, отзывчивым человеком.

В 1910 году оборвалась жизнь Тарасова. История его последних дней еще более загадочна, чем самоубийство Саввы Тимофеевича Морозова. Существовала женщина, которую он, видимо, любил, с которой был близок,— красавица, дочь одного из богатейших московских купцов Ясюнинского и жена совладельца крупного торгового дома «Н. Ф. Грибов и К°». Не порывая с Тарасовым, Ольга Грибова страстно увлеклась другом своего мужа Н. М. Журавлевым. Он был совсем еще молод, лишь за два года до знакомства с ней окончил гимназию. Рассказывали, что, запутавшись в финансовых аферах, Журавлев потребовал у влюбленной в него женщины денег, угрожая, что покончит с собой, если она их не добудет. Грибова бросилась к Тарасову, но тот отказался помочь сопернику.

29 октября 1910 года Журавлев покончил с собой. На исходе следующего дня стреляла в себя Грибова. Ее отвезли в больницу.

В тот вечер Тарасов был в Художественном театре. Вернувшись домой, долго не ложился спать, ждал телефонного звонка. Звонил в редакции газет, тревожно осведомлялся, есть ли известия о состоянии Грибовой. В семь утра приказал принести газеты. В одной из них увидел траурное объявление.

«Рано утром меня разбудил телефонный звонок,— вспоминала Коонен.— Ольга Лазаревна каким-то странным, чужим голосом попросила меня сейчас же приехать на квартиру к Тарасову. Предчувствуя что-то страшное, я помчалась на Дмитровку. Дверь была открыта, и я прямо прошла в комнату Николая Лазаревича. Он лежал на тахте в костюме, тщательно одетый. Лицо было спокойное, чуть розовое, можно было подумать, что он спит, на виске запеклась одна-единственная капелька крови. На полу рядом с тахтой лежал маленький револьвер... Уткнувшись мне в плечо, глухо рыдала Ольга Лазаревна».



Друзья Тарасова встретили весть о его смерти с великой скорбью. 1 ноября в знак траура в Художественном театре был отменен спектакль, в «Летучей мыши» состоялась гражданская панихида. Люди, пришедшие почтить память Тарасова, оплакивали его талант, его молодость — ему было двадцать восемь лет. Но не удивлялись его поступку. Повод казался неважным. Своим выстрелом он «снял с себя бремя непроходящей тоски»,— писал Н. Е. Эфрос.

Лишившись финансового покровителя, «Летучая мышь» из интимного актерского кабаре превратилась в общедоступный театр под руководством Н. Ф. Балиева. Первый платный спектакль состоялся в конце 1910 года. А в 1912 году «Летучая мышь» официально стала самостоятельным театральным предприятием. После революции Балиев эмигрировал, организовал новую, эмигрантскую «Летучую мышь», которая до 1928 года с успехом выступала во Франции, Англии, США. Театр оставался ярким, остроумным, праздничным.

Но если на спектакль попадал зритель, которому довелось некогда побывать в тесном подвальчике перцовского дома, он чувствовал: что-то ушло... Не было теперь того, что составляло главный вклад Николая Лазаревича Тарасова в создание «Летучей мыши»,— его таланта, облагораживающего вкуса, изящной артистичности.

Однажды Станиславский, движимый чувством благодарности, назвал Художественный театр «театром Морозова и Тарасова». Значение двух меценатов в истории МХТ, конечно, несопоставимо, как и оказанная ими театру материальная поддержка. Однако и тот, и другой искренне любили Художественный театр, оставались его верными, испытанными друзьями.

Савва Морозов и Николай Тарасов ни в чем не были похожи — ни по внешнему облику, ни по характеру, ни по образу жизни. Но в смерти обоих видится какое-то странное совпадение. Мы уже никогда не узнаем, что заставило их нажать курок. Но кажется иногда, что, помимо явных причин, этих двух людей (как и многих других из их круга) мучило гнетущее предчувствие надвигающегося гигантского катаклизма, который сметет в небытие привычный для них мир.

И они ушли раньше, оставив по себе светлую память.

Наталья Иванова



# ВОЗВРАЩЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ

*Бесконечно тяжелы все те начала, когда слово простое должно двинуть материальную косную глыбу.*

А. И. Солженицын

## В ПРИСУТСТВИИ СОЛЖЕНИЦЫНА

Помпезный фасад так называемой советской литературы рухнул, рухнул незадолго до того, когда реально рухнул помпезный фасад Главпочтамта на киевском Крещатике.

Тот архитектурный фасад, на котором к 7 ноября и 1 Мая крепили алые полотнища с начертанными партией лозунгами, не выдержал годами копящейся на нем лжи.

А главное — дала о себе знать самая большая ложь.

Ложь проекта.

Парадный фасад советской литературы тоже не выдержал. Под своими обломками он похоронил мертвую демагогию теоретиков «соцреализма».

В 70-е годы казенная литература расцвела особенно пышным цветом. Производственные и исторические эпопеи, многократно усиленные теле- и киноэкранизациями, поочередно добывали своим авторам государственные премии, звезды Героев — счастливые обладатели оных были народом в насмешку крещены «гертрудами».

Комфортабельность положения была непоправимо нарушена вторжением гласности, резким сокращением влияния литературной номенклатуры. Публикации запрещенных ранее книг, реабилитация, казалось бы, навсегда отторгнутых от читателя имен привели лидеров казенной литературы сначала в шоковое, а затем в агрессивное состояние. Но вот прошло три года, и карта литературы необратимо изменилась. Процесс восстановления «белых пятен» был поддержан процессом объединения «двух» литератур — метрополии и русского зарубежья. Происходит возрождение ценностных литературных критериев.

Прозу Ан. Иванова и П. Проскурина Вл. Новиков (в «Диалоге» «ЛГ») квалифицировал ниже уровня массовой культуры. Тем не менее и сегодня эти произведения находят своих защитников, хотя былая комплиментарность прикрыта видимостью объективизма: «Проза А. Иванова и П. Проскурина действительно признана массовым читателем. Но этот массовый читатель — не посетитель кооперативного ресторана с «девочками», а простой, нравственно здоровый (пусть и интеллектуально средний) русский труженик» («Москва» № 1, 1990).

Не знаю, где и как можно увидеть этого среднестатистического «нравственно здорового (пусть и интеллектуально среднего)» русского человека. Читатель нынче пошел очень даже разборчивый. И чем он нравственно здоровее, тем большего требует. Тиражи журналов «в отсутствие секретарей» поползли вверх так, что типографии забила лихорадка от нехватки бумаги и мощностей.

Но чем дальше, тем больше спрашивают себя критики: а что с литературой? Да и есть ли она — теперешняя, современная, «текущая»? Не «памятники», не блистательные публикации из архивов, не богатства тамиздата и самиздата, а написанное сегодня, с пылу с жару? Не потонул ли и сам интерес к ней в угаре литературных — и не очень литературных сражений?

Не только литература, но и вся жизнь наша сегодня проходит как бы в присутствии Солженицына. И рядом с публикациями «Архипелага ГУЛАГа» и «Крохоток», «Августа четырнадцатого» и «В круге первом», публикациями, которыми деятельно заняты журналы,— многое из «злободневного» и «текущего» обретает свои подлинные, отнюдь не великие масштабы. Проза Солженицына мощно поднимает уровень мышления в обществе. Заново «пройти» через Солженицына, перечитать его не за ночь-две, как бывало, а не торопясь и серьезно должны все мы. А для литературного процесса такое соседство — особенно строгое испытание.

В присутствии Солженицына — какие мы? Чем заняты, чем озабочены?

Журнал «Молодая гвардия», например, в тот момент, когда происходит тектонический сдвиг в сознании общества, отличается завидным постоянством своих пристрастий. Там опять В. Пикуль. Бульварный (авторское определение) роман «Ступай и не греши», посвященный любовным приключениям крещеной еврейки Ольги Палем. Проза Пикуля для критика добыча чрезвычайно легкая, потому ограничусь цитатой: «Мне нравится, что ты ревнуешь,— сказал он, целуя ее в пупок через платье...»

«Москва» печатает прозу Ст. Куняева. Автор стремится записать свидетельства очевидцев и участников трагической русской истории. «Мы всего-то два месяца под немцем были,— вспоминает одна из «раскулаченных», Дарья Васильевна.— Велели нам старосту выбрать. Ну, мы выбрали прежнего председателя... Он мужик умный, на Соловках побывал. И народ не давал обижать. А наши пришли: «Кто был старостой?» — и забрали. Так и не вернулся». Она же (правда, автор путается в имени — теперь уже Марья Васильевна) с грустью говорит и об отечественных истоках террора: «Марья Васильевна, а я помню, на том склоне до войны еще какие-то развалины стояли.

— Там имение было с еловыми аллеями. Сожгли в революцию.

— А зачем сожгли?

— Да чтоб помещику не досталось...»

Многое узнаешь и о самом авторе. Например, то, что в Европу он поехал ради любимой жены. «Я не особенно жаждал поглядеть на ее (Европы.— Н. И.) святые камни». Но и там не на святых, правда, камнях, а в продуктовом магазине, он остается верным себе — вслух читает Блока, дабы перебить женские восторги по поводу деликатесов. «А завтра утром мы переезжаем в Австрию. Вот где я натерплюсь»,— жалуется турист-мученик. И точно: «После лицезрения австрийских витрин, магазинов мне плохо, как после тяжелой пьянки». Отчего? Оттого что до боли сердечной жаль «нищую Россию», что хочется и жизнь своих граждан увидеть наконец не столь невыносимо бедной? Да нет, вывод автора совершенно противоположный. Оказывается, «все богатства мира — машины, колбасы, магнитофоны, костюмы, вина — все брошено для того, чтобы вытеснить своей сверкающей массой из человека его маленькую прозрачную душу... красота хищная, бездумная, доступная всем».

Рассказы Куняева посягают на жанр авторской прозы, жанр, в котором так свободно мыслит Солженицын. Опубликованные «Крохотки» Солженицына, да и все его искусство начинается, по верному замечанию французского слависта Жоржа Нива, «с бунта против идеологического слова». В рассказах Куняева о «загранице» — установка на слово прежде всего усиленно, многократно идеологизированное, слово с предвзятой идеологической установкой. Мол, мы нищие, зато духовные, а они богатые, зато бездуховные. Много мы слышали подобных умозаключений, но ведь авторы их в своем самодовольстве забывают спросить сам народ: а нравится ли ему эта голодная, зато очень духовная (особенно где-нибудь в районном городке) жизнь?

Признаюсь сразу: рассуждать о смене литературных жанров, об изменениях в языке и стиле, может быть, сегодня не совсем ловко. Уж больно тяжел момент. Что впереди? Историческая катастрофа или уверенное движение к демократической России? «Направо пойдешь... налево пойдешь... прямо пойдешь...» — по сказке-то везде выпадает голову сложить.

Литературе — до литературы ли?

Над родимой землей, над Рассеею,—
будет этому край или нет? —
лишь затянут: «А мы просо
сеяли...»,
«А мы вытопчем!» — грянут в ответ...
Или мало тут выжжено дочерна
да погублено жизни самой?
Как ты, дитятко, Родина, доченька,
еще веришь нам, Боже ты мой?!

(Галина Умывакина. «Русские вопросы».)

## ИДЕОЛОГИЯ ЯЗЫКА И ЯЗЫК ИДЕОЛОГИИ

Человек идеологизированный — так определил Фазиль Искандер того, кто «отдает идеологии тайну своей жизни, свою истинную ценность, свою нравственную свободу, свою личность. За это в будущем ему обещан вход в земной рай, а в настоящем — пустотелая легкость безответственности» («Огонек» № 11, 1990).

Крушение идеологии казарменного социализма привело не только к высвобождению духовности, процессам становления наконец гражданского общества в нашей стране. Результатом этого высвобождения стал и выход на поверхность тех сил, которые находились ранее под давлением официозной идеологии, включавшей догмат «интернационализма».

В тот момент, когда казарменная литература почувствовала, что «лед тронулся» и продолжать делать ставку только на официозную идеологию становится опасным, она нашла новое убежище: «патриотизм».

К истинному патриотизму, настоящей любви к своей родной земле, ее народу он имеет самое косвенное отношение.

От термина «некрофилия», с употреблением которого так неловко поспешили, идеологи социал-«патриотизма» перешли к другому: «русофобия».

В одном из «Писем», направленных в Верховный Совет СССР, Верховный Совет РСФСР, ЦК КПСС, прямо утверждалось, что соотношение «патриотических» периодических изданий на русском

языке и тех, кто на русском языке «проповедует русофобию, оскорбляет национальное достоинство русского народа»,— 1,5 млн. к 60 млн. Оставалось спросить: откуда же взята эта малая цифра, 1,5 млн.? Или же «патриоты» не считают достаточно «патриотичным» периодическим изданием, например, газету «Советская Россия» (10 млн.)? А «Правда», «Московская правда», «Ленинское знамя» — я уж не говорю о некоторых литературных журналах и газетах?

Но не о явно подтасованных подсчетах и цифрах я веду речь. Показательна сама т е н д е н ц и я подмены литературы политикой.

До процесса ли тут!

Вчитаемся в «переополосные» стихи В. Гончарова, одного из постоянных авторов «Литературной России»:

Красиво —
Общий европейский дом!
Но что мы будем делать
В нем потом?
. . . . . . . . . . . . . .
...над Отчизной
Скоро сотню лет,
За нос таская,
Тешится лукавый.
Без тишины,
Без Бога,
Без идей
Нам ничего хорошего
Не снится.

Оставляю в стороне художественные достоинства этой «поэзии». Идея выражена прямо, без затей: не мы виноваты, а «темные силы».

Поисками новых «врагов народа», новых «врагов нации» занялся секретариат СП РСФСР. Нагнетание истерии заставило даже первого секретаря правления МО СП РСФСР Ал. Михайлова публично отмежеваться от «патриотов», присвоивших себе право говорить от имени «писателей России».

Под политическим «Письмом писателей России», исполненным наменов и оскорблений типа «широко финансируемая и технически оснащенная антирусская кампания, что развернута в средствах массовой информации СССР», «лжеинтернационалисты», «пример крупномасштабной провокации... дружные усилия центральной прессы», «представители трех его поколений (русского народа.— **Н. И.**) ...ежедневно, без каких-либо оснований, именуются в прессе «фашистами» и «расистами» (как известно, так именно квалифицируются действия подонков, объявляющих, что они-де говорят от лица всего русского народа),— стоят подписи многих. По мнению корреспондента «Известий», присутствовавшего на пленуме, «происходит постепенное оформление писательской организации в некую политическую структуру». Наиболее открыто мысль о политизации писательской структуры прозвучала в выступлении А. Проханова. «Уже теперь в среде русских писателей возникло это ренессансное движение. Оно зародилось в таких патриотических писательских организациях, как «Товарищество русских художников», «Единство», «Отечество», захватило широкие круги культуры, вылилось в рабочую, научно-техническую, армейскую среду. Это движение получило название «Объединенный Совет России», или «Народное согласие», возникнув в недрах гуманитарных кругов, вышло на широкий форум, приняло участие в предвыборной борьбе, в предвыборных р и с т а л и щ а х, в предвыборных б а т а л и я х» (разрядка здесь и далее моя.— **Н. И.**). Обращаю внимание на армейскую лексику А. Проханова. На идеологическом языке (или скорее, идеологии языка) его и его единомышленников я еще остановлюсь.

А теперь вернемся к стихам В. Гончарова. В газете, их опубликовавшей, помещена на соседней странице статья Э. Володина «Новая Россия в меняющемся мире». Рядом с откровениями о том, что «без Бога... нам ничего хорошего не снится», о том, что «над Отчизной скоро сотню лет... тешится лукавый», читаем другое откровение: «Горько и тяжко оттого, что нам выпало тяжкое бремя причастности к разрушению великой державы, какой является Союз республик, и сверхдержавы, бывшей центром того, что называется социализмом» («Литературная Россия» № 4, 1990).

Листаю дальше тот же номер газеты. В рубрике «Из нашей почты» помещены два письма: одно из них, подписанное М. Тупиковым (уж не псевдоним ли?), читаю: «Я бы еще п о н я л и п р и н я л нападки на социалистический патриотизм». А в другом (подписанном Героем Советского Союза маршалом авиации Пстыго, дважды Героем Советского Союза маршалом авиации Н. М. Скомороховым и полковником в отставке И. М. Шевцовым, автором нехорошо известного пасквиля на интеллигенцию «Тля») как раз содержится призыв утверждать идею социалистического патриотизма, которую не «понял» и не «принял» бы М. Тупиков: «Днепрогэс и Магнитка, восстановленные из руин города и села, целина и освоение космоса и много других величественных и славных свершений, принадлежащих рукам и разуму советских людей... свободных граждан страны социализма».

Так и хочется спросить редакцию, неоднократно выражавшую свою неприязнь к «плюрализму»: с кем вы, мастера культуры? С учителем Тупиковым или литератором Шевцовым? За социализм стиля 30-х годов с его «величественными и славными свершениями» или же вы «принимаете нападки на социалистический патриотизм», более того, подчеркиваете (как у того же Тупикова), что «любовь к социализму, созданному в его феодальном, казарменном виде на нашей Родине,— это, конечно, выдумка»?



Но наиболее несообразным выглядит с о ч е т а н и е церковно-патриархальной лексики с партийной терминологией.

В докладе Н. Шундика на VII Пленуме правления СП РСФСР раз десять употребляется метафора «храм народной души». На все лады варьируются и производные от этого образа: «отвергнем осквернителей этого храма»; «в потемках дорогу к храму не отыскать»; «вчера жрецы вульгарного социологизма вламывались в храм народной души в своих ложнокрасных сутанах». Откуда взялись католические одежды на непонятно из сфер какой религии появившихся «жрецах», Шундика не волнует. Но вчитаемся дальше в эклектический текст, вызвавший аплодисменты правления СП РСФСР: «Да, они (жрецы в сутанах.— **Н. И.**) спешат ворваться в этот храм, чтобы, как прежде, занять свое место на амвоне в качестве главенствующего проповедника». Чем же можно, по представлению Шундика, победить зловещую помесь жрецов в сутанах? «Победить этот вирус (еще один образ.— **Н. И.**) можно только в одном случае: если точно направить на него (что бы вы думали? Нипочем не догадаетесь.— **Н. И.**) живой свет диалектики». Выкликая «мы за социализм», Шундик освящает «храм народной души» партийной клятвой: «мы, российские писатели, в большинстве своем остаемся верными Октябрю... мы, российские писатели, считаем совершенно необходимым создание Российской коммунистической партии (РКП)». А дальше следует полный идейно-лексический китч: «И ей, обновленной, под силу найти дорогу к Храму народной души и сделать народные чаяния» — чем бы вы думали? — «своей молитвой»... А речь избранного Президента СССР заплутавший в религиозно-партийной терминологии оратор тоже называет «в сущности... молитвой в Храме народной души».

Отвечая на анкету журнала «Иностранная литература», известный французский публицист К. Кароль справедливо заметил: «Все как будто ссылаются на социализм... а в то же время совершенно ясно, что у части печатающихся весьма своеобразное представление о социалистических ценностях... Чтобы убедиться в этом, достаточно читать «Наш современник», «Молодую гвардию» или «Москву». Там говорят о социализме, но, по сути, это — возрождение великорусского, славянофильского течения»... («ИЛ» № 7, 1989).

К. Каролю не нравится, что «в произведениях с ярко выраженной публицистичностью продолжает существовать эзопов язык». Присоединяюсь к этому мнению. Думаю, что гораздо честнее было бы сегодня не вуалировать свои идеи и амбиции, а выражать их прямо и непосредственно — так, скажем, как это делает заместитель главного редактора «Литературной России» Ю. Лощиц, открывая новогодний номер газеты: «Россия так часто скучала по власти, которую ей желалось бы назвать родной, родненькой. Своей» (подчеркнуто Ю. Лощицем.— **Н. И.**). Обходится же Ю. Лощиц без эвфемизмов, без «эзопова языка»!

## О «РОДНЕНЬКОЙ ВЛАСТИ»

печется в том же номере и А. Проханов («Трагедия централизма»). Под его апокалипсическим пером «трагедия централизма» (расшифрую: на самом деле с очевидностью имеется в виду крушение административно-командной централистской власти партаппарата, ибо другого «централизма» за последние семь десятилетий у нас просто не было) приобретает поистине катастрофический характер: «Была предпринята и успешно осуществлена атака на централистские структуры... Сегодня эти структуры сломаны, и мы превращаемся в груды обломков, где хребты трутся о пустыни, а по равнинам расползаются пропасти. «Слом командно-административной системы» на практике привел к разрушению экономики, сделав ее абсолютно неуправляемой...»

В тот исторический момент, когда А. Проханов наконец осознал, что советские войска неминуемо выйдут из Афганистана, он с присущей ему эластичностью выступил чуть ли не с удивлением — мол, черт попутал с «Деревом в центре Кабула». Но прошел год с небольшим, ситуация к началу 1990-го стала неустойчивой, и опять перед изумленным читателем возник Проханов прежний. «подставляем свои бритые (? — **Н. И.**) беззащитные шеи», «Армия сегодня истребляется, как колонны в афганских ущельях», «важнейшие централистские структуры, сгорающие, как бикфордов шнур, превращаемые в длинные, от океана до океана, прожилки пепла». А главное, что особенно ущемляет имперские амбиции,— это то, что, по Проханову, «разрушена в одночасье вся геополитическая архитектура Восточной Европы, создавая которую страна заплатила громадную цену...» Итак, разрушение унизительной Берлинской стены, освобождение Румынии из-под кровавой диктатуры, установление демократии в Польше и Чехословакии — все это однозначно рассматривается (обойдемся без

эзопова языка) как крах империи, да еще к тому же и созданной, оказывается... исключительно русскими: «Политическая карта Европы меняет цвета и конфигурации, а кости русских пехотинцев шевелятся в своих могилах». Советское намеренно отождествляется с русским.

Получается, что не против фашизма воевал народ, не за свою независимость, а за распространение тоталитаризма, насаждение в странах Восточной Европы угодных режимов,— в общем, за удобную для СССР «геополитическую архитектуру Восточной Европы». Что пехотинцы (среди которых, кстати, были и казахи, и узбеки, и грузины, и евреи, и татары...) не освобождали, а завоевывали. И «заплатили громадную цену»! Что уж говорить о каком-либо стремлении республик СССР к суверенитету, если свободные выборы в Венгрии, например, вызывают у Проханова столь неадекватную реакцию. «Исчезает наша имперская политика в восточной части континента... Контраст с прошлым очень силен,— замечает политолог М. Павлова-Сильванская,— особенно для тех, кто привык считать, что восточноевропейские страны и народы должны послушно следовать за нами гуськом... Прежний идиллический образ «социалистического лагеря» не предусматривал места ни для противоречий, ни для самостоятельности соседних государств. Нам же пропаганда отводила в этом прекрасном мире-мираже роль первопроходца, учителя и арбитра» («За рубежом» № 13, 1990).

Да, имперское мышление испытывает тяжкие минуты. Прорывается более чем неприязнь к новому политическому мышлению, к окончательному отказу от «доктрины Брежнева», от вмешательства в дела других стран. Тоска по утрате сильной сверхдержавной власти плюс ощущение «колебаний» внутри страны (статья А. Проханова появилась накануне изменений в политической системе СССР, накануне февральского Пленума ЦК, накануне многотысячных митингов с требованием отказа от шестой статьи Конституции, накануне внеочередного Съезда народных депутатов) заставили Проханова, пользуясь боксерским термином, «раскрыться», забыть об осторожности и откровенно сформулировать тотальное неприятие перемен.

«Сентиментальная теория «наш общий дом»,— пишет он,— приведет к крушению восточноевропейских компартий, смене государственности, неизбежному объединению Германии» (вот тут-то и понадобились Проханову «кости русских пехотинцев»).

«Философия нового мышления» (иронически-пренебрежительные кавычки.— Н. И.), «примат общечеловеческих ценностей над классовыми» на деле обернулись пренебрежением интересов социалистического государства...»

Ничего принципиально нового прохановская аксиома в известную сталинскую схему не вносит — лишь опять пытается реанимировать «классовый подход» и сугубо пренебрежительное отношение к судьбе человека, к судьбе личности. Риторичность вопроса уже никого не введет в заблуждение. «Откажемся от иррациональной, уже бесполезной любви к государству ради индивидуального спасения и блага, ради «маленького человечка» (опять это уничижение, эти пренебрежительные по отношению ко всяким сентименталистам кавычки.— Н. И.), который есть центр и вершина вселенной? Или в который уж раз презрим себя, нашу малую, смертную жизнь ради могущественного, пребывающего в веках государства?» Самой «страшной, немыслимой для русского сознания бедой» Проханов полагает такую ситуацию, когда «расколется государство», а недавние «братья» кинутся в свои «национальные шлюпки». Позвольте спросить: а для эстонского сознания? для украинского, белорусского, грузинского? Нет, приоритет русского сознания для Проханова безусловен. Остальные же не более чем материал, сырье для русской государственности.

«Нет такого соседа, перед которым бы мы не были виноваты»,— заметил Солженицын, именем которого пытаются манипулировать для отстаивания глубоко чуждых писателю идей государственного национализма. «Странный националист,— иронически комментирует такой подход Жорж Нива,— который требует ухода с нерусских земель, отступления на самую суровую и неблагодарную часть национальной территории, отказа от всякого империализма, всенародного раскаяния за грехи, совершенные против других народов!»

Для многонационального общества стала очевидной насущнейшая необходимость создания конфедерации на равноправных началах. Необходимость решения судеб крымско-татарского, немецкого, месхетинского народов. Решения конфликта между Азербайджаном и Арменией. Проханов же пишет о «шлюпках» после Сумгаита и Баку, после Сухуми и Ферганы, Душанбе и Самарканда. После пролитой в межнациональных столкновениях крови, сотен жертв. И все это объясняется «бедой для русского сознания». Но Проханов идет в своих утопически-апокалипсических картинах еще дальше: призывая резко замедлить темпы, «пойти на потерю социального времени», торжественно заключает: «Царства создаются столетиями».

Слово — «царство» — наконец произнесено. И вот уже в № 11 той же газеты печатается статья А. Фоменко «Притязания и реальности. Заметки на «имперскую» тему», где нам предлагается отбросить как ложный стыд перед словом «империя». «Давно пора перестать взрослым людям использовать слово «империя» в качестве ругательного,— призывает автор.— Империя — многонациональное централизованное государство,



достаточно сильное и благоустроенное... Российская империя, например, отличалась отсутствием дискриминации...»

А. Фоменко и А. Проханов с их ностальгией по словам «империя» и «царство», с попыткой реабилитации этих понятий никак не корреспондируют с Шундиком, чей доклад был одобрен правлением, в том числе и секретарем СП РСФСР Прохановым. Вот что сказал Шундик на VII пленуме по поводу «империи»: «Есть люди, которые свое Отечество именуют не иначе, как империей... В этом заложена самая злонамеренная ложь, призванная взорвать наше государство... и размышления насчет какой-то классической империи, теперь единственной в мире... насколько беспочвенны, настолько и злонамеренны и очень обидны для русского народа». И дальше: «Нет у нас имперской философии, имперского мышления».

Но как же нет, уважаемый оратор! Или же вы не читаете, как секретарь СП РСФСР, свою собственную газету, только что, буквально к пленуму, напечатавшую обширное сочинение Фоменко на имперскую тему? Фоменко освящает не только *понятие* «империя», но и *дело*. Так, вместо государственных обозначений — Литва, Латвия или Эстония — он употребляет прямо противоположную терминологию: «И от разговоров о «советской агрессии» в Прибалтике законность самого возникновения балтийских государств — путем отчуждения территории Балтийского Поморья от России — не станет менее сомнительной» (разрядка моя.— Н. И.). Вот опять — слово найдено. Балтийское Поморье, входящее в состав Российской империи. И все проблемы разом снимаются. Что же касается национальных требований, «живых цепочек» и тому подобных выступлений народов Латвии, Литвы, Эстонии, то, по мысли последователя и ученика Проханова, «уличные... толпы, как обычно, выполняют роль статистов». Тем более что «двадцатилетний опыт межвоенной «самостоятельности» (опять эти кавычки.— Н. И.) не внушает особых надежд».

Можно ли вообразить, какой тяжкий урон могут нанести безответственные словоизвержения решению сложнейших межнациональных проблем. Какую вызовут волну неприятия, негативной реакции — унизительной оценкой национальной истории, намеренным искажением фактов, игнорированием многотысячных репрессий. Я уж не говорю об элементарном — об уважении к национальному чувству. Великодержавная спесь способна вызвать только одно: ненависть. И словно нарочно провоцируется эта ненависть сегодня, чтобы потом, зацепившись за какое-нибудь словцо, размахивать лозунгом «русофобии». Сюда же, к новому союзу «государственников», никакого отношения к подлинным тревогам и проблемам русского народа не имеющему, а лишь использующему псевдонациональную терминологию, примыкает и Нина Андреева. Происходит смыкание имперско-великодержавных амбиций с партократическими,— при этом с полным неприятием нового мышления, приоритета общечеловеческих ценностей, отказа от политики насилия. «...Флагманский штурман Яковлев проложил курс прямиком в болото капитулянтства и реставрации капитализма,— заявляет Н. Андреева, развивая метафору Ю. Бондарева («пророчески ныне звучат слова Ю. Бондарева, сказанные на XIX партконференции...»),—...Второй пилот союзного лайнера — Шеварднадзе — во имя приоритета общечеловеческих ценностей давно отключил радиомаяки международной пролетарской солидарности. Уверовав в непогрешимость нового политического мышления, командир и первый пилот корабля (я думаю, этот «эзопов» намек ясен.— Н. И.) то и дело упускает из рук штурвал управления самолетом, играет на популярность, продолжая надеяться, что его кривая куда-нибудь вывезет. Что же желать почти тремстам миллионам пассажиров советского государственного корабля? Здравый смысл подсказывает: как можно скорее сменить негодный экипаж, привлечь к ответу всех горе-навигаторов... К сожалению, февральский Пленум ЦК КПСС не смог выполнить свой долг перед партией и народом — принять отставку обанкротившейся правооппортунистической группы Горбачева — Яковлева — Шеварднадзе. Думаю, что пришла пора воплотить это все (? — Н. И.) в жизнь» (из выступления Н. Андреевой на вечере, организованном клубом депутатов и избирателей «Россия» во Дворце спорта «Крылья советов» в Москве 13 февраля.— «Атмода», 16 марта 1990 г.). А закончила свою речь Н. Андреева серией призывов к единению: «Да здравствует единение патриотических и социалистических сил страны! Да здравствует нерушимое единство партии и народа! Родина или смерть! На том стоим и стоять будем! Разве мы с вами не русские?»

Итак, главный вопрос — о власти. О родненькой, «социал-патриотической» или национал-социалистической. Власть же демократическая союз «государственников» совершенно не устраивает (могу привести для примера несколько заметок из той же «Литературной России» № 11 за 1990 год, где задним числом, уже после выборов, всячески порицается предвыборная деятельность избирателей, поддерживающих «Демократическую Россию». Хочу поделиться и своими личными впечатлениями: в дни, предшествовавшие выборам, по проспекту Мира, где я живу, медленно ездил автомобиль с мегафоном, из которого доносились громогласные здравицы в честь Куняева и Глазунова. Прямо-таки в стиле столь неприемлемых для наших неопочвенников американских выборов!). А так как поляризация сил неоконсерватизма и демократии достиг-

ла предела, то в этих условиях произошел лингвистический конфуз — откровенный возврат к сталинистской терминологии. То, что Проханов выразил столь витиевато, затянуто и метафорично, Андреева уложила в два абзаца прямой, не «эзоповой» речи.

А что же литература?

Способна ли она в столь политизированное время, в условиях, будем откровенны, нарастающего политического противостояния, увлечь читателя чем-либо более сильным? Конкурентоспособна ли она сегодня рядом с камерой ТВ, установленной, скажем, на Съезде народных депутатов, который многие воспринимают как самый увлекательный в жизни спектакль, «тусовку» с головокружительными поворотами сюжета и полнокровными действующими лицами? Или все силы литературы, вся ее современная энергия уходят в противоборство?

Понять происходящее сегодня поможет «ближняя история».

В журнале «Москва» (№№ 1—3 1990) обнародован один прелюбопытнейший документ — магнитофонная запись дискуссии «Классика и мы», состоявшейся 21 декабря 1977 года (день рождения Сталина — случайное ли совпадение, нет ли, знают Бог да устроители). «Дискуссия носила бурный характер,— отмечает в своем выступлении редакция.— Вопросы, которые подымались ораторами, и поныне не только не утратили своей остроты и злободневности... но зазвучали еще более остро».

Я была тогда в зале и очень хорошо помню атмосферу собрания — не просто «бурную», а накаленную.

Не раз за последние годы я вспоминала это событие, предвозвестившее многие болезненные очаги современной литературной смуты.

## «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА УЖЕ ИДЕТ...»

Во избежание всяческих кривотолков хочу сказать, что предмет дискуссии я считала и продолжаю считать чрезвычайно важным. И актуальным. В ноябрьской книжке «Иностранной литературы» напечатана статья Вяч. Вс. Иванова «Классика глазами авангарда», напомнившего нам об указанном знаменитым Клодом Леви-Строссом различии между «горячими» и «холодными» культурами: «горячие» помнят свою историю и стараются ее не повторять,— «холодная» же культура (как многие традиционные восточные) «стремится воспроизвести уже готовый текст... по возможности в неизменном виде». «Горячая» культура вовлекает классику в эстетическую игру, используя пародию, стилизацию, гротеск. Она не порывает с прошлым — прошлое живо для нее. «Холодная» — осуждает такое панибратство и благоговейно репродуцирует классику.

Перечитывая материалы достопамятной дискуссии, я условно разделила бы ее участников на адептов «горячей» и «холодной» культур. Мне, признаюсь, ближе работа «горячей» культуры. Но в том-то и заключается парадокс: для нормальной жизни «горячей» культуры необходима стойкость «холодных» — иначе некого будет «вовлекать».

Поэтому заранее хочу оговорить свою симпатию ко всему из того высказанного тогда в ЦДЛ, что основывалось *на позициях культуры*. Роднянская и Золотусский были совершенно правы в своем возмущении *недостаточностью* публикаций классики, ее вульгарно-социологическим истолкованием.

Председательствовал Е. Сидоров.

Сначала он надеялся на соблюдение приличий и пытался успокоить зал, не раз впадавший в состояние нервного шока. Шум, крики, аплодисменты — дабы согнать оратора,— со всеми этими методами, столь привычными по сегодняшним жарким схваткам, эвфемистически называемым дебатами, я познакомилась именно на этом собрании.

Доклад делал П. Палиевский. Во вполне точные и верные замечания по поводу классики («не столько мы интерпретируем классику... сколько классика интерпретирует нас») он вплел резко неприязненную нить: тезис о «представителях левых авангардных течений, пытавшихся занять руководящее положение в культуре, в нашей стране». Этот тезис и стал главным, отправным в концепции Палиевского. Ради него, как стало ясно потом, он и вышел на трибуну.

Авангарду 20-х, от которого Палиевский перекинул мостик к современным режиссерам, была посвящена основная часть затянувшегося выступления: «Принцип умелого захвата общественного мнения», «умелое отношение с властью», «политина кнута и пряника по отношению к государству, которую очень хитро и умело применил авангард... застала эти власти (становление тоталитарного режима в нашей стране.— **Н. И.**) совершенно врасплох». Авангарду, внедрявшему в сознание масс «теорию формального метода», Палиевский противопоставил «исторический поворот, который произошел у нас после двадцатых годов». В чем же этот поворот состоял? Да еще во время «великого перелома»? В благословенные, оказывается, с точки



зрения культуры тридцатые годы «классическая культура была двинута в толщу народа, и очень серьезным образом оплодотворилась сама из этой толщи, и позволила действительно создать непреходящие художественные ценности нашему искусству и нашей культуре». Уточню еще раз, что речь идет о границе 20—30-х годов, то есть о том времени, когда вместе с уничтожением крестьянства был нанесен катастрофический, невосполнимый ущерб плодоносящему слою народной культуры, был подорван весь национальный культурный фонд (см. об этом статью К. Мяло «Оборванная нить» — «Новый мир», № 8, 1988). Заявление Палиевского о том, что в 30-е и 40-е годы «у нас были созданы лучшие художественные произведения в литературе», что «писать — это прежде всего, это важнее, чем печататься», вызвало в зале смех и шум.

Но, не обращая на эти досадные помехи никакого внимания, более того — даже, по-моему, довольный ими, оратор и далее упорно подчеркивал «сращение классической культуры с культурой народной в 30-е — 40-е годы».

После Палиевского трибуна была предоставлена Ст. Куняеву, зачитавшему уже многократно с тех пор перепечатанную статью об Э. Багрицком. Можно как угодно относиться к поэзии революционного романтизма (мне, например, она абсолютно чужда — с ее апологией гражданской войны и идеей мировой революции). Но не ради анализа содержания поэзии Багрицкого вышел Куняев. Главное — *разоблачить* «ущемленность своим происхождением» (разумеется, национальным), «преодоление своих комплексов» (опять-таки национальных). Вылущить из стихов пропаганду «жестокости». Доказать «полный разлад с русской поэзией», противопоставив Багрицкого Есенину. (О какой-либо точности своих историко-литературных штудий и параллелей Куняев не задумывался ни тогда, ни потом, ибо ни «Пугачев» Есенина, ни «Двенадцать» Блока им, естественно, и не помянуты — иначе бы вся его «концепция» противопоставления гармонического национально-русского — разрушительно-иудейскому тут же бы рухнула.)

Е. Сидоров пытался соблюсти хоть какой-нибудь порядок — но и Палиевский, и Куняев (затем Ю. Селезнев, В. Кожинов, М. Лобанов) призывы председательствующего проигнорировали.

«Е. *Сидоров*. Пожалуйста! Вы говорите долго! 50 минут.

П. *Палиевский*. Еще 10 минут. (Шум в зале). Еще минуту!»

«Е. *Сидоров*. Так. Все! Пять минут... (Шум).

Ст. *Куняев*. Все! Последняя страница! (Шум). Вот последняя страница! И больше не будет».

После двух тщательно подготовленных (повторяю, *прочитанных*) выступлений вышел А. Эфрос. Потрясенный, неподготовленный — и втянутый в спор.

«...Начиная с первого выступления меня начинает что-то трясти, и я не могу не выйти... Вы понимаете, мне кажется, что второе выступление есть прямое продолжение первого выступления. (С места: «Правильно!» Аплодисменты). И если эту линию немножечко не прервать, то третье будет выступление чудовищное.

...Я не знаю, может быть, для вашей аудитории это вещи естественные. Не нужно враждебности! Мы, слава Богу, ее пережили! (Аплодисменты). Ваша воинственность на чем-то замешена не очень хорошем».

Тщетно пытался Эфрос вернуть дискуссию к самому ее предмету. «Вот давайте обсудим какие-нибудь спектакли! Давайте поговорим о них!» Отчаянный призыв не был услышан. Удивительно, почему профессиональный режиссер сразу не понял, в каком спектакле его заставили участвовать?

А. Эфрос: «Тут пришла очень интересная записка... «Вы ничего не можете интерпретировать в русской классике. Организуйте свой национальный театр и — валяйте!» (Шум).

Я хочу товарища спросить, *какой* он хочет, чтобы я организовал национальный театр? Я организую. (Шум)».

Тут уже не выдержал Евтушенко. Призвав говорить прямо, а не «зашифровывать», как Палиевский, он сказал: «Никогда не доходило до того, чтобы (в нашей литературе.— **Н. И.**) возвышать свой народ за счет унижения других! Лучшие из славянофилов в России никогда не позволяли себе опускаться до шовинизма! Русская классика устами Короленко высказала свое отвращение... к антисемитизму!» Ответил он и Палиевскому по поводу 30-х годов, обвинив его в «ретроспективном равнодушии» к человеческим судьбам...

После сумбурного, нечеткого выступления И. Роднянской, которая странным образом умудрилась «не заметить» националистической атмосферы у части зала, в том числе и «патриотической» неприязни, направленной, естественно, и против нее, выступления, много раз прерываемого шумом в зале («Ну, вот еще... Две минуты... Я через три минуты кончу! Я кончаю... (Шум)... Я кончаю...»). Ныне покойный Ю. Селезнев сформулировал основной постулат: «Мы вот говорим, что ныне время мирное, что сегодня нужно бы нам объединяться, что сегодня хватит бы нам воевать... Но... сегодня идет война... Здесь есть свои идеологические нейтронные бомбы, свое химическое и свое бактериологическое оружие. И эти микробы, которые проникают к нам, те микробы, которые разрушают наше сознание, эти микробы гораздо более опасны, чем те, которые... против которых мы боремся в открытую... эта третья мировая идеологическая война. И здесь мира не может быть... *эта ми-*

*ровая война должна стать нашей Великой Отечественной войной — за наши души, за нашу совесть, за наше будущее, пока в этой войне мы не победим»*.

Краткое напоминание-рефрен о словах Н. Андреевой: «Родина или смерть! На том стоим и стоять будем! Разве мы с вами не русские?»

Против кого же была объявлена эта «война», с кем призывали еще тринадцать лет тому назад, да и сегодня призывают, воевать *насмерть*?..

...Вслед за Ю. Селезневым В. Кожинову уже оставалось лишь еще и еще раз в завершение всего сюжета зафиксировать в сознании публики самые дорогие для него моменты, разумеется, с пафосом негодующим: «тут сейчас же почему-то закричали — давайте уж говорить... так сказать, называть вещи своими именами, об антисемитизме. Я заранее хочу сказать, что я с презрением отвергаю ту истерику, которая здесь по этому поводу совершилась» (раз!), «не хочу говорить о всех режиссерах, о всех их национальностях» (два!), «мне хочется спросить заранее — кто Татлин: русский или еврей?» (три!).

(С места: «А зачем же это надо?» Выкрики, шум).

Е. *Сидоров*. Вадим Валерьянович!.. Во-первых, никто в этом зале истерики по поводу антисемитизма не поднимал! Этого не было!! (Аплодисменты).

В. *Кожинов*. Нет, было! Нет, было!.. А я просто хочу очистить атмосферу (выкрики) действительно от безобразной истерики (шум)...»

Таким образом, практически все вопросы сего дня были в той памятной дискуссии обозначены. Репертуар их достаточно элементарен и за пределы ксенофобии и этноцентризма не выходит. Это было не только первым массированным идеологическим наступлением группы «неопочвенников». «Пиком» дискуссии было прямое объявление *идеологической войны — не на жизнь, а насмерть*.

Какие же постулаты были сформулированы в течение «дискуссии» 1977 года?

1. Золотой век возрождения русской культуры — это 30—40-е годы, время, когда осуществился синтез патриотического и социалистического направления. В эту пору были созданы произведения классики нового времени.

2. Право на русскую классику имеют только русские. Вторжение в нее инородцев (режиссеров, литературоведов и прочих «интерпретаторов») подлежит бескомпромиссному и принципиальному осуждению. Национальное происхождение есть важнейший аспект идеологической чистоты.

3. Авангардизм в любой его ипостаси (живопись, музыка, театр, литература) глубоко враждебен сути русского искусства. Искусство 30-х (эпохи становления «большого стиля сталинской эпохи», которому в литературе соответствовал соцреализм) уничтожило (с помощью власти) авангардные течения, и совершенно правильно сделало.

Результаты этой «дискуссии» чрезвычайно показательны. Как мудро выразился один из милиционеров, беседовавших со мною в 83-м отделении милиции после известного антисемитского шабаша в ЦДЛ 18 января сего года,— «у вас, интеллигентов, одни эмоции».

## ЗОЛОТОЙ ВЕК

был обозначен в дискуссии не только 30—40-ми годами. Если обратить внимание на упоминания Палиевским оперных постановок, то это будет «Иван Сусанин» Глинки и «Китеж-град» Римского-Корсакова. Смею предположить, что не собственно только музыкальными соображениями руководствовался выступающий (как отнюдь не только судьба театрального искусства взволновала В. Кожинова: недаром во время его обращения к театральным постановкам из публики доносились крики: «Ты же не ходишь в театры!»). Обозначалась историческая линия Державы: нынешние 30—40-е годы — противостояние инородцам в семнадцатом веке и установление монархии Романовых (Сусанин) — сопротивление национальной духовности (Китеж) вражескому насилию.

Историческая матрица была отчетливо национал-утопической.

Позиция эта имела внешне немало привлекательного.

Действительно, масштабы разрушения национальной культуры за шесть (тогда) последних десятилетий были колоссальны.

Действительно, Гумилева (его имя в данном случае было знаком целого ряда запрещенных имен) упорно не допускали до читателя.

Действительно, у нас тогда еще не было полного издания многих русских писателей — например, Достоевского. (Я уж не говорю об эмигрантах.)

*И за возрождение этой культуры надо было бороться всем миром, всем вместе, а не друг с другом.*

Однако не эту цель преследовали те, кто объявлял «войну».

Ведь, как оказалось уже в наши дни, именно либералы вернули читателю Гумилева и Ахматову, бунинские «Окаянные дни» и «Несвоевременные мысли» Горького, письма Короленко, прозу и драматургию Булгакова и Платонова, стихи и воспоминания Г. Иванова и В. Ходасевича, и многое, многое другое.



Но это не только не «примирило» неопочвенников с либералами — напротив.

Казалось бы, столько точек для совпадения! Столько возможностей для объединения усилий! Казалось бы, что нам делить?

Но размежевания это не только не сняло, а даже обострило.

В чем же причина?

Причина, как мне представляется, в типе сознания, общественном идеале и, соответственно, пути приближения к нему.

Утопический тип сознания, представленный неопочвенниками, видит Золотой Век в былой державности и государственности Российской империи, подчиняет ей интересы личности («права человека» заключает в иронические кавычки И. Шафаревич, о «маленьком человечке» пренебрежительно пишет А. Проханов). На новом этапе, на новом витке национальная утопия неопочвенников объединяется с технократическим утопизмом Проханова, а «истинные патриоты» (термин В. Кожинова) с истинными борцами за казарменно-социалистические принципы (Н. Андреева). «Спасенье» неопочвенники видят в упорном утопическом отстаивании мессианской, богоизбранной Родины — России — перед всеми остальными народами мира. Переживаемый политический, экономический кризис трактуется как путь

Всей Вселенной во спасенье,
В взысканье града света.

(Э. Балашов. «Русь» — «Москва», № 1, 1990.)

Романтические пророчества о спасительной роли России-Мессии противопоставляются реалистическому взгляду на тяжелейшее положение страны, катастрофически отстающей в своем развитии:

По огненным валам шутя (?! — Н. И.)
Пройдешь мирам на удивленье.
И ринутся тебе вослед
Мильоны звезд и тьмы планет
(? — Н. И.),
Узревших в радости спасенье.
(Тот же автор. «Спасенье»).

Что же для этого спасенья заблудших «миров», «планет» и даже «звезд» (все — в темноте, только от нас — свет!) надо совершить?

Во-первых, отказаться от демократии:

На долы пал туман народов,
Все застилающий туман.
Стяжает славу огородов
Демократический бурьян.

Та же мысль продолжена в другом стихотворении:

И там, на пламенной реке,
Где толпы мира (Опять.— Н. И.)
ищут броду,
Ты сбросишь с плеч свою свободу,
К законной припадешь руке.

Помните Ю. Лощица? К «своей» власти, к «родненькой»!

Для либерально-демократического сознания ориентированная как в будущее, так и в прошлое утопия полностью исчерпала себя.

Уже «в конце периода половинчатой либерализации Хрущева,— отмечает немецкий исследователь Г. Гюнтер в статье «Утопия после революции: Утопия и критика утопии в России после 1917 года»,— у критически мыслящей интеллигенции окончательно сформировалась резко антиутопическая позиция».

Самое любопытное, что утопическое сознание, моделирующее Золотой Век в расцвете сталинской власти, а через нее — в историческом прошлом Державы — смыкается с тем, что В. Чаликова во вступительной статье к реферативному сборнику зарубежных работ об утопии обозначила как «извращенную форму утопизма»: «...Настоящее, как оно изображалось в типовом романе 30—50-х годов, и было образом идеального общества, благополучного, нарядного, бесконфликтного». Соцреализм не только не противоречил идеологическому утопизму неопочвенников, но на новом этапе смыкался с ним. Именно здесь, на мой взгляд, и надо искать причину парадоксального, казалось бы, союза «заединщиков» Ан. Иванова, П. Проскурина, Н. Шундика, М. Алексеева с интеллектуалами типа В. Кожинова, И. Шафаревича, П. Палиевского.

## ЗАПРЕТНЫЙ ЖАНР

Если мы обратимся к истории запретов в советской литературе, то выяснится, что наряду с мощным потоком запрещенных произведений под строжайшим идеологическим запретом находился целый жанр — жанр антиутопии.

Удивительно, но факт: множество произведений, опубликованных в самое последнее время, принадлежит именно к этому жанру — «Мы» Е. Замятина и «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» А. Чаянова, «Чевенгур», «Котлован» и «Ювенильное море» А. Платонова, «Собачье сердце» и «Роковые яйца» М. Булгакова, «Стихи о неизвестном солдате» О. Мандельштама и «1984», «Скотный двор» Дж. Оруэлла, «О дивный новый мир» О. Хаксли и «Процесс» Ф. Кафки, «Кролики и удавы» Ф. Искандера и «Остров Крым» В. Аксенова.

Почему же произошло тотальное покушение на жанр?

Потому, что будущее идеологически определялось государством монопольно только как «светлое». Любые другие домыслы на эту тему заранее объявлялись враждебными.

Угрюмый Шигалев в «Бесах», романе, в котором можно найти абсолютно все предвидения того, что с нами случилось в XX веке, с удивлением замечал: «Выходя из безграничной свободы, я заключаю бесконечным деспотизмом».

Через полвека после Достоевского Н. Бердяев в статье «Новое средневековье» (Берлин, 1924) написал: «Утопии оказались гораздо более осуществимыми, чем казалось раньше. И теперь стоит другой вопрос, как избежать окончательного их осуществления...» Бердяев сформулировал главный парадокс утопии. А мы сами сегодня — главный результат попыток ее реализации, как в отдельно взятой стране, так и в других странах, о «потере» которых так печалится имперское сознание.

Для искаженного сознания идеологизированного человека, для сознания людей, переживших все ужасы тоталитарной деспотии, для тех, кто был одновременно и жертвой, и прессом системы, характерен приоритет будущего перед всеми другими временами. Будущего — перед настоящим и прошлым. Прошлое должно восприниматься как «темное», настоящее — лишь как необходимая ступень к будущему. «Мы повернули истории бег»,— опоэтизировал насилие над историей Маяковский. «Клячу истории загоним!» Страшным смыслом наполняются его слова: органическое развитие истории было действительно повернуто чуть ли не вспять; восторжествовала полурабовладельческая, полуфеодальная система, гордо называвшая себя «социалистической». Культ «светлого будущего» был отчетливо утопическим.

Над созданием утопически-эйфорического сознания потрудилась не только официальная идеология, в распоряжении которой были все средства массовой информации, но и сама новорожденная советская литература.

Ради вероятной реализации утопических схем происходило ужесточение условий, в которых люди жили в настоящем. Возник и культ юности — тех, кто и будет жить «в светлом будущем». Уничтожение аристократии, крестьянства и купечества как «консервативных классов» поддерживалось культом пролетариата как класса молодого и, значит, «прогрессивного». Общество буквально гипнотизировалось идеей достижения райского будущего, ради которого «не жалко» было бы ни своей, ни тем более чужой жизни. В процессе борьбы за «светлое будущее», по подсчетам историков, в стране было уничтожено от 40 до 70 миллионов человек. Об этом массовом гипнозе и о неудавшейся попытке «ввести коммунизм прямо к лету» поведал Андрей Платонов в романе «Чевенгур».

В многоголосии романа явственно различима бедняцкая мечта о земном рае: «Организуем фонтаны, землю в сухой год намочим, бабы гусей заведут, будут у всех перо и пух,— цветущее дело!» Эта извечная мечта, соединившись с идеями революции, образовала у жителей города Чевенгура миф о ближайшем радостном будущем. Летом 1922 года, в разоренной гражданской войной стране, герои без тени сомнения заявляют о том, что надо «к новому году поспеть сделать социализм».

В конце концов реализация такой утопии приводит город к голоду, а главный герой, коммунист Дванов, кончает жизнь самоубийством.

Грандиозной антиутопией является и повесть Платонова «Котлован» — оказывается, что рабочие, роющие огромный, все расширяющийся котлован для нового общего дома, где они будут все жить в радости, на самом деле роют себе огромную общую могилу.

Осип Мандельштам и Евгений Замятин в 20-е годы поняли, чем грозит для общества реализация утопии. Как сказал Мандельштам: «Чего добились вы? Блестящего расчета: губ шевелящихся отнять вы не могли». Эти слова можно поставить эпиграфом к великим антиутопиям нашего времени. Но их предупреждения остались неуслышанными — в этом и драма общества, и личная трагедия писателей. Социально-утопический психоз общества перешел в болезнь национальной глухоты, а завершился всенародной немотой.

Русские писатели в 20-е годы имели смелость встать поперек не только самой власти, но и лавины массового психоза. Обращение талантливейших русских писателей к жанру антиутопии свидетельствовало не просто об их литературных пристрастиях, а об отчетливом политическом выборе и сопротивлении утопической идеологии.

Собственно, главным спором нашего века, спором с практическими последствиями стал спор между утопией и антиутопией.

Оказалось, что развитие свободы в обществе состоит в осознании и преодолении утопии — угара тоталитарного романтизма, угара эйфорического сознания, насаждавшегося и дрессируемого средствами массовой информации, «промыванием мозгов» в течение десятилетий.

Тоталитарная власть не только подавляла в человеке человеческое, но и создавала тоталитарного человека. Причем как в консервативном, так и в радикальном варианте.

Попытки реализации утопии были предприняты не только в 20-е годы. В 1961 году Хрущев, разоблачивший «культ Сталина», опять выдвигает лозунг «Сегодняшнее поколение... будет жить при коммунизме» — и даже назначает дату его появления. Радикально настроенная интеллигенция не только не похоронила утопию, но реанимировала ее, сообщила ей новое дыхание. «Я все равно паду на той, на той далекой, на гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной» — за этими строками Б. Окуджавы можно выстроить целый ряд из произведений шестидесятников: «Лонжюмо» А. Вознесенского, «Братская ГЭС» и «Казанский университет» Е. Евтушенко... И вот уже в конце 60-х в противовес утопическому «светлому будущему» критика из «Молодой гвардии» (В. Чалмаев) выдвигает национальную утопию, определенную позже Солженицыным как «мычание тоски по смутно вспомненной национальной идее». И хотя она была «разряжена в компатриотический лоскутный наряд», но была явно неприемлема для «революционных романтиков».



Перестройка тоже началась двойственно: с одной стороны, с попытки взглянуть наконец реальности в лицо, с другой — с явно утопических лозунгов.

Утопическое сознание и сегодня не желает принимать настоящего — и опять выдвигает в качестве идеала либо «светлое будущее», либо «светлое прошлое».

Тем не менее надо признать, что антиутопия — и как литературный жанр, и как способ мышления в самое последнее время явно актуализируется.

Показателен и тот факт, что редакция журнала «Вопросы литературы» в своей «Анкете» (№ 11, 1989) среди прочих сформулировала вопрос: «Ваш вариант антиутопии». Ответы писателей порою крайне полярны.

А. Еременко: «В нашем обществе есть силы, которые ради утверждения своих псевдонациональных претензий готовы на союз с любым новым Сталиным. В последнее время эта тенденция обнажилась откровенно. Мне бы не хотелось, чтобы эти люди пришли к реальной власти... Я не думаю, что возрождение сталинщины возможно на партийной, положим, почве. Но если рецидив возможен, то именно и только на этой, национальной почве... Попытки, умозрительные, предложить какие-то модели на пути к возврату патриархальных отношений при слабой экономической базе обречены на деградацию».

А. Иванченко: «Спасшийся от всех своих преследователей, человек не решается быть свободным даже тогда, когда ему больше ничего не угрожает. Лишь надев наручники, он с облегчением вздыхает и обретает некую мнимую свободу. Это мне кажется особенно важной проблемой сегодня: свобода переживается как дискомфорт».

В. Кондратьев: «В антиутопии наше поколение прожило всю свою жизнь. Не дай Бог прожить так нашим потомкам. К несчастью, мы ничего не могли изменить, потому что, родившись в ней, мы не знали и не могли знать какой-то другой жизни и принимали эту антиутопию как должное».

В. Крупин: «Облить... грязью прошлое не удастся, хотя бы потому, что оно нас спасает. Прошлое, история, учит, что из прошлого надо брать лучшее... Не могла дремучая сиволапотность дать такие взлеты просветленного ума и мудрости, сопряженные с душевной чистотой, какие дала Россия, только чуждое ей сердце может не согласиться со спасительной миссией русской мысли».

М. Кураев: антиутопия — это «книга о вполне реальных учреждениях, в течение многих лет изготавливавших начальников и руководителей жизни. Название этому, увы, далекому от фантастики сочинению — «серая гвардия»... Герой этой антиутопии — преданный кому угодно и чему угодно патриот...».

А. Кушнер: «следует отказаться от насилия над жизнью и человеческой природой, от всех видов утопий».

Е. Попов: «Будущее, которого я не пожелал бы потомкам,— это большая часть нашего прошлого. Различные варианты антиутопий мы наблюдали на протяжении многих лет».

В самих этих высказываниях очевидна поляризация утопического и антиутопического мышления. Но попробуем подойти ближе к самой литературной практике, к смене «репертуара» литературных жанров.

Еще совсем недавно критика засвидетельствовала преобладание «натуральной школы», как бы своеобразное возрождение жанра «физиологического очерка» — в «Смиренном кладбище» и «Стройбате» С. Каледина, например. Многозначительно здесь даже само название — предмет описания. Нарушением всех и всяческих «табу» вместе с «натуральной школой» в литературе («Интердевочки» В. Кунина, «Дикий пляж» В. Москаленко, «Одлян, или Воздух свободы» Л. Габышева... список можно легко продолжить) занялся и кинематограф, при этом наибольшей исследовательской точностью отличался кинематограф документальный. И вдруг некий неожиданный поворот от описательности да прямо на 180 градусов: в сторону условных форм — фантастического смещения, гиперболизации, метафорической сверхнасыщенности. Для чего? Для того чтобы лучше ее, эту обыденность, эту жизнь нашу — узнать, понять. Вступил в новую силу закон остранения действительности — в «Зеркале для героя» Хотиненко, «Городе Зеро» Шахназарова, «Фонтане» Мамина, работах А. Сокурова, в последней работе К. Муратовой «Астенический синдром». В литературе же этот прием фантастического сдвига, остранения реализовался как проекция угрожающих тенденций настоящего — в грозящее их полной реализацией грядущее.

Главный герой повести Д. Гранина «Неизвестный человек», Ильин, занят

той привычной для круга научно-технических работников суетой, которая отключает нравственность («Дружба народов», № 1, 1990).

Борясь за правду, борясь за смещение с поста замминистра, много лет вредящего делу, профессионального интригана, он идет и на низкий поступок: сочиняет анонимку, вступает в сговор с коллегой по работе Усанковым,— дабы «свалить» Клячко. Клячко действительно отвратителен: мало того, что взяточник, антисемит и плут,— именно из-за него КБ Ильина «год за годом латало старую технологию, кидало мелочевку, верняк. Его терпеть не могли, и боялись, и поносили заглазно». Копаться в грязи, конечно же, противно, но чистыми методами Клячко не победишь. «Тут все средства хороши,— сказал Усанков.— Дело-то правое». Однако совершенно неожиданно в этой борьбе против Клячко Ильин отключается: и — видит, с полным ощущением реальности, трех павловских офицеров, с отрешенными лицами шагающих по направлению к Михайловскому замку. «...И тут вдруг он перестал слышать, что говорит Усанков... Произошло это, когда они свернули на Фонтанку, въехали в белую ночь».

Эти офицеры не дают Ильину покоя — и, роясь в пыли архивных документов, с помощью таинственного старичка (совесть к нему пришла, совесть) докапывается до истины: офицеры эти шли в замок для того, чтобы собрать сведения против заговора, в результате которого был удушен законный император Павел I. А среди этой троицы — предок Ильина, вот почему столь знакомым показалось ему его лицо.

Благодаря развертыванию вспять исторического времени Ильин начинает стремительно прозревать — и понимать, что никакая цель не может оправдать подлых средств, что такая «борьба» приведет только к эскалации ненависти. И Ильин начинает вести себя неожиданно — как для Усанкова, так и для Клячко: открыто говорит все, что думает. Теперь он равнодушен к любому «вранью»: « я уже не участник... тараканьих бегов ваших». История, в которой проявилась порядочность человека, преображает душевную структуру Ильина.

Сочетание гиперболизированных деталей нашей действительности с фантастическим сдвигом этой самой действительности — так вкратце можно попытаться определить метод другого ленинградца, Вяч. Рыбакова, в его повести «Не успеть» («Нева», 1989, № 12).

Многодневные очереди — буквально за всем («восемьсот третий так и не пришел»), нехватка продуктов питания; очередной съезд; трансляция ведется непрерывно; взрывная речь Черниченко; чудовищная инфляция (детские творожники по тринадцать восемьдесят). Талоны на поездку в электричке. Разгоряченная толпа выволакивает из кафе на улицу собратьев по союзной республике: «навалились наши вафли жрать!» Старичок со звездой Героя, проходящий мимо, пытается их урезонить: «Не надо! Не надо так грубо, они же отделятся!», на что получает отповедь соотечественников: «Пускай катятся к ерзаной матери!» В общем, как заключает наблюдатель из очереди: «До чего со своей перестройкой страну довели!»

У жителей страны появилась странная болезнь — вдруг начинают возникать чуть ниже лопаток некие сгустки, «винг-эмбрионы», из которых вырастают... крылья. И человек не может с ними совладать: как только они вырастут, он немедленно взлетает и покидает пределы страны... Никакие операции по удалению «винг-эмбрионов» невозможны — человек гибнет.

Реальность, пастозно, смачно выписанная Вяч. Рыбаковым, интересна не тем, как, в каком виде он изображает будущее, интересна она прежде всего тем, что в ней, увы, узнаешь черты нашего настоящего, стремительно накрывающего своей тенью это самое будущее. Тут и Слуцкого вспомнишь:

Будущее, будь каким ни будешь!
Будь каким ни будешь, только будь!

Митинги, демонстранты, лозунги вошли в антиутопию Вяч. Рыбакова не из будущего — они из «сегодня». Но вот и «отсыл» к классической антиутопии: «Куда там Замятину с его номерами вместо имен!.. Имен никто не отменял, но никто ими не интересовался, а номера мы пишем себе сами: за хлебом ты шестьсот восемьдесят второй, а за мармеладом пять тысяч трехсотый, и не дай бог перепутать!» Автор лишь усилил то, что уже существует в реальности, а иногда и не усилил, а просто зафиксировал. «Перекрывая гомон, бородатый поодаль надсаживался, триумфально размахивал рукой — до нас долетали обрывки: «Физическое и нравственное здоровье русского народа идут рука об руку!.. На действенную помощь Кремля, раболепствующего перед инородцами, рассчитывать не приходится!.. Мы вправе спросить Горбачева: где обещанные презервативы? Ты отдал их казахам!.. Убийственный вирус СПИДа, выведенный в тайных лабораториях еще при Лорис-Меликове, которого в действительности звали, как известно, Лейба Меерзон...» Вся эта мешанина из идеологических мифов, тяжкого быта, катастрофического оскудения прилавков обрушилась нынче на нас — Вяч. Рыбаков заставляет нас взглянуть на нее и чуть остраненно, и предупреждающе-аналитически: тот, кто является к его несчастному, не желающему улетать герою как бы спасителем от имени «государства», человек, в свое время производивший обыски и конфисковавший те самые книги, которые сегодня составили честь нашей литературы, не в состоянии ничему помочь и ни от чего предохранить. Он — обманщик.

Практически в антиутопии Вяч. Рыбакова мы имеем дело с критическим анализом и обсуждением существующего порядка вещей. Это, так сказать, социальный трактат о настоящем в виде повести о будущем. В основе фантасмагорического мира повести — взаимоотношения личности и государства. Такое государство не в состоянии обеспечить человеку безопасность и нормальные условия существования — «Раскачиваясь и скрежеща рессорами на песчаных ухабах проселка, государство уехало от меня».

Что же остается человеку, не желающему улетать?

И — просто хотящему дать своей семье сносную жизнь? Без «мечты» о курице?

Безнадежность?

Можно прочитать повесть и так.

Но можно и иначе: сама жизнь спасает людей, накапливает в них какую-то новую, неизвестную еще энергию полета. (Кстати, с этим перекликается и название повести Гранина «Неизвестный человек».) Жизнь умнее всех теорий, надо предоставить наконец возможность ей самой развиваться органически. Об этом — парадоксальный сюжет повести А. Курчаткина «Записки экстремиста (строительство метро в нашем городе)», опубликованной в январской книжке «Знамени».

Произведение А. Курчаткина сочетает в себе антиутопию «технократическую» и «идеологическую». Для главного героя, от лица которого ведется повествование, характерна техническая эйфория: новость о строительстве метро в его городе отдается в нем «яростным желанием действия». Но это желание немедленно воплотить техническую идею в жизнь сталкивается с сопротивлением власти — вчерашний демонстрант («Хватит трамвайных жертв!», «Метро нужно городу немедленно!») запрятан в камеру... Однако демонстрация оказалась тем кристалликом, который вызывает в перенасыщенном растворе бурную реакцию. И вот уже добровольные строители метро («экстремисты») уходят под землю, дабы самим, вне всякой внешней помощи, героически отказавшись от «клейких листочков», выстроить метро и подарить его городу.

Когда же работы — ценою многих жертв и полного разброда в экстремистском Движении — наконец завершены и «экстремисты» поднимаются наверх, к людям, закономерно ожидая благодарности, то их ожидает страшное разочарование: за истекшее время был изобретен и внедрен совершенно безопасный, новый вид транспорта — летающие «пеналы»... Черепаха обогнала Ахиллеса, такая неповоротливая жизнь опередила тех, кто гордо назвал себя Движением и за него даже пострадал, принеся в жертву самого себя, свою судьбу и судьбу своих близких.

Внутри внешнего сюжета, как желток в яйце, умещается внутренний. Внутри своей антиутопии Курчаткин умещает судьбу автономной утопии энтузиастов Движения — от ее радостного зарождения до «изнаночной» реализации. «Мы запасались продовольствием, медикаментами и впрок, на всякий случай, решили создать под землей свое, автономное сельскохозяйственное производство... Мы были настоящим натуральным хозяйством». Но уже через какое-то время равенство энтузиастов разрушается, начинается жестокая борьба за власть. Что происходит с самим Движением, намеренно изолирующим себя от «отсталой» действительности? Какие процессы развиваются в закрытом от «чужих» глаз, от «оппонентов», от «врагов» идеологическом пространстве? Там уже появляются и свой «порядок», и свои «бдительные» стражи, и своя внутренняя партия, которая сама начинает устанавливать, что нужно ее «народу» (то есть Движению в целом). И вот уже звучат явно проецированные автором из «Бесов» слова одного из руководителей Движения о крепко связывающей «крови» и о «жертве», а самому герою-философу приходится привести в исполнение приговор, иначе он сам станет новой жертвой так прогрессивно народившейся идеологии.

Чем же, спросят меня, эсхатологические пророчества А. Проханова отличаются от антиутопий А. Кабакова, А. Курчаткина, Вяч. Рыбакова?

«Записки экстремиста» предупреждают о смертельной опасности нового витка идеологизации. А эсхатология национальной выделки А. Проханова гнет в совершенно противоположную сторону. Грядущее спасение и он, и авторы цитированных выше стихов, из «Литературной России» и «Москвы», и Н. Андреева с Н. Шундиком видят только в эскалации идеологии.

Какой?

«Братья и сестры!» — так начинают свое обращение участники пленума правления СП РСФСР. Недвусмысленно ясен источник: именно этими словами и начал свое обращение «вождь всех народов» по радио 3 июля 1941 года.

Тем, кто так настойчиво пытается оживить в сознании сталинскую лексику, декларировать родственные стилевые отношения со столь «благотворным», по их понятиям, для развития литературы тоталитарным временем 30—40-х, напомню эпизод из «Архипелага».

Мужики в селе Рязанской области собрались слушать речь Сталина. «И как только доселе железный и такой неумолимый к русским крестьянским слезам сблажил растерянный и полуплачущий батька: «Братья и сестры!..» — один мужик ответил черной бумажной глотке:

— А-а-а, б...дь, а вот не хотел? — и показал репродуктору излюбленный грубый русский жест, когда секут руку по локоть и ею покачивают. И загоготали мужики. Если б по всем селам, да всех очевидцев спросить,— десять тысяч мы таких бы случаев узнали, еще и похлеще».

Грубо, наморщатся авторы торжественного обращения правления СП РСФСР. Очень грубо...

Но ведь не выдумала же я эту историческую аналогию.

Герой — автор повести Искандера о детстве вспоминает один страшный сон. Похороны Сталина. За катафалком идут музыканты. И вдруг покойник, медленно приподнимаясь из гроба, начинает дирижировать теми, кто его хоронит.

Меньше всего мне хотелось бы завершать статью Сталиным. Видеть в Сталине главного виновника всех наших бед — такая же близорукость, как и упорное нежелание признать его преступником.

Дело не в Сталине. И Сталин, и Ленин — знаки нашей несвободы, с которой мы так долго и трудно прощаемся. Дело в «музыкантах». Дело в нашей в кровь вошедшей ориентации на утопию, из-за которой мы не можем в поисках истины стать «выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа», страшно повторить вслед за Достоевским — «выше России».

Дело — в нас.

И обращение к «братьям и сестрам», упование на «родненькую власть», на новую жизнь «исправленного» социализма и надрывный звон о возрождении некоей общей советской нравственности, амбициозная ностальгия по государственности в ее имперских формах или по упрочению «социалистических идеалов» и «принципов», которыми нельзя поступаться,— симптомы одного и того же: настойчивого стремления реанимировать агонизирующую утопию — для меня без разницы, в социальном или национальном варианте.

Антиутопическое мышление, столь поразному проявившее себя в литературе и публицистике сегодня, отличается решительным стремлением вернуть человека к настоящему, помочь ему преодолеть утопическую иллюзорность, освободиться от упований на «светлое будущее» или «светлое прошлое». Поэтому книги в жанре антиутопии столь жадно читаются сегодня. Поэтому именно с их помощью я и нашла то, что искала,— литературный процесс.

*Апрель 1990 г.*

---

# *В мире журналов и книг*

**В № 7** текущего года мы «в порядке эксперимента» напечатали две рецензии на одну книгу — сборник стихов Н. Астафьевой «Заведы». Продолжаем этот опыт: два взгляда на творчество безвременно ушедшей Л. Якушевой.

## «Пока твое дыханье не прервется...»

«...Легкий огонь, над кудрями пляшущий, — Дуновение вдохновения!» — словами Марины Цветаевой открывается единственная книга стихов Любови Якушевой. Автору не удалось взять ее в руки. Вот уже более пяти лет прошло с того дня, когда была поставлена последняя точка в последнем стихотворении. Природа щедро одарила этого человека: красотой и любовью, поэтическим и музыкальным дарованием, талантами ученого и педагога, волей, умением привлекать к себе людей. Всем, кроме здоровья.

Книга эта писалась всю жизнь. Поэтесса боялась одного: неизлечимый с восьмилетнего возраста недуг мог помешать ей создать все то, что она хотела оставить людям. Л. Якушева спешила к каждому из нас со своим поэтическим словом. Но в ее стихах нет следов спешки. Зная цену той поэтической речи, «когда живой огонь горит внутри», она писала точно и, если воспользоваться ее же выражением, «пристально».

«Легкий огонь» мог стать безысходно трагической книгой. Здесь действительно много строк о смерти, о том, как мало отпущено времени на то, чтобы писать стихи и заниматься музыкой, переводить с нескольких языков, изучать классическую филологию (все это было профессиями Л. Якушевой). «Время мое милое — сквозь закрытые двери входит, разбивает горшочки цветочные, надо мною уже наклоняется... Как безжалостно оно меня любит...» Голос трагедии звучал поэтессе со страниц античной литературы, в строках крупнейшего греческого поэта XX века Йоргоса Сефериса, которого она переводила и законченную диссертацию о котором не успела защитить. Но под пером смертельно больного человека рождаются стихи, полные упоения жизнью, бережной любви к людям, ко всему живому.

Слово «легкий» не только на обложке книги. Оно постоянно встречается и в самих стихах. Взгляд — это «л е г к а я птица», отправляющаяся в полет «из-за сплошных оград». Душа такая л е г к а я, что ее можно разметать, как степную пыль «по песку, по ковылю, да по ласточкиным крыльям». Грудь захлестывает л е г к и м воздухом. Вспоминается «теплых сел задумчивая л е г к о с т ь». Осени посвящается «л е г к и й реквием, нанизанный на нежность»... Бедность словаря? Ничего подобного. Это, я бы сказал, мировоззренческий эпитет, такое же важное для поэзии Л. Якушевой слово, как, например, «ветер» или «сон» для Блока. Поэтесса ценит дыхание естественности — в любом явлении природы, в слове, поступке, чувстве человека. Все в ее жизни и поэзии было органично, «без примеси прозы и жеста». Это можно назвать той эллинской легкостью чувственного и физического движения души, о которой точно сказал, обращаясь к женщине, Пастернак: «...ты прекрасна без извилин, и прелести твоей секрет разгадке жизни равносилен».

Возникающий из подобного мироощущения мотив слиянности человека с природой звучит у многих поэтов. Но не часто он так постоянен и безыскусствен, как у Любови Якушевой. Она никогда не ощущала себя, человека, «венцом творения», хозяином всей жизни на земле. Ей близки те,

...кто услышит тихий шепот
двух плодовых половинок,
двух былинок на ветру
поутру,
этот говор сокровенный
двух песчинок во вселенной...

Поэтесса относилась к листьям и травам, солнцу и ветру, мотылькам и птицам с тем же уважением и пониманием, что и к людям: «жизнь любого мотылька имеет долгий счет, и как бы ни была легка, она не пропадет»...

Для Л. Якушевой близость с природой — не уход от проблем и страстей нашей многотрудной и запутанной жизни. Это глубинное проявление духовности в человеке, одна из ипостасей не-

---

**Любовь Якушева. Легкий огонь. Стихотворения и поэма. М., Советский писатель, 1989.**

декларативной, нетрибунной любви к родной земле. Поэтесса умела не просто чувствовать ее тепло и дарить ей свое. Она близко к сердцу принимала все социальные сложности времени, чужую боль: «голос тих, но мой шесток при этом — подвешен там, где небу горячо». Поэтому так проникновенно звучит стихотворение «Пенсионерки», где точно изображена сугубо бытовая, повторяющаяся изо дня в день беседа одиноких старушек, жизнь которых замкнута в привычном круге: магазины, сидение на лавочке, приготовление пищи, телевизор — «живут, как ходики, вроде никто не нужен...» Но сколько боли за людей, существование которых могло бы стать иным, в заключительных строчках: «лишь потом, расстилая постели... взглянет одна на комод, другая на стену,— и задрожит подбородок»! Не произнесено даже слово «фотография», но все ясно и без него.

«Легкий огонь» — как бы несколько книг в одной. Здесь собраны очень несхожие по своему характеру стихи. Не ставя своей задачей сказать здесь обо всех — самых разнообразных — мотивах поэзии Л. Якушевой (обходя, например, молчанием строки любви и стихотворения, навеянные историей мировой культуры), хотелось бы прежде всего отметить то главное, что их объединяет, что, на мой взгляд, является нервом книги. Это преодоление человеком личной трагедии. Преодоление и шутливыми нотками в обращении к своей болезни, и пафосными строками о том, как в часы творчества пропадают страх перед смертью и сама мысль о ней. Трагедия побеждается и ощущением неодинокости души перед «красою вечною» природы. Многим из нас, возможно, придется когда-либо уйти от близких рук «в летящие объятья листопада». Но не каждому удастся сказать о неизбежности прощания с миром столь же несуетно и достойно, как сказала в своем обращении к осени Л. Якушева: «Я прошу тебя, отпразднуй мой уход листопадом своим, р а д о с т н ы м, как пламя».

В одном из стихотворений сборника есть слова: «...Звени, поэт! До самой той черты, пока твое дыханье не прервется...» Дыхание Любови Якушевой, пронесшей через всю свою короткую и нелегкую жизнь верность поэзии, прервалось. Но мы слышим в завещанных ею стихах ободряющий, дружественный голос, ощущаем тепло «легкого огня» высокой человеческой души.

**Виктор Гиленко**

# Реквием и нежность

Долгие годы на моем столе лежала книга стихов Любови Якушевой — «самодельная», перепечатанная на машинке и вручную переплетенная. В ином виде ей свою книгу увидеть так и не довелось...

Была в жизни этой маленькой хрупкой женщины некая тайна и урок для всех нас: жесточайшие удары судьбы рождали в ней не злобу и отчаяние, а вопреки всему,— доброе и светлое приятие жизни. Этой радости и света ей хватало не только для себя. На одном из вечеров памяти Л. Якушевой ее подруга рассказала, как по телефону пожаловалась Любе на какие-то свои неурядицы. Та с готовностью отозвалась:

— Приезжай ко мне, я тебя развеселю!

Это было за три дня до ее смерти...

Я могу понять — хотя и с трудом,— как сумела Л. Якушева, с детства сражавшаяся с тяжким недугом, успеть столько сделать: наука, музыка, преподавание, переводы. К тому же писать прекрасные стихи и примиряться с тем, что редакторы отвергают их...

Труднее понять, как могли у человека с такой судьбой рождаться такие строки:

Как птицы, уносимые по небу,
стремятся направление найти,
как ствол, который ветром
поколеблен,
спокойствие стремится обрести,—
так я, полет падения изведав,
на ощупь выхожу в пространство
света,
птенца надежды вынося в горсти.

Это загадка и, чтобы разгадать ее, надо прочесть весь сборник стихов Л. Якушевой. Мне представляется так: героическим подвижничеством души сумела она подняться в горние выси, на которых уже нет смерти, откуда явственна вечность животворящего начала, покидающего, по истечении срока, лишь свою земную оболочку. Вот почему столь мажорно, несмотря на скрытую печаль, «Посвящение осени»:

Ты уходишь. Это мудро — уходить,
если кто-то еще просит, чтоб
осталась,
умирать, хоть кто-то просит еще
жить,
оставлять нам на прощанье эту
малость —
плащ упавший — нам, оставшимся
в живых,
нам — веселым и насмешливым
невеждам.
Ну а я — я посвящаю тебе стих!
Легкий реквием, нанизанный на
нежность.



Трагическая нота, конечно, сильно и явственно звучит в лирике Л. Якушевой — да не создастся у читателя впечатление, что весь сборник пронизан радостью и безмятежностью. Вот стихи о собаке из далекого детства: сосед выстрелил в нее из ружья — сразу «воздух распался на много частей» и «собака, скуля, побежала по кругу»...

И только в последнее время
я вспоминаю все чаще и чаще
веселую зиму
и белый снег,
и на нем окружность
красным пунктиром.

Стихи Л. Якушевой... Мне хочется цитировать их без конца. Но ограничусь последними. Они — как завещание, они — кредо мужественной и богатой натуры, для которой творить — значит жить.

Трудна руки моей отвага —
пробиться в плотный складень дня,
где на столе лежит бумага
и терпеливо ждет меня.
Где предначертаны судьбою
прием лекарства и режим,
где каждый час берется с бою,
где каждый вдох — душе зажим.
И все-таки ведет отвага
меня сквозь толщу дней и лет:
я знаю — ждет меня бумага —
и страха — нет. И смерти нет.

**Л. Захарова**

# Верю!

Когда в гости ждали Ромма, хозяева шутили: приглашаем, мол, вас не на чай, а на Ромма. Не фантазируя и не присочиняя ничего, как порой бывает, Ромм удивительно точно (это подтверждают современники) рассказывал о своих встречах с «сильными мира сего», не облекал это в форму своего рода «трепа», вызывавшего у слушавших неизменный хохот, несмотря на всю напряженность тех или иных сюжетов.

Близкие не раз советовали Ромму записывать эти рассказы, но вначале такого рода записи исключались по причинам, так сказать, не зависевшим от автора, потом все оттеснялось на второй план напряженнейшей работой кинорежиссера, и только за пять лет до смерти Ромм стал наговаривать отлично сохранившиеся в памяти сюжеты на магнитофонную пленку. Вот так они и дошли до нас.

В устных рассказах Ромма мы встретим Голубкину и Коненкова (в молодости Ромм учился искусству скульптуры), Горького и Ромена Роллана, Щукина и Эйзенштейна, тоже умевшего в то непростое время смеяться и шутить... По этому поводу порой приходится слышать: ну, хорошо, людям тех поколений смех, возможно, и помогал, а мы-то какое имеем право смеяться над тем временем? Но в том-то все и дело, что жизнь наша была и в общем-то остается каким-то гигантским анекдотом, неким царством черного юмора в этаком космическом смысле, поскольку нам, жильцам этого царства, сплошь и рядом не до смеха.

Многим, наверное, памятен анекдот времен так называемого застоя, в котором американец поспорил с русским, что, мол, в России все возможно, любые издевательства народ стерпит. Вот пришли они на крупный завод, отрекомендовались какими-то большими начальниками, и американец начал пугать: зарплату понизят, рабочий день увеличат, пенсии отменят... А в ответ — аплодисменты, одни бурнее других. Даже на обещание американца назавтра всех повесить кто-то с готовностью спросил: веревку, мол, с собой приносить или на месте выдадут? За такие шуточки рассказчик при случае мог и «загреметь». Но вот года два назад кинокритик Е. Сурков рассказал (так уж получилось, что буквально накануне смерти) в «Советском экране» о поразительном случае, свидетелем которого он был.

Случай такой: в приснопамятном 37-м году шеф НКВД Ежов выступал перед избирателями Горьковской области, «выдвинувшими» его, как тогда считалось, в депутаты Верховного Совета СССР. Прочитав по бумажке стандартную речь, Ежов вдруг побледнел, подошел вплотную к рампе и закричал в зал: «Вы что?! Думаете, мы про вас не знаем?! Все знаем! Про каждого знаем! Про всех, про всех! Время будет — всех возьмем!» И что же, вы думаете, было дальше? Совершенно верно, люди повскакали с мест, началась овация минут на сорок, наперебой провозглашались здравицы в честь Сталина и Ежова... «Ну что, производит впечатление?» — спросил Сурков напоследок молодого кинокритика, бравшего интервью, а заодно и нас с вами.

Конечно, производит. Это сейчас мы видим в Сталине и окружении нелепых ископаемых, не более страшных (особенно для молодежи), чем какая-нибудь баба-яга, а тогда попробуй-ка посмейся! Но — удивительное дело — Ромм умел смеяться и тогда, хотя жилось ему не так уж легко. Его дочь, Н. Кузьмина (точнее — приемная дочь, чему также посвящен один из рассказов), написав-

---

**Михаил Ромм.** Устные рассказы. М., Всесоюзное творческо-производственное объединение «Киноцентр», 1989.

шая короткое предисловие к книге, вспоминает, что отец нередко возвращался домой «чернее тучи», но довольно быстро приходил в себя, посылал «их» к дьяволу, «и дальше шел рассказ, наполненный таким юмором, что мы буквально катались от смеха». В таких случаях на первый план выступали кинематографические дрязги, бесконечные собрания и проработки, наконец, «сами» Сталин, а позднее Хрущев. И тогда в ромовском «трепе» вдруг возникали вроде бы бесхитростные, но на редкость точные, емкие оценки событий, людей.

Блестяще рассказано, как Сталин незадолго до смерти уже совсем было засадил в каталажку Ворошилова «за уменьшение военной мощи СССР», но как раз в эту минуту посмотрел обожаемую им чаплинскую мелодраму «Огни большого города», прослезился в конце и... простил Ворошилова. «Лаврентий,— говорит,— о таких людях заботиться надо. Он может ошибаться, но это наш человек. Ты это запомни, Лаврентий». А вот как отзывается Ромм о Хрущеве, основываясь на знаменитых встречах руководства с интеллигенцией: «Впечатление оказалось совершенно неожиданным. Человек оказался гораздо разнообразнее по краскам, и, я бы сказал, по оттенкам, гораздо как-то сложнее и необыкновеннее. И некоторые его стороны вызывали просто изумление... Что-то было в нем очень человечное и даже приятное. Но вот в качестве хозяина страны он был, пожалуй, чересчур широк».

Именно эти две, столь разные фигуры, Сталин и Хрущев, вольно или невольно оказались в центре ромовских рассказов. Жизнь так расставила акценты, что лишь немногим удавалось сразу же разглядеть вождей (хотел было поставить кавычки, но стоит ли?), так сказать, в натуральную величину, а общество соответствующие оценки выносило значительно позже. За последние несколько лет мы начитались достаточно мемуаров, среди которых и исполненные трагизма исповеди и записки, как бы придавленные тяжелой печатью гипноза «кремлевского горца», и расшифровка неспешных воспоминаний того же Никиты Сергеевича... Возьму на себя смелость сказать, что «треп» Ромма выделяется из мемуарного потока некой вневременной мудростью, умением встать вне лихорадки буден и суматохи явлений (впрочем, я бы еще поставил рядом «На блаженном острове коммунизма» В. Тендрякова). Конечно, на этот счет можно было бы высказаться без причуд: повезло, мол, Михаилу Ильичу в жизни больше, чем, скажем, Солженицыну или Шаламову, Евгении Гинзбург или Льву Разгону. Это, разумеется, так, но мне почему-то кажется, что даже если бы создателя «Ленина в Октябре» и заарканила проволока ГУЛАГа (как случилось со многими его коллегами), он все равно сохранил бы те же пронзительность взгляда, чисто режиссерскую радость от удивительной органичности творящегося «на площадке» абсурда и, быть может, воскликнул бы вопреки любимому присловью Станиславского: «Верю!»

Поверим великому мастеру и мы. Поверим в «его» Сталина и в Хрущева, в рассказ об авантюрных похождениях «непутевого дяди Максима», в дегенеративного Семена Семеновича Дукельского, переброшенного откуда-то, чуть ли не «из органов», руководить кинематографистами, поверим ромовскому голосу, бережно превращенному в книгу.

Я уже закончил черновик рецензии, когда пришел 20-й номер «Экрана и сцены». Там опубликован текст выступления Андрея Тарковского на похоронах Ромма в ноябре 1971 года. Тарковский называет своего учителя «символом человеческой и профессиональной порядочности», говорит, что ученики и коллеги Ромма в трудную для себя минуту приходили к нему, «чтобы не заболеть, и инстинктивно стремились вдохнуть глоток воздуха в доме человека с чистой совестью».

Сейчас, когда Ромма нет, этот чистый, свежий воздух честно прожитой им жизни, перелистывает перед нами страницы его рассказов.

**Сергей Бурин**

Главный редактор Г. Я. БАКЛАНОВ.

Редколлегия: С. С. АВЕРИНЦЕВ, Ю. С. АПЕНЧЕНКО, Д. А. ВОЛКОГОНОВ, В. П. ГЕРБАЧЕВСКИЙ (зам. гл. редактора), Ю. В. ДРУНИНА, С. Н. ЕСИН, Г. А. ЖУКОВ, Е. А. КАЦЕВА (отв. секретарь), В. Л. КОНДРАТЬЕВ, В. Я. ЛАКШИН, В. С. МАКАНИН, В. Г. НОВОХАТКО, В. Д. ОСКОЦКИЙ, В. Ф. ТУРБИНА, Я. А. ХЕЛЕМСКИЙ, Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО, С. И. ЧУПРИНИН (первый зам. гл. редактора).

Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-91, отдел публицистики — 921-14-64, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 08.06.90. Подписано к печати 06.07.90. А 03131 Формат 70 × 108 1/16.
Печать высокая. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Уч.-изд. л. 23,27.
Тираж 1 000 000 экз. (2-й завод 354 970—604 969 экз.). Заказ № [illegible]. Цена 90 коп.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.
Отпечатано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.